Материалы с комментариями подготовлены учителем

русского языка и литературы Гимназии № 1 г. Лаишево

Республики Татарстан

 **Вопросы, заданные человечеству войной**

*Какие аргументы можно взять из этого интересного рассказа?
Во-первых, конечно, надо писать о роли матери в жизни человека, Можно о том, что Семен обидел мать, раскаялся, но было поздно...
Во-вторых, о роли друзей в нашей жизни. Не окажись рядом с Семеном этого фронтовика, может, он бы и вернулся домой, к матери...
В-третьих, можно писать о пагубной роли пьянства...
В-четвертых, можно привести пример в осуждение войны, которая так ломает человеческие судьбы.*

[**Е.Карпов**](http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/knizhnaya-polka/421-e-karpov-menya-zovut-ivanom)

 **Меня зовут Иваном**

В самом конце войны немцы подожгли танк, в котором Семен Авдеев был башенным стрелком.
Двое суток слепой, обожженный, с перебитой ногой Семен ползал меж каких-то развалин. Ему казалось, что взрывная волна выбросила его из танка в глубокую яму.
Двое суток по шагу, по полшага, по сантиметру в час он выбирался из этой дымной ямы к солнцу, на свежий ветер, волоча переломанную ногу, часто теряя сознание. На третьи сутки саперы нашли его чуть живого на развалине древнего замка. И долго удивленные саперы гадали, как мог попасть израненный танкист на эту, никому не нужную развалину...
В госпитале Семену отняли до колена ногу и потом долго возили по знаменитым профессорам, чтобы они вернули ему зрение.
Только ничего из этого не вышло...
Пока окружали Семена товарищи, такие же, как он, калеки, пока с ним рядом был умный, добрый доктор, пока заботливо ухаживали за ним санитарки, он как-то забывал о своем увечье, жил, как все живут. За смехом, за шуткой забывал горе.
Но когда вышел Семен из госпиталя на городскую улицу — не на прогулку, а совсем, в жизнь, то вдруг ощутил весь мир совершенно иным, чем тот, который его окружал вчера, позавчера и всю прошлую жизнь.
Хотя Семену еще несколько недель назад сказали, что зрение не вернется, он все-таки таил в сердце надежду. А сейчас все рухнуло. Семену показалось, что он опять очутился в той черной яме, куда его забросила взрывная волна. Только тогда он страстно хотел выбраться на свежий ветер, к солнцу, верил, что выберется, а сейчас не было той уверенности. Тревога закралась в сердце. Город был неимоверно шумным, а звуки какими-то упругими, и ему казалось, что если он сделает хоть один шаг вперед, то эти упругие звуки отбросят его назад, больно ушибут о камни.
Позади госпиталь. Вместе со всеми Семен ругал его за скуку, не чаял, как из него вырваться, и вот теперь он стал вдруг таким дорогим, таким необходимым. Но туда не вернешься, хоть он еще совсем рядом. Надо идти вперед, а боязно. Боязно кипучего тесного города, но больше всего боязно самого себя:
Вывел из оцепенения Семена Лешка Куприянов.
— Эх, и погодка! Теперь бы только с девчонкой погулять! Да в поле, да цветы собирать, да бегом бы.
Люблю подурачиться. Ну, пошли! Ты чего уперся?
Они пошли.
Семен слышал, как скрипел и хлопал протез, как тяжело, с присвистом дышал Лешка. Это были единственные знакомые, близкие звуки, а лязг трамваев, крики автомобилей, детский смех казались чужими, холодными. Они расступались перед ним, обегали стороной. Камни мостовой, какие-то столбики путались под ногами, мешали идти.
Лешку Семен знал около года. Небольшого роста, он часто служил ему вместо костыля. Бывало, лежит Семен на койке и кричит: «Нянечка, дай костыль»,— а Лешка подбежит и пропищит, дурачась:
— Я тут, граф. Дайте вашу белейшую ручку. Положите ее, светлейший, на мое недостойное плечо.
Так они и ходили в обнимку. Семен на ощупь хорошо знал Лешкино круглое, безрукое плечо, граненую стриженую голову. И вот теперь он положил свою руку Лешке на плечо и на душе сразу стало покойней.
Всю ночь они просидели сначала в столовой, а потом в ресторане на вокзале. Когда шли в столовую, Лешка говорил, что они выпьют грамм по сто, хорошенько поужинают и уедут с ночным поездом. Выпили, как уговорились. Лешка предложил повторить. Семен не отказался, хотя вообще выпивал редко. Водка сегодня шла удивительно легко. Хмель был приятным, не одурял голову, а будил в ней хорошие мысли. Правда, на них невозможно было сосредоточиться. Они были верткие и скользкие, как рыбы, и, как рыбы, выскальзывали, пропадали в темной дали. От этого на сердце становилось тоскливо, но и тоска долго не задерживалась. На смену ей приходили воспоминания или наивные, но приятные фантазии. То Семену казалось, что однажды утром он проснется и увидит солнце, траву, божью коровку. А то вдруг появлялась девушка. Он отчетливо видел цвет ее глаз, волос, ощущал нежные щеки. Эта девушка влюблялась в него, в слепого. О таких много рассказывали в палате и даже книжку вслух читали.
У Лешки не было правой руки и трех ребер. Война его, как он говорил со смехом, разделала под орех. Кроме этого он был ранен в шею. После операции горла он говорил прерывисто, с шипением, но Семен привык к этим, мало похожим на человеческие, звукам. Они меньше раздражали его, чем баянисты, игравшие вальс, чем кокетливое воркование женщины за соседним столом.
С самого начала, как только стали подавать на стол вино и закуски, Лешка весело болтал, довольно смеялся:
— Эх, Сенька, ничего на свете так не люблю, как хорошо убранный стол! Люблю повеселиться — особенно пожрать! До войны мы, бывало, летом всем заводом выезжали на Медвежьи Озера. Духовой оркестр да буфеты! А я — с гармошкой. Под каждым кустом компания, и в каждой компании я, как Садко — желанный гость. «Растяни-ка, Алексей свет-Николаевич». А что ж не растянуть, если просят и винишко уже наливают. И какая-нибудь голубоглазая на вилочке ветчину подносит...
Выпивали, закусывали, тянули, смакуя, холодное густое пиво. Лешка продолжал восторженно рассказывать о своем Подмосковье. Там у него в собственном домике живет сестра. Она работает техником на химзаводе. Сестра, как уверял Лешка, обязательно полюбит Семена. Они поженятся. Потом у них пойдут дети. Игрушек у детей будет сколько хочешь и какие хочешь. Семен их наделает сам в артели, где они будут работать.
Скоро Лешке стало трудно говорить: устал, да и, казалось, перестал верить в то, о чем говорил. Больше молчали, больше пили...
Помнит Семен, как хрипел Лешка: «Пропащие мы люди, лучше б нас поубивало совсем». Помнит, как тяжелее становилась голова, как темнело в ней — светлые видения исчезали. Веселые голоса и музыка окончательно вывели его из себя. Хотелось бить всех, громить, Лешка шипел:
— Не езди домой. Кому ты там нужен такой?
Домой? А где дом? Давно, страшно давно, может,
лет сто назад у него был дом. И сад был, и скворечник на березе, и кролики. Маленькие, с красными глазами, они доверчиво прыгали навстречу, обнюхивали его сапоги, смешно двигали розовыми ноздрями. Мать... Семена звали «анархистом» за то, что в школе, хоть и хорошо учился, но отчаянно хулиганил, курил, за то, что устраивал с братвой беспощадные налеты на сады и огороды. И она, мать, никогда его не ругала. Отец беспощадно порол, а мать только робко просила не хулиганить. Сама давала деньги на папиросы и всячески скрывала от отца Семеновы проделки. Семен любил мать и помогал ей во всем: колол дрова, носил воду, чистил коровник. Соседки завидовали Анне Филипповне, глядя, как ловко управляется сын по хозяйству,
— Кормилец будет,— говорили они,— а мальчишескую дурь семнадцатая вода смоет.
Пьяный Семен вспомнил это слово — «кормилец» — и повторил про себя, заскрипел зубами, чтобы не расплакаться. Какой он теперь кормилец? Хомут на шею матери.
Товарищи видели, как горел Семенов танк, но никто не видел, как Семен выбрался из него. Матери послали извещение, что сын ее погиб. И теперь Семен думал, стоит ли ей напоминать о своей никчемной жизни? Стоит ли бередить ее уставшее, разбитое сердце новой болью?
Рядом смеялась опьяневшая женщина. Мокрыми губами ее целовал Лешка и шипел что-то непонятное. Загремела посуда, перевернулся стол, и земля перевернулась.
Проснулись в дровяном сарае при ресторане. Кто-то заботливый постлал им соломы, дал два стареньких одеяла. Деньги пропиты все, требования на билеты уте-ряны, а до Москвы шесть суток езды. Идти в госпиталь, сказать, что их обворовали, не хватало совести.
Лешка предложил ехать без билетов, на положении нищих. Семену было даже страшно подумать об этом. Он долго мучался, но делать нечего. Ехать надо, есть надо. Семен согласился идти по вагонам, но говорить ничего не будет, притворится немым.

Вошли в вагон. Лешка бойко начал речь своим сиплым голосом:
— Братья и сестры, помогите несчастным калекам...
Семен шел согнувшись, будто по тесному черному подземелью. Ему казалось, что над головой повисли острые камни. Издалека доносился гул голосов, но как только они с Лешкой приближались, гул этот пропадал, и Семен слышал только Лешку и звяканье монет в пилотке. От этого звяканья Семена знобило. Он ниже опускал голову, спрятав свои глаза, забыв, что они незрячие, не могут видеть ни упрека, ни гнева, ни сожаления.
Чем дальше шли, тем невыносимей становился Семену плачущий голос Лешки. В вагонах было душно. Уже совсем нечем было дышать, как вдруг из открытого окна пахнул в лицо ветер, душистый, луговой, и Семен испугался его, отшатнулся, больно ушиб голову о полку.
Прошли весь поезд, набрали больше двухсот рублей и сошли на станции пообедать. Лешка остался доволен первой удачей, хвастливо говорил о своей счастливой «планиде». Семену хотелось оборвать Лешку, ударить его, но еще больше хотелось скорее напиться, избавиться от самого себя.
Пили коньяк в три звездочки, закусывали крабами, пирожными, так как в буфете ничего другого не было.
Напившись, Лешка нашел по соседству друзей, плясал с ними под гармошку, горланил песни. Семен сначала плакал, потом как-то забылся, стал притопывать, а потом подпевать, хлопать в ладоши и, наконец, запел:
А мы не сеем, а мы не пашем, А туз, восьмерка да и валет, А из тюрьмы платочком машем, Четыре сбоку — и ваших нет...,
...Они опять остались без копейки денег на чужой далекой станции.
До Москвы друзья добирались целый месяц. Лешка так освоился с нищенством, что иногда даже скоморошничал, напевая пошленькие прибаутки. Семен уже не испытывал угрызения совести. Он рассудил просто: нужны деньги, чтобы доехать до Москвы — не воровать же? А что пьянствуют, так это временно. Приедет в Москву, устроится работать в артель и заберет к себе мать, обязательно заберет и, может быть, даже женится. А что ж, выпадает другим калекам счастье, выпадет и ему...
Семен пел фронтовые песни. Держался уверенно, гордо подняв голову с мертвыми глазами, встряхивая в такт песне длинными, густыми волосами. И получалось, будто он не милостыню просит, а снисходительно берет причитающееся ему вознаграждение. Голос у него был хороший, песни выходили душевными, пассажиры щедро подавали слепому певцу.
Особенно нравилась пассажирам песня, в которой рассказывалось о том, как на лугу зеленом тихо умирал боец, над ним склонилась старая береза. Она солдату, будто мать родная, руки-ветви протянула. Боец говорит березе, что в далекой деревне его ожидают мать и девушка, но он к ним не придет, потому что с «белою березой навеки обручен», и что она ему теперь «невеста и родная мать». В заключение солдат просит: «Спой, моя береза, спой, моя невеста, о живых, о добрых, о влюб-ленных людях — я под эту песню сладко буду спать».
Случалось, в ином вагоне Семена просили петь эту песню по нескольку раз. Тогда они с собой уносили в пилотке не только серебро, но и кучу бумажных денег.
По приезде в Москву Лешка наотрез отказался идти в артель. Бродить по электричкам, как говорил он,— работа не пыльная и денежная. Только и заботы, чтобы улизнуть от милиционера. Правда, это не всегда удавалось. Тогда его отправляли в дом инвалидов, но он оттуда благополучно убегал на другой же день.
Побывал в доме инвалидов и Семен. Что ж, говорил он, и сытно, и уютно, присмотр хороший, артисты приходят, а все кажется, будто в братской могиле сидишь погребенный. Был и в артели. «Взяли, как вещь, которую не знают, куда сунуть, и поставили к станку». Целый день сидел он и шлепал — штамповал какие-то жестянки. Справа и слева хлопали прессы, сухо, надоедливо. По бетонному полу скрежетал железный ящик, в котором подтаскивали заготовки и оттаскивали готовые детали. Старичок, таскавший этот ящик, несколько раз подходил к Семену и шептал, дыша махорочным перегаром:
— Ты тут денек, другой посиди, да и просись на другую работу. Хоть бы на оттяжку. Там заработаешь. А тут работа тяжелая', а заработку чуть... Да не молчи, а наступай на горло, а то... Лучше б всего взять литровку да с мастером распить. Он бы и давал потом тебе денежную работенку. Мастер у нас парень свойский.
Семен слушал сердитый говор цеха, поучения старика и думал, что он здесь совсем не нужен, да и ему все здесь чуждо. Особенно ясно он ощутил свою неприкаянность во время обеда.
Смолкали машины. Слышался говор и смех людей. Они рассаживались на верстаках, на ящиках, развязывали свои узелки, гремя кастрюлями, шурша бумагой. Запахло домашними солеными огурцами, котлетами с чесноком. Рано утром эти узелки собирали руки матерей или жен. Кончится рабочий день, и все эти люди пойдут домой. Там их ждут, там они дороги. А он? Кому какое дело до него? Вот даже в столовую никто не отведет, сиди без обеда. И так захотелось Семену домашней теп¬лоты, чьей-нибудь ласки... Ехать к матери? «Нет, теперь уж поздно. Пропадай все пропадом».
— Товарищ,— кто-то тронул Семена за плечо.— Ты чего штамп-то обнял? Пойдем покушаем с нами.
Семен отрицательно покачал головой.
— Ну, как хочешь, а то пойдем. Да ты не журись.
Снову всегда так бывает, а потом обвыкнешься.
Семен в эту же минуту ушел бы домой, да не знал дороги. На работу его привел Лешка и вечером он должен был прийти за ним. Но он не пришел. Целый час ждал его Семен. Проводил его домой сменившийся вахтер.
Болели руки с непривычки, разламывало спину. Не умываясь, не ужиная, Семен лег спать и уснул тяжелым, тревожным сном. Разбудил Лешка. Он пришел пьяный, с пьяной компанией, с бутылками водки. Семен стал с жадностью пить...
На следующий день на работу не пошел. Опять ходили по вагонам.
Давным-давно Семен перестал раздумывать над своей жизнью, перестал огорчаться своей слепотой, жил, как бог на душу положит. Пел плохо: надорвал голос. Вместо песен получался сплошной крик. Не было у него прежней уверенности в походке, гордости в манере Держать голову, осталась одна наглость. Но щедрые москвичи все равно подавали, так что денег у друзей читало.
После нескольких скандалов сестра от Лешки ушла на квартиру. Красивый домик с резными окнами превратился в притон.
Анна Филипповна сильно постарела за последние годы. В войну погиб где-то на рытье окопов муж. Извещение о смерти сына окончательно сбило ее с ног, думала, не поднимется, но все как-то обошлось. После войны приехала к ней племянница Шура (она в то время только что окончила институт, вышла замуж), приехала и говорит: «Что ты, тетя, будешь жить здесь сиротой, продавай-ка хату да поедем ко мне». Соседи осуждали Анну Филипповну, дескать, человеку важнее всего иметь свой угол. Что ни случится, а домик свой и живи ни клятый ни мятый. А то продашь хату, деньги пролетят, а там кто его знает, как оно обернется.
Оно, может, и правду люди говорили, да только племянница с малых лет привыкла к Анне Филипповне, относилась к ней, как к родной матери, и жила у нее иногда по нескольку лет, потому что с мачехой они не ладили. Словом, Анна Филипповна решилась. Продала дом и уехала к Шуре, прожила четыре года и ничего, не жалуется. И в Москве ей очень нравилось.
Сегодня она ездила смотреть дачу, которую молодые сняли на лето. Дача ей понравилась: садик, огородик небольшой.
Думая о том, что надо сегодня же починить мальчишкам старые рубашонки, штанишки для деревни, она услышала песню. Чем-то она была ей знакома, а чем, не понять. Потом поняла — голос! Поняла и вздрогнула, побледнела.
Долго не решалась посмотреть в ту сторону, боялась, как бы не пропал до боли знакомый голос. И все-таки посмотрела. Глянула... Сенька!
Мать, будто слепая, протянула руки и пошла навстречу сыну. Вот она уже рядом с ним, положила руки на его плечи. И плечи Сенькины, с остренькими шишечками. Хотела назвать сына по имени и не могла — воздуха не было в груди и вдохнуть не хватало сил.
Слепой умолк. Он пощупал руки женщины и насторожился.
Пассажиры видели, как побледнел нищий, как он хотел что-то сказать и не мог — задохнулся. Видели

пассажиры, как слепой положил руку на волосы женщины и тут же отдернул ее.
— Сеня,— тихонько^ слабо сказала женщина.
Пассажиры встали и с трепетом ожидали его ответа.
Слепой сначала только шевелил губами, а потом глухо сказал:
— Гражданка, вы ошиблись. Меня зовут Иваном.
— Как!—воскликнула мать.— Сеня, что ты?! Слепой отстранил ее и быстрой неровной походкой
пошел дальше и уже не пел.
Видели пассажиры, как женщина смотрела вслед нищему и шептала: «Он, он». В ее глазах не было слез, а только мольба и страдание. Потом и они исчезли, остался гнев. Страшный гнев оскорбленной матери...
Она лежала в тяжелом обмороке на диванчике. Над ней склонился пожилой мужчина, наверное, врач. Пассажиры шепотом просили друг друга разойтись, дать доступ свежему воздуху, но не расходились.
— Может быть, ошиблась?— нерешительно спросил кто-то.
— Мать не ошибется,— ответила седая женщина,
— Так почему же он не признался?
— А как же такому признаться?
— Глупый...
Через несколько минут вошел Семен и спросил:
— Где моя мать?
— У вас уже нет матери,— ответил врач.
Стучали колеса. На минуту Семен, будто прозрел, увидел людей, испугался их и стал пятиться. Из рук выпала пилотка; рассыпалась, раскатилась по полу мелочь, холодно и никчемно звякая...

*Из этого рассказа можно взять эпизоды в качестве аргумента к проблеме выбора. Капитан корабля стоит перед выбором: затопить корабль или спасти монахов...Выбир ает исполнение приказа...
Второй аргумент может быть к проблеме памяти или нравственного наказания. Всю оставшуюся жизнь капитан несет на себе этот крест:он способствовал гибели 3000 монахов.*

[В.Дегтев «Крест»](http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/knizhnaya-polka/422-v-degtev-krest)

**КРЕСТ**

Я шел из Владивостока в порт Ванино. Рейс был последний в сезоне. Шансов успеть до ледостава почти не оставалось. Из Ванина сообщали, что у них на рейде раз-другой уже появлялись льдины. Я не¬доумевал: зачем послали так поздно? Однако на¬деялся, что зима припозднится и удастся проско¬чить или еще как-то повезет. Тихая и теплая погода в Японском море давала основания для таких на¬дежд.
На борту у меня был «особый груз» — осужденные священнослужители, высшие иерархи духовенства: епископы, экзархи, настоятели монастырей. Надо сказать, однажды мне уже приходилось переправ¬лять подобный «груз» — страшно вспомнить... В этот раз — совсем другое дело. Ни тебе голодовок, ни поножовщины, ни шума, ни крика. Охранники му¬чились от скуки. Они даже гулять попов стали выпу¬скать на палубу, не боясь, что кто-нибудь из осуж-денных бросится за борт. Ведь самоубийство у веру¬ющего — самый тяжкий грех. На прогулках святые отцы чинно ходили по кругу, худые, прямые, в чер¬ных длинных одеждах, ходили и молчали или пере¬говаривались полушепотом. Странно, но, кажется, никто из них даже морской болезнью не страдал, в отличие от охранников, всех этих мордастых уваль¬ней, которые, чуть только поднимется небольшая зыбь, то и дело высовывали рожи за борт...
И был среди монахов мальчик Алеша. Послуш¬ник, лет двенадцати от роду. Когда в носовом трюме устраивалось моленье, часто можно было слышать его голос. Алеша пел чистейшим альтом, пел звонко, сильно, и грубая железная обшивка отзывалась ему. С Алешей делила долю собака Пушок. Рыжеватый такой песик. Собака была ученая, понимала все, что Алеша говорил. Скажет мальчик, бывало: «Пушок, стой!» — и пес стоит на задних лапах, замерев как столбик, прикажет: «Ползти!» — и пес ползет, высу¬нув от усердия язык, вызывая у попов смиренные улыбки, а охрану приводя в восторг, хлопнет в ладо¬ши: «Голос!» — и верный друг лает заливисто и с готовностью: «Аф! Аф!». Все заключенные любили Алешу и его кобелька; полюбили вскоре и мои мат¬росы; даже охрана улыбалась при виде этой парочки. Пушок понимал не только слова хозяина, он мог читать даже его мысли: стоило Алеше посмотреть в преданные глаза, и пес уже бежал выполнять то, о чем мальчик подумал.
Наш комиссар Яков Наумыч Бень, в прошлом циркач, восхищался Пушком: уникальная собака, цокал языком, с удивительными способностями, ей цены нет. Пытался прикармливать пса, но тот поче¬му-то к нему не шел и корма не брал. Однажды на прогулке старпом подарил Алеше свой старый сви¬тер. С каждым днем заметно холодало. Курс был норд-норд-ост. Мальчик зяб в своих вытертых ряске и скуфейке... Алеша только посмотрел Пушку в гла¬за,— и пес, подойдя к старпому, лизнул его в руку. Старик так растрогался... Возвращаясь к хозяину, пес ни с того ни с сего облаял Якова Наумыча, спешащего куда-то. Чуть было не укусил.
Мне непонятно было такое поведение собаки. Од¬нако на другой день все стало ясно. Я зашел к комис¬сару,— вошел в каюту неожиданно, кажется, без сту¬ка,— и увидел в его руках массивный серебряный крест. Яков им любовался... Крест был прикреплен колечком к жетону. Короной увенчан жетон, на нем — зеленое поле, а на поле — ветвистой рогатый серебряный олень, пронзенный серебряной стрелой. Яков перехватил мой взгляд. «А наш-то послушник, оказывается,— князь!» — сказал он как ни в чем не бывало и кивнул на крест с гербом...
Вот так мы и шли, батюшка, пятеро суток.
И вот на шестой день плавания Яков спросил координаты. Я сказал. Он озадаченно пробурчал что-то и спустился в носовой трюм. Вскоре вернулся с Пушком под мышкой. Пушок скулил. Алеша, слыш¬но было, плакал. Кто-то из монахов утешал его. Комиссар запер пса в своей каюте, и я расслышал, как он спросил о координатах штурмана и резко одернул старпома, попытавшегося было его усове¬стить: «Не твое дело!». После чего послонялся какое-то время по палубе, нервно пожимая кулаки, потом опять сходил в свою каюту и вернулся с черным пакетом в сургучных печатях. Вновь спросил у меня координаты. Я сказал: такие-то. Тогда он торжест¬венно вручил мне пакет. Я сломал печати. В пакете был приказ.
Ты слышишь, батюшка,— мне приказыва¬л о с ь: остановить машину, открыть кингстоны и затопить пароход вместе с «грузом». Команду и охра¬ну снимет встречный эсминец. Я опешил. И с мину¬ту ничего не мог сказать. Может, ошибка?.. Но тут подошел радист и передал радиограмму с эсминца: «Беспощадный боец революции Лев Троцкий» — корабль уже входил в наш квадрат.
Что я мог поделать — приказ есть приказ! Помня о морском долге и долге капитана, я спустился в каюту, умылся, переоделся во все чистое, облачился в парадный китель, как требует того морская тради¬ция. Внутри у меня было — как на покинутой пло¬щади... Долго не выходил из каюты, находя себе всякие мелкие заботы, и все время чувствовал, как из зеркала на меня смотрело бескровное, чужое лицо. Когда поднялся на мостик, прямо по курсу уви¬дел дымы эсминца. Собрал команду и объявил при¬каз. Повел взглядом: кто?.. Моряки молчали, поту¬пив глаза, а Бень неловко разводил руками. Во мне что-то натянулось: все, все они могут отказаться, все — кроме меня!..
— В таком случае я — сам!..
Спустился в машинное отделение — машина уже стояла, и лишь слышно было, как она остывает, потре¬скивая,— и, со звоном в затылке, отдраил заглушки. Под ноги хлынула зеленая, по-зимнему густая вода, промочила ботинки,— холода я не почувствовал.
Поднявшись на палубу — железо прогибалось,— увидел растерянного комиссара, тот бегал, загляды¬вал под снасти и звал:
— Пушок! Пушок!
В ответ — ни звука. Из машинного отделения был слышен гул бурлящей воды. Я торжественно шел по палубе, весь в белом, и видел себя самого со стороны, и остро, как бывает во сне, осознавал смертную важ¬ность момента. Был доволен тем, как держался, ка¬зался себе суровым и хладнокровным. Увы, не о людях, запертых в трюмах, думал, а старался думать о том, как выгляжу в этот роковой миг. И сознание, что поступаю по-мужски, как в романах — выпол¬няю ужасный приказ, но вместе с тем щепетильно и тщательно соблюдаю долг капитана и моряка,— на¬полняло сердце священным трепетом и гордостью. А еще в голове тяжело перекатывалось, что событие это — воспоминание на всю жизнь, и немного жалел, что на судне нет фотографического аппарата... О-о-о, батюшка!
Из трюмов понеслось:
— Вода! Спасите! Тонем!
И тут мощный бас перекрыл крики и плач. Он призвал монахов к покаянию. А потом воззвал:
— В последний этот смертный час сплотимся, братия, в молитве. Не склоним главы пред антихри¬стом и его слугами. Примем смерть как искупление и помолимся за наших мучителей, ибо слепы они и глухи. Свя-тый Бо-о-оже, Свя-тый Кре-е-епкий, Свя-тый Бес-с-мерт-ный, поми-и-илуй нас! — за¬пел он торжественно и громко.
За ним подхватил еще один, потом другой, тре¬тий, и вот уже трюмы загудели у меня под ногами песнопений. Тюрьма превратилась в храм. Сли¬ваюсь, голоса звучали так мощно и так слаженно, что аж дрожала, вибрировала палуба. Всю страсть и лю¬бовь к жизни, всю веру в Высшую Справедливость вложили монахи в последний свой псалом. Они мо¬лились и за нас, безбожников, в железном своем храме. А я попирал этот храм ногами...
В баркас спускался последним. Наверное, сотня крыс прыгнула вместе со мной. Ни старпом, ни матрос, стоящие на краю баркаса, не подали мне руки. А какие глаза были у моряков!.. И только Яков Наумыч рыскал своими черными маслинами по палубе, звал собаку:
— Пушок! Пушок! Черт бы тебя взял!..
Не отзывался пес. А пароход между тем погру¬жался. Уже осела корма и почти затихли в кормовом трюме голоса. Когда с парохода на баркас прыгнула последняя крыса — она попала прямо на меня, на белый мой китель,— я дал знак отваливать. Громко сказал: «Простите нас!» — и отдал честь. И опять нравился самому себе в ту минуту...
— Подождите, — закричал комиссар.— Еще чуть-чуть. Сейчас он прибежит. Ах, ну и глупый же пес!..
Подождали. Пес не шел. Пароход опускался. Уже прямо на глазах. И слабели, смолкали, один за дру¬гим, голоса монахов, и только в носовом трюме звенел, заливался голос Алеши. Тонкий, пронзи¬тельный, он звучал звонко и чисто, серебряным ко¬локольчиком — он звенит и сейчас в моих ушах!
— О мне не рыдайте, плача, бо ничтоже начинах достойное...
А монахи вторили ему нестройным хором:
— Душе моя, душе моя, восстань!..
Но все слабее вторили и слабее. А пароход оседал в воду и оседал... Ждать дольше было уже опасно. Мы отвалили.
И вот тогда-то на накренившейся палубе и по¬явился пес. Он постоял, посмотрел на нас, потом устало подошел к люку, где все еще звучал голос его Алеши; скорбно, с подвизгом, взлаял и лег на железо.
Пароход погрузился, и в мире словно лопнула струна... Все завороженно смотрели на огромную бурлящую воронку, кто-то из матросов громко икал, а старпом еле слышно бормотал: «Со святыми упо¬кой, Христе, души раб Твоих, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная...» — а я тайком оттирал, оттирал с белоснежного рукава жидкий крысиный помет и никак не мог его отте¬реть... Вот вода сомкнулась.
Ушли в пучину тысяча три брата, послушник Алеша и верный Пушок. Две мили с четвертью до дна в том месте, батюшка.
\* \* \*
— Какое, вы... какое вы чудовище! — прошептал священник, отшатнулся и сдернул с моей головы расшитую шелком епитрахиль.
На груди у него заколыхался серебряный крест. Он прикреплен колечком к жетону. А на жетоне — княжеская корона, зеленое поле и на поле — олень, пронзенный серебряной стрелой.
— Откуда у вас крест, батюшка?
Ничего не говорит он в ответ, закрыл крест ла¬донью...
— Где вы его взяли?
Закрыл крест ладонью и ловит, ловит ртом воз¬дух... Воздух остро пахнет ладаном и топленым воском.

**Ю. Бабель**

*Рассказ потрясающий! Он о том, как Гражданская война разделила людей на два лагеря...Можно говорить и о жестокости Прищепы, сердце которого залила война черной кровью...Т.е. главный аргумент - это осуждение войны.*

*Не думаю, что рассказ этот - о войне. Это о человеческой природе, таких как Прищепа. В любое время, в том числе в мирное, такой Прищепа себя может проявить аналогично. Просто, в войну таких поводов на порядок больше.*

**ПРИЩЕПА**

Пробираюсь в Лешнюв, где расположился штаб дивизии. Попутчик мой по-прежнему Прищепа — мо¬лодой кубанец, неутомительный хам, вычищенный коммунист, будущий барахольщик, беспечный сифили¬тик, неторопливый враль. На нем малиновая черкеска из тонкого сукна и пуховый башлык, закинутый за спину. По дороге он рассказывал о себе...

Год тому назад Прищепа бежал от белых. В от¬местку они взяли заложниками его родителей и уби-ли их в контрразведке. Имущество расхитили соседи. Когда белых прогнали с Кубани, Прищепа вернулся в родную станицу.

Было утро, рассвет, мужичий сон вздыхал в про¬кисшей духоте. Прищепа подрядил казенную телегу и пошел по станице собирать свои граммофоны, жба¬ны для кваса и расшитые матерью полотенца. Он вышел на улицу в черной бурке, с кривым кинжалом за поясом; телега плелась сзади. Прищепа ходил от одного соседа к другому, кровавая печать его подошв тянулась за ним следом. В тех хатах, где казак нахо¬дил вещи матери или чубук отца, он оставлял подко¬лотых старух, собак, повешенных над колодцем, ико¬ны, загаженные пометом. Станичники, раскуривая трубки, угрюмо следили его путь. Молодые казаки рассыпались в степи и вели счет. Счет разбухал, и станица молчала. Кончив, Прищепа вернулся в опу¬стошенный отчий дом. Он расставил отбитую мебель в порядке, который был ему памятен с детства, и послал за водкой. Запершись в хате, он пил двое суток, пел, плакал и рубил шашкой столы.

На третью ночь станица увидела дым над избой Прищепы. Опаленный и рваный, виляя ногами, он вывел из стойла корову, вложил ей в рот револьвер и выстрелил. Земля курилась под ним, голубое коль¬цо пламени вылетело из трубы и растаяло, в конюшне зарыдал оставленный бычок. Пожар сиял, как воскре¬сенье. Прищепа отвязал коня, прыгнул в седло, бро¬сил в огонь прядь своих волос и сгинул.

**Герман Садуллаев**

*1.Здесь затронута проблема чести. Бывшие разведчики не смогли вынести оскорблений юных фашистов...
2.Проблема памяти...
3. Проблема исторической несправедливости...*

**ДЕНЬ ПОБЕДЫ**

Рассказ

     Старые люди спят мало. В молодости время кажется неразменным рублем, время пожилого человека — медная мелочь. Морщинистые руки бережно складывают в стопочки минуту к минуте, час к часу, день ко дню: сколько еще осталось? Жаль каждой ночи.

     Он проснулся в половине шестого. Не было нужды вставать так рано. Если бы даже он совсем не встал со своей постели, а рано или поздно так и должно было случиться, этого никто не заметил бы. Он мог совсем не вставать. Тем более, так рано. В последние годы ему все чаще хотелось однажды не проснуться. Но не сегодня. Сегодня был особенный день.

     Алексей Павлович Родин поднялся со старой скрипящей кровати в однокомнатной квартире на улице … в старом Таллинне, сходил в туалет, облегчил мочевой пузырь. В ванной комнате стал приводить себя в порядок. Умылся, почистил зубы и долго соскребал щетину с подбородка и щек видавшим виды бритвенным станком. Затем еще раз умылся, смывая остатки мыльной пены, и освежил лицо лосьоном после бритья.

     Пройдя в комнату, Родин встал перед платяным шкафом с треснутым зеркалом. Зеркало отразило его поношенное тело в застарелых рубцах, одетое в выцветшие трусы и майку. Родин открыл дверцу шкафа и сменил белье. Еще пару минут он смотрел на свой парадный китель с орденскими медалями. Затем достал выглаженную накануне сорочку и облачился в форму.

     Сразу как будто бы двадцать лет спало с плеч. В тусклом свете помутневшей от времени люстры ярко горели капитанские погоны.

     Уже в восемь часов Родин встретился у парадной своего дома с другим ветераном, Вахой Султановичем Аслановым. Вместе с Вахой они прошли полвойны, в одной разведроте Первого Белорусского фронта. К 1944-му году Ваха был уже старшим сержантом, имел медаль "За отвагу". Когда пришло известие о выселении чеченцев, Ваха был в госпитале, после ранения. Сразу из госпиталя его перевели в штрафбат. Без вины, по национальному признаку. Родин, тогда старший лейтенант, ходил к начальству, просил вернуть Ваху. Заступничество комроты не помогло. Ваха закончил войну в штрафбате и сразу после демобилизации был отправлен на поселение в Казахстан.

     Родин демобилизовался в 1946-м, в звании капитана, и был определен на службу в Таллинн, инструктором в горком партии.

     Тогда в названии этого города было только одно "н", но у моего компьютера новая система проверки орфографии, я буду писать Таллинн с двумя "л" и с двумя "н", чтобы текстовый редактор не ругался и не подчеркивал это слово красной волнистой линией.

     После реабилитации чеченцев в 1957 году Родин отыскал своего фронтового товарища. Сделал запросы, воспользовавшись своим служебным положением — к этому времени Родин уже был завотделом. Родину удалось даже больше, чем просто найти Ваху, он выхлопотал его вызов в Таллинн, нашел ему работу, помог с квартирой и пропиской. Ваха приехал. Родин, начиная свои хлопоты, опасался, что Ваха не захочет покидать родную землю. Он позаботился о том, чтобы Ваха смог перевезти свою семью.

     Но Ваха приехал один. Ему некого было перевозить. Жена и ребенок умерли во время выселения. Они заболели тифом в товарном вагоне и скоропостижно скончались. Родители умерли в Казахстане. У Вахи не осталось близких родственников. Наверное, поэтому ему было легко уехать из Чечни.

     Потом была… жизнь. Жизнь?.. наверное, потом была вся жизнь. В ней было хорошее и плохое. Правда, целая жизнь. Ведь шестьдесят лет прошло. Целых шестьдесят лет прошло с окончания той войны.

     Да, это был особенный день. Шестидесятая годовщина победы.

     Шестьдесят лет — это вся жизнь. Даже больше. Для тех, кто не вернулся с войны, кто остался двадцатилетним, это три жизни. Родину казалось, что он живет эти жизни за тех, кто не вернулся. Нет, это не просто метафора. Иногда он думал: вот эти двадцать лет я живу за сержанта Савельева, который подорвался на мине. Следующие двадцать лет я буду жить за рядового Талгатова, погибшего в первом бою. Потом Родин думал: нет, так я не много успею. Пусть лучше по десять лет. Ведь дожить до тридцати — это уже не так плохо. Тогда я успею пожить еще за трех своих погибших бойцов.

     Да, шестьдесят лет — это много! Целая жизнь или шесть довесков к оборванным жизням мертвых солдат.

     И всё же это… если не меньше, то, наверное, столько же, сколько четыре года войны.

     Я не знаю, как это объяснить, другие до меня уже объясняли это гораздо лучше. Человек живет четыре года на войне, или полгода на арктической зимовке, или год в буддистском монастыре, потом он живёт еще долго, еще целую жизнь, но тот отрезок времени остается для него самым длинным, самым важным. Может, из-за эмоционального напряжения, из-за простоты и яркости ощущений, может, это называется как-то иначе. Может, наша жизнь измеряется не временем, а движением сердца.

     Он будет всегда вспоминать, будет сверять свое настоящее с тем временем, которое никогда не превратится для него в прошлое. И товарищи, которые были рядом с ним тогда, останутся самыми близкими, самыми верными.

     И не потому, что хорошие люди больше не встретятся. Просто те, другие… они многого не поймут, как ни объясняй. А со своими, с ними можно даже просто помолчать.

     Как с Вахой. Иногда Родин с Вахой вместе пили, иногда спорили и даже ссорились, иногда просто молчали. Жизнь была разной, да…

     Родин женился и прожил в браке двенадцать лет. Его жена получила развод и уехала в Свердловск, к родителям. Детей у Родина не было. Зато у Вахи было, наверное, много детей. Он и сам не знал, сколько. А жениться Ваха не стал. Ваха был еще тот гуляка.

     Большой карьеры ни один, ни другой не сделали. Но в советское время ушли на приличную пенсию уважаемыми людьми. Они остались в Таллинне. Куда им было ехать?

     Потом всё стало меняться.

     Родин не хотел об этом думать.

     Просто все изменилось. И он оказался в чужой стране, где запретили носить советские ордена и медали, где их, напитавших своей кровью землю от Бреста до Москвы и обратно до Берлина, назвали оккупантами.

     Они не были оккупантами. Лучше многих других Родин знал обо всем неправильном, что творилось в той, канувшей в лету стране. Но тогда, те четыре года… нет, они не были оккупантами. Родин не понимал этой злости благополучных эстонцев, которые и при советской власти жили лучше, чем русские люди где-нибудь на Урале.

     Ведь даже Ваха, Родин был готов, что после выселения, после той чудовищной несправедливости, трагедии своего народа, Ваха станет ненавидеть Советский Союз и особенно русских. Но оказалось, что это не так. Ваха слишком много видел. В штрафбате русские офицеры, героически вырвавшиеся из плена и за это разжалованные в рядовые, переполненные зоны и тюрьмы. Однажды Родин прямо спросил — не винит ли Ваха русских в том, что произошло.

     Ваха сказал, что русские от всего этого пострадали больше остальных народов. А Сталин был вообще грузин, хотя это не важно.

     А еще Ваха сказал, что вместе, вместе не только сидели на зонах. Вместе победили фашистов, отправили человека в космос, построили социализм в нищей и разоренной стране. Все это делали вместе и все это — а не только лагеря — называлось: Советский Союз.

     И сегодня они надели фронтовые ордена и медали. Сегодня был их день. Они даже зашли в бар и приняли по сто грамм фронтовых, да. И там, в баре, юноши в модном милитари со стилизованными под символику "СС" нашивками назвали их русскими свиньями, старыми пьяницами и сорвали с них награды. Ваху они тоже назвали русской свиньей. Нож, он просто лежал на стойке, наверное, бармен колол им лед.

     Ваха точным ударом всадил его между ребер юному эстонцу.

     А еще на стойке стоял телефон, и Родин накинул его шнур как удавку на шею другого эсэсовца. Нет уже той силы в руках, но ее и не нужно, каждое движение старого разведчика отработано до автоматизма. Тщедушный мальчик захрипел и свалился на пол.

     Они вернулись в то, настоящее время. Они снова были советскими разведчиками, а вокруг были враги. И всё было правильно и просто.

     Еще пять минут они были молодыми.

     Пока их забивали насмерть ногами на деревянном полу.

     Они добавили еще пять минут к тем четырем годам своей настоящей жизни. И это было больше, чем несколько лет, которые они могли еще прожить, если бы не вышли в орденах и медалях в день Великой Победы.

     И мне их совсем не жаль. Я просто не смею унизить их своей жалостью.

**Николай ЕВДОКИМОВ**
**СТЕПКА, МОЙ СЫН**

Это бывает не часто, но с годами все чаще и чаще. Я просыпаюсь на рассвете и иду бродить по пустым московским улицам.Уже светло, но еще горят уставшие за ночь фонари.
На рассвете Москва пахнет росой. Роса лежит на стенах домов, на чугунных оградах парков, на бронзовых плечах памятников.
Птицы – хозяева утренней Москвы. Их голоса звенят, как в лесу. По Красной площади, урча, ходит голубь. На рассвете мостовая перед храмом Василия Блаженного как луг – из-под булыжников торчит облитая росой трава. Днем ее примнут колеса автомобилей, но сейчас по мокрой траве ходит голубь и урчит. Ветер раздувает перья на его крыльях. Ветер несет запах цветов, и в тишине уже слышно жужжание пчел.
А потом выползают на улицы трамваи и троллейбусы. Еще сонные, они идут усталой, мягкой походкой.
Но вот первый солнечный луч вонзился в купол Василия Блаженного, и купол зазвенел тихим и оглушающим звоном и разбудил реку. Река проснулась, она заворочалась, подставляя солнцу свою остывшую за ночь чешую. В воде отразилось далекое облако, вниз упала тяжелая тень моста.
Я иду вдоль реки. Роса высыхает на асфальте, дымятся деревья.
Строится дом. Высоко у края стены стоит парень.
Это Степка, мой сын.
Он кладет кирпич, он осторожно ударяет по нему мастерком. И сразу же в ответ ему со всех сторон несутся другие такие же звуки. Они, как голуби, плывут над рабочей Москвой.
Это Степка, мой сын, разбудил Москву.
Вечером я стою у окна, жду Степку. В доме напротив сидит на подоконнике девушка, грустно глядит вниз, на улицу. Я знаю о ней многое и ничего не знаю. Я знаю, что она любит смеяться, и смех ее так знаком мне, так похож на смех Степкиной матери. Но почему каждый вечер она садится на подоконник и глядит вниз, будто ждет кого-то, а веселое, доброе ее лицо становится таким печальным? Я знаю, она ждет его, но он не идет и не идет…
Она ждет Степку, и я жду. Но я знаю, как сделать, чтобы Степка скорее пришел, а она не знает.
Я закрываю глаза – и вот через мгновение слышу его твердые шаги на пустой улице, слышу, как говорит он своим баском: «Привет!» - это он ей говорит, и вот уже слышу стук ее каблучков по асфальту.
Она бежит к нему и смеется так, как умеет смеяться только она одна. Она и та, другая…
Степке скоро двадцать лет. И мне было двадцать, когда я встретил ту, которую зовут его матерью…

У озера Селигер есть деревня. Там много деревень, но их названия я стараюсь не вспоминать, потому что боюсь забыть одно: Пустошка. Когда мы пришли туда, там стояли только дома: люди ушли далеко к Осташкову, увезя свой скарб. А потом и домов не стало- одни пепелища. Но и за эти пепелища день и ночь шли бои. День… два… месяц… А потом наступило затишье.
Мы вросли в землю, мы стали как духи земли, узнали ее запах и вкус, ее тепло и доброту.
Вокруг блиндажа росла трава, и мы не топтали ее, мы ходили к своему дому по узкой тропинке, боясь поломать живой стебель. Кто научил нас понимать язык трав, я и не помню уже, но все мы умели говорить со стареющими осенними листьями, с кустами, облитыми росой, с цветами, пахнущими огнем.
Блиндаж мы вырыли в лесу за деревней. Но лес скоро поредел, вершины сосен, срезанные снарядами, упали вниз. И трава поредела: утром и вечером каждый день в один и тот же час вражеские минометы били и били терпеливую землю вокруг наших блиндажей. Они вспахали ее. И тем осторожнее обходили мы уцелевшие травинки и обглоданные осколками кусты.
С нами в тесном блиндаже жила мышь: ей тоже дала приют земля. Мышь была отважная, но скромная. Она не воровала хлеб, не залезала в консервы, она научилась сидеть в углу и ждать, как умная собака, подачки. Ночью она любила спать на портянках.
Враг был рядом и был далеко. Узкая полоса земли, на долгие месяцы разделившая наши окопы, была начинена смертью.
В нашем блиндаже жило семь человек. Каждую ночь мы ходили через эту натыканную минами полоску земли к окопам врага. Мы были разведчиками, мы получали на пятьдесят граммов водки больше, чем остальные солдаты, а изредка нам выдавали даже шоколад. Каждую ночь мы ползли к немецким окопам в надежде поймать «языка». Нам бы не надо шоколада и лишних граммов водки, нам бы паршивенький миноискатель, мы бы часто приводили бы «языков»
Но не «языков» мы приводили, мы возвращались, таща на окровавленной шинели одного из наших товарищей. А на следующую ночь снова шли туда.
Если бы у нас был миноискатель!
Но у нас его не было – ведь шел тяжелый сорок первый год. Мы срубили деревце, обтесали его, и получился шест. Этот длинный скользкий шест заменил нам миноискатель. Мы шарили им перед собой, надеясь задеть мину и обмануть смерть.
Шест елозил по земле, он скрежетал, как гусеница танка, он гремел в ночной тишине, как сто тысяч пушек, и враг перепугано бросал в небо желтые ракеты. И тогда не мы, а наши тени достигали его окопов. И вот начинал лаять пулемет, красные точки трассирующих пуль суетливо носились в разные стороны. А мы ползли вперед, закусив окаменевшие губ.
Красные пули летели прямо на нас, а мы ползли…
Мы и мертвые ползли бы вперед, но сержант командовал возвращаться. И снова мы тащили одного из нас на мокрой от крови шинели. Уже не семь нас было в блиндаже, а шесть., но скоро приходил новенький, и снова нас было семь. Мы возвращались, и там, где начиналась нейтральная полоса, возле наших окопов, нас ждала Анка, санинструктор.

У нее были мягкие руки, нежные, как трава. Она знала много добрых слов, и, конечно, это она изобрела те простые, но загадочные своей исцеляющей силой слова; «Потерпи, миленький», - которые потом, как песня, облетели все фронты, все госпитали.
Мне было двадцать лет, и я не знал других женских рук, кроме старых, натруженных рук моей матери. Но удивительно, руки Анки пахли, как руки матери. Она же была девчонка – ей девятнадцать было, но руки ее, знавшие столько страданий и смертй, были старше, были мудрее ее самой.
Время на войне летит стремительно, как пуля, и одновременно тащится медленно, как ротный повар на своей кляче. Мы любили друг друга – я и наш санинструктор.
Любовь наша была короткой и долгой, бесконечной – годы прошли, а мы вместе, всегда вместе.
Мне было двадцать, и поэтому я верил в свою неуязвимость. Гибли мои друзья, но я знал: меня нельзя убить, нельзя потому, что мне двадцать лет, потому, что там, у наших окопов, ждет меня Анка.
И я возвращался к ней. Я не шел в блиндаж спать: мы бродили с Анкой в синей мгле, уходили далеко к Пустошке, где ночь и день трещали, вспыхивая кладбищенскими огоньками, сотни раз перегоревшие пепелища.
Горизонт горел зловещим и прекрасным огнем, а за ним глухо и размеренно ухали, ворчали, мололи человеческие жизни жернова войны. Над головой, где-то выше темных облаков, летели дальнобойные снаряды, мы слышали их шелестящий свист.
Здесь, в Пустошке, при свете пепелищ, я первый раз поцеловал Анку. Щеки Анки, ее губы были как мох, как пух. И я удивился. И Анка поцеловала меня и тоже удивилась чему-то.
Дни шли, недели шли… Все теперь знали о нашей любви и берегли нас, как остатки травы вокруг блиндажа.
Что сделалось с Анкой, я понять не мог. Глаза ее светились даже в темноте, и ребята шутили, что надо на них вешать маскировочные шторы, иначе прилетят на огонь вражеские самолеты. Анка теперь ходила по земле осторожно, будто по камешкам шла через ручей, наклонив голову, словно прислушиваясь к чему-то.
Однажды днем мы забрели с ней в Пустошку. Мы шли держась за руки и молчали, и оба улыбались неизвестно чему, просто от того, что были счастливы.
За Пустошкой упала мина – в неурочный час начали немцы обстрел деревни: что они хотели от этого выгоревшего клочка земли, мне и сейчас непонятно, будто там был невесть какой важности стратегический объект, а не перегоревшие угли.
Мы с Анкой побежали в лесок и легли за холмиком, пережидая обстрел.
Выли мины, вздымая пепел, грязную землю. Анка лежала, опираясь на локти.
- Дай сахару, - сказала она.
Утром нам выдали по куску сахара, свой она давно сгрызла, но знала: я не съел, я берегу для нее.
- А чай с чем будем пить? – спросил я.
- Дай!
Но я не дал ей сахар. Не от жадности: я же берег для нее. И она не обиделась.
А мины выли и выли, они ложились все ближе. Уже было слышно, как жужжат, будто рой пчел, осколки…
- У нас будет сын, - сказала Анка, - слышишь, у нас будет сын! Он будет похож на тебя… А назовем его Степкой…
Все это было так давно…
Я просыпаюсь на рассвете и иду бродить по пустым московским улицам. На рассвете Москва пахнет бензином и бетоном.
Степка строит дом. Скоро стены его запахнут краской. Осталось совсем немного – скоро, скоро построит дом Степка. Дом, пахнущий краской и хлебом…
…Ничего не построит Степка! И ты его не жди, девочка на подоконнике. Он не придет никогда…
- А назовем мы его Степкой… - проговорила Анка, и оба мы услышали жужжание осколка.
- Ой! – печально и удивленно сказала Анка и опустила на траву голову.
- Не шути! – кричал я и, плача, совал в ее холодеющие губы сахар.
Роса блестела на траве. А из травы у самой Анкиной головы торчала черная шляпка гриба.
Тогда я почти не заметил его, этот гриб, но с годами он словно рос и рос в моей памяти. Он разросся до гигантских размеров, готовый прикрыть своей смертоносной шляпкой весь мир, не из доброй земли он берет соки…

**Алексей Борзенко**

*проблема самопожертвован ия+человек на войне+проблема веры*
**Пасха**

Посвящается “Гюрзе” и “Кобре”,
бесстрашным разведчикам
генерала Владимира Шаманова.

— Я думал, что умру как угодно, но только не так... Почему я редко ходил в церковь и окрестился в двадцать пять лет? Наверное, поэтому и такая смерть? Кровь сочится медленно, не так, как от пулевого ранения, буду умирать долго... — Сергей с трудом вдохнул воздух полной грудью. Это все, что он мог сделать. В желудке уже пятый день не было ни крошки, но он и не хотел есть. Нестерпимая боль в пробитых насквозь руках и ногах временно прошла.
— Как же далеко видно с этой высоты, как красив мир! — подумал сержант. Две недели он не видел ничего, кроме земли и бетонированных стен подвалов, превращенных в зинданы. Пулеметчик, он был взят в плен разведчиками боевиков, когда лежал без сознания на опушке ближайшего леса, контуженный внезапным выстрелом из “Мухи”.
И вот он уже два часа парит в воздухе на легком ветру. В небе ни облачка, нестерпимая весенняя синева. Прямо под ним, у струящихся неровной змейкой окопов боевиков разворачивался серьезный бой.
Бои за село Гойское шли уже вторую неделю. Как и раньше, боевики Гелаева заняли оборону по периметру села, скрываясь от артиллерии за домами местных жителей. Федеральные войска со штурмом не спешили, новые генералы больше полагались на артиллерию, чем на прорывы пехоты. Все-таки это была уже весна 1995 года.
Сергей пришел в себя от удара ногой в лицо. Его принесли на носилках допрашивать боевики. Вкус солоноватой крови во рту и боль от выбитых зубов привели в чувство сразу.
— С добрым утром! — засмеялись люди в камуфляжах.
— Да что его пытать, он все равно ничего не знает, всего-то сержант, пулеметчик! Дай, расстреляю! — нетерпеливо, глотая окончания, по-русски сказал бородатый боевик лет тридцати с черными зубами. Он взялся за автомат.
Два других с сомнением смотрели на Сергея. Один из них — а Сергей так и не узнал, что это был сам Гелаев, — сказал, как бы нехотя, постукивая палочкой по носкам своих новых адидасовских кроссовок:
— Аслан, расстреляй его перед окопами, чтобы русские видели. Последний вопрос тебе, кафир: если примешь ислам душой и расстреляешь сейчас своего товарища, будешь жить.

Тут только Сергей увидел еще одного связанного пленника, молодого русского парня лет восемнадцати. Его он не знал. У мальчишки руки были связаны за спиной, и он, как баран перед закланием, уже лежал на боку, скорчившись в ожидании смерти.
Мгновение растянулось в целую минуту.
— Нет, — слово вылилось изо рта, как свинец.
— Я так и думал, расстрелять... — лаконично ответил полевой командир.
— Эй, Руслан! Зачем такого хорошего парня расстреливать? Есть предложение получше! Вспомни историю, что делали гимры, наши предки, более ста лет назад….
Это произнес подошедший сзади боевик в новеньком натовском камуфляже и в зеленом бархатном берете с оловянным волком на боку.
Сергей со своими отбитыми почками мечтал тихо заснуть и умереть. Больше всего он не хотел, чтобы ему ножом перед видеокамерой перерезали горло и живому отрезали уши.
“Ну, уж застрелите как человека, сволочи! — подумал про себя солдатик. — Я заслужил это. Столько ваших положил из пулемета — не счесть!”
Боевик подошел к Сергею и пытливо посмотрел ему в глаза, видимо, чтобы увидеть страх. Пулеметчик ответил ему спокойным взглядом голубых глаз.
— У кафиров сегодня праздник, Христова Пасха. Так распни его, Руслан. Прямо здесь, перед окопами. В честь праздника! Пусть кафиры порадуются!
Гелаев удивленно поднял голову и перестал выстукивать ритм зикра по кроссовкам.
— Да, Хасан, не зря ты проходил школу психологической войны у Абу Мовсаева! Так и быть. И второго, юного, тоже на крест. — Два командира, не оборачиваясь, пошли в сторону блиндажа, обсуждая на ходу тактику обороны села. Пленные уже были вычеркнуты из памяти. И из списка живых.
Кресты соорудили из подручных телеграфных столбов и мусульманских погребальных досок, которые набили поперек и наискось, подражая церковным крестам.
Сержанта положили на крест, сняв с него всю одежду, кроме трусов. Гвозди оказались “сотка”, крупнее не нашли в селе, поэтому вбивали их в руки и ноги по нескольку штук сразу. Сергей тихо стонал, пока прибивали руки. Ему уже было все равно. Но громко закричал, когда первый гвоздь пробил ногу. Он потерял сознание, и остальные гвозди вколачивали уже в неподвижное тело. Никто не знал, как надо прибивать ноги — напрямую или накрест, захлестнув левую на правую. Прибили напрямую. Боевики поняли, что на таких гвоздях тело все равно не удержится, поэтому сначала привязали Сергея за обе руки к горизонтальной доске, а затем и притянули ноги к столбу.
Он пришел в себя, когда на голову надели венок из колючей проволоки. Хлынувшая кровь из порванного сосуда залила левый глаз.
— Ну, как себя чувствуешь? А, пулеметчик! Видишь, какую мы тебе смерть придумали на Пасху. Сразу к своему господу попадешь. Цени! — улыбался молодой боевик, забивший в правую руку Сергея пять гвоздей.
Многие чеченцы пришли поглазеть на старинную римскую казнь из чистого любопытства. Что только не делали на их глазах с пленниками, но распинали на кресте в первый раз. Они улыбались, повторяя меж собой: “Пасха! Пасха!”
Второго пленника также положили на крест и стали забивать гвозди.
— Ааааа!
Удар молотком по голове прекратил крики. Мальчишке пробили ноги, когда он уже был без сознания.
На сельскую площадь пришли и местные жители, многие смотрели на подготовку казни с одобрением, некоторые, отвернувшись, сразу ушли.
— Как русские рассвирепеют! Это на Пасху им подарок от Руслана! Будешь долго висеть, сержант, пока твои тебя не пришлепнут... из христианского милосердия. — Боевик, вязавший окровавленные ноги пулеметчика к столбу, раскатисто засмеялся хриплым смехом.
Напоследок он надел обоим пленникам поверх колючей проволоки и российские каски на голову, чтобы в лагере генерала Шаманова уже не сомневались, кого распял на окраине села полевой командир Руслан Гелаев.
Кресты вынесли на передовую, поставили стоя, вкопали прямо в кучи земли от вырытых окопов. Получалось, что они были перед окопами, под ними располагалась пулеметная точка боевиков.
Поначалу страшная боль пронзила тело, обвисшее на тонких гвоздях. Но постепенно центр тяжести приняли веревки, затянутые под мышками, а кровь стала поступать к пальцам рук все меньше и меньше. И вскоре Сергей уже не чувствовал ладоней и не ощущал боли от вбитых в них гвоздей. Зато страшно болели изуродованные ноги.
Легкий теплый ветерок обдувал его обнаженное тело. Вдали он видел танки и артиллерию 58-й армии, которая после долгой подготовки намеревалась быстро выбить боевиков из Гойского.

— Эй, ты живой? — Сосед Сергея пришел в себя. Крест мальчишки стоял немного позади, поэтому пулеметчик не мог его увидеть, даже повернув голову.
— Да... А ты?
— Бой разгорается. Только бы свои пулей не зацепили...
Сержант про себя усмехнулся. Дурачок! Это было бы избавлением от всего. Правда, наши не станут стрелять по крестам, попробуют скорее отбить. Но это пустое. Даже если чеченцы станут отходить из села, уж двоих распятых они точно пристрелят, прямо на крестах.
— Как зовут? — Сергей хотел поддержать разговор, потому что тонко почувствовал, что парень боится умереть в одиночестве.
— Никита! Я — повар. Отстали от колонны. Бой был, троих убило, я уцелел.
“И напрасно”, — подумал про себя пулеметчик.
— А сколько на кресте человек живет?
— От двух дней до недели... Чаще умирали от заражения крови. Римляне обычно ждали три дня... Даже давали воду. Когда надоедало, делали прободение копьем...
— Что такое прободение?
Сергей дернул ртом.
— Библию не читал? Это когда копьем прокалывают живот.
— У чеченцев копий нет...
— Правда? А я думаю, что у них глобуса да учебника арифметики нет, а это дерьмо как раз есть! — Сергей сплюнул вниз. Плевок с кровью упал рядом с чьим-то пулеметом.
Внизу началась какая-то возня. Сергею было тяжело опускать голову вниз, но он заметил, что боевики начали занимать свои места в окопах, в пулеметы заряжали ленты.
“Ну, точно, наши решили отбить живыми”, — подумал пулеметчик, заметив передвижение шамановской разведроты. За ними развернулись в боевой порядок десяток БМПэшек, несколько БТРов и один танк “восьмидесятка”.
Сергей закрыл глаза. Он почему-то представил, что две тысячи лет до него также в одиночестве, окруженный враждебной толпой, страдал на кресте еще один человек. Божий cын Иисус. Он простил всем, искупил их вину, претерпел казнь.
— А я смогу простить чеченцам все? — вдруг задал он себе вопрос.
Он с болью опустил голову, увидел, как боевики сновали по окопу под ним, переносили ящики со снарядами и цинки с патронами. Один молодой боевик вдруг остановился под крестом, поднял голову. На лице расплылась довольная улыбка, он вскинул автомат, прицелился в голову.
— Страдаешь, кафир? Страдай, твой Бог так тебе завещал!
— Не кощунствуй! Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его! — сурово произнес другой боевик, ударив по щеке юнца. Мальчишка согнулся и быстро понес стопку зеленых пороховых зарядов к ручному гранатомету.
— Так я смогу простить чеченцам? Он бы так хотел... Вряд ли после всего, что они здесь сделали...
Пуля от СВД щелкнула по доске, рядом с правой рукой.

— Случайно? — Внизу уже вовсю разгорался бой. Артиллерия долбила по позициям боевиков, но снаряды рвались либо правее, либо левее крестов.
— Ну, давайте, мужики! Мочите гелаевцев! Мы с вами и душой и сердцем! — тихо произнес Сергей. Сверху ему была видна панорама боя. Вдруг пуля снова щелкнула по доске рядом с правой рукой. Сергей понял — это было приглашение к разговору от одного из наших снайперов.

— Мы еще живы! Мы можем продержаться еще пару часов! Впереди окопов “духовское” минное поле! — проартикулировал в тишине Сергей. Он знал, где-то в прямой видимости сидит наш снайпер. Он готов в оптический прицел читать его по губам. Пулеметчик медленно повторил свои слова три раза. Пуля снова щелкнула по тому же месту.
“Слава Богу, поняли”, — подумал сержант. Он всмотрелся в картину боя и заметил, как бронегруппа, штурмовавшая окраину Гойского, что называется, “в лоб”, свернула к северу и стала приближаться к позициям боевиков значительно левее его креста.
— Аааа! — застонал рядовой на втором кресте. Видимо, боль была настолько нестерпимой, что мальчишка стал кричать на боевиков.
— Уроды, чехи поганые! Пристрелите меня, ну, пристрелите же!
Внизу один из боевиков поднял голову.
— Виси, кафир! Когда будет приказ отходить, я сам выстрелю тебе в живот, чтобы ты умер, но еще часок помучился, пока твои придут. Не надейся, мы не дадим вас освободить!
Еще одна пуля от СВД, как новое приглашение к разговору, отщепила кусок доски. Боевики в бою этого не услышали, но удар пули, ее энергетика была настолько высокой, что Сергей чувствовал это спиной, каждой частичкой тела, правда, пальцы руки и кисти уже ни на что не реагировали. Он знал, шла безвозвратная анемия конечностей.
Вопрос тоже был ясен для пулеметчика.
— Пристрелите парня. Чтобы он не мучался. Пристрелите! Он сам просит об этом, — беззвучно, как рыба, произнес Сергей.
— Эй, братишка! Ты еще жив? Приготовься к смерти, родной!
— Что?..
Рядовой на втором кресте так и не успел ответить пулеметчику. Снайперская пуля ударила его прямо в сердце, затем вторая, туда же. Мальчишка больше не стонал.
— Спасибо, ребята! — ответил снайперам пулеметчик, кивая головой.

Четвертая пуля ударила в доску. Сергей понял и этот вопрос.
— Погоди! Я еще хочу вам помочь! Позже пристрелишь, я еще могу терпеть, — ответил смотрящему в мощную оптику снайперу сержант.
Сергей вдруг почувствовал какую-то волну слабости. Ему сильно захотелось спать. Он знал, что это симптом сильной потери крови. Нельзя, нельзя спать! Нужно помогать своим! Сергей сжал зубы и закашлялся. Сплюнул кровью.
Он заставил себя вновь всмотреться в картину боя. Линия обороны гелаевцев полностью повторяла полукружье домов, стоявших на околице. Пулемет под ним уже не стрелял, боевик, пообещавший всадить ему пулю в живот, лежал на дне окопа с пробитой головой. Место рядом тоже было “расчищено”, еще три трупа виднелись рядом, два боевика бинтовали раны в окопе.
— Не сидели сложа руки! — подумал с гордостью пулеметчик. И тут он увидел, что там, левее, где бронегруппа из нескольких БТРов и БМПэшек благополучно обошла минное поле боевиков и вплотную подходит к окопам, боевики быстро уходят, протянув по окопу минные провода с гроздью 152-миллиметровых снарядов.
— Останови “коробочки”! Там фугасы впереди, управляемые! — объяснил снайперу Сергей.
Видимо, у снайперов была оперативная радиосвязь с наступающей бронегруппой, потому что “броня” вдруг неожиданно остановилась в ста метрах от первого фугаса.
Сергей чувствовал, что начинает терять сознание от потери крови. Исход боя был ясен, наши прорвали оборону гелаевцев с двух сторон и уже входят в село. Фактически они уже закрепились на его окраине.
— Братцы, теперь можно, пристрелите меня! — почему-то вслух и очень громко сказал пулеметчик.
Через мгновение пуля щелкнула по правой доске. Снайпер понял просьбу сержанта.
Сергей вздохнул, в глазах плавали черные круги, а сознание отчаянно цеплялось за солнечный свет, яркую синеву неба, борясь с одолевающим сном. Шли мгновения, снайпер медлил. Сильной волной боли ноги заявили о том, что они еще живые.
“А простил бы я “чехам”?” — вновь задал себе главный вопрос сержант. Он готов был резко ответить “нет”, но сомнение вдруг зародилось в нем.
— Почему медлишь, браток? — спросил Сергей у все видящего в оптику снайпера.
И тут сержант увидел, как к крестам по окопу побежал боевик, на ходу перезаряжая пулемет.“Уж не мой ли пулемет?” — пришел дурацкий вопрос в голову пулеметчику. В этот момент Сергей вдруг увидел, что за него, висящего на кресте, разгорается целый бой. Группа из пяти разведчиков перебежками приближается к его окопу. Боевик дал очередь по кресту, но не попал в сержанта. Тут же переключился на российских разведчиков и начал стрелять в них. Снайпер выстрелил один раз, пуля вошла прямо в лоб боевику, вырвала, создав эффект вакуума, из затылка целый шлейф крови.
\* \* \*
— Только бы успеть, не прощу себе этого, — “Кобра” бежал с пулеметом наперевес, стреляя по окопу. Хвостики камуфляжной ленточки, повязанной на бритой голове, развевались как ленты матросской бескозырки. Пули свистели над головой, но разведчики этого не замечали. Они были в ярости. Не всякий знает — даже из тех, кто воевал, — каких глубин и какой мощи достигает человеческая ярость. Когда десантники увидели, как боевики подняли на крестах наших пленных, никто не проронил ни слова, никто даже не выругался матом. Молчал и генерал Шаманов. Эта ярость была пострашнее любой ненависти к врагу.
— Вперед, — тихо произнес “Гюрза”, и разведка Шаманова пошла на Гойское.
\* \* \*

Сергей увидел, как по опустевшему окопу к нему бегут разведчики Шаманова, он даже узнал двоих из них. Снайпер так и не выстрелил ему в сердце. Последнее, что увидел сержант, было голубое, голубое до страшной синевы небо. Его сердце быстро затихало и остановилось, перекачивать по венам было уже нечего. Сергея захлестнул какой-то жар, пробежавший напоследок по всему телу.
\* \* \*
Разведчики Шаманова — “Кобра” и “Гюрза” поклялись отомстить. Сергея и второго солдата бережно сняли с крестов и в надежде, что родители не будут копаться в “цинках”, отправили “грузом 200” на родину. Первого в Сергиев Посад, второго — в Вологду. Их и похоронили, не зная, какую смерть они приняли.
Случай с распятыми потряс всю армию. Говорили, что это послужило поводом для ответных зверств со стороны федеральных войск. Говорили, что потом двоих гелаевцев незаметно вывезли в лес и зашили живыми в свиные шкуры: казненные так не попадали в рай — они умирали в шкуре нечистого животного. Эту казнь мусульман придумали 300 лет назад запорожские казаки с Хортицы. Говорили, что с этого момента мертвым боевикам начали отрезать уши. Однако это были скорее всего только разговоры. Армия просто брезгливо уничтожала боевиков, безо всяких зверств и ужасов.
Май 1995 года.

**Борис Екимов «Ночь исцеления»**

 *Какие темы поднимает в этом рассказе Б.Екимов?
• Тема памяти, «эхо войны» в жизни людей, переживших ее (направление «Вопросы войны»);
• тема сострадания, истинного милосердия (направление «Чем люди живы»),
• тема взаимоотношений в семье (направление «Спор поколений»)*

Внук приехал и убежал с ребятами на лыжах кататься. А баба Дуня, разом оживев, резво суетилась в доме: варила щи, пирожки затевала, доставала варенья да компоты и поглядывала в окошко, не бежит ли Гриша.
К обеду внук заявился, поел, как подмел, и снова умчался, теперь уже в лог, с коньками. И снова баба Дуня осталась одна. Но то было не одиночество. Лежала на диване рубашка внука, книжки его – на столе, сумка брошена у порога – все не на месте, вразлад. И живым духом веяло в доме. Сын и дочь свили гнездо в городе и наезжали редко – хорошо, коли раз в год. Баба Дуня у них гостила не чаще и обыденкою вечером возвращалась к дому. С одной стороны, за хату боялась: какое ни есть, а хозяйство, с другой…
Вторая причина была поважнее: с некоторых пор спала баба Дуня тревожно, разговаривала, а то и кричала во сне. В своей хате, дома, шуми хоть на весь белый свет. Кто услышит! А вот в гостях… Только улягутся и заснут, как забормочет баба Дуня, в голос заговорит, кого-то убеждает, просит так явственно в ночной тишине, а потом закричит: «Люди добрые! Спасите!!» Конечно, все просыпаются – и к бабе Дуне. А это сон у нее такой тревожный. Поговорят, поуспокаивают, валерьянки дадут и разойдутся. А через час то же самое: «Простите Христа ради! Простите!!» И снова квартира дыбом. Конечно, все понимали, что виновата старость и несладкая жизнь, какую баба Дуня провела. С войной и голодом. Понимать понимали, но от этого было не легче.
Приезжала баба Дуня – и взрослые, считай, ночь напролет не спали. Хорошего мало. Водили ее к врачам. Те прописывали лекарства. Ничего не помогало. И стала баба Дуня ездить к детям все реже и реже, а потом лишь обыденкою: протрясется два часа в автобусе, спросит про здоровье и назад. И к ней, в родительский дом, приезжали лишь в отпуск, по лету. Но вот внучек Гриша, в годы войдя, стал ездить чаще: на зимние каникулы, на Октябрьские праздники да Майские.
Он зимой и летом рыбачил в Дону, грибы собирал, катался на коньках да лыжах, дружил с уличными ребятами,– словом, не скучал. Баба Дуня радовалась.
И нынче с Гришиным приездом она про хвори забыла. День летел невидя, в суете и заботах. Не успела оглянуться, а уж синело за окном, подступал вечер. Гриша заявился по-светлому. Загромыхал на крылечке,
в хату влетел краснощекий, с морозным духом и с порога заявил:
– Завтра на рыбалку! Берш за мостом берется. Дуром!
– Это хорошо,– одобрила баба Дуня. – Ушицей посладимся.
Гриша поужинал и сел разбирать снасти: мормышки да блесны проверял, на полдома разложив свое богатство. А баба Дуня устроилась на диване и глядела на внука, расспрашивая его о том о сем. Внук все малым был да малым, а в последние год-два вдруг вытянулся, и баба Дуня с трудом признавала в этом длинноногом, большеруком подростке с черным пушком на губе косолапого Гришатку.
– Бабаня, я говорю, и можешь быть уверена. Будет уха и жарёха. Фирма веников не вяжет. Учти.
– С вениками правда плохо,– согласилась баба Дуня. – До трех рублей на базаре.
Гриша рассмеялся:
– Я про рыбу.
– Про рыбу… У меня дядя рыбалил. Дядя Авдей. Мы на Картулях жили. Меня оттуда замуж брали. Так там рыбы…
Гриша сидел на полу, среди блесен и лесок, длинные ноги – через всю комнатушку, от кровати до дивана. Он слушал, а потом заключил:
– Ничего, и мы завтра наловим: на уху и жарёху.
За окном солнце давно закатилось. Долго розовело небо. И уже светила луна половинкою, но так хорошо, ясно. Укладывались спать. Баба Дуня, совестясь, сказала:
– Ночью, може, я шуметь буду. Так ты разбуди.
Гриша отмахивался:
– Я, бабаня, ничегоне слышу. Сплю мертвым сном.
– Ну и слава Богу. А то вот я шумлю, дура старая. Ничего поделать не могу.
Заснули быстро, и баба Дуня, и внук.
Но среди ночи Гриша проснулся от крика:
– Помогите! Помогите, люди добрые!
Спросонья, во тьме он ничего не понял, и страх обуял его.
– Люди добрые! Карточки потеряла! Карточки в синем платочке завязаны! Может, кто поднял? – И смолкла.
Гриша уразумел, где он и что. Это кричала баба Дуня. Во тьме, в тишине так ясно слышалось тяжелое бабушкино дыхание. Она словно продыхивалась, сил набиралась. И снова запричитала, пока не в голос:
– Карточки… Где карточки… В синем платочке… Люди добрые. Ребятишки… Петяня, Шурик, Таечка… Домой приду, они исть попросят… Хлебец дай, мамушка. А мамушка ихняя… – Баба Дуня запнулась, словно ошеломленная, и закричала: – Люди добрые! Не дайте помереть! Петяня! Шура! Таечка! – Имена детей она словно выпевала, тонко и болезненно.
Гриша не выдержал, поднялся с постели, прошел в бабушкину комнату.
– Бабаня! Бабаня! – позвал он. – Проснись…
Она проснулась, заворочалась:
– Гриша, ты? Разбудила тебя. Прости, Христа ради.
– Ты, бабаня, не на тот бок легла, на сердце.
– На сердце, на сердце… – послушно согласилась баба Дуня.
– Нельзя на сердце. Ты на правый ложись.
– Лягу, лягу…
Она чувствовала себя такой виноватой. Гриша вернулся к себе, лег в постель. Баба Дуня ворочалась, вздыхала. Не сразу отступало то, что пришло во сне. Внук тоже не спал, лежал, угреваясь. Про карточки он знал. На них давали хлеб. Давно, в войну и после. А Петяня, о котором горевала бабушка,– это отец.
В жидкой тьме лунного полусвета темнели шкаф и этажерка. Стало думаться об утре, о рыбалке, и уже в полудреме Гриша услыхал бабушкино бормотание:
– Зима находит… Желудков запастись… Ребятишкам, детишкам… – бормотала баба Дуня. – Хлебца не хватает, и желудками обойдемся. Не отымайте, Христа ради… Не отымайте! – закричала она. – Хучь мешки отдайте! Мешки! – И рыдания оборвали крик.
Гриша вскочил с постели.
– Бабаня! Бабаня! – крикнул он и свет зажег в кухне. – Бабаня, проснись!
Баба Дуня проснулась. Гриша наклонился над ней. В свете электрической лампочки засияли на бабушкином лице слезы.
– Бабаня… – охнул Гриша. – Ты вправду плачешь? Так ведь это все сон.
– Плачу, дура старая. Во сне, во сне…
– Но слезы-то зачем настоящие? Ведь сон – неправда. Ты вот проснулась, и все.
– Да это сейчас проснулась. А там…
– А чего тебеснилось?
– Снилось? Да нехорошее. Будто за желудями я ходила за Дон, на горы. Набрала в два мешка. А лесники на пароме отнимают. Вроде не положено. И мешки не отдают.
– А зачем тебе желуди?
– Кормиться. Мы их толкли, мучки чуток добавляли и чуреки пекли, ели.
– Бабаня, тебе это только снится или это было? – спросил Гриша.
– Снится,– ответила баба Дуня. – Снится – и было. Не приведи, Господи. Не приведи… Ну, ложись иди ложись…
Гриша ушел, и крепкий сон сморил его или баба Дуня больше не кричала, но до позднего утра он ничего не слышал. Утром ушел на рыбалку и, как обещал, поймал пять хороших бершей, на уху и жарёху.
За обедом баба Дуня горевала:
– Не даю тебе спать… До двух раз булгачила. Старость.
– Бабаня, в голову не бери,– успокаивал ее Гриша. – Высплюсь, какие мои годы…
Он пообедал и сразу стал собираться. А когда надел лыжный костюм, то стал еще выше. И красив он был, в лыжной шапочке, такое милое лицо, мальчишечье, смуглое, с румянцем. Баба Дуня рядом с ним казалась совсем старой: согбенное, оплывающее тело, седая голова тряслась, и в глазах уже виделось что-то нездешнее. Гриша мельком, но явственно вспомнил лицо ее в полутьме, в слезах. Воспоминание резануло по сердцу. Он поспешил уйти.
Во дворе ждали друзья. Рядом лежала степь. Чуть поодаль зеленели посадки сосны. Так хорошо было бежать там на лыжах. Смолистый дух проникал в кровь живительным холодком и, казалось, возносил над лыжней послушное тело. И легко было мчаться, словно парить. За соснами высились песчаные бугры – кучугуры, поросшие красноталом. Они шли холмистой грядой до самого Дона. Туда, к высоким задонским холмам, тоже заснеженным, тянуло. Манило к крутизне, когда наждаковый ветер высекает из глаз слезу, а ты летишь, чуть присев, узкими щелочками глаз цепко ловишь впереди каждый бугорок и впадинку, чтобы встретить их, и тело твое цепенеет в тряском лете. И наконец пулей вылетаешь на гладкую скатерть заснеженной реки и, расслабившись, выдохнув весь испуг, катишь и катишь спокойно, до середины Дона.
Этой ночью Гриша не слыхал бабы Дуниных криков, хотя утром по лицу ее понял, что она неспокойно спала.
– Не будила тебя? Ну и слава Богу…
Прошел еще день и еще. А потом как-то к вечеру он ходил на почту, в город звонить. В разговоре мать спросила:
– Спать тебе баба Дуня дает? – И посоветовала: – Она лишь начнет с вечера говорить, а ты крикни: «Молчать!» Она перестает. Мы пробовали.
По пути домой стало думаться о бабушке. Сейчас, со стороны, она казалась такой слабой и одинокой. А тут еще эти ночи в слезах, словно наказание. Про старые годы вспоминал отец. Но для него они прошли. А для бабушки – нет. И с какой, верно, тягостью ждет она ночи. Все люди прожили горькое и забыли. А у нее оно снова и снова. Но как помочь?
Свечерело. Солнце скрылось за прибрежными донскими холмами. Розовая кайма лежала за Доном, а по ней – редкий далекий лес узорчатой чернью. В поселке было тихо, лишь малые детишки смеялись, катаясь на салазках. Про бабушку думать было больно. Как помочь ей? Как мать советовала? Говорит, помогает. Вполне может и быть. Это ведь психика. Приказать, крикнуть – и перестанет. Гриша неторопливо шел и шел, раздумывая, и в душе его что-то теплело и таяло, что-то жгло и жгло. Весь вечер за ужином, а потом за книгой, у телевизора Гриша нет-нет да и вспоминал о прошедшем. Вспоминал и глядел на бабушку, думал: «Лишь бы не заснуть».
За ужином он пил крепкий чай, чтобы не сморило. Выпил чашку, другую, готовя себя к бессонной ночи. И пришла ночь. Потушили свет. Гриша не лег, а сел в постели, дожидаясь своего часа. За окном светила луна. Снег белел. Чернели сараи. Баба Дуня скоро заснула, похрапывая. Гриша ждал. И когда наконец из комнаты бабушки донеслось еще невнятное бормотание, он поднялся и пошел. Свет в кухне зажег, встал
возле кровати, чувствуя, как охватывает его невольная дрожь.
– Потеряла… Нет… Нету карточек… – бормотала баба Дуня еще негромко. – Карточки… Где… Карточки… – И слезы, слезы подкатывали.
Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, и даже ногу поднял – топнуть. Чтобы уж наверняка.
– Хлебные… карточки… – в тяжкой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.
Сердце мальчика облилось жалостью и болью. Забыв обдуманное, он опустился на колени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:
– Вот ваши карточки, бабаня… В синем платочке, да? ваши в синем платочке? Это ваши, вы обронили. А я поднял. Вот видите, возьмите,– настойчиво повторял он. – Все целые, берите…
Баба Дуня смолкла. Видимо, там, во сне, она все слышала и понимала. Не сразу пришли слова. Но пришли:
– Мои, мои… Платочек мой, синий. Люди скажут. Мои карточки, я обронила. Спаси Христос, добрый человек…
По голосу ее Гриша понял, что сейчас она заплачет.
– Не надо плакать,– громко сказал он. – Карточки целые. Зачем же плакать? Возьмите хлеба и несите детишкам. Несите, поужинайте и ложитесь спать,– говорил он, словно приказывал. – И спите спокойно. Спите.
Баба Дуня смолкла.
Гриша подождал, послушал ровное бабушкино дыхание, поднялся. Его бил озноб. Какой-то холод пронизывал до костей. И нельзя было согреться. Печка была еще тепла. Он сидел у печки и плакал. Слезы катились и катились. Они шли от сердца, потому что сердце болело и ныло, жалея бабу Дуню и кого-то еще… Он не спал, но находился в странном забытьи, словно в годах далеких, иных, и в жизни чужой, и виделось ему там, в этой жизни, такое горькое, такая беда и печаль, что он не мог не плакать. И он плакал, вытирая слезы кулаком. Но как только баба Дуня заговорила, он забыл обо всем. Ясной стала голова, и ушла из тела дрожь. К бабе Дуне он подошел вовремя.
– Документ есть, есть документ… вот он… – дрожащим голосом говорила она. – К мужу в госпиталь пробираюсь. А ночь на дворе. Пустите переночевать.
Гриша словно увидел темную улицу и женщину во тьме и распахнул ей навстречу дверь.
– Конечно, пустим. Проходите, пожалуйста. Проходите. Не нужен ваш документ.
– Документ есть! – выкрикнула баба Дуня.
Гриша понял, что надо брать документ.
– Хорошо, давайте. Так… Ясно. Очень хороший документ. Правильный. С фотокарточкой, с печатью.
– Правильный… – облегченно вздохнула баба Дуня.
– Все сходится. Проходите.
– Мне бы на полу. Лишь до утра. Переждать.
– Никакого пола. Вот кровать. Спите спокойно. Спите. Спите. На бочок и спите.
Баба Дуня послушно повернулась на правый бок, положила под голову ладошку и заснула. Теперь уже до утра. Гриша посидел над ней, поднялся, потушил в кухне свет. Кособокая луна, опускаясь, глядела в окно. Белел снег, посверкивая живыми искрами. Гриша лег в постель, предвкушая, как завтра расскажет бабушке и как они вместе… Но вдруг обожгло его ясной мыслью: нельзя говорить. Он отчетливо понял – ни слова, ни даже намека. Это должно остаться и умереть в нем. Нужно делать и молчать. Завтрашнюю ночь и ту, что будет за ней. Нужно делать и молчать. И придет исцеление.
1986

**А.Толстой. Русский характер.**

***Проблемы:***

1. ***О русском характере.***
2. ***О мужестве и смелости.***
3. ***Проблемы выбора***

Русский характер! Поди-ка опиши его... Рассказывать ли о героических подвигах? Но их столько, что растеряешься, — который предпочесть. Вот меня и выручил один мой приятель небольшой историей из личной жизни. Как он бил немцев — я рассказывать не стану, хотя он и носит Золотую Звёздочку и половина груди в орденах. Человек он простой, тихий, обыкновенный, — колхозник из приволжского села Саратовской области. Но среди других заметён сильным и соразмерным сложением и красотой. Бывало, заглядишься, когда он вылезает из башни танка, — бог войны! Спрыгивает с брони на землю, стаскивает шлем с влажных кудрей, вытирает ветошью чумазое лицо и непременно улыбнётся от душевной приязни.
На войне, вертясь постоянно около смерти, люди делаются лучше, всякая чепуха с них слезает, как нездоровая кожа после солнечного ожога, и остаётся в человеке — ядро. Разумеется — у одного оно покрепче, у другого послабже, но и те, у кого ядро с изъяном, тянутся, каждому хочется быть хорошим и верным товарищем. Но приятель мой, Егор Дремов, и до войны был строгого поведения, чрезвычайно уважал и любил мать, Марью Поликарповну, и отца своего, Егора Егоровича. «Отец мой — человек степенный, первое — он себя уважает. Ты, говорит, сынок, многое увидишь на свете и за границей побываешь, но русским званием — гордись...»
У него была невеста из того же села на Волге. Про невест и про жён у нас говорят много, особенно если на фронте затишье, стужа, в землянке коптит огонёк, трещит печурка и люди поужинали. Тут наплетут такое — уши развесишь. Начнут, например: «Что такое любовь?» Один скажет: «Любовь возникает на базе уважения...» Другой: «Ничего подобного, любовь — это привычка, человек любит не только жену, но отца с матерью и даже животных...» — «Тьфу, бестолковый! — скажет третий, — любовь — это когда в тебе всё кипит, человек ходит вроде как пьяный...» И так философствуют и час и другой, покуда старшина, вмешавшись, повелительным голосом не определит самую суть. Егор Дремов, должно быть стесняясь этих разговоров, только вскользь помянул мне о невесте, — очень, мол, хорошая девушка, и уж если сказала, что будет ждать, — дождётся, хотя бы он вернулся на одной ноге...
Про военные подвиги он тоже не любил разглагольствовать: «О таких делах вспоминать неохота!» Нахмурится и закурит. Про боевые дела его танка мы узнавали со слов экипажа, в особенности удивлял слушателей водитель Чувилев.
«...Понимаешь, только мы развернулись, гляжу, из-за горушки вылезает... Кричу: «Товарищ лейтенант, тигра!» — «Вперёд, кричит, полный газ!..» Я и давай по ельничку маскироваться — вправо, влево... Тигра стволом-то водит, как слепой, ударил — мимо... А товарищ лейтенант как даст ему в бок, — брызги! Как даст ещё в башню, — он и хобот задрал... Как даст в третий, — у тигра изо всех щелей повалил дым, — пламя как рванётся из него на сто метров вверх... Экипаж и полез через запасной люк... Ванька Лапшин из пулемёта повёл, — они и лежат, ногами дрыгаются... Нам, понимаешь, путь расчищен. Через пять минут влетаем в деревню. Тут я прямо обезживотел... Фашисты кто куда... А — грязно, понимаешь — другой выскочит из сапогов и в одних носках — порск. Бегут все к сараю. Товарищ лейтенант даёт мне команду: «А ну — двинь по сараю». Пушку мы отвернули, на полном газу я на сарай и наехал... Батюшки! По броне балки загрохотали, доски, кирпичи, фашисты, которые сидели под крышей... А я ещё — и проутюжил, — остальные руки вверх — и Гитлер капут...»
Так воевал лейтенант Егор Дремов, покуда не случилось с ним несчастье. Во время Курского побоища, когда немцы уже истекали кровью и дрогнули, его танк — на бугре на пшеничном поле — был подбит снарядом, двое из экипажа тут же убиты, от второго снаряда танк загорелся. Водитель Чувилев, выскочивший через передний люк, опять взобрался на броню и успел вытащить лейтенанта, — он был без сознания, комбинезон на нём горел. Едва Чувилев оттащил лейтенанта, танк взорвался с такой силой, что башню отшвырнуло метров на пятьдесят. Чувилев кидал пригоршнями рыхлую землю на лицо лейтенанта, на голову, на одежду, чтобы сбить огонь. — Потом пополз с ним от воронки к воронке на перевязочный пункт... «Я почему его тогда поволок? — рассказывал Чувилев, — слышу, у него сердце стучит...»
Егор Дремов выжил и даже не потерял зрение, хотя лицо его было так обуглено, что местами виднелись кости. Восемь месяцев он пролежал в госпитале, ему делали одну за другой пластические операции, восстановили и нос, и губы, и веки, и уши. Через восемь месяцев, когда были сняты повязки, он взглянул на своё и теперь не на своё лицо. Медсестра, подавшая ему маленькое зеркальце, отвернулась и заплакала. Он тотчас ей вернул зеркальце.
— Бывает хуже, — сказал он, — с этим жить можно.
Но больше он не просил зеркальце у медсёстры, только часто ощупывал своё лицо, будто привыкал к нему. Комиссия нашла его годным к нестроевой службе. Тогда он пошёл к генералу и сказал: «Прошу вашего разрешения вернуться в полк». — «Но вы же инвалид», — сказал генерал. «Никак нет, я урод, но это делу не помешает, боеспособность восстановлю полностью». (То, что генерал во время разговора старался не глядеть на него, Егор Дремов отметил и только усмехнулся лиловыми, прямыми, как щель, губами.) Он получил двадцатидневный отпуск для полного восстановления здоровья и поехал домой к отцу с матерью. Это было как раз в марте этого года.
На станции он думал взять подводу, но пришлось идти пешком восемнадцать вёрст. Кругом ещё лежали снега, было сыро, пустынно, студёный ветер отдувал полы его шинели, одинокой тоской насвистывал в ушах. В село он пришёл, когда уже были сумерки. Вот и колодезь, высокий журавель покачивался и скрипел. Отсюда шестая изба — родительская. Он вдруг остановился, засунув руки в карманы. Покачал головой. Свернул наискосок к дому. Увязнув по колено в снегу, нагнувшись к окошечку, увидел мать, — при тусклом свете привёрнутой лампы, над столом, она собирала ужинать. Всё в том же тёмном платке, тихая, неторопливая, добрая. Постарела, торчали худые плечи... «Ох, знать бы, — каждый бы день ей надо было писать о себе хоть два словечка...» Собрала на стол нехитрое — чашку с молоком, кусок хлеба, две ложки, солонку и задумалась, стоя перед столом, сложив худые руки под грудью... Егор Дремов, глядя в окошечко на мать, понял, что невозможно её испугать, нельзя, чтобы у неё отчаянно задрожало старенькое лицо.
Ну, ладно! Он отворил калитку, вошёл во дворик и на крыльце постучался. Мать откликнулась за дверью: «Кто там?» Он ответил: «Лейтенант, Герой Советского Союза Громов».
У него заколотилось сердце — привалился плечом к притолоке. Нет, мать не узнала его голоса. Он и сам, будто в первый раз, услышал свой голос, изменившийся после всех операций, — хриплый, глухой, неясный.
— Батюшка, а чего тебе надо-то? — спросила она.
— Марье Поликарповне привёз поклон от сына, старшего лейтенанта Дремова.
Тогда она отворила дверь и кинулась к нему, схватила за руки:
— Жив, Егор-то мой? Здоров? Батюшка, да ты зайди в избу.
Егор Дремов сел на лавку у стола на то самое место, где сидел, когда ещё у него ноги не доставали до полу и мать, бывало, погладив его по кудрявой головке, говаривала: «Кушай, касатик». Он стал рассказывать про её сына, про самого себя, — подробно, как он ест, пьёт, не терпит нужды ни в чём, всегда здоров, весел, и — кратко о сражениях, где он участвовал со своим танком.
— Ты скажи — страшно на войне-то? — перебивала она, глядя ему в лицо тёмными, его не видящими глазами.
— Да, конечно, страшно, мамаша, однако — привычка.
Пришёл отец, Егор Егорович, тоже сдавший за эти годы, — бородку у него как мукой осыпало. Поглядывая на гостя, потопал на пороге разбитыми валенками, не спеша размотал шарф, снял полушубок, подошёл к столу, поздоровался за руку, — ах, знакомая была широкая справедливая родительская рука! Ничего не спрашивая, потому что и без того было понятно — зачем здесь гость в орденах, сел и тоже начал слушать, полуприкрыв глаза.
Чем дольше лейтенант Дремов сидел неузнаваемый и рассказывал о себе и не о себе, тем невозможнее было ему открыться, — встать, сказать: да признайте же вы меня, урода, мать, отец! Ему было и хорошо за родительским столом и обидно.
— Ну что ж, давайте ужинать, мать, собери чего-нибудь для гостя. — Егор Егорович открыл дверцу старенького шкапчика, где в уголку налево лежали рыболовные крючки в спичечной коробке, — они там и лежали, — и стоял чайник с отбитым носиком, он там и стоял, где пахло хлебными крошками и луковой шелухой. Егор Егорович достал склянку с вином, — всего на два стаканчика, вздохнул, что больше не достать. Сели ужинать, как в прежние годы. И только за ужином старший лейтенант Дремов заметил, что мать особенно пристально следит за его рукой с ложкой. Он усмехнулся, мать подняла глаза, лицо её болезненно задрожало.
Поговорили о том и о сём, какова будет весна и справится ли народ с севом и о том, что этим летом надо ждать конца войны.
— Почему вы думаете, Егор Егорович, — что этим летом надо ждать конца войны?
— Народ осерчал, — ответил Егор Егорович, — через смерть перешли, теперь его не остановишь, немцу — капут.
Марья Поликарповна спросила:
— Вы не рассказали, когда ему дадут отпуск, — к нам съездить на побывку. Три года его не видала, чай, взрослый стал, с усами ходит... Эдак — каждый день — около смерти, чай, и голос у него стал грубый?
— Да вот приедет — может, и не узнаете, — сказал лейтенант.
Спать ему отвели на печке, где он помнил каждый кирпич, каждую щель в бревенчатой стене, каждый сучок в потолке. Пахло овчиной, хлебом — тем родным уютом, что не забывается и в смертный час. Мартовский ветер посвистывал над крышей. За перегородкой похрапывал отец. Мать ворочалась, вздыхала, не спала. Лейтенант лежал ничком, лицо в ладони: «Неужто так и не признала, — думал, — неужто не признала? Мама, мама...»
Наутро он проснулся от потрескивания дров, мать осторожно возилась у печи; на протянутой верёвке висели его выстиранные портянки, у двери стояли вымытые сапоги.
— Ты блинки пшённые ешь? — спросила она.
Он не сразу ответил, слез с печи, надел гимнастёрку, затянул пояс и — босой — сел на лавку.
— Скажите, у вас в селе проживает Катя Малышева, Андрея Степановича Малышева дочь?
— Она в прошлом году курсы окончила, у нас учительницей. А тебе её повидать надо?
— Сынок ваш просил непременно ей передать поклон.
Мать послала за ней соседскую девочку. Лейтенант не успел и обуться, как прибежала Катя Малышева. Широкие серые глаза её блестели, брови изумлённо взлетали, на щеках радостный румянец. Когда откинула с головы на широкие плечи вязаный платок, лейтенант даже застонал про себя: поцеловать бы эти тёплые светлые волосы!.. Только такой представлялась ему подруга, — свежа, нежна, весела, добра, красива, так, что вот вошла и вся изба стала золотая...
— Вы привезли поклон от Егора? (Он стоял спиной к свету и только нагнул голову, потому что говорить не мог.) А уж я его жду и день и ночь, так ему и скажите...
Она подошла близко к нему. Взглянула, и будто её слегка ударили в грудь, откинулась, испугалась. Тогда он твёрдо решил уйти, — сегодня же.
Мать напекла пшённых блинов с топлёным молоком. Он опять рассказывал о лейтенанте Дремове, на этот раз о его воинских подвигах, — рассказывал жестоко и не поднимал глаз на Катю, чтобы не видеть на её милом лице отражения своего уродства. Егор Егорович захлопотал было, чтобы достать колхозную лошадь, — но он ушёл на станцию пешком, как пришёл. Он был очень угнетён всем происшедшим, даже останавливаясь, ударял ладонями себе в лицо, повторял сиплым голосом: «Как же быть-то теперь?»
Он вернулся в свой полк, стоявший в глубоком тылу на пополнении. Боевые товарищи встретили его такой искренней радостью, что у него отвалилось от души то, что не давало ни спать, ни есть, ни дышать. Решил так: пускай мать подольше не знает о его несчастье. Что же касается Кати — эту занозу он из сердца вырвет.
Недели через две пришло от матери письмо:
«Здравствуй, сынок мой ненаглядный. Боюсь тебе и писать, не знаю, что и думать. Был у нас один человек от тебя, — человек очень хороший, только лицом дурной. Хотел пожить да сразу собрался и уехал. С тех пор, сынок, не сплю ночи, — кажется мне, что приезжал ты. Егор Егорович бранит меня за это — совсем, говорит, ты старуха свихнулась с ума: был бы он наш сын — разве бы он не открылся... Чего ему скрываться, если это был бы он, — таким лицом, как у этого, кто к нам приезжал, гордиться нужно. Уговорит меня Егор Егорович, а материнское сердце — всё своё: он это, он был у нас!.. Человек этот спал на печи, я шинель его вынесла на двор — почистить, да припаду к ней, да заплачу, — он это, его это!.. Егорушка, напиши мне, Христа ради надоумь ты меня, — что было? Или уж вправду — с ума я свихнулась...»
Егор Дремов показал это письмо мне, Ивану Судареву, и, рассказывая свою историю, вытер глаза рукавом. Я ему: «Вот, говорю, характеры столкнулись! Дурень ты, дурень, пиши скорее матери, проси у неё прощенья, не своди её с ума... Очень ей нужен твой образ! Таким-то она тебя ещё больше станет любить».
Он в тот же день написал письмо: «Дорогие мои родители, Марья Поликарповна и Егор Егорович, простите меня за невежество, действительно у вас был я, сын ваш...» И так далее и так далее — на четырех страницах мелким почерком, — он бы и на двадцати страницах написал — было бы можно.
Спустя некоторое время стоим мы с ним на полигоне, — прибегает солдат и — Егору Дремову: «Товарищ капитан, вас спрашивают...» Выражение у солдата такое, хотя он стоит по всей форме, будто человек собирается выпить. Мы пошли в посёлок, подходим к избе, где мы с Дремовым жили. Вижу — он не в себе — всё покашливает... Думаю: «Танкист, танкист, а — нервы». Входим в избу, он — впереди меня и я слышу:
«Мама, здравствуй, это я!..» И вижу — маленькая старушка припала к нему на грудь. Оглядываюсь, тут, оказывается, и другая женщина. Даю честное слово, есть где-нибудь ещё красавицы, не одна же она такая, но лично я — не видел.
Он оторвал от себя мать, подходит к этой девушке, — а я уже поминал, что всем богатырским сложением это был бог войны. «Катя! — говорит он. — Катя, зачем вы приехали? Вы того обещали ждать, а не этого...»
Красивая Катя ему отвечает, — а я хотя ушёл в сени, но слышу: «Егор, я с вами собралась жить навек. Я вас буду любить верно, очень буду любить... Не отсылайте меня...»
Да, вот они, русские характеры! Кажется, прост человек, а придёт суровая беда, в большом или в малом, и поднимается в нём великая сила — человеческая красота.

1942-1944

**3.Человек и природа в отечественной и мировой литературе**

**Борис Екимов «НОЧЬ ПРОХОДИТ...»**

*Самые яркие проблемы рассказа:
Осуждение сталинских репрессий...
Как безграничная власть уродует душу человека...
Главное - душу спасти...*
На шумном станичном базаре, в субботу, среди бела дня, ходила расхристанная немолодая баба и кричала в голос: «Чакалка подох! Люди добрые, Чакалка подох! — Кричала она и плакала.— Да какой же черт его сумел пербороть, господи...»
Коренные станичные жители не ведали, о каком Чакалке речь, и. бабьим речам внимая, посмеивались. Но вы¬ходцы хуторов Вихляевского, Тепленького, Тубы, Рубеж¬ного, Большой и Малой Дубовки, Головки тоже, Малой и Большой, Поповки, Ястребовки,— словом, всей забузулуцкой стороны, тем было не до смеха. Лишь услышав, спешили они на зов, дотошлнво бабу расспрашивали, а потом, в свой черед, дальше весть передавали. И пошла гулять по базару и станице помолвка: «Роман Чакалкин помер».
Весна стояла, апрель, майские праздники подходили, зацветали сады.
А в тридцати километрах от станицы, на хуторе Теп¬ленький, как и всегда в эту пору, беспутный бобыль Ша¬ляпин уходил на летнее житье. В колхозе отсеялись. Последнюю деляну за Дубовским мостом кончали ночью. Шаляпин уже по-светлому трактор на хутор пригнал, поставил его и пошел домой. Добрый десяток дней он из трактора не вылезал и спал в нем привычно. А теперь, когда разом обрезался машин¬ный гул и лязг, хуторская жизнь вокруг текла в сказочной тишине. Сладко постанывали голуби у амбаров, петухи орали вразнобой, захлебывалось скворцы, и редкие людские голоса медленно плыли над землей в весеннем сизо¬ватом утре. В отвычку идти было, как-то неловко, тянуло сесть. Ноги подгибались и несли тяжелое тело словно впри¬сядку. Так всегда бывало после долгой осенней пахоты и сева и весной.
Перед самым домом встретил Шаляпина старый Кацура. Встретил и долго расспрашивал, что сеяли да как. Ша¬ляпин все толком объяснил. Басок его словно в бочку гудел в разговоре:
— Бу-бу-бу-бу...
Говорил он не больно внятно, в десяти шагах уже и не разберешь, но зато слышалось на весь хутор:
— Бу-бу-бу-бу...
За этот говорок и звали его Шаляпиным.
Кацура — старик дотошливый и ехидный — в конце разговора подсмеялся.
— Теперь домой? — спросил он.— Хозяйство править? Огород сажать?
— Посадим,— пообещал Шаляпин.— Руки-ноги есть.
И так веско прозвучало его обещание, что старый Кацура на мгновение опешил и проводил Шаляпина удив¬ленным взглядом.
А Шаляпин, последнюю сотню метров до своего дома одолев, прибыл домой. В хату он не пошел, а уселся на крыльце, перекурить и обдумать. Перед домом лежал бурьянистый огород. Новая зеленка и сухой старник сплетались там год от года, от низов наползали терны. Крыша на сараях прохудилась, на базах гулял ветер.
Шаляпин хозяйства не вел. Спасибо хата была шифером ошелевана и накрыта и потому ничьих рук не просила. Но после ясного дня, высокого неба и солнышка не хотелось в дом. Там было неуютно. И потому из года в год, по весне, бросал Шаляпин свою насквозь прокопченную хату и уносил пожитки на берег речки, в займище. Там он летовал до холодов. И теперь, сидя на крылечке и покуривая, Шаляпин представлял, как обоснуется под старой вербой хорошо отоспится, в тишине и покое. Как порыбалит... Шаляпин был видом диковат: сивые патлы стриг редко, черную бороду запустил староверскую, из нее лишь глаза глядели да сизоватый нос. Любил он рыбачить. И когда сидел где-нибудь над речкой, в кустах, его можно было за лешего принять и до смерти перепугаться.
Покурив, Шаляпин вошел в дом. Там было сумрачно, тянуло из углов зимней стылостью, приторный запах горелой солярки не выветрился до сей поры. По зиме топил Шаляпин не дровами, а соляркою, удивляя хутор. Ставил в печь чугунок, заливал горючее, и дымила шаляпинская труба не хуже паровозной.
В просторный матрасный мешок сложил он свои пожитки: тюфяк да старое одеяло, котелок да чашку с ложкой – щербу хлебать. Кто-то наведывался в дом без хозяина. Валенки с печи стянул и бросил посреди хаты. Шаляпинское жилье не запиралось. И не считал кое-кто грехом попытать в его углах счастья.
Собрался Шаляпин быстро и зашагал к диким садам, к речке. Правда, к магазину он свернул, купил хлеба, курева, крупы и кое-чего еще.
— Будем щи варить,— пошутил он с продавцом и хохотнул добродушно.
Из года в год летовал он в привычном месте, под старой неохватной вербой, на заречной стороне против хутора. Кладка через речку была ненадежной, и без дела ее не переходили.
К своему логову Шаляпин пришел впору. Солнце уже встало «в дуб» и хорошо нагрело жесткое подножие вербы и землю. Кинув телогрейку, он сел возле дерева, чуя его живую горячую плоть. Мешок не стал разбирать, лишь вынул буханку хлеба, краюху отломил, намочил в сладкой речной воде, пожевал и заснул.
Он засыпал покойно, откинувшись на просторном подножии вербы. Засыпал, словно погружался в глубокий и светлый речной омут; опускался и слышал, как поют над ним, все тише и тише, лесные птицы: как солнце греет, и ласкает ветер, и шелестит листва. Долгий сон смежил очи, обещая ему покой. Недоеденная краюха осталась в руке, на земле. Старая ежиха, учуяв Шаляпина, вышла из гнезда и занялась хлебом. Ежиха селилась тут пять лет подряд, знала Шаляпина и не боялась его.
Шаляпина знали все в округе: и звери, и люди. Странная это была личность. Родился и вырос он в Тубе, там и теперь жили его братья и сестры, отец с матерью. Но в родном хуторе не бывал он много лет.
— Я – найда, меня отец с дерева снял, - коротко объяснял он холодность родственных отношений. В Тубе его, горемычного, оплакали и уже редко вспоминали. Словно и не было в семье старшего сына.
Тут же, неподалеку, на хуторе Рубежном, много лет вдовела жена Шаляпина с большой уже дочерью. И туда Шаляпин был не ходок. Он прижился на Тепленьком, бедовал здесь давно. Как пришел с трехлетней отсидки на чу¬жой хутор, так и осел. Привыкли к нему, дали свое прозви¬ще, Шаляпин, имя забыв. Он загуливал порой на неделю и тогда из хаты не вы¬ходил. Его ругали. Но Шаляпин, отрезвев, падал в ноги управляющему: «Прости». И грехи ему отпускались, пото¬му что работником он был дорогим. В посевную, на пахоте, в уборочную — из машины не вылезал. Садился на бульдозер, на «Кировец», па «Беларусь» — везде его место было.
О дурных его заработках сказки рассказывали. Но текли эти денежки — вешней водой. Часто его обирали и в хате хозяйничали.
Так и жил Шаляпин. В бороде, волосатый, черноликий, в затерханной одежонке — страх посмотреть. На работу он шел, с работы, больше молчком. Порою бродил по хутору, иногда беседовал: «Бу-бу-бу-бу...» Зимой жил в прокурен¬ной хате, летом — на воле.
И здесь, за речкой, в займище, жилось ему не в пример веселее. И долгой зимой мечталось о сегодняшнем часе, когда просыпаешься не в хате, а под зеленой крышей. Как теперь.
Под вечер, проснувшись, Шаляпин не сразу понял, где он: в сладком ли сне или наяву плещет вода, соловей по¬щелкивает и высится над головой в золотистом сиянии цветущая верба, и райский дух от нее. Он лежал, замерев, боясь спугнуть дорогую минуту счастливого сна, если сон это.
Но то была явь, конец апреля, щедрая весна. И, поверив, Шаляпин встал и принялся за дела.
У подножия вербы, на старом месте, поставил он шалаш, сухим чаканом его устелил и накрыл. Достал из ухоронкн удочки и быстро наловил рыбы на уху: жирных сазанчиков, громко чавкающих круглыми ртами, и черных окуней с алыми плавниками. Ловить рыбу Шаляпин умел. Он все лето жил рыбой, неверным деньгам не доверяясь.
Скоро поспела уха.
Текучая вода подшептывала в камышах, плескалась рыба. На хуторе, за рекой, встречали скотину, и коровий мык стоял, людские зовущие голоса. Садилось солнце остылым шаром. И в вечерних сумерках, приглушая зелень, словно вскипала сахарная бель цветущих садов. Топили округу пенистые яблони и терны; могучие храмины груш встава¬ли беломраморными глыбами. Солнце уходило, зажигая редкие высокие облака. А над речкой стояли вербы в пол¬ном цветении. Их золотистые главы поднимались все выше, словно уплывали от земли, растворяясь в нежной зелени, в мягкой желтизне весеннего вечернего неба. А на земле наступала ночь.
Шаляпин похлебал уху и мыл котелок в теплой речной воде, когда поодаль, там, где лежала через речку ненадеж¬ная кладка из вербовых да тополевых веток, чей-то голос забормотал, словно ругаясь, потом послышались плеск и аханье — кто-то шел через кладку, направляясь, как вид¬но, сюда, к шаляпинскому стану. Гости Шаляпину не были нужны. Он хотел покурить, пригасить костерок и уснуть до утренней зари, до клева. Но кто-то шел теперь берегом, ругаясь в голос:
— Забрался... Сатаново дите... Лешак глупомордый...
По голосу Шаляпин признал Варечку Сисиху, преста¬релую бабу, которой видать крепко приспичило, коли она и сюда добралась. «Не дам,— подумал Шаляпин.— Приважишь, потом не отлепится». На хуторе Сисиха часто навещала шаляпинскую хату. Но то был хутор. А летом Шаляпин старался жить потрезвее.
— Черт безродный...— выбралась наконец на свет, на поляну Варечка.— Чуток не потонула. Оборвалась, а тама глыб... Кладку бы починил — мосток сделал...
Шаляпин гулко кашлянул, бабьей болтовни не одобряя. Кашлянул и поднял на Сисиху глаза.
Варечка Сисиха была стара и износилась до срока. Смолоду развеселая, с вечной цигаркой в зубах, теперь она гляделась глубокой старухой, с черным ликом, впалы¬ми щеками и носом, с беззубым ртом. Сисихой прозвали ее смолоду за редкостное даже для деревенской бабы добро, которое она горделиво носила под кофтой.
Но все утекло, а к старому часу так и осталась Сисиха Варечкой, девкой, хоть и рожала, и сына вырас¬тила.
— Ашаул, - подойдя к костерку, Снспха скинула мокрые чирики и, подол выжав, стала сушить его над огнищем.— Ищу тебя, ищу. Тута такие дела заходят, а он увеялся. Согреться бы? — зябко поеживаясь, спросила она.— Кабы не заболеть.
— Обойдешьси,— коротко ответил Шаляпин.
— Ты ничего не знаешь,— посверкивая глазами, продолжала Варечка, будто и
не слышала отказа.— Такие дела…— она запнулась и выпалила: — Роман помер, Чакалкин, — и смолкла совсем.
— Не брешешь? — осекшимся голосом спросил Шаляпин.— Роман?
— Да чего... Да разве я такое... Да ты в уме...— замахала руками Сисиха,
заохала, засморкалась.— Сам Тара¬сов сказал, на центральную он ездил. Помер, сказал, завтра хоронить. — Измокла вся,— показала она на мокрый подол.— Думаю, надо сказать… Как-никак...
— Значит, помер...— проговорил Шаляпин, подни¬маясь. В тернах у него
была ухоронка, и он принес оттуда бу¬тылку.
— Помер, помер,— живей заговорила Снсиха.— Три дня всего пролежал,
помер. Все же, как ни говори...
Сисиха, получив желанное, приходила в себя, для Шаляпина же столь ошеломляющей была новость, что он не мог ей поверить.
А над землей встала теплая весенняя ночь. Редкие соловьи, словно молодые неуки, щелкали, сбиваясь, и замол¬кали. Зато согласный хор «водяных быков» гудел по речке, не умолкая. И вверху, и внизу, и поодаль — по теплым разливам Ильмень-озера.
— Значит, помер,— наконец поверил Шаляпин.— Второго веку не взял.
— Помер, помер,— подтвердила Снсиха.— Тарасов говорит, вдарило его. Три дни колодой лежал, чуть дыхал. Но при уме. Глядит и языком вроде варнакает. Недолго лежал. Завтра похоронять. Ты пойдешь?
— Без меня закопают,— ответил Шаляпин.
— Похорон будет богатый. Все же человек... Во славе ходил. Музыку привезут, железные венки из района. Помин...
— Я б его помянул...— процедил Шаляпин.— Да и его помянут люди добрые.
— Гутаришъ не знай чего,— осуждающе протянула Сиснха.— Какой-никакой, а тесть, а ты такие слова...
— А за что его здравствовать? Чего он доброго сделал? Одни вреды.
Хмель уже вошел в Сисихину голову, и она ожила, распрямилась.
— Ты, Шаляпин, несешь околесом... брехни всякие. А я знаю, я на блнзу была. А такие слова... бог не свелел так об покойнике, грех. Тем более он тебе не чужой.
Сисиха говорила торопясь, захлебываясь. Покойного теперь Чакалина знала вся округа, и стар и млад. Долж¬ность у пего была немалая, агент по сельхозналогу. Жил он в Рубежном, но под рукой его ходили все забузулуцкие хутора: от Тубы и Вихляевки до Поповки и Ястребовки — все его. Так что был Роман человеком известным. А уж Сисихе вовсе родным. Роман приглядел ее смладу и прислонил к себе. От него она двух детишек родила. Дочка умерла в детстве, сыну Евгению сейчас было тридцать.
Под Чакалкиным Сисиха жила хорошо, колхозной работы сроду не видала, принимая от хуторян молоко за налог. Правда, замуж ее не взяли, так и осталась девкой до седой косы. Но что замуж? Сколько баб Сисихиной вольной жиз¬ни завидовало... И неспроста.
И потому теперь, после смерти друга, не могла, не хоте¬ла Варечка о нем худого слыхать.
— Ему государство указывало... Вы лишь об себе, под себя гребли,— внушала она Шаляпину.— Все об себе, доху на вас нет! А он об государстве, у него об деле душа кровила. Ни ночью, ни днем покоя. Такая воина. Фронт требует... Все для фронта, все для победы! — гвоздила она кулаком, вспоминая давние слова, от которых и прежде, и даже те¬перь что-то внутри холодело.
Шаляпин глядел в огонь, Сисиху не слушая и не слыша. Но думалось ему о тех же далеких днях. Близ огня, в багровом его неверном свете смутно белели терны да неохватный корявый ствол вербы уходил ввысь, пропадая во тьме. Темнота висела низко над огнем, стояла рядом, а па той стороне, в хуторе, словно сбесились собаки. Одна за другой поднимали они тревогу, лаяли злоб¬но, взахлеб, не умолкая. Вот и Тарасов кобель зашелся в хриплом лае, за ним соседский - Чурьков. потом визгливая сучка бабки Сладухи. Зверь ли, чужой человек, но кто-то тревожил их.
Шаляпин поднял голову.
— Либо лиса? — подумал он вслух.
Сисиху другое волновало. Она Шаляпину и другим гро¬зила:
— Государство... Вам не понять! Не к рукам цимбалы Страна напрягается...
Кулаческий элемент... Казачество... И тебя за такие слова... Никакой пощады! — горели глаза ее, рубила воздух рука. Молодость, золотая молодость слов¬но вернулась к Варечке, все заслоняя.
Между тем собачий брех на хуторе понемногу стихал, по кто-то шел садом, насвистывая и напевая. Возле речки, па кладке, замолк, а миновав ее, снова засвистел. Шаляпин все слышал и потому не удивился, когда вынырнул из тер¬нов и гаркнул: «Бросай оружие! Окружены!» — молодой мужик в костюме и шляпе.
— Женик! Сынок! — охнула Сисиха и замерла.— Ты отколь? Среди ночи?
Не отвачая, Женик поднял голову, прислушался к собачьему лаю, который
еще не утих там, за речкой, сказал:
— Вот это я им дал. Расшуровал. Теперь все проснулись. А вы неплохо устроились,— оглядел он поляну.
Варечкин Женин, по-хуторскому — Сисек, из дома ушел давно. Был он уже не первой младости, поистрепался но кочетился: волосы красил, шляпы и галстуки носил, часто женился. Теперь он жил на станции, в примаках, на хуторе не объявляясь. Это было к лучшему: к матери Сисек прибегал лишь в пору крушений. Приезжал, отлеживался. Сисиха справляла ему одежонку, деньжат добывала, залезая в долги на несколько пенсий вперед. II отбывал он прочь. И теперь Варечке почудилось горькое.
— Чего приключилось, сынок? — обмирая, спросила она.— Либо с Веркой...— не договорила и смолкла.
— Ха... Ты даешь, мать,— усмехнулся Сисек, закуривая,— Отец помер. Ты хоть знаешь?
— Знаю...— выдохнула Варечка. — А ты при нем был?
— Я еще позавчера приехал, живым застал.
— Ну и как?
— Чего как... Сучки эти косоглазые шипят. А отец, он со мной...
— Он тебя всегда жалел,— потеплела Снсиха.
В законной своей семье Роман Чакалкин несчастливо имел трех дочерей, мальчика так и не дождавшись. И пото¬му, презирая обычай. Женина считал своим родным сыном, особенно смальства. Он привозил его в дом — жена не смела перечить — и баловал. Дочек приучил называть его бра¬том. Правда, когда Женик в года вошел, Роман к нему поостыл. Но признавать признавал, да и домашние уже привыкли.
— Те шипят, змеюки...
— А отец? Он-то как? Рад небось? Ты возле него сидел? Он с тобой гутарнл?
— Гутарщик из него...— махнул рукой Женик.— Так... Глядит. Ну, иногда слово молвит,— он вспомнил и усмехнулся.— Халдычит одно: труба да труба.
— Какая труба? Об чем это? — недоуменно спросила Варечка.
— Да кто знает Вроде капец, кончаюся. До скольких раз яственло так говорил: труба, труба.
— Видно, не в себе...— вздохнула Снснха.
А Шаляпин, поднял свою лешачью голову и сказал:
— Он, може, про деньги, про золото тебе говорил. Дескать, в трубе.
Прилюдно он говорил?
— Нет...— растерянно ответил Женик.
— Ну вот...— опустил Шаляпин взгляд и костром занялся.
Первой опомнилась Сисиха.
— Ты чего, Шаляпин? Либо умом рехнулся? Какое золото? Какая труба? — встревоженно говорила она.— У него смерть в глазах, он и гутарил без ума. А ты золото, деньги...— глаза ее испуганно бегали от сына к Шаляпину.
А Шаляпин молчал, в костерок наломал веток, погля¬дел, как горят они, а потом лишь сказал:
— Да это я так... Подумакиваю... Може, сынку...
— Ничего себе, подумакиваешь,— кипятилась Сисиха.— Нет, ты, Шаляпин...
А Женик сидел, прикусив язык, и сам себе приказывал: «Молчи, молчи... Перемолчать надо». А душа его горе¬ла, и в голову ударила кровь.
Шаляпин брякнул сдуру, как с дубу, не ведая. Но дурное слово его так в пору пришлось, и Женек корил себя за недогадливость. Ведь это он у отца выпросил, вымолил счастье. Наедине, у постели, взяв отца за руку и низко пригнувшись к нему, он шептал в большое оттопыренное ухо:
— Отец, отец... Ты бы мне чего оставил. Ведь сестрам все. Они хозяйки. Меж собой поделят, а меня — в тычки. Они — в законе, я — найда. А ты бы мне, отец, оставил деньжат.— Женик знал, что деньги были, и немалые, даже золото. Он помнил, как в детстве отец показывал ему монетки с орлом и царем, показывал и смеялся: «Чуешь, чем пахнет?» И потому Женик просил: — Живу-то... Верка меня пилит. Да и мать — старая. Я бы ее к себе взял, докармливал. Я у тебя один сын.
Женик говорил, отец слушал, и рука его была горячей, взгляд добрым, но вот ответить не мог, лишь повторил несколько раз: «Труба... труба...» Явственно повторил.
Там, у постели умирающего, Женик злился, теперь же понял, что отец ему говорил о деле, о деньгах, о наследстве. Сообразить бы раньше и расспросить, о какой трубе речь. Что за труба? Печная? В ной деньги погорят. А может, золото?
Отец лежал пластом, руки не поднимая. Но глядел он вверх. И с каждой минутой все тверже и явственнее представлял Женик красноречивый взгляд отца, указывающий вверх. Конечно, у отца было накопленное на черный день, об этом вес знали, хотя и не видели. Женику иногда перепадало. Отец хоть и прижимист был — особенно в последние годы,— покряхтывал, но помогал. И, умирая, он, конечно, оставил накопленное не этим косоглазым, а сыну, единственному, которого любил. И это справедливо. Дочерям остался дом и много добра в сундуках и комодах, за жизнь не прожить. Сыну он решил оставить деньгами.
И в гудящей от счастья голове Женика начинали гнездиться сладкие мысли о завтрашнем дне. Как возьмет он деньги. Как купит машину и будет ездить на ней. Новый дом построит, в два этажа. Наконец-то по-хорошему женится, отвязавшись от Верки. Возьмет себе бабу молодую, с образованием. И заживет счастливо, с новой семьей.
Горела, горела душа.
Женик стал довольно откровенно намекать на великие в его жизни перемены, которые произойдут вот-вот. Говорил о машине, о новом доме, о жене-врачихе. Варечка млела от счастья.
Но наконец они собрались и ушли. Время было позднее, а завтра предстояли немалые дела — похороны.
Шаляпин проводил гостей через речку, чтобы не перетонули, и вернулся к себе. Костерок притухал, и он оживил его пламя, повесил на треногу чайник.
Белая весенняя ночь стояла над землею. Светлоликая луна глядела с неба. В спокойной воде чернели прибрежные вербы. В ночной тишине и покое в полный глас пели соловьи. Казалось, каждый терновый куст звенит, мешая трель и нежный высвист, хрустальный звон, щелканье и звучный раскат — серебряный гром по ясной скляни воды. Каждый терновый куст белым цветом цветет и бьет живым ключом соловьиного пенья.
В этот живой благовест временами врезался долгий протяжный стон. Ночная птица ли, водяной, но кто-то кричал, печально, с надрывом. И тоскою в душе отзывался неведомый плач, тоскою и болью.
Шаляпин чаю заварил и долго хлебал горячее, горькое, железом пахнущее питие. Такою ясною становилась голова, так много в ней помещалось и четко виделось все: от сегодняшнего часа до дней прошлых, далеких. И в дальние поля можно было уходить и жить в них, радуясь, скорбя и плача. Такое бывало нередко.
Как голодному кобелю вечно снится сладкий мосол, так и бедному Шаляпину часто грезилось доброе. О жизни как у людей.
Возле костра лежал красноватый мерклый отблеск. Для Шаляпина он был слишком светел, и, словно чего-то боясь, он ушел к берегу и там, в вербовой тени, над водою, сел и замер.

И скоро в тишину и соловьиное пенье пришел еще один звук, человечий. Тоненько, осторожно Шаляпин запел:
Ночь проходит, а я — у порога,
Словно тополь у края села.
Милый мой, ой, какая дорога
Далеко между нами легла.
Песня была бабья, и пел ее Шаляпин по-бабьи, подголашивая. Да и он ли пел? Мог ли пробиться из луженой и перелуженной глотки этот слабенький ручеек: «Может быть, полюбил ты другую, так скажи, сколько лет тебя ждать...» Он даже не пел, выговаривал, срываясь и глотая слова:
Почему ты мне писем не пишешь?
Или ты позабыл про меня?
Или ты, засыпая, не слышишь,
Как тоскую я здесь без тебя?
И во тьме, в тишине, в безлюдье никто не слышал его. И никто не видел, как, перекашивая волосатый лик, плачет Шаляпин. И как страшен он во слезах. А в душе было светло и виделось такое далекое. И пел, конечно, не он... Разве мог он петь, разве умел?
Это звенел ясный девичий голос в ночи, в весне. Далекий, дорогой голос из прошлых лет, ушедших, но незаб¬венных.
Ночь проходит, а я у порога.
Словно тополь у края села…
Много лот назад на хуторе Тубянском эту песню любили девчата. Жалостливо и тонко выводила ее Молька Чигорова дочка вдовы Чигарихи. В ту пору жил Шаляпин в семье, старшим сыном. В детистой семье Нистратовых, где друг за другом семеро поднимались.
Потом, после всего, Молька уехала, завербовалась в Сибирь на стройки.
Скоро, скоро я приеду,
Да ты, мама, пожалей,
Болят руки от лопаты
И спина от кирпичей,—

припевали в те времена. Но старая Чигариха померла. Мольке некому было жалиться и не к кому приезжать. След ее затерялся.
А теперь, через годы, Шаляпин звал ее, пел для нее в ночи и плакал.
Или ты, засыпая, не слышишь,
Как тоскую я здесь без тебя?
К костру он не пошел. Ватник бросил возле воды и прилег. В ночи, в безветрии дух цветущей вербы, казалось, густел и чуяли сладость его даже губы. Вскипал и ярился соловьиный бой. Казалось, уже вся округа звенит единую, торжественную, к небесам восходящую песнь. А Шаляпину виделись далекие дни.
Трясучее железное сиденье, лобогрейка, потные, алостью отдающие крупы лошадей и высокие, хлеба — уборка. И Роман Чакалкин коршуном упал, желтоглазый и злой:
— Государственное зерно жрешь?! Пашеничку?! Суслачина... Какое имеешь
право?! Привлечь?!
А он и вправду пшеницу жевал. Колос шелушил и жевал сладкую клейковину. Время несытое, и зернышку рад. А тут Роман налетел, Чакалкин.
Как обидно и страшно... Он плакал и запомнил надолго, выходит, на всю жизнь. Потом, в зятьях у Чакалкина, спрашивал: «Чего ты пугал меня, отец?..» Роман посмеивался: «Должность такая...»
А должность у Чакалкина вправду была высокая. Его все в округе боялись — и стар и млад. Им стращали детей от зыбки: «Доорешься, Чакалкину отдам». А он и впрямь был страшноват: высокий, костистый, с желтым зраком из-под нахмуренных бровей — такой заберет.
Помнилось в детстве, как Чакалкнн кудель у матери забирал, прямо с прялки. Мать пряла и недоглядела. Заслышав дверной скрип, охнула — Чакалкин стоял на пороге. Шаг шагнул я уже возле прялки. Сорвал куделю и словно из мертвых рук матери напряденную шерсть вынул.
— Ребятам... Чулочки... Зима находит…— оправдываясь, бормотала мать, а сама, словно ненароком, старалась заслонить изголовье кровати.
Но Чакалкин эти хитрости давно изучил. Он отслонил мать, завернул у изголовья полость и вынул еще два клубочка и шерсть. Мать заплакала, попросила:
— Напряденное бы оставил...
— Недоимку сдай, тогда все — твое,—коротко ответил Роман, удаляясь.
Испуганная ребятня провожала его взглядами. Вот мелькнула высокая тень за окном, хлопнули воротца. В го¬лос заплакала, запричитала мать:
— Чтоб тебя, ненасытного... Сладил с бабой...
Но Чакалкин и мужиков не миловал, рога сворачивал самым зубатым.
— Недоимка за сад шестьсот рублей...
— Да там корчевье одно, только название — сад, сенцо косим,— оправдывался
хозяин.
— Какая ни вишенка, а есть, сбираешь,— гнул свое Роман.— На этот
год переведешь, поглядим. А ныне —плати.
А на другом базу иная беда:
— Картошка, я гляжу, у тебя никудовая...
— Да чем она тебе не поглянулась? — пугался хо¬зяин.
— Никудовая. Козий котях. Не приму. Маслом или мясом заплатишь.
— Господь с тобой!
— Мне не господь, мне государство указывает, — строжел Чакалкин. Государство!
Время было несладкое: пять копеек за трудодень да граммов триста зернецом, а сдай, сдай... Масло, шерсть, картошку, яички да займу рублей на триста... И как с Романом спорить, когда за спиной его власти и суд... И, бывало, визжал в мешке поросенок, покидая хозяйский баз; овечки уходили спокойно за Романовой бричкой, швейная машинка «Зингер» — хуторская гордость — уп¬лыла из двора Махоры Скуридиной в крепких Романовых руках. Любил Чакалкин и по сундукам полазить, одно слово — дер.
Ночь уже клонилась к утренней поре, скрылась луна за деревьями, когда Шаляпин уснул. Но сон его был недол¬гим.
Прискакал на заре верховой, коня оставил на тон стороне реки, у переправы, сам пошел к шаляпинскому логову, оставляя на росной траве полосы света.
— Дядька Василии!! — крикнул он, останавливаясь возле потухшего костра.
Ты где?! Живой?!
Шаляпин проснулся, но полузабытое имя свое не сразу вспомнил и не враз уразумел, что зовут его. Наконец он отозвался:
— Тут я...— встал и пошел к гостю.
Ранний гость был родней, племянником он вроде доводился. Правда, видел его Шаляпин давно и, считай, за¬был.
— Я к тебе, дядька Василий, с приказом. Дед Роман помер, не передавали? Ныне похоронять. В два часа выносить. Тетка Лизавета приказала...
— Приду...— кивнул лохматой головой Шаляпин.
Племянник уехал. Ему нужно было еще на Вихляевский сбегать, с той же вестью.
Шаляпин разжег костер, чайник подвесил, но не успела в нем вода закипеть, как от сада, из-за реки раздался зовущий голос:
— Нистратыч?! Ты там?!
— Здеся! — резво отозвался Шаляпин, потому что кликал его управляющий, единственный человек на хуторе, который настоящую фамилию ведал и по ней звал. Управляющий был годами не стар и неплохой мужик, уважительный, считай родня, с Тубянского хутора.
— Чакалкин-то помер,— выходя на поляну, с ходу объявил
управляющий.— Ты слыхал?
— Слыхал.
— Поедешь похоронять?
— Да надо бы...
— Поезжай, поезжай. Как ни жили, ни рунались, все ж – не чужой. А смерть, она… Все
помрем. От колхоза поедут. А я уж… Некогда, — сказал управляющий, словно извиняясь, хотя, казалось, что ему был шаляпинский тесть, не родня, не начальство. Но…
Романа Чакалкина знали все. И конечно, сам управляющий знал его с малых лет. Старое УШЛО без возврата, но тягостная Романова власть над округой долго жила наследской памятью. И по-прежнему углядев издали журавистую Чакалкина фигуру, добрые люди сворачивали от греха. Побаивались его даже колхозные власти. Длинные руки были у Романа, и сила из них до последних дней не ушла.
Управляющий вышел из дома в легких чириках и по густой росе в саду да обережье штанины измочил и теперь, выжав их, возле костра пристроился.
— Поезжай,— говорил он.— Возьми моих коней, бричку. Деньги-то есть? — Он от шаляпинской зарплаты всегда прихоранивал на черный день.— На, возьми на похороны. Хотя там похоронят, но все же.
Он вынул полусотку и протянул Шаляпину. Тот взял.
— Лошадей запрягешь, не забудъ Сисиху. Неxай с то¬бой едет. И дюже там не галтайся.
— Схороню и нынче назад,— ответил Шаляпин.
— Вот это правильно. Помяните там, посидите — и приезжай. Сисиху привози. Нечего ей там галтаться. Тут отдохнешь. А с той недели сядешь на бульдозер. Пока то да се, дороги почистишь, за ямы надо браться. Сенаж подойдет. Начнутся дела. Управляющий говорил, говорил, а потом сбился, внимательно поглядел на Шаляпина, спросил:
— А может, там останешься? Лизавета теперь одна. Люди вы немолодые, а без мужика...
— Схороню и вернусь,— коротко ответил Шаляпин.
— Ну, гляди,— вздохнул управляющий и поднялся.— Ты зайди к Солоничу, у него ножницы, машинка. Пускай тебя постригет. Все пообразней будешь. А то покойника перепугаешь,— засмеялся управ, уходя. Шаляпин все сделал честь но чести: подстригся у Солонича, в речке обмылся, новую рубаху надел, запряг ло¬шадей.
Варечка Сисиха пораньше убралась, вместе с Женином, на доме их висел замок. Шаляпин об них ничуть не пожа¬лел, спокойнее будет, без галды.
Протарахтела телега по кочкастой хуторской улице, перебралась через плотину, а за речкою дорога пошла торная. Займищем трактора да машины не ходили — глухая колея. Кони сами пошли наметом, проминаясь, потом легкой рысью бежали и бежали не спеша. Возница ИХ не торопил. Он сидел развалясь, опустив вожжи, и ничуть не тревожил его мягкий постук копыт и колесный бег. Он ехал, словно плыл, просторным логом среди зелени и жел¬того разлива лютиков. Потом пошли тополя в багряной одеждеде тяжелых сережек и светлая зелень берез, тоже в сережках, но невесомых. По низинам золотые ивовые кусты сняли под солнцем, сзывая медовым духом жужжащую тварь. По лужкам желтый одуванчик цвел и куриная слепота, тюльпаны и синеглазая мята, пахучая кашка и полные сладкого сока красные сосунки — отрада ребяти¬шек. Куковала кукушка, удоды долдонили вразнобой. Малый жаворонок поднялся с дороги и зазвенел, и стого¬лосое небесное эхо повторяло песню его вновь и вновь — весенняя благодать.
И разомлевший Шаляпин забыл, куда едет он и для какой нужды. Забыл и будто задремал под ясным солнцем и небом, среди зелени. Но так явственно вдруг привиделся покойный Роман Чакалкин, желтоглазый тестюшка дорогой. Так ясно привиделся, даже испугал. Сами собой дернулись руки, останавливая коней: «Тпр-р-у...»
Кони встали.
Куда, зачем и для какой нужды едет он? Зачем нужен этот тесть, даже покойник? Зачем все нужны?
Другая весна, давнишняя, заставила отступить день нынешний, его святую благодать.
Женился Шаляпин неожиданно и довольно странно. Свою будущую жену, Лизавету, младшую дочь Чакалкина, знал он еще в школе. Девка была задавучая, хоть и косенькая, в сестер, да вдобавок хромая.
— Моя мамка все лежит. У нее врачи ожирение сердца признают,— хвалилась она. И ребятня завидовала барской болезни. Свои-то матери были черны и худы, словно галки. Где уж им...
А женился Шаляпин нечаянно. Они уже в возраст во¬шли, и Лизавета зазвала его как-то в дом. Она такой же и осталась — хвалюшей. В дом зазвала и стала приданым гордиться. У Чакалкпных гардероб стоял,\_ кром сундуков. Зеркальный гардероб, лакированный. И оттуда, из таинственных недр его, вынула Лизавета костюм: черный, жуковый, суконный
Шаляпин остолбенел. Он, в своей семье, из гуней не вылезал, из крашеной мешковины да пятнисты немецких плащ-палаток. А тут костюм, шерстяной... Бедная голова его закружилась. Он гладил осторожно рукой мохнатый ворс, вдыхал горький запах нафталина. А Лизавета, разойдясь, накинула оторопевшему парню пиджак на плечи.
— Это жениховский костюм... для жениха.
Накинула словно не пиджак, а колдовскую сеть. Шаляпин глянул в зеркало, увидел себя в черном сукне и зане¬мог. Он во сне видел себя в черной суконной паре и наяву. Соседскую Мольку Чигарову словно забыл, и она издали следила за ним заплаканными глазами.
Сговорили и поженили молодых быстро. Роман заехал к новым сватам, пообещал: «До веку буду счастливым и вас не забуду». Отец с матерью от радости потеряли себя, забыв о дурной славе невесты и о соседской Мольке, какую с малых лет сношенькой величали. Так ушел Шаляпин в зятья.
А поместье Романа Чакалкина велось просторно и богато. Две коровы да летошники, свиньи, овечек полсотни, добрый табун гусей, даже редкостные но тем временам индюшки курлыкали па подворье. Зерна у хозяина хватало на всех, и о пастьбе не нужно было тревожиться, о сене — за все Чакалкин расплачивался спасибом.
Из двух колодцев, что выкопал сельсовет на хуторе, один оказался на Романовом подворье, туда даже ближним соседям был путь заказан. И цвел огород Чакалкина на вольной воде.
В родном шаляпинском дому снятым молочком забеляли пустые щи, хлебушку радовались. На Романовом столе любили баранину с острым гардалом, пухлые каймаки с ведерных казанов, докрасна томленные каймаки с пыш¬ками, блинцами, варениками — слаженое да соложеное не переводилось.
На таком дворе грех было сидеть сложа руки. И Шаля¬пин впрягся. Никто его не понуждал. Он лез в работу, словно могутный борозденый бык. За год-другой поставил он новые базы и летнюю кухню — просторный флигель; прихватив соседскую пустую деляну, посадил Шаляпин сад всей округе на зависть, да не абы какой, а в добрую сотню корней, с яблонями, гру¬шами, желтомясыми и черными сливами, сладким калеградским терном. И даже виноградом.
И потекла, покатилась молодая жизнь, и казалось, и вправду будет до смерти счастливой. Но недаром старые люди говорят: не хвались в три дня, а хвались в три года.
Романа Чакалкина, а теперь и молодых приглашали на все гулянки в округе. Роман везде не поспевал, но нередко лазывал честь.
Молодые веселились чаще. Шаляпин не жаловал пьянства, вина, но испытывал прежнюю страсть к своему жениховскому шерстяному костюму... На гулянках, в костюме, он был строгим и кра-сивым. Синеглазый, бровастый. И словно городской.
На хуторе Мало-Головском, в апреле месяце, по весне, «подымали кашу» у бригадира, обмывая новорожденного сына. «Каша» была тороватая, съели двух овец и самогону попили немало. И под конец гулянки пьяненькая Настя Рабунова сошла с ума. Сбесилась и кинулась на Шаляпина.
— Отдай костюм! Сыми! — кричала она.— Васянин костюм! Васянин! Чакалка забрал ненасытный, утянул из сундука, а ты хорошишься, гоголушка! Сыми! Сыми, поганое племя! Хвороба чтоб тебя поломала и лека не взя¬ла! Васянин костюм!
Она кричала и плакала, безумны были глаза ее. а руки сильны. Ее тащили, пальцы ей выворачивали, а она не отпускала: «Отдай!!!»
На другой день Настена, отрезвев, до свету прибежала к Чакалкину и чуть не в ногах валялась, просила прощения.
Но прошлого разве вернуть?
Что-то помутилось и тронулось в голове у Шаляпина. Он стал задумчив и вдруг однажды ни с того ни с сего в трезвом виде спросил у тестя:
— Отец, помнишь, я пацаном еще был, пшеницу косил у Митякиной балки, а ты
налетел: «Зерно ншь... Привлёку...» Зачем? Ведь кужонок еще... да голодный…
Чакалкин усмехнулся, плечами пожал:
— Должность такая. Государство требует. А как же. Вам дай потачку.
Шаляпин отступился. Но неделю спустя снова старое помянул.
— Отец,— спросил он,— ты для чего у матери куделю рвал? Там шерсти-то было нам на чулочки. А ты...
— Должность такая, — гулко откашливаясь, произнес Роман.— Для государства. Одного пожалей, другого, а государство...
— А у тебя на подловке тридцать тюков, это чья? — осмелился Шаляпин.
— Моя, сукин сын! — не выдержал Роман.— Я сколь овечек держу, не видишь!
Овечек Чакалкин держал помногу. Но Шаляпину все казалось, что там, в тюках, и та, слезная, мамкина шерсть.
А однажды придумал Шаляпин и вовсе несуразное. Вошел он в дом и сказал:
— Там, отец, плотника гвоздей принесли, ведро. Бутылку просят, похмелиться.
— Конечно, забирай.
Бутылку Шаляпин унес. А ведра гвоздей Роман не мог найти. А когда спросил, то пьяненький Шаляпин ответил ему.
— Это государственные были гвозди. Я их государству. А то вы у государства,—
погрозил он пальцем.
Что с пьяным толковать.
А выпивать Шаляпин стал чаще и чаще, к домашней работе охладел, дичился семьи и, пьяный, то и дело к Роману приставал с разговорами:
— Скажи, отец, почему...
Роман поглядел-поглядел, а потом решил: «Не к шубе рукав». И посадил Шаляпина в один мах. Сел с ним как-то вечером выпивать, а потом, когда кончилось питье, вроде шутейно сказал:
— Возьми в магазине, делов-то. Завтра рассчитаемся, баба своя.
Продавщица Зинаида была и вправду для Романа своей. Пьяный Шаляпин пошел, словно бычок, и сломал в магазине запор, забрав пять бутылок водки.
Дали ему три года.
Ах, как страшно там было, в неволе, в северной стороне. Среди чужих, одному... Как горько, как скверно, как тягостно... Шаляпин пытался бежать и удавиться, но Бог его сохранил и вывел живым.
Он вернулся на хутор, пришел к тестю и спросил:
— За что ты меня? Такую казню...
Роман был спокоен, холоден, и глаза его желто светились. И ответил он коротко:
— Неука учить надо.— И добавил пространнее, уже по решенному: — На моем базу тебе места нет. Я обговорил, иди на хутор Тепленький, живи и работай. Алименты хорошие плати. И не рыпайся. Тронешься с места, упеку — не вылезешь.
Шаляпин поверил. Поверил, перепугался и ушел куда велено. Ушел, словно в тину засел. И лишь о том молил Бога, чтобы не тронул его Чакалка.
А вот теперь Роман помер.
Шаляпин слез с телеги, в раздумье подошел к старому тополю, прислонился к стволу его и замер.
Вокруг, в тишине, по желтой полеглой осоке, по сухой траве и листам что-то шуршало и щелкало, словно невидимый дождь сыпал и сыпал, не торопясь. Но то был не дождь. Это снизу, от земли, поднималась молодая трава, с хрустом пробивая старые былки и палый лист; это сверху, с тополей падали легкие чешуйки почек, открывая молодые листы, клейкие, пахучие. И сладкий, усыпляющий запах тленья уже перебивал острый дух молодой зеленки. Хоте¬лось нюхать его, им дышать.
Шаляпин решил ехать назад. Что эти похороны, горький помин, когда пришла весна, а он столько ждал ее, целую зиму. Сидеть сейчас на берегу, слушать и думать, глядеть не бегучую воду, на цветенье садов. А про Чакалкина забыть, пусть его хоронят другие.
Он уже решился и пошел к лошадям, когда сверху, из-за бугра показались вдруг Варечка Сисиха с Жеником. Вылезли на бугор, увидели Шаляпина, лошадей, загалдели разом и кинулись к нему.
И теперь втроем покатили прямой дорогой к хутору Рубежному, к покойнику Роману. Ехали, а Варечка, не пере¬ставая, ругалась:
— Ну, Шаляпин... Вот ты какой человек, Шаляпин, выкаморный да забурунный, прям полоумственный. Ишь, не поеду... Рассалуда ты, боле никто. Мы идем-идем, да каким околесом, все ноги побили, перебродили сколь разов,
а ты...
Варечка ругалась и ругалась, слова сыпались из нее горохом, словно из дырявого мешка. Сыпались, и конца им не было. Шаляпин молчал. Нагнулся, насупился и молчал. А Варечка свое толковала:
— Гляжу я, ты в детский разум превзошел, а мы должны...— ей нужно было
кого-то ругать, искать виноватого и ругать, потому что кто-то виноват был перед нею в этом мире.
Нынешнюю ночь она, считай, не спала. Сына успокаивала, думала о покойном Романе. Он умер и разом все оборвал и смешал в жизни Варечки. Словно упала с глаз пелена, и жизнь человеческая и своя собственная оказалась короткой и очень ясной.
Роман помер, и теперь как было жить. Они не видались давно, но нить, связующая их судьбы, была крепка. Она ведь долго вилась, и как без нее теперь...
Весь век, от молодости и до последнего часа, Варечка жила ожиданьем. Еще в девках, слюбившись с Романом, она ждала. Верила в слова его: «Со мной до веку будешь счастливой, до веку...» Она была молодой, красивой и настолько верила в счастье, что даже не торопила его. Что Романова жена?.. Разве она преграда? Романа можно было одним махом забрать, но Варечка любила не только мужи¬ка, но человека, под которым округа ходила. Она Чакалкина любила, которого знали все. А районное начальство разводов не хвалило. Могли забрать партийный билет. И Варечка ждала своего часа. Купалась в Романовой любви и заботе, горделиво понимая, что ее дом — теплее. Здесь Роман дневал и ночевал, сюда нес и вез, больших лю-дей принимал, районное начальство. Чего еще надо? Варечка ждала, тем более что законная Романова супруга вечно охала и плакалась на здоровье, таскалась по врачам и должна была в конце концов помереть.
Шли годы. Сисиха старела, так и не узнав семьи. А ничего не менялось. Но и потом, уже старою, до последнего дня верила Варечка, мечтала, как в конце концов все же войдет она хозяйкою на Романов двор. Переживет за¬конную супругу и войдет.
А Роман взял да сам умер. И разом все оборвалось. И остались на руках, словно при плохом гаданье, пустые хлопоты да разбитые надежды. И больше ничего впереди, кроме близкой смерти.
А тут еще Женик, словно с ума сошел, галдел про какие-то деньги, богатство. Засыпал и вскакивал, снова ложился. Ночь была длинной и тягостной, насилу Варечка дождалась ее конца.
На рассвете они ушли, торопясь, напрямую, а прямая дорога, как всегда, обманула, и пришлось брести через залитые луга — измочились, устали. И потому теперь Варечка ругала Шаляпина, благо он молчал. Женик дремал, свернувшись калачиком в задке телеги.
Кони легко несли телегу и седоков и к полудню замаячили маковки высоких рубеженских тополей-раин, а потом открылся и сам хутор.
У околицы, возле плотины остановились — отрясти дорожную пыль, Варечка умылась и заглянула в зеркальце.
Но что было глядеть? Надвинув на лоб черный затянув его потуже, она решительно уселась в телегу. Зато Женик долго оттирал брюки, разглаживал шляпу, редею¬щие кудри муслил — хорошился, словно жених.
Ко двору Чакалкиных подъехали шагом. Много лет не бывал здесь Шаляпин, а без него соседи отстроились. Андрей Калиманов и Некулаевы, и когда-то первый на хуторе высокий Чакалкина дом словно присел, сделался ниже.
Во дворе, под жидкой сенью еще голого, просторного вяза стоял гроб. Он был вроде мелковат для Романа, и Чакалкин лежал на виду, в кителе с петлицами, носатый, нахмуренный, но без привычной фуражки с лакированным козырьком. Вокруг сидели бабы, родия в черных платках.
Просторный двор был пуст, и потому приехавшие оказа¬лись на виду. Женика это не смутило. На правах своего он подошел к покойному, что-то даже поправил в гробу, с бабами перемолвился. Шаляпин, как во двор вошел, увидел дочь и поспешил к ней. Дочь была броваста и голубоглаза, в отца. Теперь она сидела на крыльце, нянчила ребенка, белоголового мальчика. Шаляпин, смущенно улыбаясь, тронул атласную детскую ручонку своим толстым жестким пальцем. Дочь не заругалась, и мальчишка не испугался Шаляпина, а что-то залепетал, засмеялся, цепко ухватил палец деда.
— Толомонит, - удивленно проговорил Шаляпин.— Хорошее дите, круглое,
прям бурсачка.
Дочь улыбнулась ребенку и шаляпинскому удивлению.
И теперь, до самой поры, Шаляпин держался подле дочери и внука.
А Варечка Сисиха к гробу подойти решилась не сразу. Всю жизнь они с Полиной, законной женой, друг другу желали горького. При встречах, бывало, дрались. И приходила Полина с батожком под Варечкины окна. Но все это было, было... Сегодняшний день помирил их легко и просто, как умеет мирить только человечья смерть. Варечка людям поклонилась, и ей ответили, дали место возле покойного. И теперь, по законному праву, Сисиха заплакала и заголо¬сила:
Заборона ты моя нецененая!
Ты заступа моя нешатомая!
Да закрылись твои вострые глазочки!
Не гутарят сладимые губочки!
Закололи твои теплые рученьки!
О да, с кем теперь говорить, кому гориться!
Кому жалкие слова понесу!..
Резкий голос ее был слышен далеко, считай на весь хутор. А когда она захлебнулась в плаче, запричитала Поли¬на, обголашився родненького:
Два денечика без тебя словно год тякут! День идет-идет, а ночь не загибается!
И вся родня, весь хутор слушали, как прощаются с Романом вечные соперницы: полюбовница и жена.
Выносить покойного должны были в два часа. Но припоздали из райцентра оркестр и тамошнее начальство.
Стоял хороший весенний полудень. Облака тянулись одно за другим, пушистые и высокие. Романа на хуторе не любили, но хоронить, но обычаю, собрались все. Мужики все за двором курили. Чакалкина баз не привечал чужих, и теперь на него входить не хотели. Лишь бабы мыкались из кухни да в дом, готовились к выносу, и стряпня немалая шла для поминок. Толстые, косоглазые дочери Романа возле отца, считай, не сидели, доглядывая и охраняя дом от чужих. Среди баб суетился и Женик Сисек, крепкопохмеленный. Он хозяйничал, командовал вслух, а Романовы дочери, глядя на него, меж собою злились.
— Шабоня... приблудный шабоня,.. Чтоб тебя каламутная вода унесла... Доглядать за ним надо, девки, доглядеть, а то…
Недоговаривали, но знали, о чем речь. Где-то лежало, должно было лежать у отца потаенное: деньги, золото. В разные годы, но видели и Раиса, и Маня, и Лизавета, и мать Полина видели большой кожаный кисет, который не зря отец хоронил. Кисет искали с того дня, как Роман слег. Искали в открытую и друг от друга таясь мать и дочери.
Сладкую жизнь тот кисет обещал, и взять его в свои руки было бы счастьем до веку. Но где он? Перекопали сундуки и комоды. Перевернули всякий хлам в сараях и катухах, но тщетно. Роман ничего не успел сказать и теперь уже не скажет. «Похоронные» триста рублей, да еще тысячу сразу Полина взяла. А остальные... Об остальных думали все. И уж какую ночь, считай, и не спали, боясь проглядеть друг друга. Рая и Маня Лизавету подозревали. Она при отце жила. Да и мать найдет — не скажет. Глядели, день и ночь друг за дружкой глядели, а уж поганого Сиська ненавидели всей душой и ждали лишь конца похорон, чтобы выставить его с треском. А пока он шнырял — и нужен был за ним глаз да глаз.
Прибыл автобус из районного центра с медными труба¬ми и людьми.
— Налить, налить музыкантам,— засуетился Же¬ник.— Так положено.
Налили музыкантам, с ними, за компанию, выпил и Сисек. Выпил для храбрости, потому что наступало его время. Он выпил и словно отрезвел. Голова стала работать четко, заглядывая наперед.
Покойника подняли на полотенцах и понесли.
— Куды! Куды понесли?! — закричала Чакалиха и заголосила.— Он, да зачалась твоя последняя дороженька… Ой, да уносят тебя на чужих руках!
И, обрывая ее истошный глас, у ворот разом ударил оркестр, оглушая и забирая власть. Теперь приказывал он: как идти и когда голосить и отдавать прощание.
А Женик Сисек в это время оттянул в сторону мать и прошептал ей твердо и горячо:
— Из хутора выйдем — в обморок упади. З-запомни.
Варечка глянула в его бешеные глаза и обмерла.
— Гляди... не пр-рощу... — прошептал он, отходя.
И Варечка со страхом поняла, что надо делать веденное, иначе беда. Последнее у
нее оставалось, последний в жизни дар — Женик. Она любила его без памяти и боялась. Сразу как-то ушла в сторону Романова смерть и собственная жизнь, в голове лишь одно вертелось: «А где конец хутора? Где? Возле Архипа? Или у амбаров?» Она оглянулась на сына, но тот уже был поодаль.
На полотенцах, в мелковатом гробу покойный Чакалкнн плыл над глинистой прибитой дорогой, сложив руки. Густые брови его грозно топорщились, словно сердился он и кому-то грозил. Но грех ему было серчать, грех. Все делали как полонжено: красную подушечку несли впереди с двумя медалями, два железных венка из района, громко, на всю округу, играл оркестр. Четыре трубы да еще барабан с тарелками словно гром громыхали: бум! бум! бум!
Варечка Сисиха, как Женик велел ей, до амбара дошла и с криком пала на землю. Пала и обмерла. Побрызгали на нее водой, в амбарную тень унесли. Похоронное шествие двинулось дальше, оставляя несчастную Сисиху, а с нею и Женика.
Недолго посидев возле матери и убедившись, что люди ушли, Женик проговорил:
— Ладно, полежи здесь, а потом за плотину уходи.
— А помин? — спросила Варечка.
— Помянем без них. Уходи скорее.
И Женик помчался назад, к хутору. Все уже было обдумано и решено. Конечно, о печной трубе говорил ему отец и показывал глазами вверх. Там он схоронил наследство и отдал ему, единственному сыну, а не этим дурам косоглазым, которые с деньгами и обойтись-то не смогут, спрячут в чулок — и все дела.
Нужно было успеть сделать все до той поры, пока вернутся с кладбища. Ведь потом — Женик это точно знал, — потом его выгонят и на порог никогда не пустят.
Рая, Маня и Лизавета — дочери Романа,— как и положено, вместе с матерью шли впереди других, за гробом. Сиспхин обморок они видели, косясь неприязненно на не¬навистную бабу, которая и здесь показывает себя. Варечку унесли, и о ней забыли, и лишь потом, когда свернули на кладбищенскую дорогу, а до кладбища было уже рукой подать, Лизавсте пришло на ум нехорошее. Она огляну¬лась, поискала глазами Женика и не нашла, А ведь он здесь, все время здесь, на глазах крутился.
— Сиська нету,— негромко сказала она сестрам.— Это Варечка придурилась.
Рая и Маня тоже стали оглядываться, но Женина нигде не было.
Лизавету жаром осыпало, и виделось ей, как поганый Сисек хозяйничает сейчас в доме, ищет. И вдруг найдет? Докажи потом. Нельзя, конечно, нельзя было сейчас уходить от покойного. Нельзя, и люди осудят. Но разве отдавать кровное свое, свое счастье в поганые руки можно? Можно ли?
Сквозь зубы проговорив сестрам: «Я за Женином догляжу... А то он там...»— Лизавета отошла от гроба и, повернув, быстро, почти бегом направилась назад, в хутор. Она уходила и чуяла на себе недоуменные, осуждающие взгляды. И дочерин голос услышала: «Мама, куда?» Она все слышала, и чуяла, и кипела злобой: «Ну да... А там этот хорек... Не знай чего... Хозяйничает...»
Рая и Маня поняли Лизавету и меж собой понимающе переглянулись. Но спустя минуту-другую иное им в голову пришло. «Поделят» - разом шепнули они друг другу, понимая, что Женик и Лизка могут вдвоем поделить отцовскую захоронку. Найдут, а им ни слова, и в воду концы. Рая и Маня почувствовали себя обойденными и обмануты¬ми: они здесь вышагивают, а там...
Разом, не сговариваясь, они отошли от матери, оставляя ее, и припустили к хутору. Немолодые, толстые, они бежали неловко и неуклюже, словно две барсучихи, но вперед и вперед к хутору, к дому. Похороны остановились.
Сама Чакалиха, ничего не понимая, недоуменным взглядом обвела толпу и, дочерей не сыскав, ошалела. Что-то ударило ей в голову, и, все смешав, она закричала, заголосила:
— Ой, не стучите, не стучите! Ой, да чего же вы так колотите! Да большими гвоздями его забиваете! Ой, да землю глудками не валите! Мою кунушку болезную не будите!
А покойник был рядом,
— Не валите, больно ему! — прокричала Чакалиха, тяжело оседая на дорогу. Кинулись к ней.
Шаляпин стоял оторопев, когда к нему дочь подбежала и, плача, проговорила:
— Папа... Ступай их призови... Ступой, папа... Стыду...
Слезы дочери комом стали в горле у Шаляпина. Насупленный, злой, он быстро пошел по Дороге вослед своей родне.
А у кладбища не знали, что делать, гроб с покойником стоял одиноко. В беспамятстве лежала вдова. И тишина, такая недобрая тишина легла, что всем сделалось нехорошо. И приезжий, из района, махнул рукой музыкантам: «Играй».
Хрипло запели трубы, ударил барабан: бум! бум! бум! Испуганное воронье
поднялось с близкого обережья и сада и с криком закружилось над кладбищем, над музыкой, над оркестром.

Лишь к вечеру собрался Шаляпин домой. Все поминки пришлось провести: дочь не отпускала,да и сам он понимал, что не время уезжать. Вина он не пил, лишь цигарку смалил да ходил проведывать внука, безмятежно спавшего во флигеле, в зыбке.
Лишь вечером, когда разошлась и разъехалась последняя родня, Шаляпин тронулся в путь.
Дочь проводила Шаляпина до пруда. А за хутором Шаляпин крикнул коням:
— А ну, добрые!!
Лошади взяли дружно. И катились колеса, мерный перестук копыт отдавался в душе радостью, будоражил и словно пьянил.
Встречный ветер холодил, разгоняя вечернюю духоту. День отгорел, а с утренней стороны наползала какая-то хмарь ли, туча, обещая ненастье.
Шаляпин успел приехать, когда подошла к хутору вечерняя гроза. Она была первой и собралась не вдруг. - Сначала потемнело вдали — и оттуда, из черной хмари, А выплыла огромная туча.
Молнии беззвучно вспыхивали, потом стал доходить гром. Туча шла медленно, словно нехотя, какая-то необычная, страшная: с исподу синяя, а сверху багрово-седая, она тащилась коршуниным крылом через весь небосвод, волоча за собой сизое марево дождя.
Откаркало, нахохлилось воронье; порывы ветра раз за разом пробегали по обережью, словно упреждая. Потемнело. Все ярче полыхали тихие сполохи во чреве тучи, на короткий миг освещая угрюмое недро. И ветвистые молнии, словно дразня, коротко вспыхивали там и здесь. И наконец пришла туча.
Высокий тугой смерч, вихляясь, шел от далеких полей с пылью и свистом. По хутору он пронесся грохоча, что-то вздымая, и тихие сады склонились перед ним, осыпая бель лепестков. По обережью смерч закружил, ломая сухие вершины; и старый тополь в тарасовском саду рухнул вдруг с тяжелым треском, запружая речку.
И, словно взамен ему, встало над миром огромное живое древо белого огня. От темной земли и до седой тучи оно на глазах ветвилось и множилось — и встало во всей красе, освещая обмершую землю и далекую глубину небес из края в край. А потом рухнуло, словно старый тополь. И треснула пополам земля, открывая неведомое, и небесная хлябь ринулась с воем и ревом. Одна за другой вставали высокие ветвистые молнии, словно сухие дерева, трепеща и разламываясь с треском и громовым рокотом. Но страшное было позади.
Шаляпинскую крышу не промочило, и он сидел под легким кровом, глядел, и слушал, и думал, что эту грозу не одна душа помянет нынче вместе с Романовым именем и нечистой силой. А что до самого Шаляпина, то он в нечи¬стую силу не верил.
А сейчас, когда гроза утихала и ровный весенний дождь шумел над землей. Шаляпину думалось доброе. Ему думалось, что теперь можно будет ездить к дочери, на Рубежный, ездить внука глядеть. А потом через время, когда пацан подрастет, он посадит его в трактор и прокатит. Мальчишки охочи до техники. И он научит внука водить машину, а сам будет рядом сидеть, поглядывая.
А потом мысли его ушли еще дальше. Столо думаться вовсе далеко: Молька Чигарова, но бабою, в теперешней поре. Шаляпин думал о ней светло, представляя Молькину семью, дом и детей вокруг. Конечно она жила хорошо, дай ей Бог. Она хорошо жила, но казалось Шаляпину, хотелось ему, чтобы в глубине Молькиной души, на донышке, теплая память о нем, Шаляпине не уходила. И порою вздымалась, печаля душу.
О чем печаль? Да просто о днях жизни. О светлых часах ее, о людях, которые прошли мимо, по тронули душу. И как ее вытравить, эту память? Да и зачем? Пусть живет, пусть светит, пусть греет порою озябшую душу своим теплом ныне и до веку.
Ночь проходит, а я у порога,
Словно тополь, у края села.
Милый мой, ох какая дорога
Далеко между нами легла.

**В.Шукшин. Старик,солнце и девушка**

*Из этого рассказа можно взять несколько аргументов.
1.Старик не видит уже более 10 лет, а ПОМНИТ красоту родной земли до мельчайших подробностей. Это,конечно, неравнодушный, любящий свой край человек.
2.Девушка -художница ОБЯЗАНА видеть все прекрасное, но она как слепая! Старик, рассказывая ей о красоте родной земли, словно открывает девушке глаза.*

Дни горели белым огнем. Земля была горячая, деревья тоже были горячие.
Сухая трава шуршала под ногами. Только вечерами наступала прохлада. И тогда на берег стремительной реки Катуни выходил древний старик, садился всегда на одно место -- у коряги -- и смотрел на солнце. Солнце садилось за горы. Вечером оно было огромное, красное. Старик сидел неподвижно. Руки лежали на коленях -- коричневые, сухие, в ужасных морщинах. Лицо тоже морщинистое, глаза влажные, тусклые. Шея тонкая, голова маленькая, седая. Под синей ситцевой рубахой торчат острые лопатки.
Однажды старик, когда он сидел так, услышал сзади себя голос:
-- Здравствуйте, дедушка!
Старик кивнул головой.
С ним рядом села девушка с плоским чемоданчиком в руках.
-- Отдыхаете?
Старик опять кивнул головой. Сказал;
-- Отдыхаю.
На девушку не посмотрел.
-- Можно, я вас буду писать? -- спросила девушка.
-- Как это? -- не понял старик.
-- Рисовать вас.
Старик некоторое время молчал, смотрел на солнце, моргал красноватыми веками без ресниц.
-- Я ж некрасивый теперь, -- сказал он.
-- Почему? -- Девушка несколько растерялась. -- Нет, вы красивый,
дедушка.
-- Вдобавок хворый.
Девушка долго смотрела на старика. Потом погладила мягкой ладошкой его сухую, коричневую руку и сказала:
-- Вы очень красивый, дедушка. Правда.
Старик слабо усмехнулся:
-- Рисуй, раз такое дело.
Девушка раскрыла свой чемодан.
Старик покашлял в ладонь:
-- Городская, наверно? -- спросил он.
-- Городская.
-- Платют, видно, за это?
-- Когда как, вообще-то, Хорошо сделаю, заплатят.
-- Надо стараться.
-- Я стараюсь.
Замолчали.
Старик все смотрел на солнце. Девушка рисовала, всматриваясь в лицо старика сбоку.
-- Вы здешний, дедушка?
-- Здешный.
-- И родились здесь?
-- Здесь, здесь.
-- Вам сколько сейчас?
-- Годков-то? Восемьдесят.
-- Ого!
-- Много, -- согласился старик и опять слабо усмехнулся. -- А тебе?
-- Двадцать пять.
Опять помолчали.
-- Солнце-то какое! -- негромко воскликнул старик.
-- Какое? -- не поняла девушка.
-- Большое.
-- А-а... Да. Вообще красиво здесь.
-- А вода вона, вишь, какая... У того берега-то...
-- Да, да.
-- Ровно крови подбавили.
-- Да. -- Девушка посмотрела на тот берег. -- Да.
Солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись. А в долине -- между рекой и горами -- тихо угасал красноватый сумрак. И надвигалась от гор задумчивая мягкая тень. Потом солнце совсем скрылось за острым хребтом Бубурхана, и тотчас оттуда вылетел в зеленоватое небо стремительный веер ярко-рыжих лучей. Он держался недолго -- тоже тихо угас. А в небе в той стороне пошла полыхать заря.
-- Ушло солнышко, -- вздохнул старик.
Девушка сложила листы в ящик. Некоторое время сидели просто так -- слушали, как лопочут у берега
маленькие торопливые волны В долине большими клочьями пополз туман. В лесочке, неподалеку, робко вскрикнула какая-то ночная птица. Ей громко откликнулись с берега, с той стороны.
-- Хорошо, -- сказал негромко старик.
А девушка думала о том, как она вернется скоро в далекий милый город, привезет много рисунков. Будет портрет и этого старика. А ее друг, талантливый, настоящий художник, непременно будет сердиться: "Опять
морщины!.. А для чего? Всем известно, что в Сибири суровый климат и люди там много работают. А что дальше? Что?.."
Девушка знала, что она не бог весть как даровита. Но ведь думает она о том, какую трудную жизнь прожил этот старик. Вон у него какие руки... Опять морщины! "Надо работать, работать, работать..."
-- Вы завтра придете сюда, дедушка? -- спросила она старика.
-- Приду, -- откликнулся тот.
Девушка поднялась и пошла в деревню. Старик посидел еще немного и тоже пошел.
Он пришел домой, сел в своем уголочке, возле печки, и тихо сидел -- ждал, когда придет с работы сын и сядут ужинать.
Сын приходил всегда усталый, всем недовольный. Невестка тоже всегда чем-то была недовольна. Внуки выросли и уехали в город. Без них в доме было тоскливо. Садились ужинать.
Старику крошили в молоко хлеб, он хлебал, сидя с краешку стола. Осторожно звякал ложкой о тарелку -- старался не шуметь. Молчали.
Потом укладывались спать. Старик лез на печку, а сын с невесткой уходили в горницу. Молчали. А о
чем говорить? Все слова давно сказаны,
На другой вечер старик и девушка опять сидели на берегу, у коряги. Девушка торопливо рисовала, а старик смотрел на солнце и рассказывал:
-- Жили мы всегда справно, грех жаловаться. Я плотничал, работы всегда хватало. И сыны у меня все плотники. Побило их на войне много -- четырех. Два осталось. Ну вот с одним-то я теперь и живу, со Степаном. А Ванька в
городе живет, в Бийске. Прорабом на новостройке. Пишет; ничего, справно живут. Приезжали сюда, гостили. Внуков у меня много, любют меня. По городам все теперь...
Девушка рисовала руки старика, торопилась, нервничала, часто стирала.
-- Трудно было жить? -- невпопад спрашивала она.
-- Чего ж трудно? -- удивлялся старик. -- Я ж тебе рассказываю: хорошо жили.
-- Сыновей жалко?
-- А как же? -- опять удивлялся старик. -- Четырех таких положить -- шутка нешто?
Девушка не понимала: то ли ей жаль старика, то ли она больше удивлена его странным спокойствием и умиротворенностью.
А солнце опять садилось за горы. Опять тихо горела заря.
-- Ненастье завтра будет, -- сказал старик.
Девушка посмотрела на ясное небо:
-- Почему?
-- Ломает меня всего.
-- А небо совсем чистое.
Старик промолчал.
-- Вы придете завтра, дедушка?
-- Не знаю, -- не сразу откликнулся старик. -- Ломает чего-то всего,
-- Дедушка, как у вас называется вот такой камень? -- Девушка вынула из кармана жакета белый, с золотистым отливом камешек.
-- Какой? -- спросил старик, продолжая смотреть на горы.
Девушка протянула ему камень. Старик, не поворачиваясь, подставил ладонь.
-- Такой? -- спросил он, мельком глянув на камешек, и повертел его в сухих, скрюченных пальцах. -- Кремешок это. Это в войну, когда серянок не было, огонь из него добывали.
Девушку поразила странная догадка: ей показалось, что старик слепой. Она не нашлась сразу, о чем говорить, молчала, смотрела сбоку на старика. А он смотрел туда, где село солнце. Спокойно, задумчиво смотрел.
-- На... камешек-то, -сказал он и протянул девушке камень. -- Они еще не такие бывают. Бывают: весь белый, аж просвечивает, а снутри какие-то пятнушки. А бывают: яичко и яичко -- не отличишь. Бывают: на сорочье яичко
похож -- с крапинками по бокам, а бывают, как у скворцов, -- синенькие, тоже с рябинкой с такой.
Девушка все смотрела на старика. Не решалась спросить: правда ли, что он слепой.
-- Вы где живете, дедушка?
-- А тут не шибко далеко. Это Ивана Колокольникова дом, -- старик показал дом на берегу, -- дальше -- Бедаревы, потом -- Волокитины, потом --Зиновьевы, а там уж, в переулочке, -- наш. Заходи, если чего надо. Внуки-то были, дак у нас шибко весело было.
-- Спасибо.
-- Я пошел. Ломает меня.
Старик поднялся и пошел тропинкой в гору. Девушка смотрела вслед ему до тех пор, пока он не свернул в переулок. Ни разу старик не споткнулся, ни разу не замешкался. Шел медленно и смотрел
под ноги. "Нет, не слепой, -- поняла девушка. -- Просто слабое зрение".
На другой день старик не пришел на берег. Девушка сидела одна, думала остарике, Что-то было в его жизни, такой простой, такой обычной, что-то непростое, что-то большое, значительное. "Солнце -- оно тоже просто встает и
просто заходит, -думала девушка. -А разве это просто!" И она пристально посмотрела на свои рисунки. Ей было грустно.
Не пришел старик и на третий день и на четвертый.
Девушка пошла искать его дом.
Нашла. В ограде большого пятистенного дома под железной крышей, в углу, под навесом, рослый мужик лет пятидесяти обстругивал на верстаке сосновую доску.
-- Здравствуйте, -- сказала девушка.
Мужик выпрямился, посмотрел на девушку, провел большим пальцем по вспотевшему лбу, кивнул:
-- Здорово.
-- Скажите, пожалуйста, здесь живет дедушка...
Мужик внимательно и как-то странно посмотрел на девушку. Та замолчала.
-- Жил, -- сказал мужик. -- Вот домовину ему делаю.
Девушка приоткрыла рот:
-- Он умер, да?
-- Помер. -- Мужик опять склонился к доске, шаркнул пару раз рубанком, потом посмотрел на девушку. -- А тебе чего надо было?
-- Так... я рисовала его,
-- А-а. -- Мужик резко зашаркал рубанком.
-- Скажите, он слепой был? -- спросила девушка после долгого молчания.
-- Слепой.
-- И давно?
-- Лет десять уж. А что?
-- Так...
Девушка пошла из ограды,
На улице прислонилась к плетню и заплакала. Ей было жалко дедушку. И жалко было, что она никак не сумела рассказать о нем. Но она чувствовала сейчас какой-то более глубокий смысл и тайну человеческой жизни и подвига и, сама об этом не догадываясь, становилась намного взрослей.

**Владимир Крупин.**
**Сбрось мешок!**

***Воспитание чувства прекрасного в человеке***

В девках я здоровая была, наравне с парнями мешки таскала. Тятя жалел, да ведь десять ртов в семье жалость заглушат.

И вот, никогда не забыть, грузили баржу картошкой. С обеда начали, к вечеру ноги подгибаются. Парни мне стараются мешки поменьше наваливать, а все равно. Дождь шел, промокла я, продрогла, все прокляла. К вечеру дождь перестал. Тащу мешок, а тятя (он тоже грузил) говорит: «Варя, посмотри-ка какая красота». Я отвечаю: «Тять, как же я посмотрю, меня мешок к земле пригибает, только под ногами и вижу». - «Сбрось, говорит, мешок, успеешь натаскаться, а такое не увидь - и не увидишь. Коня, говорит, какого в радугу запрягли». Что такое, думаю. Сбросила тяжесть, разогнулась. И ровно в глазах воссияло. Думала - пожар.

Вятка красная. Радуга во все небо. А над радугой, как под дугой, солнышко, поглядела я - как будто умылась, дышать легче стало.

И вот, думаю, не обрати мое внимание отец на красоту, да раз, да другой, так слепой бы и прожила. А от него переняла и детям передала.

Помню, пошла с дочкой за земляникой. День хороший, солнце. В березняке я нашла маленькую полянку и обомлела. Зову дочку, чуть не шепотом, ровно кого спугнуть боюсь. Полянка вся в землянике, красным-красна, и на ней роса играет.

Дочка на голос прибежала, увидела, хлоп на колени - и рвать. Подожди, говорю, не убегут ягоды, ты полюбуйся. Она встала рядом, смотрела-смотрела и говорит: «Жалко, мама, ягоды трогать, давай просто так уйдем». Я засмеялась: «Милая ты моя! Ты красоту запомни, а пользу зачем упускать».

И вот чем закончу. У этой дочки своя дочь. Гуляем мы втроем в парке, она дочери говорит: «Смотри, Машенька, какие цветы». На руки взяла: «Смотри, Машенька, какие облака».

**Валентин Распутин. Прощание с Матерой**

1. *Книга говорит о борьбе старой и новой жизни, традиции и современной техники. Старую жизнь символизирует фантастический персонаж — Хозяин Острова, дух, который охраняет деревню и гибнет вместе с ней, а также царский листвень, мощное дерево, которое санитары-поджигатели так и не смогли ни свалить, ни сжечь.*
2. *А также о человеческой памяти и верности роду своему.*  *конфликт «отцов и детей»*
3. *Красота первозданной природы.*
4. *Экология. Гибель чудесных уголков любви.*
5. *Милосердие, сострадание, человечность.*

И опять наступила весна, своя в своем нескончаемом ряду, но последняя
для Матеры, для острова и деревни, носящих одно название. Опять с грохотом и
страстью пронесло лед, нагромоздив на берега торосы, и Ангара освобожденнo
открылась, вытянувшись в могучую сверкающую течь. Опять на верхнем мысу
бойко зашумела вода, скатываясь по релке на две стороны; опять запылала по
земле и деревьям зелень, пролились первые дожди, прилетели стрижи и ласточки
и любовно к жизни заквакали по вечерам в болотце проснувшиеся лягушки. Все
это бывало много раз, и много раз Матера была внутри происходящих в природе
перемен, не отставая и не забегая вперед каждого дня. Вот и теперь посадили
огороды - да не все: три семьи снялись еще с осени, разъехались по разным
городам, а еще три семьи вышли из деревни и того раньше, в первые же годы,
когда стало ясно, что слухи верные. Как всегда, посеяли хлеба - да не на
всех полях: за рекой пашню не трогали, а только здесь, на острову, где
поближе. И картошку, моркошку в огородах тыкали нынче не в одни сроки, а как
пришлось, кто когда смог: многие жили теперь на два дома, между которыми
добрых пятнадцать километров водой и горой, и разрывались пополам. Та Матера
и не та: постройки стоят на месте, только одну избенку да баню разобрали на
дрова, все пока в жизни, в действии, по-прежнему голосят петухи, ревут
коровы, трезвонят собаки, а уж повяла деревня, видно, что повяла, как
подрубленное дерево, откоренилась, сошла с привычного хода. Все на месте, да
не все так: гуще и нахальней полезла крапива, мертво застыли окна в
опустевших избах и растворились ворота во дворы - их для порядка закрывали,
но какая-то нечистая сила снова и снова открывала, чтоб сильнее сквозило,
скрипело да хлопало; покосились заборы и прясла, почернели и похилились
стайки, амбары, навесы, без пользы валялись жерди и доски - поправляющая,
подлаживающая для долгой службы хозяйская рука больше не прикасалась к ним.
Во многих избах было не белено, не прибрано и ополовинено, что-то уже
увезено в новое жилье, обнажив угрюмые пошарпанные углы, и что-то оставлено
для нужды, потому что и сюда еще наезжать, и здесь колупаться. А постоянно
оставались теперь в Матере только старики и старухи, они смотрели за
огородом и домом, ходили за скотиной, возились с ребятишками, сохраняя во
всем жилой дух и оберегая деревню от излишнего запустения. По вечерам они
сходились вместе, негромко разговаривали - и все об одном, о том, что будет,
часто и тяжело вздыхали, опасливо поглядывая в сторону правого берега за
Ангару, где строился большой новый поселок. Слухи оттуда доходили разные.

Тот первый мужик, который триста с лишним лeт назад надумал поселиться
на острове, был человек зоркий и выгадливый, верно рассудивший, что лучше
этой земли ему не сыскать. Остров растянулся на пять с лишним верст и не
узенькой лентой, а утюгом, - было где разместиться и пашне, и лесу, и
болотцу с лягушкой, а с нижней стороны за мелкой кривой протокой к Матерe
близко подчаливал другой остров, который называли то Подмогой, то Подногой.
Подмога - понятно: чего нe хватало на своей земле, брали здесь, а почему
Поднога - ни одна душа бы не объяснила, а теперь не объяснит и подавно.
Вывалил споткнувшийся чей-то язык, и пошло, а языку, известно, чем чудней,
тем милей. В этой истории есть еще одно неизвестно откуда взявшееся имечко -
Богодул, так прозвали приблудшего из чужих краев старика, выговаривая слово
это на хохлацкий манер как Бохгодул. Но тут хоть можно догадываться, с чего
началось прозвище. Старик, который выдавал себя за поляка, любил русский
мат, и, видно, кто-то из приезжих грамотных людей, послушав его, сказал в
сердцах: богохул, а деревенские то ли не разобрали, то ли нарочно подвернули
язык и переделали в богодула. Так или не так было, в точности сказать
нельзя, но подсказка такая напрашивается.
Деревня на своем веку повидала всякое. Мимо нее поднимались в древности
вверх по Ангаре бородатые казаки ставить Иркутский острог; подворачивали к
ней на ночевку торговые люди, снующие в ту и другую стороны; везли по воде
арестантов и, завидев прямо по носу обжитой берег, тоже подгребали к нему:
разжигали костры, варили уху из выловленной тут же рыбы; два полных дня
грохотал здесь бой между колчаковцами, занявшими остров, и партизанами,
которые шли в лодках на приступ с обоих берегов. От колчаковцев остался в
Матере срубленный ими на верхнем краю у голомыски барак, в котором в
последние годы по красным летам, когда тепло, жил, как таракан, Богодул.
Знала деревня наводнения, когда пол-острова уходило под воду, а над Подмогой
- она была положе и ровней - и вовсе крутило жуткие воронки, знала пожары,
голод, разбой.
Была в деревне своя церквушка, как и положено, на высоком чистом месте,
хорошо видная издали с той и другой протоки; церквушку эту в колхозную пору
приспособили под склад. Правда, службу за неимением батюшки она потеряла еще
раньше, но крест на возглавии оставался, и старухи по утрам слали ему
поклоны. Потом и кроет сбили. Была мельница на верхней носовой проточке,
специально будто для нее и прорытой, с помолом хоть и некорыстным, да
нeзаемным, на свой хлебушко хватало. В последние годы дважды на неделе
садился на старой поскотине самолет, и в город ли, в район народ приучился
летать по воздуху.
Вот так худо-бедно и жила деревня, держась своего мeста на яру у левого
берега, встречая и провожая годы, как воду, по которой сносились с другими
поселениями и возле которой извечно кормились. И как нет, казалось, конца и
края бегущей воде, нeт и веку деревне: уходили на погост одни, нарождались
другие, заваливались старые постройки, рубились новые. Так и жила деревня,
перемогая любые времена и напасти, триста с лишним годов, за кои на верхнем
мысу намыло, поди, с полверсты земли, пока не грянул однажды слух, что
дальше деревне не живать, не бывать. Ниже по Ангаре строят плотину для
электростанции, вода по реке и речкам поднимется и разольется, затопит
многие земли и в том числе в первую очередь, конечно, Матеру. Если даже
поставить друг на дружку пять таких островов, все равно затопит с макушкой,
и места потом не показать, где там силились люди. Придется переезжать.
Непросто было поверить, что так оно и будет на самом деле, что край света,
которым пугали темный народ, теперь для деревни действительно близок. Через
год после первых слухов приехала на катере оценочная комиссия, стала
определять износ построек и назначать за них деньги. Сомневаться больше в
судьбе Матеры не приходилось, она дотягивала последние годы. Где-то на
правом берегу строился уже новый поселок для совхоза, в который сводили все
ближние и даже не ближние колхозы, а старые деревни решено было, чтобы не
возиться с хламьем, пустить под огонь.
Но теперь оставалось последнее лето: осенью поднимется вода.

2

Старухи втроем сидели за самоваром и то умолкали, наливая и прихлебывая
из блюдца, то опять как бы нехотя и устало принимались тянуть слабый, редкий
разговор. Сидели у Дарьи, самой старой из старух; лет своих в точности никто
из них не знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных
записях, которые потом куда-то увезли - концов не сыскать. О возрасте
старухи говорили так:
- Я, девка, уж Ваську, брата, на загорбке таскала, когда ты на свет
родилась. - Это Дарья Настасье. - Я уж в памяти находилась, помню.
- Ты, однако, и будешь-то года на три меня постаре.
- Но, на три! Я замуж-то выходила, ты кто была - оглянись-ка! Ты ишо
без рубашонки бегала. Как я выходила, ты должна, поди-ка, помнить.
- Я помню.
- Ну дак от. Куды тебе равняться! Ты супротив меня совсем молоденькая.
Третья старуха, Сима, не могла участвовать в столь давних
воспоминаниях, она была пришлой, занесенной в Матеру случайным ветром меньше
десяти лет назад,- в Матеру из Подволочной, из ангарской же деревни, а туда
- откуда-то из-под Тулы, и говорила, что два раза, до войны и в войну,
видела Москву, к чему в деревне по извечной привычке не очень-то доверять
тому, что нельзя проверить, относились со смешком. Как это Сима, какая-то
непутевая старуха, могла видеть Москву, если никто из них не видел? Ну и
что, если рядом жила? - в Москву, поди, всех подряд не пускают. Сима, не
злясь, не настаивая, умолкала, а после опять говорила то же самое, за что
схлопотала прозвище "Московишна". Оно ей, кстати, шло: Сима была вся
чистенькая, аккуратная, знала немного грамоте и имела песенник, из которого
порой под настроение тянула тоскливые и протяжные песни о горькой судьбе.
Судьба ей, похоже, и верно досталась не сладкая, если столько пришлось
мытариться, оставить в войну родину, где выросла, родить единственную и ту
немую девчонку и теперь на старости лет остаться с малолетним внучонком на
руках, которого неизвестно когда и как поднимать. Но Сима и сейчас не
потеряла надежды сыскать старика, возле которого она могла бы греться и за
которым могла бы ходить - стирать, варить, подавать. Именно по этой причине
она и попала в свое время в Матеру: услышав, что дед Максим остался бобылем
и выждав для приличия срок, она снялась из Подволочной, где тогда жила, и
отправилась за счастьем на остров. Но счастье не вылепилось: дед Максим
заупрямился, а бабы, не знавшие Симу как следует, не помогли: дед хоть
никому и не надобен, да свой дед, под чужой бок подкладывать обидно. Скорей
всего деда Максима напугала Валька, немая Симина девка, в ту пору уже
большенькая, как-то особенно неприятно и крикливо мычавшая, чего-то
постоянно требующая, нервная. По поводу неудавшегося сватовства в деревне
зубоскалили: "Хоть и Сима, да мимо", но Сима не обижалась. Обратно в
Нодволочную она не поплыла, так и осталась в Матере, поселившись в маленькой
заброшенной избенке на нижнем краю. Развела огородишко, поставила кросна и
ткала из тряпочных дранок дорожки для пола - тем и пробавлялась. А Валька,
пока она жила с матерью, ходила в колхоз.
Сейчас возле Симы терся Колька, внучонок на пятом году, Валькина
находка. Мальчишка был не в мать, не немой, но говорил плохо и мало, рос
диким, боязливым, не отходящим от бабкиной юбки - не ребенок, а бабенок.
Старухи жалели его, приласкивали - он сильнее жался к Симе и смотрел на них
с каким-то недетским, горьким и кротким пониманием.
- Ты кто такой, чтобы на меня так глядеть? - удивлялась Дарья. - Че ты
там за мной видишь - смерть мою? Я про нее и без тебя знаю. Ишь, уставился,
немтырь, как гвоздь.
- Он не немтырь, - обижалась Сима, прижимая к себе Кольку.
- Не немтырь, а молчит.
Снова опустили разговор, разморенные чаем и бьющим из окна, что
выходило на закат, ярким клонящимся солнцем. Старуха Дарья, высокая и
поджарая, на голову выше сидящей рядом Симы, чему-то согласно кивала,
уставив в стол строгое бескровное лицо с провалившимися щеками. Несмотря на
годы, была старуха Дарья пока на своих ногах, владела руками, справляя
посильную и все-таки немаленькую работу по хозяйству. Теперь вот сын с
невесткой на новоселье, наезжают раз в неделю, а то и реже, и весь двор,
весь огород на ней, а во дворе корова, телка, бычок с зимнего отела,
поросенок, курицы, собака. Наказано было, правда, старухе, когда не сможет
или занеможет, обращаться за помощью к соседке Вере, но до этого еще не
дошло, Дарья справлялась сама.
Только что заступил июнь, подряд гуляли ясные, солнечные дни, едва
прерываемые короткими сумеречными ночами.
Жары на острове, посреди воды, не бывает; по вечерам, когда затихал
ветерок и от нагретой земли исходило теплое парение, такая наступала кругом
благодать, такой покой и мир, так густо и свежо сияла перед глазами зелень,
еще более приподнявшая, возвысившая над водой остров, с таким чистым,
веселым перезвоном на камнях катилась Ангара и так все казалось прочным,
вечным, что ни во что не верилось - ни в переезд, ни в затопление, ни в
расставание. А тут еще дружные всходы на полях и в огородах, вовремя упавшие
дожди и вовремя же наступившее тепло, это редкое согласие, сулящее урожай;
неторопливое, желанное нарастание лета...
- Утром подымусь, вспомню со сна... ой, сердце упрется, не ходит, -
рассказывала старуха Настасья. - Осподи!.. А Егор пла-а-чет, плачет. Я ему
говорю: "Ты не плачь, Егор, не надо", - а он: "Как мне нe плакать, Настасья,
как мне не плакать?!" Так и иду с каменным сердцем ходить, убираться. Хожу,
хожу, вижу, Дарья ходит, Вера ходит, Домнида - и вроде отпустит маленько,
привыкну. Думаю: а может, попужать нас только хочут, а ниче не сделают.
- Че нас без пути пужать? - спрашивала Дарья.
- А чтоб непужаных не было.
После того как Настасья с Егором остались совсем одни (два сына не
пришли с войны, третий утонул, провалившись с трактором под лед, дочь умерла
в городе от рака), начала Настасья малость чудить, наговаривать на своего
старика, и все жалобное, болезненное: то будто угорел до смерти, едва
отводилась, то всю ночь криком кричал, потому что кто-то изнутри душил его,
то плачет, "вторые дни пошли, плачет, слезьми умывается", хотя, знали все,
дед Егор не вдруг пустит слезу. Поначалу он стыдил ее, стращал, пробовал
учить - ничего не помогало, и он отступился. Во всем другом нормальный,
здравый человек, а тут как резьба какая свернулась и хлябает,
проворачивается, проговаривается о том, чего не было и не могло быть. Добрые
люди старались не замечать этой безобидной Настасьиной свихнутости, недобрые
любили спрашивать:
- Как там сегодня Егор - живой, нет?
- Ой! - радостно спохватывалась Настасья. - Егор-то, Егор-то... едва
нонче не помер. У старого ума нeту, взял сколупнул бородавку и весь кровью
изошел. Цельный таз кровушки.
- А теперь-то как - остановилась?
- Вся вышла, дак остановилась. Едва дышит. Ой, до того жалко старика.
Побегу досмотрю, че с им.
А Егор в это время ковылял по другой стороне улицы и зло и беспомощно
косил на Настасью глазом: опять, блажная, типун ей на язык, рассказывает про
него сказки.
Им предстояло самое скорое, раньше других, прощание с Матерой. Когда
дело дошло до распределения, кому куда переезжать, дед Егор со зла или от
растерянности подписался на город, на тот самый, где строилась ГЭС. Там для
таких же, как они, одиноких и горемычных из зоны затопления, ставились
специально два больших дома. Условия были обменные: они не получают ни
копейки за свою избу, зато им дают городскую квартиру. Позже дед Егор, не
без подталкивания и нытья Настасьи, одумался и хотел переиграть город на
совхоз, где и квартиру тоже дают, и деньги выплачивают, но оказалось, что
поздно, нельзя.
- Совхоз выделяет квартиры для работников, а ты кaкой работник, -
вразумлял его председатель сельсовета Воронцов.
- Я всю жисть колхозу ондал.
- Колхоз - другое дело. Колхоза больше нет.
Из района уже дважды поторапливали Егора переезжать, отведенная для них
с Настасьей квартира была готова, ждала их, но старики все тянули, не
трогались, как перед смертью стараясь надышаться родным воздухом. Настасья
посадила огород, заводила то одно, то другое дело - лишь бы отсрочить,
обмануть себя. В последний раз человек из района не на шутку накричал на
них, стращая, что квартиру займут и они останутся на бобах, и дед Егор
решился: если уж все равно ехать, то ехать. И отрезал Настасье:
- Чтоб к троице была в готовности.
А до троицы оставалось всего-то две недели.
- Зато никакой тебе работушки, - не то успокаивая, не то насмехаясь,
говорила Настасье Дарья. - Я у дочери в городе-то гостевала - дивля: тут
тебе, с места не сходя, и Ангара, и лес, и уборна-баня, хошь год на улицу не
показывайся. Крант, так же от как у самовара, повернешь - вода бежит, в
одном кранту холодная, в другом горячая. И в плиту дрова не подбрасывать,
тоже с крантом - нажмешь, жар идет. Вари, парь. Прямо куды тебе с добром! -
баловство для хозяйки. А уж хлебушко не испекчи, нет, хлебушко покупной. Я с
непривычки да с невидали уж и поохала возле крантов этих - оне надо мной
смеются, что мне чудно. А ишо чудней, что баня и уборна, как у нехристей, в
одном закутке, козле кухоньки. Это уж тоже не дело. Сядешь, как приспичит, и
дрожишь, мучишься, чтоб за столом не услыхали. И баня... какая там баня,
смехота одна, ребятенка грудного споласкивать. А оне ишо че-то булькаются,
мокрые вылазят. От и будешь ты, Настасья, как барыня, полеживать, все на
дому, все есть, руки подымать нe надо. А ишо этот... телехон заимей. Он
тебе: дрынь-дрынь, а ты ему: ле-ле, поговорела, и опеть на боковую.
- Ой, не трави ты мое сердце! - обмирала Настасья и прижимала к груди
дряблые руки, закрывала глаза. - Я там в одну неделю с тоски помру. Посередь
чужих-то! Кто ж старое дерево пересаживает?!
- Всех нас, девка, пересаживают, не однуе тебя. Всем тепери туды
дорога. Только успевай, господь, прибирай. Настасья, не соглашаясь, качала
головой:
- Не равняй меня, Дарья, не равняй. Вы все в одном будете месте, а я на
отдельности. Вы, которые с Матеры, друг к дружке соберетесь, и веселей, и
будто дома. А я? Ой, да че говореть?!
- Сколько нас, всех-то? - рассудительно отвечала Дарья. - Никого уж не
остается. Погляди-ка: Агафью увезли, Василису увезли, Лизу в район
сманивают. Катеринин парень по сю пору места себе не выберет, мечется как
угорелый. А когды выбирать, ежли вино не все до капельки выпито. Наталья
говорит: может, к дочери поеду на Лену...
- Татьяна, Домнида, Маня, ты, Тунгуска... Околоток хороший наберется.
Не мое кукованье.
- От и вся Матера! Господи!
- А я уж про себя молчу. Молчу-у, молчу, - заунывно подхватила Сима и
опять притянула к себе Кольку. - Мы с Коляней сядем в лодку, оттолкнемся и
покатим куда глаза глядят, в море-окиян...
У Симы не было своей собственности, не было родственников, и ей
оставалась одна дорога - в Дом престарелых, но и на этой дороге теперь, как
выяснилось, появилось препятствие: Колька, в котором она души не маяла. С
мальчишкой в Дом престарелых не очень хотели брать. Валька, немая Симина
дочь, свихнулась и потерялась. Взяв годы и познав мужика, одного, другого,
третьего, Валька пошла во вкус и так полюбила это дело, что уже и сама без
стесненья напрашивалась на ночные игры. И очень скоро наиграла Кольку. Сима
гонялась за Валькой с палкой, матери, жены кляли ее на чем свет стоит, и
осатаневшая Валька сбежала, вот уже больше года от нее не было ни слуху ни
духу. Симу научили подать в розыск, но при той неразберихе и движении,
которые начались теперь на Ангаре, при Валькиной немоте и документальной
неоформленности, отыскать ee было нелегко.
- Если и найдется, Коляню я ей так и так не отдам, - говорила Сима. -
Мы с Коляней хоть поползем, да на одной веревочке.
- Ты пошто его не учишь говореть-то как следует? - попрекала Дарья. -
Он вырастет, он тебя не похвалит.
- Я учу. Он может говорить. Коляня у нас молчаливый.
- Пришибло мальчонку. Он все понимает.
- Пришибло.
Не спрашивая у Настасьи, Дарья взяла ее стакан, плеснула в него из
заварника и подставила под самовар - большой, купеческий, старой работы,
красно отливающий чистой медью, с затейливым решетчатым низом, в котором
взблескивали угли, на красиво изогнутых осадистых ножках. Из крана ударила
тугая и ровная, без разбрызгов, струя - кипятку, стало быть, еще вдосталь, -
и потревоженный самовар тоненько засопел. Потом Дарья налила Симе и добавила
себе - отдышавшись, приготовившись, утерев выступивший пот, пошли по новому
кругу, закланялись, покряхтывая, дуя в блюдца, осторожно прихлебывая
вытянутыми губами.
- Четвертый, однако, стакан, - прикинула Настасья.
- Пей, девка, покуль чай живой. Там самовар не поставишь. Будешь на
своей городской фукалке в кастрюльке греть.
- Пошто в кастрюльке? Чайник налью.
- Без самовара все равно не чай. Только что не всухомятку. Никакого
скусу. Водопой, да и только.
И усмехнулась Дарья, вспомнив, что и в совхозе делают квартиры
по-городскому, что и она вынуждена будет жить в тех же условиях, что и
Настасья. И зря она пугает Настасью - неизвестно еще, удастся ли ей самой
кипятить самовар. Нет, самовар она не отменит, будет ставить его хоть в
кровати, а все остальное - как сказать. И не в строку, потеряв, о чем
говорили, заявила с неожиданно взявшей обидой:
- Доведись до меня, взяла бы и никуды нe тронулась. Пушай топят, ежли
так надо.
- И потопят, - отозвалась Сима.
- Пушай. Однова смерть - че ишо бояться?!
- Ой, да ить неохота утопленной быть, - испуганно остерегла Настасья. -
Грех, поди-ка. Пускай лучше в землю укладут. Всю рать до нас укладали, и нас
туды.
- Рать-то твоя поплывет.
- Поплывет. Это уж так, - сухо и осторожно согласилась Настасья.
И чтобы отвести этот разговор, ею то заведенный, Дарья вспомнила:
- Че-то Богодул седни не идет.
- Уж, поди-ка, на подходе где. Богодул когда пропускал.
- С им грешно, и без его тоскливо.
- Ну дак, Богодул! Как пташка божия, только что матерная.
- Окстись, Настасья.
- Прости, осподи! - Настасья послушно перекрестилась на иконку в углу и
неудобно, со всхлипом вздохнула, прихлебнула из блюдца и снова
перекрестилась, повинившись на этот раз шепотком молитвы.
Угарно и сладко пахло от истлевающих в самоваре углей, косо и лениво
висела над столом солнечная пыль, едва шевелящаяся, густая; хлопал крыльями
и горланил в ограде петух, выходил под окно, важно ступая на крепких, как
скрученных, ногах, и заглядывал в него нахальными красными глазами. В другое
окно виден был левый рукав Ангары, его искрящееся, жаркое на солнце течение
и берег на той стороне, разубранный по луговине березой и черемухой, уже
запылавшей от цвета. В открытую уличную дверь несло от нагретых деревянных
мостков сухостью и гнилыо. На порог заскочила курица и, вытягивая уродливую,
наполовину ощипанную шею, смотрела на старух: живые или нет? Колька топнул
на нее, курица сорвалась и зашлась, залилась в суматошном кудахтанье, не
унося его далеко, оставаясь тут же, на крыльце. И вдруг заметалась, забилась
в сенях, наскакивал на стены и уронив ковшик с ушата, в последнем отчаянии
влетела в избу и присела, готовая хоть под топор. Вслед за нeй, что-то бурча
под нос, вошел лохматый босоногий старик, поддел курицу батожком и выкинул в
сени. После этого распрямился, поднял на старух маленькие, заросшие со всех
сторон глаза и возгласил:
- Кур-рва!
- Вот он, святая душа на костылях, - без всякого удивления сказала
Дарья и поднялась за стаканом. - Не обробел. А мы говорим: Богодул че-то не
идет. Садись, покуль самовар совсем не остыл.
- Кур-рва! - снова выкрикнул, как каркнул, старик. - Самовар-р!
Мер-ртвых гр-рабют! Самовар-р!
- Кого грабют? Чо ты мелешь?! - Дарья налила чай, но насторожилась, не
убрав стакан из-под крана. Такое теперь время, что и нельзя поверить, да
приходится; скажи кто, будто остров сорвало и понесло как щепку - надо
выбегать и смотреть, не понесло ли взаправду. Все, что недавно еще казалось
вековечным и неподатным, как камень, с такой легкостью помчало в тартарары -
хоть глаза закрывай.
- Хресты рубят, тумбочки пилят! - кричал Богодул и бил о пол палкой.
- Где - на кладбище, че ли? Говори толком.
- Там.
- Кто? Не тяни ты душу, - Дарья поднялась, выбралась из-за стола. - Кто
рубит?
- Чужие. Черти.
- Ой, да кто ж это такие? - ахнула Настасья. - Черти, говорит.
Торопливо повязывая распущенный за чаем платок, Дарья скомандовала:
- Побежали, девки. То ли рехнулся, то ли правду говорит.

3

Кладбище лежало за деревней по дорогe на мельницу, на сухом песчаном
возвысье, среди берез и сосен, откуда далеко окрест просматривалась Ангара и
ее берега.
Первой, сильно клонясь вперед и вытянув руки, будто что обирая,
двигалась Дарья с сурово поджатыми губами, выдающими беззубый рот; за ней с
трудом поспевала Настасья: ее давила одышка, и Настасья, хватая воздух,
часто кивала головой. Позади, держа мальчонку за руку, семенила Сима.
Богодул, баламутя деревню, отстал, и старухи ворвались на кладбище одни.
Те, кого Богодул называл чертями, ужи доканчивали свое дело, стаскивая
спиленные тумбочки, оградки и кресты в кучу, чтобы сжечь их одним огнем.
Здоровенный, как медведь, мужик в зеленой брезентовой куртке и таких же
штанах, шагая по могилам, нес в охапке ветхие деревянные надгробия, когда
Дарья, из последних сил вырвавшись вперед, ожгла его сбоку по руке
подобранной палкой. Удар был слабым, но мужик от растерянности уронил на
землю свою работу и опешил:
- Ты чего, ты чего, бабка?!
- А ну-ка марш отседова, нечистая сила! - задыхаясь от страха и ярости,
закричала Дарья и снова замахнулась палкой. Мужик отскочил.
- Но-но, бабка. Ты это... ты руки не распускай. Я тебе их свяжу. Ты...
вы... - Он полоснул большими ржавыми глазами по старухам. - Вы откуда здесь
взялись? Из могилок, что ли?
- Марш - кому говорят! - приступом шла на мужика Дарья. Он пятился,
ошеломленный ее страшным, на все готовым видом. - Чтоб счас же тебя тут не
было, поганая твоя душа! Могилы зорить... - Дарья взвыла. - А ты их тут
хоронил? Отец, мать у тебя тут лежат? Ребяты лежат? Не было у тебя, у
поганца, отца с матерью. Ты не человек. У какого человека духу хватит?!. -
Она взглянула на собранные, сбросанные как попало кресты и тумбочки и еще
тошней того взвыла. - О-о-о! Разрази ты его, господь, на этом месте, не
пожалей. Не пожалей! Не-ет, - кинулась она опять на мужика. - Ты отсель так
не уйдешь. Ты ответишь. Ты перед всем миром ответишь.
- Да отцепись ты, бабка! - взревел мужик. - Ответишь. Мне приказали, я
делаю. Нужны мне ваши покойники.
- Кто приказал? Кто приказал? - бочком подскочила к нему Сима, не
выпуская Колькиной ручонки. Мальчишка, всхлипывая, тянул ее назад, подальше
от громадного разъяренного дяди, и Сима, поддаваясь ему, отступая,
продолжала выкрикивать: - Для вас святого места на земле не осталось! Ироды!
На шум из кустов вышел второй мужик - этот поменьше, помоложе и
поаккуратней, но тоже оглоблей нe свернешь и тоже в зеленой брезентовой
спецовке - вышел с топором в руке, и, остановившись, прищурился.
- Ты посмотри, - обрадовался ему медведь. - Наскочили, понимаешь.
Палками машут.
- В чем дело, граждане затопляемые? - важно спросил второй мужик. - Мы
санитарная бригада, ведем очистку территории. По распоряжению
санэпидстанции.
Непонятное слово показалось Настасье издевательским.
- Какой ишо сам-аспид-стансыи? - сейчас же подернулась она. - Над
старухами измываться! Сам ты аспид! Обои вы аспиды ненасытные! Кары на вас
нету. И ты меня топором не пужай. Не пужай, брось топор.
- Ну оказия! - мужик воткнул топор в стоящую рядом сосну.
- И не шуренься. Ишь, пришуренил разбойничьи свои глаза. Ты на нас
прямо гляди. Че натворили, аспиды?
- Че натворили?! Че натворили?! - подхватив, заголосила Дарья.
Сиротливые, оголенные могилы, сведенные в одинаково немые холмики, на
которые она смотрела в горячечной муке, пытаясь осознать содеянное и все
больше помрачаясь от него, вновь подхлестнули ее своим обезображенным видом.
Не помня себя, Дарья бросилась опять с палкой на медведя, бывшего ближе, но
он перехватил и выдернул палку. Дарья упала на колени. У нее недостало сил
сразу подняться, но она слышала, как истошно кричала Сима и кричал
мальчишка, как в ответ кричали что-то мужики, потом крик, подхваченный
многими голосами, разросся, распахнулся; кто-то подхватил ее, помогая встать
на ноги, и Дарья увидела, что из деревни прибежал народ. Тут были и
Катерина, а Татьяна, и Лиза, и ребятишки, Вера, дед Егор, Тунгуска, Богодул,
кто-то еще. Шум стоял несусветный. Мужиков окружили, они не успевали
огрызаться. Богодул завладел топором, который был воткнут в сосну, и, тыча в
грудь медведю острым суковатым батожком, другой рукой, оттянутой назад, как
наизготовку, покачивал топор. Дед Егор молча и тупо смотрел то на кресты и
звезды, обломавшиеся с тумбочек, то на сотворивших все это мужиков. Вера
Носарева, крепкая бесстрашная баба, разглядела на одной из тумбочек
материнскую фотографию и с такой яростью кинулась на мужиков, что те,
отскакивая и обороняясь от нее, не на шутку перепугались. Шум поднялся с еще
большей силой.
- Че с имя разговаривать - порешить их за это тут же. Место самое
подходявое.
- Чтоб знали, нехристи.
- Зачем место поганить? В Ангару их.
- И руки не отсохли. Откуль такие берутся?
- Как морковку дергали... Это ж подумать надо!
- Ослобонить от их землю. Она спасибо скажет.
- Кур-рвы!
Второй мужик, помоложе, по-петушиному вскидывая голову и вертясь из
стороны в сторону, старался перекричать народ:
- Мы-то что?! Мы-то что?! Вы поймите. Нам дали указание, привезли сюда.
Мы не сами.
- Врет, - обрывали его. - Тайком приплыли.
- Дайте сказать, - добивался мужик. - Не тайком, с нами представитель
приехал. Он нас привез. И Воронцов ваш здесь.
- Не может такого быть!
- Отведите нас в деревню - там разберемся. Они там.
- И правда, в деревню.
- Это вы зря: где напакостили, там ответ держать.
- Никуды от нас не денутся. Пошли.
И мужиков погнали в деревню. Они облегченно, обрадованно заторопились;
старухи, не поспевая за ними, потребовали укоротить шаг. Богодул вприпрыжку,
как стреноженный, не отпускал верзилу и продолжал тыкать его в спину своей
палкой. Тот, оборачиваясь, рявкал - Богодул в ответ щерил в довольной
ухмылке рот и показывал в руке топор. Вся эта шумная, злая и горячая
процессия - ребятишки впереди и ребятишки позади, а в середине, зажав со
всех сторон мужиков, растрепанные, возмущенные, скрюченные в две и три
погибели старики и старухи, семенящие и кричащие в едином запале,
поднимающие с дороги всю пыль, - толпа эта при входе в деревню столкнулась с
двоими, которые торопились ей навстречу: один - Воронцов, председатель
сельсовета, а теперь поссовета в новом поселке, и второй - незнакомый,
конторского вида мужчина в соломенной шляпе и с цыганистым лицом.
- Что такое? Что у вас происходит? - еще издали, на ходу потребовал
Воронцов.
Старухи враз загалдели, размахивая руками, перебивая друг друга и
показывая на мужиков, которые, осмелев, выбрались из окружения и
протолкалась к цыганистому.
- Мы, значит, делаем что надо, а они набросились, - взялся объяснять
ему молодой.
- Как собаки, - подхватил верзила и завозил глазами, отыскивая в толпе
Богодула. - Я тебе... пугало огородное...
Он не закончил, Воронцов перебил его и старух, которые на "собак"
отозвались возмущенным гулом.
- Ти-ше! - с растяжкой скомандовал он. - Слушать будем или будем
базарить? Будем понимать положение или что будем?.. Они, - Воронцов кивнул
на мужиков, - проводили санитарную уборку кладбища. Это положено делать
везде. Понятно вам? Везде. Положено. Вот стоит товарищ Жук, он из отдела по
зоне затопления. Он этим занимается и объяснит вам. Товарищ Жук - лицо
официальное.
- А ежели он лицо, пушай ответит народу. Мы думали, оне врут, а он, вот
он, лицо. Кто велел наше кладбище с землей ровнять? Там люди лежат - не
звери. Как посмели над могилками гадиться? Нам пушай ответит. Мертвые ишо
сами спросят.
- Такие фокусы даром не проходят.
- Царица небесная! До чего дожили! Хошь топись от позору.
- Слушать будем или что будем?.. - повторил Воронцов, взяв тон цокруче.
Жук спокойно и как будто даже привычно ждал, когда утихомирятся. Вид у
него был замотанный, усталый, черное цыганское лицо посерело. Видать,
работенка эта доставалась непросто, если представить еще, что объясняться
таким образом ему приходилось с местным населением не впервые. Но начал он
неторопливо и уверенно, с какой-то даже снисходительностью в голосе:
- Товарищи! Тут с вашей стороны непонимание. Есть специальное
постановление, - знал Жук силу таких слов, как "решение, постановление,
установка", хоть и произнесенных ласково, - есть специальное постановление о
санитарной очистке всего ложа водохранилища. А также кладбищ... Прежде чем
пускать воду, следует навести в зоне затопления порядок, подготовить
территорию...
Дед Егор не вытерпел::
- Ты не тяни кота за хвост. Ты скажи, кресты по какой такой надобности
рубил?
- Я и отвечаю, - дернулся Жук и от обиды заговорил быстрой: - Вы
знаете, на этом местe разольется море, пойдут большие пароходы, поедут
люди... Туристы и интуристы поедут. А тут плавают ваши кресты. Их вымоет и
понесет, они же под водой не будут, как положено, на могилах стоять.
Приходится думать и об этом...
- А о нас вы подумали? - закричала Вера Носарева. - Мы живые люди, мы
пока здесь живем. Вы загодя о туристах думаете, а я счас мамину фотокарточку
на земле после этих твоих боровов подобрала. Это как? Где я теперь ее
могилку стану искать, кто мне покажет? Пароходы поплывут... это когда твои
пароходы поплывут, а мне как теперь здесь находиться? Я на ваших туристов...
- Вера задохнулась. - Покуда я здесь живу, подо мной земля, и не нахальте на
ней. Можно было эту очистку под конец сделать, чтоб нам не видать...
- Когда под конец? У нас семьдесят точек под переселение, и везде
кладбища. Не знаете положения и не говорите. - Голос у Жука заметно
потвердел. - Да восемь кладбищ полностью переносятся. Это и есть под конец.
Дальше тянуть некуда. У меня тоже лишнего времени нет.
- Ты арапа не заправляй. - Знали в деревне: деда Егора расшевелить
трудно, но расшевелится, только держись, ничем не остановишь. Это как раз и
был тот момент, когда дед накалялся все больше и больше. - Откулева пришли,
туды и ступайте, - отправлял он. - К кладбищу боле не касайтесь. А то я
берданку возьму. Не погляжу, что ты лицо. Под лицом надобно уваженье к людям
иметь, а не однуе шляпу. Ишь, заявился, работку нашли! За такую работку по
ранешним бы временам...
- Да они что?! - Жук, побледнев, обернулся за помощью к Воронцову. -
Они, кажется, не понимают... Не желают понимать. Они что, не в курсе, что у
нас происходит?
-- Кур-рва! - высунулся Богодул.
Воронцов выгнул колесом грудь и закричал:
- Чего вы тут расшумелись? Чего расшумелись? Это вам не базар!
- А ты, Воронцов, на нас голос не подымай, - оборвал его дед Егор,
подбираясь ближе. - Ты сам тута-ка без году неделя. Сам турист... ране моря
только причапал. Тебе один хрен, где жить - у нас или ишо где. А я родился в
Матере. И отец мой родился в Матере. И дед. Я тутака хозяин. И покулева я
тутака, ты надо мной нe крыль. - Дед Егор, грозя, совал черный корневатый
палец к самому носу Воронцова. - И меня не пори. Дай мне дожить без позору.
- Ты, Карпов, народ не баламуть. Что требуется, то и будем делать. Тебя
не спросим.
- Иди-ка ты!.. - понужнул дед Егор, посылая Воронцова подальше.
- Это другое дело, - согласился Воронцов. - Так и запомним.
- Запоминай. Не шибко испугался.
- Защитничек нашелся.
- Много вас таких!..
- Убирайтесь, покуль до греха не дошло.
Снова закипятились, закричали старухи, теснее сжимая в кольцо
Воронцова, Жука и мужиков. Вера совала под нос Жуку фотографию матери - он
отстранялся и брезгливо морщился; с другой стороны на него наседали Дарья и
Настасья. Шляпа у Жука съехала набок, открыв черные как смоль и кудрявые
волосы, так что сходство с цыганом стало еще большим, - казалось, вот-вот он
не выдержит и по-цыгански, с гиком подпрыгнув, начнет налево и направо
лопотать по-своему, отбиваясь сразу от всех. Старуха Катерина взяла в оборот
Воронцова, наскакивая на него и повторяя: "Нету таких правов, нету таких
правов". Когда Воронцов пробовал отстраниться, перед ним возникала Тунгуска,
все это время молчаливо пыхающая трубкой, и молчаливо же показывала ему,
чтобы он слушал Катерину. Басом, как главный, основной голос гудел дед Егор.
И под весь этот тарарам, который все больше накалялся, Воронцов и Жук, едва
сумев переброситься несколькими словами, с трудом выдрались из толпы и
направились в деревню. Верзила попробовал отнять у Богодула топор, но
Богодул рыкнул и замахнулся - случившийся рядом дед Егор посоветовал
верзиле:
- Ты с им, парень, не шибко. Он у нас на высылке. Вот так же одного
обухом погладил...
- Уголовный, что ли? - заинтересовался верзила.
- Но-но.
- Я, может, сам уголовный.
- Ну, тогды спытай. Мы поглядим.
Но верзила, помявшись, покосившись еще на Богодула, который подмигивал
ему жутким, как горящим, красным глазом, побежал догонять своих. Через час
все четверо отплыли с Матеры.
...А старухи до поздней ночи ползали по кладбищу, втыкали обратно
кресты, устанавливали тумбочки.

4

Мало кто помнил, когда Богодул впервые появился в Матере - теперь уж
казалось, что он околачивался здесь всегда, что за грехи или еще за что
достался он деревне в подарочек еще от тех, прежних людей, полным строем
ушедших на покой. Помнили только, что было время, когда Богодул лишь
заплывал, заворачивал в Матеру со своих дорог по береговым деревням. Знали
его тогда как менялу: менял шило на мыло. И верно, наберет в сидор ниток,
иголок, кружек, ложек, пуговиц, мыла, пряжек, бумажек и обменивает на яйца,
масло, хлеб, больше всего на яйца. Известно, магазин не во всякой деревне, и
что требуется по хозяйству, не вдруг под руками, а Богодул уж тут, уж
стучит: не надо ли этого, того? Надо, как не надо! И зазывали Богодула,
поили чаем, делали заказы, подкладывали к десятку яиц еще два-три, а то и
все пять, курицы у всех - яйца эти он потом сдавал в сельпо и пускал в
оборот. Разбогатеть от такого оборота, ясное дело, он не мог, но кормился, и
кормился, пока носили ноги, вроде неплохо.
Или привечали Богодула в Матере больше, или по другой какой причине
приглянулся ему остров, но только, когда дошло до пристанища, Богодул выбрал
Матеру. Пришел, как обычно, и не ушел, приклеился. Летом еще, бывало,
отлучался ненадолго - видать, привычная бродячая жизнь брала свое, куда-то
гнала, что-то вымаливала, но зимой оставался безвылазно: неделю проживет у
одной старухи, неделю у другой, а то после истопки залезет и ночует в бане -
там, глядишь, опять весна, а с теплом Богодул перебирался в свою "фатеру", в
колчаковский барак.
Много лет знали Богодула как глубокого старика и много уже лет он не
менялся, оставаясь все в том же виде, в каком показался впервые, будто бог
задался целью провести хоть одного человека через несколько поколений. Был
он на ногах, ступал медленно и широко, тяжелой, навалистой поступью,
сгибаясь в спине и задирая большую лохматую голову, в которой воробьи вполнe
могли устраивать гнезда. Из дремучих зарослей на лице выглядывала лишь
горбушка мясистого кочковатого носа да мерцали красные, налитые кровью
глаза. От снега до снега Богодул шлепал босиком, не разбирая ни камнeй, ни
колючек; ноги его, разлапистые и черные, потерявшие видимость кожи на них,
настолько затвердели, что казались окостеневшими, будто на старую кость
наросла новая. Одно время ребятишки наловчились ловить змей: прижмут
рогаткой к земле и хватают возле головы, бегут пугать девчонок и баб; увидев
раз выпущенную ненароком, ползущую по дороге тварь, возле которой прыгала
ребятня, Богодул, недолго думая, подставил ей голую ступню - змея ткнула и
не проткнула, ударилась как о камень. С того случая мальчишки нашли новую
забаву: всех пойманных змей доставляли Богодулу, а он, сидя на валуне возле
своего барака и руками приподняв ногу, дразнил их, хехекая, как от щекотки,
когда змея в мгновенном прыжке пыталась проколоть его твердь, и блаженно
приговаривал:
- Кур-рва!
Одно это слово заменяло ему добрую тысячу, без которых никакой другой
человек не смог бы обойтись. Богодул прекрасно обходился. Поляк он был или
нет, только по-русски он разговаривал мало, это был даже не разговор, а
нехитрое объяснение того, что нужно, многажды приправленное все той же
"курвой" и ее родственниками. Мужики, бывало, матерились почудней,
позаковыристей, но никто не ругался с такой сластью: он не выпускал как
попало, а любовно выпекал мат, подлаживая, подмасливая его, сдабривая его
лаской ли, злостью. И то, что у других выскакивало как пустячное и привычное
ругательство, которое и до ушей не доходило, опадало по дороге, у Богодула
заключало весь смысл, все его доскональное отношение к предмету разговора.
Хоть и редко, но случалось все-таки, что Богодул разговаривался со старухами
- правда, и тогда курва на курве сидела и курвой погоняла, но все же это был
связный, понятный рассказ, который можно было слушать и постороннему
человеку.
Старухи Богодула любили. Неизвестно, чем он их привораживал, чем брал,
по только заявлялся он на порог к той же Дарье, она бросала любую работу и
кидалась к нему встречать, привечать.
- Здорово, Дарьюшка! - гудел он сиплым, будто дырявым, голосом.
- Драствуй-ка, - со сдержанной радостью отвечала она. - Пришел?
- Как бог, - и мат.
Дарья крестилась на образ, прося у господа прощения за все, что сказал
и скажет старик, и торопилась ставить самовар.
- Настасья! Иди чай пить, Богодул пришел! - кричала она через прясло. -
Гаркни там Татьяну, пущай тоже идет.
А раз любили его старухи, ясное дело, не любили старики. Чужой, да еще
блажной, подъедала-подпивала, ни побалакать с ним, ни вызнать ничего - черт
его поймет, что за человек, этот старуший приворотень. Она своему, родному
на сто рядов, забудет чай поставить, а ему нет, для нее он, прохиндей, и
верно как бог, сошедший наконец на страдальную землю и испытующий всех
их своим грешным, христарадным видом. Ворчали старики:
- От каторжник! (жил слух, что Богодула в свое время сослали в Сибирь
за убийство), - ворчали, но терпели: и со старухами лучше не связываться, и
он человек все-таки, не собака. Хоть и бесполезный, зловредный человек,
каких поискать по белому свету.
В последние годы, когда пошли слухи, а затем и началась суета с
переселением, Богодул был единственным, кого они словно бы никаким боком не
касались, - или рассчитывал до того помереть, или так же, как здесь,
пристроиться возле старух и на новом месте. Для них вся жизнь теперь
состояла только в этом, и о чем бы ни заходил разговор, в какое бы время ни
перебрасывался, кого бы ни метил, кончался он всегда одним - подступающим
затоплением Матеры и скорым переездом. Богодул сидел тут же, с шорканьем,
будто камень тер о камень, чесал свои донельзя заскорузлые ноги или, шумно
гоняя воздух, тяжело отпыхивался после чая и угрюмо сипел:
- Не имеют пр-рава.
- Да как не имеют, ежли имеют, - с досадой и надеждой набрасывались на
него старухи. - Нас, че ли, спрашивать будут?
- Не имеют. Потоп... кур-рва... на людей... не имеют. Я закон знаю.
И, поднимая над головой грозящий палец, смотрел на него с
требовательной злостью.
- Ты-то, христовенький, куда денешься? - с жалостью спрашивали старухи.
- С места ни ногой! - выкрикивал Богодул. - Японский бог! Не имеют
пр-рава. Живой, кур-рва!
- Дак ты один воду не остановишь, ежли ее подопрут. Че-нить с тобой
доспеют, куда-нить отправят.
- Живой... кур-рва! - упирался он.
На другой день после истории на кладбище он приволокся к Дарье не к
вечеру, как обычно, а с утра - она не поднялась ему навстречу, не
заговорила, сиднем сидела на топчане, остыло склонившись и опустив меж колен
сцепленные вместе, сухие, с торчащими костяшками, выделанные работой руки.
Богодул покрякал, устраиваясь на лавке у двери, - новую, магазинскую мебель
Павел еще по льду перевез на совхозную квартиру, здесь оставалось старье -
покрякал-покрякал Богодул, что-то недовольно буркнул и затих, ожидая, когда
заговорит Дарья. Но она, не выказывая охоты ни к разговору, ни к чаю,
молчала, время от времени тяжело вздыхая и так же тяжело, не одним махом,
поднимая на Богодула невидящие, глядящие куда-то сквозь глаза, будто не
узнавала Богодула или не понимала, зачем, по какой надобности он здесь.
Утро было позднее и тихое; солнце, вставшее уже высоко, светило ясно и
ярко, но без мощи, без напора, со сдержанной силой, и это чувствовалось даже
в избе: свет за окнами казался вялым, а разные шумы вокруг словно бы не
собирались сюда, в одно место для слуха, а оттекали в стороны. В нетопленной
избе было тепло срединным, ровно достаточным теплом, когда не жарко и не
прохладно - неощутимо вовсе, как во сне; устало и нудно звенели в окнах и
бились о стекла мухи; пахло кисловатым от ведерного чугуна с пойлом,
приготовленного для скотины и невынесенного; с вечера не убрано было со
стола, и все так же нетронуто стоял налитый вчера для Богодула стакан с
чаем. Теперь Богодул разглядел этот стакан, подошел и выпил - Дарья
шевельнулась и спросила:
- Новый, ли че ли, поставить?
Он мотнул головой: не надо, но она все-таки поднялась и поставила. А
взявшись за край дола, потянула его дальше: вынесла пойло, кинула курицам,
которые всполошенно и шумно бросились на корм, убрала со стола и к той поре,
когда в сенях зашумел самовар, опустила в фарфоровый запарник две щепотки
черного плиточного чая и пристроила его на конфорку. И после уже, принеся
самовар и заварив чай, ожидая, когда он напреет, Дарья наконец заговорила -
безжалобно и просто, будто только что на минутку пресеклась и теперь
продолжала дальше:
- Вечор и корову пропустила, не подоила. Одну холеру молоко киснет.
Ставлю на сметану, и сметана киснет, все кринки запростаны. А он, Павел,
приплывет, банку с-под подойника выпьет, и опеть в лодку, опеть нету. А я и
совсем мало пью. И не от надо, а жалко - вот и возьму выпью кружку, чтоб не
пропадало. Ничe, вскорости отойдет эта дарма. И подбелил бы когды в охотку
тот же чай, ан нечем, поминай как звали.
Она разлила чай, подвинула Богодулу его стакан, плеснула из своего в
блюдце и отпила. И, словно прислушиваясь к чему-то, улавливая что-то,
подняла голову и замерла, затем, уловив, опять опустила ее и снова
прихлебнула, поднеся блюдце к сухим, со змеиной кожей, острым губам. И круто
повернула разговор:
- Седни думаю: а ить оне с меня спросют. Спросют: как допустила такое
хальство, куды смотрела? На тебя, скажут, понадеялись, а ты? А мне и ответ
держать нечем. Я ж тут была, на мне лежало доглядывать. И что водой зальет,
навроде тоже как я виноватая. И что наособицу лягу. Лучше бы мне не дожить
до этого - господи, как бы хорошо было! Не-ет, надо же, на меня пало. На
меня. За какие грехи?! - Дарья глянула на образ, но не перекрестилась,
задержала руку. - Все вместе: тятька, мамка, братовья, парень - однуе меня
увезут в другую землю. Затопить-то опосле и меня, поди-ка, затопят, раз уж
на то пошло, и мои косточки поплывут, ан не вместе. Не догнать будет.
Тятька говорeл... у нас тятька ко мне ласковый был. Говорит: живи,
Дарья, покуль живется. Худо ли, хорошо - живи, на то тебе жить выпало. В
горе, в зло будешь купаться, из сил выбьешься, к нам захочешь - нет, живи,
шевелись, чтоб покрепче зацепить нас с белым светом, занозить в ем, что мы
были. К нам, говорит, ишо никто но обробел, не было и не будет такого
разини. Он-то думал, не будет, а я-то как раз и обробела. Мне бы поране
собраться, я давно уж нетутошняя... я тамошняя, того свету. И давно навроде
не по-своему, по-чужому живу, ниче не пойму: куды, зачем? А живу. Нончe свет
пополам переломился: eвон че деется! И по нам переломился, по старикам... ни
туды мы, ни сюды. Не приведи господь! Оно, может, по нам маленько и видать,
какие в ранешнее время были люди, дак ить никто назад себя не смотрит. Все
сломя голову вперед бегут. Запыхались уж, запинаются на каждом шагу - нет,
бегут... Куды там назадь... под ноги себе некогды глянуть... будто кто
гонится.
- Японский бог! - согласился Богодул.
Дарья подливала из самовара в стакан, из стакана в блюдце, ласково и
бережно прихлебывала, сластила чаем во рту, сглатывая не сразу, аккуратно
облизывала губы и неторопливо, забывчиво, будто и не подбирая, а вынимая
слова наугад, говорила и говорила, не вытягивая разговор в одну сторону,
нагибая его то туда, то сюда.
- Без чаю-то худо, - от удовольствия, что пьет его, признавалась она. -
Навроде отошла маленько. А утресь как обручем сжало в грудях, до того
тошно... мочи нету. Через силу подоила корову, а то уж она, бедная,
изревелась, выпустила ее - окошек не вижу, одна темень в глазах. Думаю: надо
самовар поставить. И сама себя ишо тошней тошню: какой тебе самовар? Ты за
самоваром-то и сидела, лясы точила, покуль у тятьки, у мамки нехристь
последнюю память сшибала. Не будет тебе никакого самовару, не проси. Как
вспомню, как вспомню про их... сердце оборвется и захолонет - нету. Я от
себя качну - навроде раз, другой толкнется, подeржится и опеть... как на
память найдет... опеть остановится. Ну, думаю, куды оне меня повезут, где
спрячут? Это когда мальчонка у Райки Серкиной помер, три дни полсажени земли
искали, чтоб похоронить, новое кладбище расчать, а кладбище опосле все равно
другое назначили. И лег он, христовенький, не туды, совсем один в стороне...
далеко, говорят, в стороне. Каково ему, маленькому, в лесу со зверьем?
Спасибо он потом отцу-матери за это скажет?
У нас тятька с мамкой, почитай, в одновременье померли. Не старые ишо,
ежли со мной равнять. Первая мамка, и ни с чего, ее смерть наскоком взяла. С
утра ишо холила, прибиралась, потом легла на кровать отдохнуть, сколь-то
полежала, да как закричит лихоматом: "Ой, смерть, смерть давит!" А сама
руками за шею, за грудь ловится. Мы подскочили, а знатья, че делать, ни у
кого нeту, руками без толку машем да чекаем: "Че, мамка, где, че?" Она прямо
на глазах у нас посипела, пятнами пошла, захрипела... Приподняли, посадили
ee, а уж надо обратно класть. На шее следы навроде как остались, где она
навроде душила... так и влипло. Тятька опосле говорил: "Это она на меня
метила, я ее звал, да промахнулась, не на того кинулась". Вот он у нас
долго, годов семь, однако что, хворал. Ставили на мельнице новый жернов, и
он под его... нога подвернулась, и прямо под его. Как ишо живой остался!
Кровью харкал, отшибло ему нутро. Он бы, поди-ка, и поболе подержался, ежли
берегчись, дак берегчись-то никак и не умел, ломил эту работу, что здоровый,
не смотрел на себя. Мамку хоронили зимой, под Рожество, а его близко к этой
поре, за Троицей. Откопали сбоку мамкин гроб, а он даже капельки не
почернел, будто вчерась клали. Рядышком поставили тятькин. Царствие вам
небесное! Жили вместе, и там вместе, чтоб никому не обидно.
На острову у нас могила есть... Тепери-то ее без догляду потеряли,
гдей-то пониже деревни по нашему берегу на угоре. Я ишо помню ее, как
маленькая была. Лежит в ей, сказывают, купец, он товары по Ангаре возил. И
вот раз плывет с товаром, увидал Матеру и велел подгребать. И до того она
ему приглянулась, Матера наша... пришел к мужикам, которые тогда жили,
пришел и говорит: "Я такой-то и такой, хочу, когда смерть подберет, на вашем
острову, на высоком яру быть похоронетым. А за то я поставлю вам церкву
христовую". Мужики, не будь дураки, согласились. И правда, отписал он
деньги, купец, видать, богатный был... целые тыщи - то ли десять, то ли
двадцать. И послал главного своего прикащика, чтоб строил. Ну вот, так и
поставили нашу церкву, освятили, на священье сам купец приезжал. А вскорости
после того привезли его сюды, как наказывал, на вековечность. Так старые
люди сказывали, а так, не так было, не знаю. А че им, поди-ка, здря
говореть...
Тятько как помирать, а он все в памяти был, все меня такал... он
говорит: "Ты, Дарья, много на себя не бери - замаешься, а возьми ты на себя
самое напервое: чтоб совесть иметь и от совести не терпеть". Раньче совесть
сильно различали. Ежли кто норовил без ее, сразу заметно, все друг у дружки
на виду жили. Народ, он, конешно, тоже всяко-разный был. Другой и рад бы по
совести, да где ее взять, ежли не уродилась вместе с им? За деньги не
купишь. А кому дак ее через край привалит, тоже не радость от такого
богачества. С его последнюю рубаху сымают, а он ее скинет, да ишо спасибо
скажет, что раздели. У нас сват Иван такой был. А он был печник любо-дорого
на весь белый свет. За им за сто верст приезжали печи класть. Безотказный,
шел, кто ни попросит, а за работу стеснялся брать, задарма, почитай, и
делал. На его сватья грешит: "Ты на неделю уйдешь, кто за тебя в поле будет
робить? Кто дома будет робить, простофиля ты, не человек". А он правда что
простофиля: "Люди просют"... Ну и запустил свое хозяйство... "Люди просют" -
хошь по миру иди. На эту пору объявилась коммуния - он туды свою голову... -
Последние слова Дарья договорила врастяжку, она вспомнила, перекинувшись
мыслью на теперешнее: - Я вечор без ума могилку свата Ивана доглядеть. Да уж
темно и было, не понять, где кто лежит. Нешто и ее своротили? Над ей
звездочка покрашенная была, сын с городу жалезную тумбочку привез, а сверху
как птичка звездочка. Надо седни проверить. Господи, догонь ты этих
извергов, накажи их за нас. Ежли есть в белом свете грех, какой ишо надо
грех? - Чтобы опять не разбередиться, Дарья осторожно покачала головой и,
вздохнув полной грудью, поднялась, пошла в путь и вынесла оттуда пять
шоколадных, в пестрой бумажной обертке конфет - три протянула Богодулу и две
оставила себе. - Посласти маленько, я знаю: ты любишь. Помню, поди-ка: в
войну хошь на зуб положить, а откуль-то брал по кусочку сахару, давал нам
для скусу. Сердился не дай бог, eжли мы для ребят оставляли, заставлял самих
хрумкать. Сластей того сахару я ниче не знаю. То и сладко, че нету.
- Вино - ык! - подал голос Богодул и сделал отмашку головой, показывая,
что вино он не терпит и никогда не терпел.
- Пущай его дьявол пьет, - согласилась Дарья, усаживаясь обратно на
свое место. - Че я заговорела про свата Ивана? Памяти никакой не стало, вся
износилась. А-а, про совесть. Раньше ее видать было: то ли есть она, то ли
нету. Кто с ей - совестливый, кто без ee - бессовестный. Тепери холера
разберет, все сошлось в одну кучу - что то, что другое. Поминают ее без пути
на кашном слове, до того христовенькую истрепали, места живого не осталось.
Навроде и владеть ей неспособно. O-хо-хо! Народу стало много боле, а
совесть, поди-ка, та же - вот и истончили ее, уж не для себя, не для спросу,
хватило б для показу. Али сильно большие дела творят, про маленькие забыли,
а при больших-то делах совесть, однако что, жалезная, ничем ее не укусить. А
наша совесть постарела, старуха стала, никто на нее не смотрит. Ой, господи!
Че про совесть, ежли этакое творится!
Я ночесь опосля вeчорошного не сплю и все думаю, думаю... всякая ахинея
в голову лезет. Сроду никакой холеры не боялась, а тут страх нашел: вот-вот,
грезится, чей-то стрясется, вот-вот стрясется. И не могу - до того
напружилась от ожиданья... Вышла на улицу, стала посередь ограды и стою - то
ли гром небесный ударит и разразит нас, что нелюди мы, то ли ишо че. От
страху в избу обратно, как маленькой, охота, а стою, не шевелюсь. Слышу: там
дверь брякнет, там брякнет - не мне одной, значит, неспокойно. Подыму глаза
к небу, а там звездочки
разгорелись, затыкали все небо, чистого места нету. До того крупные да
жаркие - страсть! И все ниже, ниже оне, все ближе ко мне... Закружили меня
звездочки... на-вроде как обмерла, ниче не помню, кто я, где я, че было. Али
унеслась куды-то. Пришла в себя, а уж поглядно, светлено, звезды назад
поднялись, а мне холодно, дрожу. И таково хорошо, угодно мне, будто душа
освятилась. "С чего, - думаю, - че было-то?" И хорошо, и больно, что хорошо,
стеснительно. Стала вспоминать, не видала ли я че, и навроде как видала.
Навроде как голос был. "Иди спать, Дарья, и жди. С кажного спросится", -
навроде был голос. Я пошла. Спать путем не спала, но уж маленько полегчало,
терпеть можно. А какой был голос, откуль шел, не помню, не скажу.
У нас мужики извеку, почитай, все свои были, материнские. Чужих не
сильно примали. При мне один Орлик прижился, дак Орлику сам черт - свояк. Он
на гольной воде, захоти он, нисколь не хуже бы обосновался и ноги не
замочил. Трепало было несусветное, сто коробов наворотит и не поперхнется,
язык как молотилка. Мужики, поди-ка, для того и оставили его, чтоб веселил,
на потеху себе. У нас такие не родились. Соберутся где и хахают, и хахают на
всю Матеру, а он сидит - голова рыжая, рожа разбойная, вся в конопушках, и
зубы редкие. Вот-вот, зубы редкие - не здря говорят: у кого зубы редкие-
вруша, через их все проскочит. И моет свои редкие зубы, и моет - откуль че
берется! До улежки мужиков доводил. Но и работящий был, ой, работящий! Где
кол забьет, там че-нить да вырастет. Дак вот, Дунька за Генкой Пресняковым
замужем, от его осталась, дочерь его. Ну, эта уж выродилась, не в тятьку
свово: ни соврать, ни поробить. А два парня были, те позаковыристей, за
словом в карман тоже не лазили - ну и одного как шпиена ерманского, чтоб не
подковыривал, взяли, а другой язык прикусил и съехал с Матеры. А куды
съехал, живой ли тепери, не знаю. Я уж и сама забыла про его, что он был, а
то бы у Дуньки долго ли спросить?
Ну, мужики у нас свои, а баб любили со стороны брать. Так заведено
пошто-то было. И по наших девок, кто оставался, тоже наперебой плыли: с
Матерой породниться кажный рад. У нас из веку богато жили. И девки от наших
мужиков все породные выходили, бравые - на залеживался товар. Ишо и пощас
видать породу, кто с Матеры. Мамку мою тятька тоже привез откуль-то с
бурятской стороны. Как он ее дразнил: ой-е-ек. От с этого самого Ой-е-ека,
али как он, мамка и вышла. А там то ли воды совсем не было, то ли речушка
какая в один перешаг текла, только до смерти она боялась воды. Попервости,
тятька рассказывал, станет на берегу и глаза зажмурит, чтоб не видать. А
куды от ее деться - кругом Ангара. На Подмогу перeдти и то надо вплавь, а у
нас там, на Подмоге покосы стояли. Так и не привыкла до самой до смерти. Мы
над ей подсмеивались, нам-то Ангара - своя, с сызмальства на ей, а мамка
говорела: "Ой, будет, будет на меня беда, здря никакой страх не живет". Дак
нет, никто у нас в дому не утонул, а что гулеванила, берегов не слушалась
вода - не нам однем, всем разор. Только щас мамкин страх наверх вышел, что
незряшный он был... он когды... щас... - Дарья растерянно запнулась; уронив
голос, едва слышно и потерянно закончила: - Он ка-ак: догонит все ж таки
мамку вода. А мне и не в ум. Он ка-а-ак...
Пораженная этой неожиданной новостью, которую надо было знать давно, но
которая где-то потерялась и выскользнула из воспоминаний только теперь,
Дарья отставила чай и без мысли, с тупой устремленностью стала шарить
впереди себя глазами, что-то отыскивая, что-то вовсе и ненадобное, тяжелое.
Солнце ближе к обеду еще больше помутилось, свет eго был бледным и слабым.
На выбеленных, с отсыхающей известью стенах, на вышорканном до разводистых
углублений полу, на потрескавшихся подоконниках - везде, куда попадал этот
свет, казалось сиро и убого, продавлено глубокой непоправимой старостью.
Посреди комнаты за спиной Богодула проворно скользил в пустоте с потолка
ситник - ненадолго задерживался, легонько покачиваясь в воздухе, отдыхая или
осматриваясь, что творится вокруг, и снова опадал вниз. По открывающемуся в
окне отрубку Ангары жуком проскочила с жужжаньем моторная лодка,
заколыхалась волна; в другом окне поверх заплота лежало белесое оплывшее
небо. И чем больше смотрела Дарья, все вмещая в глаза и ничего не видя, не
выделяя в отдельности, тем неспокойней ей становилось. И сильней набиралась
досада, что опять она делает не то, опять сидит за самоваром, как вчера...
корило и давило что-то, не давая собраться с духом, растягивая душу на
стороны. Она поднялась и торопливо, будто куда опаздывала, сказала Богодулу:
- Ну вот, напились мы с тобой. Напили-ись - боле некуды. Тапери ты иди,
ежли надо. А то оставайся, я пойду. Засиделись, опеть и засиделись с
разговором, а об чем говореть... Наши разговоры как мякина - ни весу, ни
толку. Только и память, что было зерно. Было время...
- Дарья, куды? - строго вопросил Богодул, задирая голову.
Она на минутку замешкалась и отказала:
- Нет, нет, я одна. Ты оставайся. Туды я одна.
Куда "туды"? - она и близко не знала и, выйдя за ворота и в раздумье
подержавшись возле них, тронулась было к Ангаре, наперед догадываясь, что
повернет, и повернула, вышла возле огородов за деревню - ноги несли ее к
кладбищу. Но и до кладбища она не дошла; сказалось ей, что ни к чему идти
туда с нетвердой душой, смущать покой мертвых, и без того возмущенный
вчерашней войной. Не удастся ей дотянуться до них вещим словом - нет его, и
не родится оно; не отзовутся они. Вконец потерявшись, она опустилась без сил
на землю на сухом травянистом угоре, оказавшись лицом к низовьям, и,
отыскивая глазами, на чем бы успокоиться, осмотрелась окрест. Осмотрелась
раз, и другой, и третий...
Отсюда, с макушки острова, видно было как на ладони и Ангару, и дальние
чужие берега, и свою Матеру, смыкающуюся за сосновой пустошью в одно целое с
Подмогой, так что островная земля тянулась чуть не до горизонта и лишь у
самого его краешка проблескивала полоска воды. Правый широкий рукав реки,
словно оттопыриваясь на сгибе, теснил низкий противоположный берег, вдаваясь
в него, и опять выпрямлялся вдали, спадая ровно и аккуратно; левый рукав,
более спокойный и близкий, как бы принадлежащий Матере, свисая с ее крутого
берега, в этот час при тихом солнце казался неподвижным. Его в Матере так и
называли: своя Ангара. В эту сторону смотрела деревня, сюда спускали лодки,
ходили за водой, отсюда ребятишки впервые озирали мир, до каждого камешка
все здесь было изучено и запомнено, а за протокой при колхозе держали поля,
которые только нынче и забросили.
И тихо, покойно лежал остров, тем паче родная, самой судьбой
назначенная земля, что имела она четкие границы, сразу за которыми
начиналась уже не твердь, а течь.
Но от края до края, от берега до берега хватало в ней и раздолья, и
богатства, и красоты, и дикости, и всякой твари по паре - всего, отделившись
от материка, держала она в достатке - не потому ли и назвалась громким
именем Матера? И тихо, потаенно лежала она - набиралась соков раннего лета:
на правый искосок от бугра, где сидела Дарья, густой гладью зеленели озими,
за ними вставал лес, еще бледный, до конца не распустившийся, с томными
пятнами елей и сосен; поверху и понизу в нем сквозила дорога, уходящая к
Подмоге. Ближе леса и левей от дороги огорожена была с двух сторон
поскотина, оставив стороны к своей Ангаре и деревне открытыми, - там бродили
коровы, и тонко бренчало, как булькало, на шее одной из них ботало. Там же,
как царь-дерево, громоздилась могучая, в три обхвата, вековечная лиственница
(листвень - на "он" знали ее старики), с прямо оттопыренными тоже могучими
ветками и отсеченной в грозу верхушкой. Поблизости от нее стояла, будто
подбиралась, да так и не подобралась, испугавшись грозного ли вида, или
онемев от казни, береза; Дарья хорошо помнила ее еще молоденькой, помнила
березкой, а теперь коряво разошелся на две половины ствол, закаменела,
разваливаясь, кора и обвисли, запрокинулись вниз тяжелые ветви. И все, и
пусто на выгоне - остальное оборвал и вытоптал скот.
Но видела, видела Дарья и то, что было за лесом, - поля с высокими
осиновыми переборами, покатый сырой правый берег в тальнике и смородине и
ближе к Подмоге болотце, где топырились на кочках уродливые березки, рано
засыхающие от дурной воды, торчащие голо и обманчиво: ухватишься рукой за
такую опору, она хрупнет и обломится. На левом высоком берегу березы совсем
другие - высокие, чистые и богатые, оставляющие от прикосновенья легкую
известь белизны, стоящие просторно и весело, словно и расставленные для
какой-то игры, по три-четыре вместе. Этот луг и облюбовала издавна молодежь
для своих игрищ. Не один здесь состоялся сговор, не одна девица-молодица
заработала на этой травке славку, уходя отсюда в том же, в чем была, да не в
той же целости-сохранности. А бывало, вся деревня запрягала коней и ехала
сюда по горячему солнцу на праздник, бывало, бросались с высокого яра в
темную воду парни, и, как говорит старая молва, в какое-то давнее лето
парень по имени Проня не поднялся обратно на яр и с тех пор много лет бродит
тут по ночам, как русалочий муж, и кого-то несмело и неразборчиво кличет.
Видела Дарья на память и дальше - снова поля по обе стороны от дороги,
на них там и сям одинокие старые деревья, больше всего сушины, метившие
когда-то в пору единоличного хозяйничанья границы участков, а на деревьях
лениво и молча, смущенные блеклым бледнеющим солнцем и неурочной тишиной,
сидят вороны. Дорога подворачивает к старому гумну, где в мякине, сквозь
которую прорастает зерно, возятся воробьи, а почерневшая солома лежит
назьменными пластами - сколько, в самом деле, кругом старого, отслужившего
свой век и службу, остающегося без надобности, но догнивающего медленно и
неохотно. Как с ним быть? Что делать? Тут ладно, тут все уйдет под огонь и
воду, а как в других местах? И кажется Дарье: нет ничего несправедливей в
свете, когда что-то, будь то дерево или человек, доживает до бесполезности,
до того, что становится оно в тягость; что из многих и многих грехов,
отпущенных миру для измоленья и искупленья, этот грех неподъемен. Дерево еще
туда-сюда, оно упадет, сгниет и пойдет земле на удобрение. А человек?
Годится ли он хоть для этого? Теперь и подкормку для полей везут из города,
всю науку берут из книг, песни запоминают по радио. К чему тогда терпеть
старость, если ничего, кроме неудобств и мучений, она не дает? К чему искать
какую-то особую, вышнюю правду и службу, когда вся правда в том, что проку
от тебя нет сейчас и не будет потом, что все, для чего ты приходил в свет,
ты давно сделал, а вся твоя теперешняя служба - досаждать другим. "Так ли?
Так ли?" - со страхом допытывалась Дарья и, не зная ответа, зная, вернее,
лишь один ответ, растерянно и подавленно умолкала.
...А там - тупая оконечность Матеры, илистый берег перед подможьем или
подножьем и брод на Подмогу или Подногу. В чистую воду туда спокойно
перегоняли скот - колхозное стадо там и летовало каждый год, но, как
поднимется, задурит река, - держись и в лодке. Нос Подмоги выдается в Ангару
и чуть заходит за Матеру, будто когда-то нижний остров вознамерился обойти
передний и уже разогнался, отвернул, но отчего-то застрял. И пришлось Матере
брать Подмогу на буксир: в месте брода, чтоб было за что цепляться в шалую
воду, протянут в воздухе канат. На него любят усаживаться стрижи, живущие в
яру на своей Ангаре, они и сейчас там сидят, подрагивая хвостами и
заглядывая вниз, как поплавки.
И не понять, в солнце остров или уже нет солнца; есть оно в небе, есть
какое-то сияние в воздухе и на земле, но слабое, едва подкрашенное, не
дающее тени. Кругом сонно и терпеливо и кругом безгласно - молчком лежит
слева старая деревня с подслеповатыми, будто в бычьих пузырях, окнами;
застыл на поскотине обезглавленный "царский листвень", слепо растопырив
огромные ветви со своими ветками; бледными и снулыми кажутся зеленеющие
поля; жидкими, не в полный лист и не в полный рост кажутся леса; и, конечно,
тоже молчком, убого и властно, не выдавая тайны, лежит кругом другая, более
богатая деревня, закрытая теперь для поселенья, - кладбище, пристанище
старших...
Скоро, скоро всему конец.
Дарья пытается и не может поднять тяжелую, непосильную мысль: а может,
так и надо? Отступаясь от нее, она пробует найти ответ на мысль полегче: что
"так и надо"? О чем она думала? Чего добивалась? Но и этого она не знает.
Стоило жить долгую и мытарную жизнь, чтобы под конец признаться себе: ничего
она в ней не поняла. Пока подвигалась к старости она, устремилась куда-то и
человеческая жизнь. Пускай теперь ее догоняют другие. Но и они не догонят.
Им только чудится, что они поспеют за ней, - нет, и им суждено с тоской и
немощью смотреть ей вслед, как смотрит сейчас она.
Где-то за спиной на большой Ангаре прокричал пароход, и с какого-то
одинокого дерева на полях сорвалась вверх ворона. "На море-океане, на
острове Буяне..." - некстати вспомнилась Дарье старая и жуткая заговорная
молитва.

5

Под вечер приехал Павел. Дарья подняла на стук калитки голову, увидела,
как Павел вошел в ограду и вкинул с плеч обвислый рюкзак, этот городского
фасона сидор, и по нему догадалась: возьмет картошки. И спросила, когда
Павел вошел в избу:
- Подчистили картофку-то?
- Подчистили.
- Говорела: больше нагребите. На карбазе поплыли. Полмешка и то,
однако, не взяли - надолго ли вам, едокам!
- Побольше-то издрябла бы, - отозвался Павел, усаживаясь на лавку и
приноравливаясь, чтобы снять тяжелые кирзовые сапоги.
- Издрябла? - удивилась Дарья. - Ты сказывал, там подполье есть.
- Есть, - кряхтел над влипшими в ноги сапогами Павел. - Есть подполье,
есть. Только из него воду, как из колодца, будем брать. Вода в нем. Хоть
насосом качай.
- Но-о-о. Дак пошто ставили, где вода? Пошто недосмотрел-то, че давали?
- А там досматривай не досматривай... у всех вода. Никакой Ангары не
надо.
- Это чо деется! Дак пошто так строились-то? Пошто допрели, лопатой в
землю не ткнули, че в ей?
- По то, что чужой дядя строил. Вот и построились.
- Ишо чудней.
И замолчала Дарья: одно к одному. Как действительно объяснить то, что
не держит никакого объяснения, что само по себе означает ответ? Это только
ребятишки спрашивают: почему хлеб называется хлебом, а дом домом? Потому что
у хлеба и дома это свои собственные, стародавние имена, от которых пошли
другие слова, и что изменится оттого, если кто-то знает, откуда они взялись?
- был бы хлеб, был бы дом и не было бы того, чтобы человеческое жилье
ставили на слепые глаза!
Она видела, как Павел устал. Он с трудом содрал сапоги, вынес их, чтоб
не воняли, в сени и прошел босиком в передний угол, сел на топчан,
старательно устанавливая перед собой белые надрябшие ноги. В этом году по
весне, незадолго до Пасхи, ему сровнялось пятьдесят - был он у Дарьи теперь
старшим, а по порядку вторым сыном, первого прибрала война. И еще одного
сына лишилась она в войну, тот по малолетству оставался дома, но и здесь
нашел смерть на лесоповале за тридцать километров от Матеры. Привезли его
домой в закрытом гробу и похоронили, не показав матери, отказав тем, что там
не на что смотреть. До чего просто и жутко, не поддается никакому пониманию:
она рожала, кормила, растила, и он подгонялся в мужика, близко уж было, и
всего-то сорвавшаяся дуром лесина в один миг не оставила ничего даже для
гроба. Кто указал на него перстом и почему на него? Не верила она, что это
бывает сослепу: на кого, не видя, падет - тот упадет; нет, существовало в
этом что-то заранее решенное и нацеленное, знающее, за кем охотиться. И
была, была непонятная и страшная правда: из трех похороненных Дарьиных детей
все трое успели вырасти и войти в жизнь - один годился для войны, другой для
работы, третья - старшая дочь, скончавшаяся в Подволочной при вторых уже
родах, жила своей семьей. В Подволочной - значит, тоже уйдет под воду.
Только сын, зарытый в чужом краю в общей могиле вместе со многими, быть
может, останется в земле - кто знает, как у них там с землей и водой, чего
живым требуется больше.
И столько же, трое, осталось у Дарьи в живых: дочь в Иркутске, сын из
старого, дальнего леспромхоза переехал недавно в новый, только открытый,
поближе к Матере, и вот Павел. Жаловаться на них грех, все, пожалуй что,
чтут мать: те, что на стороне, пишут и зовут в гости, Павел сам грубого
слова с нею не знает и жене не велит знать. Не всякому удается на старости
такая судьба - что еще действительно надо? Голодом-холодом теперь никто не
сидит, и оно, отношение от родных к старикам, - самая первая для них
важность.
Павел посидел, помолчал, с тяжелой задумчивостью глядя в пол, и оттого,
наверно, что заметил - пол не подметен, спросил:
- Как ты тут управляешься? Вера не приходит?
- Вера когды зайдет, дак я говорю, не надо. Сама убираюсь. Это я щас
запустила. Вечор к корове и к той не подошла, от всего отступилась.
- Захворала, что ли?
- Дак оне че творят-то, Павел?! Че творят-то?! Уму непостижно! - стала
говорить спокойно и не выдержала, заплакала, закрывая лицо рукой и кланяясь
в сухих, клохчущих рыданиях. Павел, не спрашивая и не торопя, ждал. И когда,
чуть успокоившись, рассказала мать о вчерашнем, особенно напирая на слова
Воронцова и Жука, что то и положено делать, что сделали с кладбищем, он и
тогда ни словом не отозвался, но еще заметней устал и отяжелел, низко
склонившись с опущенными меж колен по-стариковски руками, застыв на трудной,
непроходящей думе. Не дождавшись от него ответа, Дарья взмолилась:
- Может, хоть деда с бабкой твоих перенесли бы... а, Павел? Кольцовы с
собой увезли своих... два гроба. И Анфиса мальчонку достала, на другое место
перенесла. Оно, конешно, грех покойников трогать... Да ить ишо грешней
оставлять. Евон че творят! А ежли воду пустют...
- Сейчас не до того, мать, - ответил Павел. - И так замотался -
вздохнуть некогда. Посвободней будет, перевезем. Я уж думал об этом. С
кем-нибудь сговорюсь, чтоб не одному, и перевезем.
И она, не зная, радоваться ли, что заговорила об этом и договорилась,
но чему-то все-таки обрадовавшись, над чем-то встрепенувшись, спросила уже о
другом:
- Косить-то нонче будете, нет?
- Не знаю, мать. Ничего пока не знаю. Она пожалела его, не стала
вязаться с расспросами.

Но она неспроста все-таки заговорила о косьбе: пора уже было решать,
держать или не держать корову. Этот вопрос стоял не только перед ними, он
стоял перед всеми, кто переезжал в совхоз. Оттуда, из нового совхозного
поселка, доходили новости одна чудней другой. Рассказывали, и не просто
рассказывали, а знали, видели доподлинно, что в него, в этот поселок,
съезжается народ из двенадцати деревень, ближних и не ближних, что дома там
ставятся на две семьи с отдельными, само собой, ходами и отдельным жильем, а
квартиры для каждой семьи провешены в два этажа, меж которых крутая, как
висячая, лесенка. И так для всех без исключения одинаково. А что лесенка
крутая, по которой не только глубокой старухе, но и просто нездоровому
человеку не разгуляться, понять можно было из того, что имелись уже
пострадальцы: пьяный Самовар - так звали горячего и пузатого колхозного
бухгалтера, шарашась ночью по ней вверх-вниз, полетел ступеньки считать и
недосчитался у себя двух ребер, лежит в больнице; маленькая девчонка из
какой-то чужой деревни тоже покатилась и повредила голову. Ну так, еще бы -
привыкли ходить по ровному, надо время, чтобы отучить. Про себя Дарья сразу
решила, что, если доведется ей жить в таком дому, наверх подыматься, смерть
свою искать она не станет. А квартиры, хвастают, красивые, стены в
цветочках-лепеточках, на кухне, что в городе, не русская печь с дровами да
углями, а электрическая плита с переключателями; через стенку, чтоб на улицу
не бегать, туалет, а наверху, если кто подымется наверх, две большие комнаты
со всякими шкафчиками и дверцами для вечно праздничного проживания.
Это жилье. А рядом - тут же, во дворике, впритык к стене, огородик на
полторы сотки, на который требуется возить землю, чтобы выросло что-то,
потому что отмерен он на камнях и глине, - и это было тоже диковинно: отчего
так шиворот-навыворот - не огород на земле, а землю на огород. И что это за
огород! Полторы сотки - курам на смех! Для куриц, кстати, есть закуток, есть
закуток для свиньи, а стайки для коровы нет, и места, чтобы поставить ее,
тоже нет. Один цыган, говорят, ухитрился и где-то все-таки поставил, но
пришли из поссовета и сказали: нельзя, уберите, это вам не цыганская
вольница, а поселок городского типа, где все должно быть под одну линейку.
Про цыгана Дарья не очень верила: откуда у цыгана корова? Сроду они не
занимались этой скотиной, брезговали даже воровать ее, вечно возжались с
конями. Из цыгана скотник как из волка пастух. Но рассказывали почему-то
именно про цыгана. Когда Дарья спрашивала у Павла, правда ли, что не
позволяют делать стайки, он, морщась, с неуверенностью и недосказанностью
отмахивался:
- Позволят... Дело не в стайке...
Понятно, что пуще всего дело в сене: на новом месте ни покосов, ни
выгонов не было, и чем там кормить не только личный, но даже общественный
скот, никто толком не знал. Под поля корчевали; тайга на десятки верст гудом
гудела от машин, до угодий руки еще не дошли. Для того чтобы отучить землю
от одного и приучить к другому, требуются годы да годы. На первую зиму
можно, конечно, накосить на старых землях, и это короткое и ненадежное
"можно" больше всего расстраивало и смущало людей: на одну зиму можно, а
дальше? Что дальше? Не лучше ли попуститься сразу? И как опять же
попуститься, если привыкли к корове, в самые тяжелые годы кормились-поились
ею, и если есть все-таки это на одну зиму "можно"? Можно-то можно, но
сколько, с другой стороны, в нем всяких ям, в которые легче легкого
завалиться: как выкроить время, чтобы косить, - это ведь не колхоз, где у
каждого такая же забота и где ее понимали; как, накосивши, переплавить сено
через Ангару, пока она не разлилась, и как там поднять его в гору. А если
все же ухитришься и накосишь, переплавишь, поднимешь, привезешь - куда его
ставить? И куда опять же ставить корову? Столько всего, что поневоле
опустятся руки: пропади оно все пропадом.
Нет, этот последний, переломный год казался страшным. И особенно
страшным, несправедливым казалось то, что он, как всегда, обычным своим
порядком и обычной скоростью день за днем подвигался к тому, что будет, и
ничем это "что будет" оттянуть было нельзя. Потом, когда оно состоится,
когда очутятся они в новой жизни и определится, кем им быть - крестьянами
ли, но какими-то другими, не теперешними, или столбовыми дворянами, когда
впрягутся они в лямку этой новой жизни и потянут ее, станет, наверно, легче,
а пока все впереди пугало, все казалось чужим и непрочным, крутым, не для
всякого-каждого, вот как эти лесенки, по которым один поднимется шутя,
другой нет. Молодым проще, они вприпрыжку на одной ноге взбегут наверх -
потому-то молодые легче расставались с Матерой. Клавка Стригунова так и
говорила:
- Давно надо было утопить. Живым не пахнет... не люди, а клопы да
тараканы. Нашли где жить - середь воды... как лягушки.
И ждала, не могла дождаться часа, чтобы подпалить отцову-дедову избу и
получить за нее оставшиеся деньги. Она бы давно и подпалила и ушла не
оглянувшись, но с той и другой стороны лепились к Клавкиной постройке такие
же избы, где жили еще, не уходили люди, а огонь мог перекинуться и на них.
Поэтому Клавку удерживали, а она кляла Матеру и материнцев, которые
цеплялись за деревню, насылала на их головы все громы и молнии.
- Подожгу, - грозилась она, приезжая из совхоза. - Мое дело маленькое.
Не хочете уходить, хочете гореть - горите. А я из-за вас страдать не
собираюсь.
Тем же - как скорей получить вторую половину причитающихся за усадьбу
денег - озабочен был и Петруха, сын старухи Катерины. Но Петруху держала
другая беда. Еще два года назад какие-то люди, которые ходила по Матере и
простукивали, просматривали чуть ли не все постройки, прибили на Петрухину
избу жестяную пластинку: "Памятник деревянного зодчества. Собственность Ак.
наук". Петрухе сказали, что его избу увезут в музей, и он поначалу очень
загордился: не чью-нибудь, Петрухину избу выделили и отметили, люди станут
платить деньги, чтобы только посмотреть, что это за изба, какой редкой и
тонкой работы кружева на ее оконных наличниках, какая интересная роспись на
заборках, какие в ней полати, из каких она сложена бревен. И хоть на
мельнице и мангазее тоже висели такие же пластинки, но то мельница и
мангазея, а тут жилая изба - ну разве можно сравнивать? Пока это временная
пластинка, там, в музее, будет другая: "Изба крестьянина из Матеры Петрухи
Зотова..." - или нет: "...крестьянина из Матеры Никиты Алексеевича Зотова".
Все станут читать и завидовать Петрухе - Никите Алексеичу Зотову. При
рождении его действительно назвали и записали Никитой, а при жизни за
простоватость, разгильдяйство и никчемность перекрестили в Петруху. Теперь
никто уже и не помнил, что он Никита, родная мать и та называла Петрухой, да
и сам он только в мечтах, когда его награждали и возносили как человека
особенного, прославленного, тайком доставал и ставил в строку свое законное
имя, а в каждодневном своем житье-бытье обходился Петрухой. Но уж на
дощечке, на надписи он, как полагается, должен быть при полном величанье.
Но проходили месяцы и месяцы, люди, которые облюбовали Петрухииу избу,
не давали о себе знать, и Петруха забеспокоился. Аванс, половина компенсации
за избу, был давно прожит и пропит, для получения второй половины
требовалось, чтобы Петрухиной избы как таковой на месте не существовало.
Весь последний год Петруха писал письма и требовал, чтобы "Ак. паук" забрала
свою собственность. Никто ему не отвечал. Он уже и не рад был музею - черт с
ней, с вечной и звонкой надписью на дощечке - получить бы деньги. Петруха
после колхоза никуда не прибился и нигде не работал, сшибал копейки чем
попадя и жил с матерью впроголодь, а в это время где-то в ведомости напротив
его фамилии стояла круглая цифра - тысяча рублей, целое состояние. Дело
оставалось за небольшим - убрать избу. Не будь этой "Ак. наук", он бы мигом
убрал: Петрухина усадьба стояла наособицу, так что за соседей можно было не
тревожиться. Но "собственность Ак. наук" покуда его тоже удерживала.
Печатными буквами пробито, что не его, не Петрухина, собственность - не
напороться бы на неприятность. Вот как: изба Петрухина, а собственность не
Петрухина - поди разберись, кто ей хозяин. И ему не дают, и сами не берут.
- Они у меня дождутся, - угрожающе кивал Петруха куда-то далеко поверх
Ангары. - Дерево не железо, оно само может пыхнуть. Потом спрашивай, чья
собственность. Дождутся.
Вот они, Клавка с Петрухой, да еще, наверно, кой-кто из молодых, кто
уже уехал и не уехал, переменам были рады и не скрывали этого, остальные
боялись их, не зная, что ждет впереди. Тут все знакомо, обжито, проторено,
тут даже и смерть среди своих виделась собственными глазами ясно и просто -
как оплачут, куда отнесут, с кем рядом положат, там - полная тьма что на
этом, что на том свете. И когда приезжал ненадолго из совхоза Павел и Дарья
принималась расспрашивать ого, он отвечал неохотно и как бы виновато, словно
боясь ее испуга, того, что новое не способно вместиться в ее старые понятии.
- Баня, говоришь, на всех одна? - ахала она, пытаясь представить, что
это за баня. - Ишо не легче! На столь народу одна?.. Свою-то нельзя, ли че
ли, поставить?
- Где ее там ставить?..
- Господи! Я, кажись, грязью лутче зарасту, чем в этую оказину идти.
А тут еще одна новость: в подпольях вода. Если она есть теперь, будет и
на тот год - нынче и лето не сырое. Значит, надо поднимать подполье, коли
есть куда его поднимать, делать из него лунку с деревянным настилом. Так, на
огород в полторы сотки, пожалуй, и лунки хватит. Невелика земля - курицы
ископают, и они же приберут.
Помянешь, ох, помянешь Матеру...

6

А когда настала ночь и уснула Матера, из-под берега на мельничной
протоке выскочил маленький, чуть больше кошки, ни на какого другого зверя не
похожий зверек - Хозяин острова. Если в избах есть домовые, то на острове
должен быть и хозяин. Никто никогда его не видел, не встречал, а он здесь
знал всех и знал все, что происходило из конца в конец и из края в край на
этой отдельной, водой окруженной и из воды поднявшейся земле. На то он и был
Хозяин, чтобы все видеть, все знать и ничему не мешать. Только так еще и
можно было остаться Хозяином - чтобы никто его не встречал, никто о его
существовании не подозревал.
Еще раньше, выглядывая из норы, из своего давнего убежища на берегу
мельничной протоки, он видел, что с вечера взошли и скоро погасли звезды.
Быть может, они были где-то и теперь, потому что стекал же сверху серый
сумеречный свет и откуда-то он должен же был браться, но даже его острые
глаза не различали их. К тому же он не любил смотреть в небо, оно вводило
его в неясное, беспричинное беспокойство и пугало своей грозной
бездонностью. Пускай туда смотрят и утешаются люди, но то, что они считают
мечтами, всего лишь воспоминания, даже в самых дальних и сладких рисованных
мыслях - только воспоминания. Мечтать никому не дано.
Ночь была теплая и тихая, и, наверно, в другом месте - темная, но
здесь, под огромным надречным небом, проглядная и сквозная. Было тихо, но в
этой сонной и живой, текущей, как река, тишине легко различались и журчание
воды на верхнем, ближнем мысу, и глухой и неверный, как от ветра в деревьях,
шум переката далеко на левом чужом берегу, и редкие мгновенные всплески
запоздало играющей рыбы. Это были верхние, податливые слуху звуки, звуки
Ангары, услышав, распознав которые, можно было услышать и звуки острова:
тяжкий, натужный скрип старой лиственницы на поскотине и там же глухое
топтание пасущихся коров, сочную, сливающуюся в одно звень жвачки, а в
деревне - непрестанное шевеление всего, что живет на улице, - куриц, собак,
скотины. Но и эти звуки были для Хозяина громкими и грубыми, с особенным
удовольствием и особенным чутьем прислушивался он к тому, что происходит в
земле и возле земли: шороху мыши, выбирающейся на охоту, притаенной возне
пичуги, сидящей в гнезде на яйцах, слабым замирающим ихам качнувшейся ветки,
которая показалась ночной птице неудобной, дыханию взрастающей травы.
Выскочив из норы и прислушавшись, привычно осознав все, что творится
кругом, с той же привычной неспешностью и заботностью Хозяин повел свой путь
по острову. Он не держался одной дороги, сегодня мог бежать левой стороной,
а завтра правой, мог с половины земли, откуда-нибудь от сосновой рощи,
повернуть назад, а мог добежать до конца или даже пробраться на Подмогу и
часами оставаться там, проверяя и ее жизнь, но никогда он не пропускал
деревню. Чаще всего всякие изменения происходили в ней. И хоть
предчувствовал Хозяин, что скоро одним разом все изменится настолько, что
ему не быть Хозяином, не быть и вовсе ничем, он с этим смирился. Чему быть,
того не миновать. Еще и потому он смирился, что после него здесь не будет
никакого хозяина, не над чем станет хозяйничать. Он последний. Но пока
остров стоит, Хозяин здесь он.
Он взбежал на бугор, рядом с тем местом, где сидела днем старуха Дарья,
и, подняв голову, осмотрелся. Покойно, недвижно лежала Матера: темнели леса,
водянисто серебрилась по земле молодая трава, большими расплывчатыми пятнами
чернела деревня, где ничто не стучало и не бренчало, но словно бы
подготовлялось к стуку и бряку. Дневное тепло выстыло, и от земли вставали
прохладные, с горьковатыми протечами запахи. Откуда-то прорвался слабый и
тяжелый дых ветра, охнул и сел - как волна, втянутая в песок. Но длинней и
тревожней скрипнула старая лиственница, и ни с чего, будто спросонья, слепо
мыкнула, как мяукнула, корова. Далеко в береговых зарослях смородиновый
куст, прижатый книзу другим кустом, наконец освободился от него и,
покачиваясь, встал в рост. Хлипнула вода - или лопнул плававший с вечера
пузырек, или содрогнулась, умирая, рыба: по траве пробежала и убежала узкой
полоской незнакомая рябь, и только теперь сорвался с березы, что рядом с
лиственницей на поскотине, последний прошлогодний лист.
Хозяин направился в деревню.
Он начал ее обег, как всегда, с барака на голомыске, где жил Богодул.
Длинный и низкий, как баржа, барак давно провонял запустением и гнилью, и
присутствие Богодула ничем не помогало ему. Что наскоро ставится, скоро и
старится. В Матере были постройки, которые простояли двести и больше лет и
не потеряли вида и духа, эта едва прослужила полвека. И все потому, что не
было у нее одного хозяина, что каждый, кто жил, только прятался в ней от
холода и дождя и норовил скорей перебраться куда поприличней. Богодул тем
более не хозяин, хоть перебираться ему никуда и не придется.
Богодул спал в крайней к деревне комнате. Сквозь окно и стены доносился
его могучий, на два голоса, туда и обратно, храп, прислушавшись к которому,
Хозяин уже не в первый раз почуял: здесь, в Матере, и достанет наконец
Богодула смерть, что живет он, как и Хозяин тоже, последнее лето.
Когда-то протока тянулась тут одной прямой и ровной струей, но
постепенно своротом с носа острова натащило сюда камней, и живая, быстрая
вода отошла влево, а за мысом кисло теперь бестечье с илистым дном и
качающимися водорослями. Ниже протока поправлялась, натягиваясь во всю свою
ширь, там опять появлялся каменишник с песком и вырастал яр, на котором и
построилась деревня. Первой, еще не взобравшись на яр, словно устав и
отстав, стояла отдельно изба Петрухи Зотова. Знал Хозяин, что Петруха скоро
распорядится своей избой сам. От нее исходил тот особенный, едва уловимый
одним Хозяином, износный и горклый запах конечной судьбы, в котором нельзя
было ошибиться. Вся деревня из конца в конец курилась по ночам похожим
истанием, но у Петрухиной избы он чувствовался свежей. Чему быть, к тому
земля и молчаливые становища на ней начинают готовиться загодя.
Хозяин присел и прислонился с улицы к старому и крепкому дереву избы.
По бревнам, спускаясь вниз, потекли тукающие токи. "Ток-ток-ток, - стонала
изба, - ток... ток... ток..." Он прислушался и, послушав, крепче прижался,
успокаиваясь, к теплому дереву. Кому-то надо и начинать последнюю верность,
с кого-то надо и начинать. Все, что живет на свете, имеет один смысл - смысл
службы. И всякая служба имеет конец.
Он поднялся, отодвинулся на несколько шагов к дороге и оглянулся на
низкие, под красивыми кружевными наличниками, окна. Низкие не потому, что
осела изба, а потому, что поднялась за век ее земля. Там, за окнами, мутным
истерзанным сном спал Петруха и спала на русской печи, и среди лета грея
старые кости, мать его - Катерина. Катерина, Катерина... Кто скажет, почему
у путных людей родятся беспутные дети? Одна утеха, что годы твои на исходе.
Там, где деревня пошла сплошным порядком, Хозяин замедлил свой бег,
часто останавливаясь, принюхиваясь и прислушиваясь. Он не боялся: ни собаке,
ни кошке не дано его почуять, он не хотел пропустить то, что могло
измениться здесь со вчерашней ночи. Вчера он решился войти в деревню только
под утро, но и тогда стонали без сна и мучились старые люди, напуганные и
изнуренные содеянным на кладбище, в надежде и страхе ожидающие кары.
Сегодня, похоже, деревня успокоилась и уснула.
Спала деревня: не лаяли, как вчера, собаки, не скрипели двери и не
доносились изнутри слабые тревожные звуки. В серой темноте улицы было пусто
и спокойно. Тихо, ничем не выдавая своей жизни, стояли избы с бельмастыми
окнами, но, когда Хозяин приближался к какой из них, она отзывалась
протяжным, на свой голос, терпеливым вздохом, показывая, что все знает, все
чувствует и ко всему готова. Были среди них и нестарые, ставленные и
тридцать и двадцать лет назад, не успевшие почернеть и врасти в землю, но и
они смиренно стояли в общем ряду, ведая свою судьбу, подвигаясь к ней под
короткой летней ночью еще на один шаг. Так терпеливо и молча пойдут они до
последнего, конечного дня, показав на прощанье, сколько в них было тепла и
солнца, потому что огонь - это и есть впитанное и сбереженное впрок солнце,
которое насильно изымается из плоти.
Ночь нарастала, но была по-прежнему мерклой, без теней. От близкой воды
волнами доносило стоялую сырость, а когда опадали эти волны, вставал сильный
сухой запах запустения и гнили. Подбегая к постройкам, Хозяин чувствовал,
как истывает из дерева тепло, набранное за день, но сегодня оно было
сдержанней и слабей, - верно, солнце завтра не выйдет.
Спала Матера-деревня. Старухам снились сухие тревожные сны, которые
слетали к ним уже не по первой очереди, но старухи о том не знали. Только
ночами, отчалив от твердого берега, сносятся живые с мертвыми, - приходят к
ним мертвые в плоти и слове и спрашивают правду, чтобы передать ее еще
дальше, тем, кого помнили они. И много что в беспамятстве и освобожденности
говорят живые, но, проснувшись, не помнят и ищут последним зряшным видениям
случайные отгадки.
Сейчас эти сны бледно вспыхивали за окнами, как дальние-предальние
зарницы, и уже по одним этим отсветам можно было понять, где есть люди и где
их нет. Никто в эту ночь не миновал снов: тяжко жалобились, рассказывая о
последних днях, старухи.
Обежав из конца в конец деревню, Хозяин повернул за улицей влево к
высокому над рекой голому берегу. Здесь было видней, в распахнутом просторе
слоисто мерцали темные дали; стеклянно взблескивала и стеклянно же
позванивала на нижнем перекате вода. Со струнным, протяжным шуршанием
катилась Ангара; посреди острова шуршание расходилось на две струны, которые
провешивались над водой, пока оно опять не смыкалось в одно. Хозяин любил
прислушиваться к этому нутряному, струйному звучанию текущей реки, которое
днем за посторонними шумами пригасало, а ночью становилось чище и ясней. Оно
возносило его к вечности, к раз и навсегда заведенному порядку, но Хозяин
знал, что скоро оно оборвется и будет здесь, над заглохшей водой, гудеть
только ветер. Вспомнив об этом, Хозяин повернул в глубь острова.
Ночь будто остановилась и не стекала уже поперек Ангары в свою закатную
сторону, а набравшись до краев, творила над Матерой слепое осторожное
кружение. Слепо тыкался то с одной, то с другой стороны ветерок и, не
натянувшись, засыпая на ходу, опадал и застревал в траве. Трава была
влажной, пахучей, и по ней Хозяин определил, что завтра к середине дня
прольется недолгий дождь.
Остров продолжал жить своей обычной и урочной жизнью: поднимались хлеба
и травы, вытягивались в земле корни и отрастали на деревьях листья; пахло
отцветающей черемухой и влажным зноем зелени; шепотливо клонились к воде по
правому берегу кусты; вели охоту ночные зверьки и птицы.
Остров собирался жить долго.

7

И дни наступили длинные, пологие, ни конца, ни края, а все равно срок,
назначенный дедом Егором для отъезда, подступил так скоро, что и правда не
успели оглянуться, когда и куда проскочили последние две недели. И то уж
Настасья после Троицы потянула три дня - кончились и они...
Уезжать пало на среду. Никакой, поди, разницы, когда уезжать, но
верилось почему-то, что лучше это сделать в середине недели, чтобы какой-то
чудесной судьбой прибило когда-нибудь обратно, к этому же берегу. Настасья
больше любила четверг, он казался удачливей, но от четверга было ближе к
концу недели, а значит, к другому берегу, к другой жизни, откуда трудней
добираться.
Всю ночь Настасья не спала, жгла огонь - электричество в Матере
отключили еще весной, машину, которая гнала его, куда-то увезли, и материнцы
опять перешли на керосин. Да и как было спать в последнюю ночь, где взять
для такого сна покою? Где взять недуми, нежити, чтобы уснуть? То и дело она
спохватывалась, что забыла одно, другое, бросалась искать и не находила, с
причитаньями обшаривала на десять раз углы, обыскивала сени и кладовку, шла
со свечкой в амбар, развязывала и разваливала наготовленные уже узлы,
натыкалась наконец на потерю и тут же хваталась другую. Если даже ничего не
теряла, все равно ходила и искала, боясь оставить то, без чего не обойтись.
В избе было пусто и гулко. Настасьино топтание, как по жести, отдавалось в
стенах, жалобно позванивали от шагов не прикрытые ставнями окошки. А тоже:
ставни не закрывали, чтобы не пролежать, не прозевать свет, чтобы, значит,
не опоздниться. Где там пролежать! Давно кануло то время, когда просыпали, а
что говорить про эту ночь!
Посреди бестолковой суеты не один раз замирала Настасья: где она -
дома, не дома? Голые стены, на которых белеют пятна от снятых рамок с
фотографиями, а и межоконье - большой круг от зеркала; голые заборки, голый
пол, раскрытые двери, надпечье, откуда сняли занавески; пустые вешалки,
пустые углы - кругом пусто, голо, отказно. Посреди прихожей разбойной горой
громоздятся большой кованый сундук и рядом три узла, куда столкано все
добро. Только на окнах остались занавески. Поначалу Настасья сняла и их, но
посмотрела, как окончательно оголилась и остыдилась изба, и не вынесла,
повесила обратно. Потом достала старенький половик и тоже вернула на прежнее
место у порога с ласковым приговором: "Тебе ли, родненький, в город ехать,
жизню менять? Оставайся, где лежал, дома оставайся. Тебе уж не мы с Егором
нужны, тебе чтоб под своим порогом находиться. Это уж так. И находись, никто
тут тебя не тронет. Будешь как на пензии". После этого она стала
наговаривать чуть не всему, к чему прикасалась. "А ты поедем, поедем, не
прячься. Тебя я не оставлю, без тебя я как без рук. И не просись, не
оставлю. Это так я бы и сама осталась, а нельзя". "Ой, а про тебя совсем
забыла. Ты тоже полезай, тут место есть. Полезай, полезай". "Я бы рада, а
как? Как я тебя возьму? Оно хорошо бы взять, дак не выйдет. Оставайся - че ж
делать! Я приеду - мы с тобой ишо повидимся".
В сентябре Настасья собиралась приехать копать картошку
Дед Егор подозрительно посматривал на старуху: с Троицы она не выродила
ни слезинки, будто и верно поняла наконец - все равно ехать, повороту не
будет, хоть плачь, хоть не плачь. А до того все ходила с мокрыми глазами,
все всхлипывала, и чем ближе к отъезду, тем больше. Остановится среди дела и
смотрит, уставится на Егора - он обернется, а она:
- Может, не поедем, Егор? Может, здесь останемся? Взяли бы и
остались...
- Тьфу ты, окаянная! - бесился он. - Сколева тебе одно по одному
тростить?! Кому мы тутака нужны?! Кому?
- А как мы там будем?.. - И в слезы. Через час, другой то же самое
сначала.
Неделю назад причалил первый в нынешнее лето плавларек, снабжающий
бакенщиков; дед Егор услыхал и сбегал, взял махорки и две бутылки красного,
некрепкого. Одну откупорили в праздник. Сидели вдвоем - вся семья. Дед Егор
вообще в последнее время, словно стараясь заранее отвыкнуть потихоньку от
Матеры и привыкнуть к одиночеству, стал чураться людей - все дома да дома.
Настасья выпила, размякла, что-то в ее бедовой голове сдвинулось - она
сказала:
- А мы с тобой, Егор, так друг возле дружки и там будем. Че ж теперь...
куды денешься?
- Давно пора скумекать, - обрадовался он, не особенно доверяя
настроению старухи, гадая, надолго ли ее понятие.
- Ребят потеряли... где их теперь взять? - продолжала она с раздумчивой
покорностью. - А мы вдвоем... может, ниче... Там, поди, тоже люди. Ну и че
што незнакомые? Сознакомимся. А нет - вдвоем будем. Че ж теперь?.. Ты не
плачь, Егор...
С этим он смирился: лишь бы полегче уехать. И вот с того случая от слез
как отрубило. Только временами, когда Настасье становилось невмочь, она
поднимала на старика свое большое отечное лицо и, прикусывая непослушную,
прыгающую нижнюю губу, повторяла:
- Ты не плачь, Егор. Че ж теперь... Может, ниче...
Отошла последняя ночь в Матере, встало последнее утро. Только перед
светом, когда прикрикнул на нее Егор, наскоро приклонилась Настасья,
подстелив фуфайчонку на сундук, и, не достав до сна, даже не омывшись им,
тут же поднялась. Егор еще лежал. Настасья вышла на улицу, постояла на
крыльце, греясь под только что выехавшим солнцем и осматриваясь кругом, видя
перед собой свою Матеру, деревню и остров, потом, вздохнув, подумав, набрала
беремя дров, вернулась и затопила русскую печку. Егор услышал и заворчал:
- Ты никак, старая, совсем рехнулась?
- Нет, Егор, надо напоследок протопить, - торопливо возразила она. -
Пушай тепло останется. Покамест шельшевель, она прогорит. Долго ли ей? Это
уж так. Как холодную печку после себя оставлять - ты че, Егор?!
И протопила, согрела последнюю еду, замела угли в загнеток.
День направлялся на славу; в добрый день выпало старикам уезжать с
Матеры. Ни соринки, ни хмуринки в огромном, ярко-сухом небе; солнце звонкое,
жаркое. Для порядка пробежался верховик и, не успев поднять волну, затих,
сморенный покоем; течение на реке смялось и сразу разгладилось. Под звонким,
ярким солнцем с раннего утра все кругом звенело и сияло, всякая малость
выступила на вид, раскинулась не таясь. Пышно, богато было на материнской
земле - в лесах, полях, на берегах, буйной зеленью горел остров, полной
статью катилась Ангара. Жить бы да жить в эту пору, поправлять, окрест
глядючи, душу, прикидывать урожай - хлеба, огородной большой и малой
разности, ягод, грибов, всякой дикой пригодной всячины. Ждать сенокоса,
затем уборки, потихоньку готовиться к ним и потихоньку же рыбачить,
поднимать до страдованья, не надсажаясь, подступающую день ото дня работу -
так, выходит, и жили многие годы и не знали, что это была за жизнь.
Попили чаю: Настасья в последний раз согрела самовар. Но чай вышел
скорый, без удовольствия, потому что торопились, рассиживаться было некогда.
Настасья вылила остатки кипятку, вытряхнула угли и поставила приготовленный
в дорогу самовар на пол возле двери, поближе к выходу. Егор выкатил из-под
навеса тележку; взялись за сундук, потужились, попыжились и оставили - не
поднять. Дед Егор, растерянный и обозленный - тут ладно, тут кто-нибудь
поможет, а что там с ним делать? - в сердцах приказал освободить стол, хотя
поначалу собирался везти его в последнюю очередь. Кроме стола, из обстановки
брали с собой еще разборную железную кровать с панцирной сеткой, две
табуретки и посудный шкафчик. Курятник, лавки, топчан, еще один стол,
русская печка, подполье, двери оставались. Много чего оставалось в амбарах,
во дворе, в завозне, погребе, стайках, на сеновале, в сенях, на полатях - и
все такое, что перешло еще от отцов и дедов, что позарез нужно было каждую
минуту здесь и что там сразу оказывалось без надобности. Ухваты,
сковородник, квашня, мутовки, чугуны, туеса, кринки, ушаты, кадки, лагуны,
щипцы, кросна... А еще: вилы, лопаты, грабли, пилы, топоры (из четырех
топоров брали только один), точило, железная печка, тележка, санки... А еще:
капканы, петли, плетеные морды, лыжи, другие охотничьи и рыбачьи спасти,
всякий мастеровой инструмент. Что перебирать все это, что сердце казнить! И
никому не продать, не отдашь, у всякого та же беда: куда девать свое?
Бросать жалко, а в новые хоромы со старым скарбом не влезешь, да и без
надобности он там. Настасья за все хваталась, все тащила и багажную кучу -
дед Егор кричал:
- Куды? Куды? Мать-перемать.
- Нет, Егор, ты погляди: совсем доброе корыто. Как новое ишо. В ем воду
можно держать.
- Брось, где лежало, и боле не касайся. Воду держать... На што тебе ее
держать?
Но сам он взял с собой и ружье, старое, тульское, шестнадцатого
калибра, и весь, какой был, припас к нему, хотя тоже сомнительно, чтобы
ружье в его годы в большом городе пригодилось. Но ружье есть ружье, это не
корыто, с ним расстаться он ни за какие пряники бы не смог. Настасья в свой
черед не захотела оставить прялку. Увидев ее у старухи в руках, дед Егор
закричал опять: "Куды?", но Настасья решительно отказала:
- Нет, Егор... кудельку когды потянуть, как без прялки?
- Тьфу ты, окаянная! Твоя куделька что на прялке, что под прялкой
теперечи одинакая. Где ты ее возьмешь?
- Нет, Егор... - уперлась и отстояла прялку.
Она пристроила ее рядом со столом в первый же рейс, сверху придавила
узлом. Дед Егор покатил тележку на берег, где стояла взятая у бакенщика
большая, под груз, лодка. На ней и предстояло старикам сплавиться в
Подволочную на пристань, куда вечером подойдет пароход, и дальше, оставив
лодку у тамошнего бакенщика, двигаться на пароходе. Павел Пинигин, Дарьин
сын, предлагал деду Егору на буксире домчать его, чтобы не грестись, до
пристани своей моторкой, но дед отказался:
- Через Ангару, так и быть, перетяни, а тамака своим ходом. Куды нам
торопиться? До пароходу помаленьку сползем. Хучь Ангару в остатный раз
поглядеть.
Только он укатил с тележкой, пришла Дарья. Она постояла в ограде, к
чему-то с жалостью прислушиваясь и присматриваясь, поднялась на крыльцо и
осторожно потянула на себя дверь.
- Настасья! - позвала она, не зная, дома та или нет.
- Ниче, ниче, Дарья, - отозвалась Настасья. - Ты заходи. Мы с Егором
поедем. Люди живут...
- Собралися? - спросила Дарья, входя.
- Ага. А Егор пла-ачет, плачет, не хочет ехать. Я говорю: "Ты не плачь,
Егор, не плачь..." - Она задержала на Дарье глаза, будто только теперь
узнала ее, и, издрогнув, умолкла - пришла, значит, в полную память. - Ниче,
Дарья, - виноватым шепотом сказала она. - Ты видишь... это уж так... - и
показала на узлы на полу, на голые стены, давая понять, что и рада бы
держаться в уме, да не может. И жалобно попросила: - Ты уж, Дарья, не
поминай меня сильно худо...
- И ты меня... - дрогнувшим голосом, промокая платком с головы глаза,
повинилась Дарья за свою долгую жизнь рядом с Настасьей.
- Помнишь, у нас ребяты были?
- Как не помню?!.
- А где их тепери взять? Одне. Я говорю Егору: "Поедем, Егор, нечего
ждать, поедем", а он...
Она осеклась, бессильно опустилась на лавку. Дарья подошла и присела
рядом. Сидеть в пустой, разоренной избе было неудобно - виновно и горько
было сидеть в избе, которую оставляли на смерть. И пособить нельзя, нет
такой помощи, чтобы пособить, и видеть невыносимо, как слепнут стены и в
окна льется уже никому не нужный свет.
Настасья вспомнила:
- Че я хотела тебя просить, Дарья. Едва не забыла. Возьми к себе нашу
Нюню. Возьми, Дарья.
- Какую ишо Нюню?
- Кошку нашу. Помнишь нашу кошку?
- Ну.
- Она щас куды-то убежала. Как стали собираться, убежала и не идет.
Возьми ее, покорми до меня.
- Дак у меня своих дне. Анфиза тоже подкинула - уезжала. Куды я с имя?
- Нет, Дарья, Нюню надо взять, - заволновалась Настасья. - Нюня -
лаская кошечка, такой у тебя нету. Я ее с собой хотела, я бы ни в жисть ее
не оставила, а Егор говорит: на пароход не пустют. А ну как взаправду не
пустют - пропадет Нюня. Тебе с ей никакой заботушки, она ниче и не ест, рази
капельку когды бросишь...
- Господи... с Нюней со своей... Попадется на глаза - возьму, не
попадется - как хочет. Я за ей по острову бегать не буду.
- Нет, Дарья, она сама. Она все сама. Такая понятная кошечка. А
посмотришь на ее, и меня помянешь. Она как памятка моя останется. А я
приеду, я назадь ее... Ее вот только без меня поддержать, чтоб с голоду не
околела.
- Ты-то правду приедешь?
- Дак а мы без картофки-то как будем? А ну ежли зиму ишо придется не
помереть - как без картофки? - Казалось, Настасья говорила это кому-то
другому - Дарье она сказала, потеряв голос до стона: - Ой, да какую там
зиму! Ни дня одного я не вижу напереди. Ой, Дарья, в чем мы виноватые?
Вернулся, громыхая тележкой, дед Егор, и старухи поднялись. Снова
взялись за сундук, теперь уже в три силы, и снова опустили - не те силы.
Пришлось Дарье крикнуть Павла. Он пришел, с удивлением покосился на
оказину-сундук, не приспособленный для дорог, изготовленный в старину на
веки вечные стоять без движения на одном месте, но промолчал, не сказал о
том старикам. Лишь после, когда с трудом втащили его на тележку и подвязали,
посоветовал:
- Ты, дядя Егор, в Подволочную приплывешь, сразу к Мишке иди. Не
вздумай один пыжиться.
- Куды один... - махнул дед рукой. - Через грыжу не взять. Понапихала,
дурная голова. - Дед Егор хотел свалить вину за сундук на Настасью.
- Ниче, Егор, ниче, - не расслышала она, кивая чему-то своей большой
головой и попутно озираясь кругом, словно все еще что-то разыскивая.
Сундук повез Павел; дед Егор шел сбоку и придерживал его, чтоб не
свалился, за медное крученое кольцо. Павел же помог перевезти остальное и
сгрузить все в лодку, потом вывел лодку на воду, проверяя запас в бортах, -
его было достаточно. Прикатили обратно тележку, дед Егор поставил ее под
навес, осторожно опустив оглобли на землю, но, подумав, зачем-то поднял их и
уткнул в стену.
По двору, наговаривая, ходили курицы, проданные Вере Носаревой. Трех
куриц зарубили - двух съели раньше, одну сварили в дорогу, и четырех живым
пером за десять рублей купила Вера. А они, бестолковые, сюда, в свой двор,
не понимают, что теперь он чужой и мертвый. Телку за 130 рублей сдали в
совхоз - разбогатели - куда с добром! Но телка паслась на Подмоге - хорошо
хоть ее не увидать. И все. А было какое-то хозяйство, жизнь прожили не без
рук - все поместилось в лодку. Пойди и оно прахом, одна дорога.
Народу в избе прибавилось, подошли Катерина и Сима с ребятенком. Сидели
молча, подавленно, растеряв все слова, и только водили глазами за Настасьей,
которая продолжала тыкаться из угла в угол, будто все искала и не могла
отыскать себя - ту, что должна уезжать. Когда дед Егор с Павлом вошли,
старухи испуганно вздрогнули и замерли, приготовившись к последней команде.
Но дед Егор достал вторую бутылку купленного в плавларьке вина, они с Павлом
вынесли из кути и подставили к скамейке стол, и старухи обрадованно, что еще
не подниматься, зашевелились, завздыхали. А больше всех обрадовалась
Настасья, она повеселела, хохотнув, и принялась рассказывать, как топилась
сегодня в последний раз русская печка.
Стаканов было только два; первыми подняли их Павел и дед Егор.
- Отчальную, что ли? - неуверенно спросил Павел.
Нужно было сказать что-то еще, и он добавил: - Живите долго, дядя Егор,
тетка Настасья.
- Заживе-е-ом! - Дед Егор придавил слово так, что оно пискнуло.
Павел выпил и ушел собираться. Старухи опять умолкли, припивая вино
маленькими глоточками, как чай, морщась и страдая от него, перебивая этим
страданием другое. Дед Егор тоже поднялся, закурил под взглядами старух и,
выходя, предупредил:
- Недолго, суседки. Надоть трогаться.
Старухи засморкались, заговорили, все сразу винясь перед Настасьей, а в
чем винились, в чем оправдывались, не знали - тем более этот незнамый грех
нуждался в облегчении. Настасья, не слыша и не понимая, соглашалась; если уж
понесло, потащило куда-то - что камешки на берегу считать: они на берегу.
- Самовар-то с собой берешь? - спросила Сима, показывая на вычищенный,
празднично сияющий у порога самовар.
- А как? - закивала Настасья. - Не задавит. Я его Егору не дала везти,
на руках понесу. А заворачивать из дому нельзя, в лодке заверну.
- Пошто нельзя? - О чем-то надо было говорить - говорили.
- Чтоб видел, куда ворочаться. Примета такая.
- Нам тепери ни одна примета не подойдет, - отказала Дарья. - Мы для их
люди негодные. А от догадался бы, правда что, кто самовар хошь одной в гроб
положить. Как мы там без самовара останемся?
- Там-то он нашто тебе?
- Чай пить, - нашто ишо?
- А мы с Егором поедем, - сказала Настасья, перебивая этот пустой, по
ее понятию, разговор. - Может, ниче... Счас и поедем, все уж на берег
свезли.
И, будто подслушав, поймав момент, застучал в окошко дед Егор, показал,
что пора трогаться.
- Вот, поехали, - обрадованно всполошилась Настасья и первой выскочила
из-за стола. - Я говорела... Идем, идем, Егор! - крикнула она, как-то сразу
вдруг переменившись, чего-то испугавшись. - Погоди меня, Егор, не уходи.
Она подхватила самовар и кинулась к дверям, оборачиваясь на старух, с
молчаливой мольбой подгоняя их. Дарья, поднявшись, степенно перекрестилась
на пустой угол, вслед за ней, прощаясь, перекрестилась туда же Катерина.
Они, задерживаясь, ждали чего-то от Настасьи, какого-то положенного в таких
случаях действа, но она, вконец потерявшись, ничего не помнила и ничего не
сделала. На крыльце она опустила самовар на его место у стены - где он
всегда закипал, и, когда выбрались из избы старухи, торопясь, долго не
попадая ключом в гнездо, замкнула дверь на висячий замок. Она обернулась -
Егор выходил уже из ворот - и закричала что было мочи:
-- Его-ор!
Он запнулся.
- Егор, ключ куды?
- В Ангару, - сплюнул дед Егор.
И, больше уже не задерживаясь, зашагал в заулок, переставляя ноги с тем
вниманием, когда готовят и помнят каждый свой шаг. Настасья непонимающе,
жалобно скосив лицо, смотрела ему вслед.
- Давай сюды, - прикрывая платком рот, чтоб не разрыдаться, Дарья взяла
у нее ключ, зажала его в кулаке. - Пущай у меня будет. Я тут буду заходить,
доглядывать.
- Ворота закрывай, - не забыла Настасья; она словно бы улыбалась или
усмехалась, лицо ее, забытое, оставленное без внимания, провисало то в одну,
то в другую сторону. - А то скот наберется, напакостит. Это уж так.
- Мне тут рядом. Кажин день буду смотреть. Ты об этим не думай.
- А мы с Егором поедем...
...Утро поднялось уже высоко, но было еще утро, когда Настасья с Егором
отплывали с Матеры. Вовсю разгорелось солнце, выцвела зелень на острову,
сквозь воду сочно сияли на дне камни. Горячими, сверкающими полосами
вспыхивала, играя, Ангара, в них со свистом бросались с лету и терялись в
искрении стрижи. Там, где течение было чистым, высокое яркое небо уходило
глубоко под воду, и Ангара, позванивая, как бы летела в воздухе.
Лодка с грузом стояла у мостков, с которых брали воду. Старухи вслед за
Настасьей спустились на каменишник, и деревню из-под высокого яра стало не
видно. И не слышно стало Матеру рядом с Ангарой. Настасья пристроила самовар
в носу лодки и вернулась к старухам прощаться. Они всхлипывали, уже не
сдерживаясь. Испуганный их слезами, громко плакал Симин мальчишка. Настасья
по очереди подавала старухам руку - по-другому прощаться она не умела - и,
тряся головой, повторяла:
- Ниче, ниче... может, ниче...
Дед Егор поторопил ее.
Глядя под ноги и махая, как отмахиваясь, вытянутой назад рукой, она
взошла на мостки, еще раз быстро оглянулась и переступила в лодку.
- А Егор пла-ачет, плачет... - начала она, показывая на старика, и
умолкла. Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды - направо, налево и
прямо - поясно поклонился Матере. Потом быстро оттолкнул лодку и перевалился
в нее.
- Настасья! Настасья! - кричали старухи.
- Ниче, ниче, - стоя в рост в лодке и обирая руками слезы, бормотала
Настасья. И вдруг, как надломившись, упала на узлы и завыла.
Дед Егор торопливо отпихивался веслом от берега. Там, на глубокой воде,
их ждал в моторке Павел. Когда течение подхватило лодку, дед Егор перебросил
ему буксир; Павел завел мотор - лодку со стариками дернуло и потащило - все
быстрей и быстрей, все дальше и дальше вниз по Ангаре.
Ненадолго еще раз открылась на повороте Матера-деревня и тут же
скрылась.

8

Подступила и эта ночь, первая жаркая и яркая на Матере. Потом их будет
много, в сентябре, ближе к концу, запылают ночи одна за другой, и далеко по
сторонам озарится Ангара, провожаемая огромными, будто в честь ее нарочно
запаленными, огнями. Но эта ночь была первой, и вышла она на Матере задолго
вперед остальных.
В эту ночь горела Петрухина изба. Петруха, бывший от начала до конца
тут же и догадавшийся, несмотря на суматоху, засечь время, доводил затем до
сведения материнцев, что хорошая, сухая, выстоявшаяся изба горит два часа. В
деревне мало кто сомневался, что вспыхнула она не по какой другой причине,
как по исполнению его собственного желания. Перед тем Петруха куда-то ездил,
что-то вынюхивал и, воротясь, приказал матери, старухе Катерине,
перевозиться: будто не сегодня-завтра нагрянет за избой музей. Перевозить
было особенно нечего. Петруха был из тех богатеев, кому как в баню идти, так
и переезжать. Корову продали еще два года назад, последнюю живность,
подростка поросенка, закололи в апреле, когда стол опустел подчистую;
старуха Катерина собрала свои немудрящие пожитки и в руках перенесла их к
Дарье. Как раз в день перед пожаром и перенесла: Петруха пьяный настоял,
выжил чуть не силой, и Катерина от греха подальше, чтоб не скандалить с ним,
убралась. Дарья звала ее к себе еще раньше, уговаривая, что вдвоем им легче
будет коротать оставшиеся на Матере дни. Оно и верно, веселей, так и так
днями старухи сбивались в кучу вокруг Дарьи. Дарья жила тем же страхом, что
и другие, но жила уверенней и серьезней, с нею считался сын, человек не
последний в совхозе, ей было куда приклонить голову после затона, и даже с
выбором: захочет - поедет в одну сторону, захочет - в другую; а кроме того,
Дарья имела характер, который с годами не измяк, не повредился, и при случае
умела постоять не только за себя. В каждом нашем поселенье всегда были и
есть еще одна, а то и две старухи с характером, под защиту которого
стягиваются слабые и страдальные; и обязательно: отживет, отойдет в смерть
одна такая старуха, место ее тут же займет другая, подоспевшая к тому
времени к старости и утвердившаяся среди других своим строгим и справедливым
характером. В том особенном положении, в каком оказалась Матера, Дарья ничем
не могла помочь старухам, но они шли к ней, собираясь вместе, чтобы рядом с
Дарьей и себя почувствовать тоже смелей и надежней. Известно же, что на миру
и смерть красна, а предложи им кто смерть всем в одночасье, друг возле
друга, едва ли хоть одна отошла бы задуматься - с последней радостью они бы
согласились.
Под эту ночь Матера утихомирилась рано. Поздние дела случаются обычно у
молодых, а их в Матере, кроме набежников из совхоза, не осталось. Легли еще
при свете, когда он затихал и замирал, скатываясь за Ангару, куда ушло
солнце. Теперь и время наступило непутевое, не как у нормальных людей: с
одной стороны, охота задержать лето и оттянуть то небывалое-неживалое, что
готовилось, а с другой - не терпелось, чтобы поскорей чем-нибудь кончилась
эта тягомотина, когда не дома и не в гостях, то ли живешь, то ли снишься
себе в долгом недобром сне. Легли, как обычно, рано; Катерина впервые
уходила из дому и, хоть давно приготовилась, настроилась на уход и этот
малый, перед большим, переезд тоже загодя предчувствовала, но было ей
донельзя горько и тошно, всякое слово казалось неуместным и ненужным. Дарья,
понимая ее, не лезла с разговором; под вечер приходил Богодул, но с ним тоже
не разбеседуешься, потыркали, помыркали, чтоб совсем не молчать, и Дарья
спровадила старика. Себе она постелила на русской печке, там она больше
всего и спала и зимой и летом, влезая на печку через голбец, а Катерина
устроилась на топчане в переднем углу. Для Павла, когда он будет приезжать,
оставалась деревянная кровать.
Легли и затихли. Катерина не знала, уснула она или, молясь ненадежными
мыслями, только еще подбиралась ко сну, когда в окно забарабанили - сначала
в окно и тут же в дверь, и Богодул за дверью (все недобрые вести приносил
Богодул) сипло и раскатисто закричал:
- Катер-рина! - Обычная очередь мата, без которого не смыкались у него
вместе два нормальных слова. - Катер-рина, горишь! Кур-рва! Петр-руха!
Старухи вскочили. В двух окнах, выходящих на верхний край Матеры,
плясали огненные сполохи, огонь казался настолько близким, что Дарья со сна
перепугалась первым страхом:
- Господи! Мы, ли че ли?!
Что к чему, Катерина разобрала сразу. И, путаясь в одежонке,
вскрикивала запальчиво и слабо, будто билась лбом о стенку:
- Ну, бесовый! Ну, бесовый! Как знала! Как знала! Царица небесная! -
Подхватилась и со всех своих ног кинулась туда - домой, что еще только
вечером было ее домом. Богодул, заторопившийся было за ней, с полдороги
переиначил и повернул на нижний край добуживать деревню.
Когда Катерина подбежала, изба полыхала вовсю. Не было никакой
возможности отбить ее от огня, да и не было в этом нужды. Один Петруха
метался среди молча стоящих, неотрывно глядящих на огонь людей и пытался
рассказать, как он чуть не сгорел, как в последний момент проснулся "от дыма
в легких и от жара в волосах - волоса аж потрескивали". "А то бы хана, -
повторял он с усмешкой. - Ижжарился бы без остатку, и не нашли бы, где че у
меня было", - и, присаживая голову, заглядывал в глаза: верят, не верят? От
него, как от чумного, отодвигались, но Петруха особенно и не рассчитывал на
веру, он знал Матеру, знал, что и его знают как облупленного, а потому
допускал и свою невольную вину. "Я вечером печку топил и лег спать, - лез он
с никому не нужными объяснениями. - Может, уголь какой холерный выскочил,
натворил делов", - и опять принимался рассказывать, как он спасся. Для него
только это и было важно - что он сам мог сгореть и лишь чудом уцелел, он так
уверился в этом, что, рассказывая, добивался у себя слезы и дрожи в голосе -
того, что требовалось для правды. Про печку и уголь он здесь же и забывал и
грозил: "Узнать бы, какая падла чиркнула, я бы..." - и точил кулаки,
пристукивая ими один о другой, как точат ножи. Или он опьянел от пожара, или
с вечера еще не просох окончательно, но казался Петруха нетрезвым и
пошатывался, оступался; лохматый и грязный, был он в майке, одна лямка
которой сползла с плеча, и в сапогах - обуться все-таки успел старательно. К
тому же Петруха успел кое-что и выбросить из огня: на земле валялось ватное
лоскутное одеяло, старая дошонка и "подгорна" - гармошка, которая в
Петрухиных руках знала только: "Ты Подгорна, ты Подгорна, широкая улица, по
тебе никто не ходит - ни петух, ни курица..." Петруха все хватался за нее и
все переносил с места на место, подальше от жара; люди тоже отступали, когда
припекало, но не расходились и не сводили с огня тревожных, пытающихся
что-то рассмотреть и понять глаз.
Тут была вся оставшаяся живая деревня, даже ребятишки. Но и они не
гомонили, как обычно; стояли завороженные и подавленные страшной силой огня.
Старухи с суровыми и скорбными лицами держались не вместе, а кто где - с
какой стороны подбежала каждая и уперлась перед жаром. Как никогда,
неподвижные лица их при свете огня казались слепленными, восковыми; длинные
уродливые тени подпрыгивали и извивались. Катерина, прибежав, закричала,
заголосила, протягивая руки к горящей избе, в рыданиях наклоняясь, кланяясь
в ее сторону - на нее оглянулись, узнавая, кто она и почему имеет право
кричать, узнали, молча пожалели и опять в мертвом раздумье уставились на
огонь. Из темноты вынырнула Дарья и встала рядом с Катериной - и остальным
сделалось спокойней, что Дарья там, рядом, что она, понадобится если,
удержит около себя Катерину и что они, стало быть, могут оставаться на своих
местах. Но и Катерина, поддаваясь этому жуткому и внимательному молчанию
людей, вскоре тоже умолкла, подняла глаза и не убирала их больше с того, что
с малых лет было ее домом.
Люди забыли, что каждый из них не один, потеряли друг друга, и не было
сейчас друг в друге надобности. Всегда так: при неприятном, постыдном
событии, сколько бы много ни было имеете народу, каждый старается, никого не
замечая, оставаться один - легче затем освободиться от стыда. В душе им было
нехорошо, неловко, что стоят они без движения, что они и не пытались совсем,
когда еще можно было, спасти избу, - не к чему было пытаться. То же самое
будет и с другими избами - скоро уж - Петрухина первая. И они смотрели,
смотрели, ничего не пропуская, как это есть, чтобы знать, как это будет, -
так человек с исступленным вниманием вонзается глазами в мертвого, пытаясь
заранее представить в том же положении, которого ему не миновать, себя.
Настолько ярко, безо всяких помех, осветилась этим огнем судьба каждого
из них, та не делимая уже ни с кем, у близкого края остановившаяся судьба,
что и не верилось в людей рядом, - будто было это давным-давно.
Пламя уже охватило всю избу и взвивалось высоко вверх, горело сильно и
ровно, и горело, раскалившись от жара, сплошным огнем все - стены, крыша,
сени, стреляло головешками, искрило, заставляя людей спячиваться; лопались и
плавились стекла; изнутри хлестким взмахом, точно плескал кто бензином, с
фуканьем выметывались длинные буйные языки. Пылало так, что не видно было
неба. Далеко кругом озарено было этим жарким недобрым сиянием - в нем
светились ближние, начинающиеся улицей, избы и тоже как горели, охваченные
мечущимися по дереву бликами; им озарялась Ангара под берегом, и там, где
она озарялась, зияла открытой раной с пульсирующей плотью; бугор за дорогой,
который то выхватывало из темноты, то снова задвигало в нее прыгающим
сиянием, казался бурым, опаленным. За пылающими стенами что-то обваливалось
и стучало, как от взрывов; в окна выбрасывало раскаленные угли; высоко
поднимались и отлетали, теряясь в звездах, искры; полымя наверху шипело,
переходя в слабый дым. Тесина на крыше вдруг поднялась в огне стоймя и,
черная, угольная, но все же горящая, загнулась в сторону деревни - там, там
быть пожарам, туда смотрите. И почти в тот же миг кровля рухнула, огонь
опал, покатились верхние горящие венцы - люди вскрикнули и отскочили.
Катерина снова заплакала навзрыд, невидяще кланяясь поверженной избе,
которую ненадолго окутало дымом, пока передохнуло, отдыхиваясь и
отрыгиваясь, и с новой силой направилось пламя, из которого частями
выхватывалась, будто плясала, русская печка. Огонь полез по забору во двор,
но и тут не захотели его остановить - к чему двор без избы? Кто станет
спасать ноги, оставшись без головы?
Когда верх избы рухнул и не стало избы, внимание людей к огню ослабло.
По какому-то точно наущению они оглянулись на Петруху. Они оглянулись и на
Катерину, которая всхлипывала, пожалели ее уже большей жалостью, но на
Петрухе они задержали глаза. Как он? Что он делает? Что испытывает теперь?
Доволен или испуган? Петруха стоял, теребя руками голую грудь и неспокойно
подергивая головой; пытливые взгляды людей обозлили его. Его давно уже, с
той поры как прибежала мать, терзало, что она не подошла к нему, не спросила
и не обругала, не пристыдила, она будто совсем забыла о нем, отказалась от
него, поэтому Петруху подмывало подойти самому и напомнить, что он здесь,
посмотреть, как поведет себя мать. И теперь, обозлившись, он решился и,
подойдя, сказал - да такое и так нахально, грубо, что и сам испугался:
- Мать, дай закурить.
Она непонимающе и все еще всхлипывая, подняла на него лицо.
- Ты же нюхаешь табак, я знаю. У тебя должон быть, - не остановился
Петруха. Дарья расслышала.
- Я те щас закурю! - негромко, во напористо, властно пригрозила она. -
Я те щас головешкой в рожу закурю! Я тя, зажигателя, щас подведу и дам
понюхать, чем там пахнет. Он ишо над матерью изгаляться, ишо мало ему! А ну
уметайся отсель, покуль я за тя не взялась!
- Хек! - только и нашелся ответить Петруха и отступил в темноту.
Но темнота уже заметно помякла, поникла, с неба разливался рассвет.
Теперь, когда огонь опал и лишь понизу подбирал оставшееся дерево, сильнее
запахло гарью и понесло сажными лохмотьями. Курились на траве и дороге
отлетевшие головешки. Деловито, без страсти и буйства, оттянувшись на
сторону, горел амбар. При набирающемся утреннем свете светлел и огонь.
Люди стали расходиться. Они уходили, неуверенно, боязливо осматриваясь
кругом: вот и нарушился порядок Матеры, с одного края деревня оголилась, и
теперь этот край беззащитен. Верно, отсюда и пойдет огонь дальше, ничем,
никаким миром от него не спастись...
Об этом и говорила Дарья Катерине, успокаивая и уводя ее с пожарища. У
всех будет то же самое, никто не минует этой судьбы. Катерине она выпала
первой - легче будет потом: не страдать, не мучиться в ожидании своего огня
и, дождавшись, не смотреть на него, обжигая сердце. Она свой черед прошла.
И верно, огнем изба горит недолго, два-три часа, но многие еще дни
курится, не остывая, избище и остро пахнет горелым, но не выгоревшим до
конца, ничем не убиваемым жилым духом.

Хозяин в эту ночь рано вышел на пост, загодя выбранный на ближнем
бугре, откуда было удобно и безопасно наблюдать пожар. И он видел все от
начала до конца. Он видел отблеск первой спички, особую, ненуждовую вспышку
которой сразу выделила и почувствовала изба: она натянулась и, с болью
скрипнув, осела. Хозяин подбежал к ней, прижался на мгновение в последний
раз к ее сухому замершему дереву, чтобы показать, что он здесь и будет здесь
до конца, и тут же вернулся обратно.
Он видел, как замерцала изнутри изба, сначала прерывистым, слабым
сиянием, которое все набиралось и набиралось, пока окна не залило сплошь
играющей краской. Хозяин смотрел, и сквозь стены видя то, что творится
внутри. Огонь долго прихватывался за плотный и гладкий, веками вышорканный
пол и никак не мог зацепиться за него, соскальзывал и смазывался - и вдруг,
углядев, ринулся на тонкую дощатую заборку и легко выскочил по ней наверх.
Затрещали, накаляясь, стены, и то ли от жара, то ли от постороннего
вмешательства мягко хлопнуло, как пролилось, стекло в выходящем на Ангару
окне. Оттуда, будто поддувалом, плеснуло свежим воздухом, и огонь, свободно
вздохнув, загудел и пошел гулять по всей избе, подбирая любую горящую мелочь
и продолжая накалять потолок и стены.
Хозяин видел, как бежали люди, как метался на виду у первых прибежавших
Петруха, размахивая руками и показывая ими на объятую пламенем избу. Вся
жизнь, какая была в дереве, к этому времени сварилась, и оно горело без
страдания. Пламя выбилось наружу и навалилось на постройку с обеих сторон.
Высоким заревом вспыхнула крыша, свет достал и до Хозяина, которому пришлось
ползком выбираться в темноту.
И пока изба горела в рост, Хозяин смотрел на деревню. В свете этого
щедрого пожарища он хорошо видел блеклые покуда, как нарисованные, огоньки
над живыми еще избами - только он мог их видеть и видел, отмечая, в какой
очередности возьмет их огонь. И он видел возле них чужих людей - их было
много. Подняв глаза еще выше, Хозяин увидел дымы над материнскими лесами, и
дымы эти без ветра долго носило прощальными кругами по острову.
Горела Подмога...
Он видел дым над кладбищем, тот самый, который старухи не дали
добыть...
Он видел, подобрав опять глаза к Петрухиной избе, как завтра придет
сюда Катерина и будет ходить тут до ночи, что-то отыскивая, что-то вороша в
горячей золе и в памяти, как придет она послезавтра, и после... и после...
Но он видел и дальше...

9

Павел приезжал все реже, а приезжая, не задерживался, наскоро
поправлялся с делами и обратно. Эти беспрестанные поездки туда-сюда
изматывали его, он поднимался с берега усталый и молчаливый, он и вообще-то
не был из породы говорунов, а теперь и вовсе присушил язык. В колхозе Павел
работал бригадиром, потом завгаром, с делом справлялся, а какое место
определят ему в совхозе, он еще толком не знал, да и никто, похоже, этого не
знал. Одна из нелегких задач, терзавших новое начальство,- куда растолкать
многочисленное прежнее колхозное чинство, людей из среднего и высшего
звеньев, познавших хоть маленькую, да власть, с которой не вдруг слазь,
научившихся командовать и разучившихся, само собой, работать под командой.
Павел готов был идти куда угодно, он на себя много не ставил, но он видел,
как снуют, оглядываясь друг на друга, охочие до должностей люди, с какой
растерянностью и ужимками разговаривают они с большими и маленькими, не
ведая, куда, к тем или другим, их занесет. Павла покуда поставили на ремонт
техники, назначив бригадиром, и сначала он был один, но скоро рядом с ним
появился второй бригадир, а теперь еще наклевывался третий. Это значит -
спросить будет не с кого, а спрашивать есть за что: техника, и старая и
новая, без дорог и забот ломалась, запчастей, как всегда, не хватало, а
приказчиков успело развестись вдоволь, причем за приказом часто гнался
отказ, за отказом переуказ. То же самое получалось у них, у бригадиров, с
рабочими - те не знали, кого слушать. Не работа, а нервотрепка. И лучшего
нельзя было ждать, пока совхоз полностью не вытащит из Ангары ноги, не
подберет весь народ и все хозяйство и не определится, не устроится новая
жизнь.
Когда Катерина перебралась к Дарье, стало поспокойней и Павлу: вместе
старухам будет все-таки поспособней, полегче, и он мог меньше тревожиться о
матери. Катерина и по хозяйству поможет, тоже еще шевелится, и побормочет не
поперек разговора. Павел, правда, и сам просился на последние месяцы, на
сенокос и уборку, сюда, в Матеру, чтобы по-свойски и по-хозяйски подчистить
и отпустить под воду остров,- ему отвечали с обычной дальнозоркой
туманностью: "Там видно будет", и он не особенно надеялся, что с ним
согласятся. Но он, верно, не очень и настаивал, боясь, что после уборки
хлеба его же заставят заодно проводить еще и другую уборку - сжигать
постройки. Кто-то должен потом будет браться и за такую работу, но Павел и
представить не мог, как бы он стал командовать пожогом родной деревни. И
двадцать, и тридцать, и пятьдесят лет спустя люди будут вспоминать: "А-а,
Павел Пинигин, который Матеру спалил..." Такой памяти он не заслужил.
Приезжая в Матеру, он всякий раз поражался тому, с какой готовностью
смыкается вслед за ним время: будто не было никакого нового поселка, откуда
он только что приплыл, будто никуда он из Матеры не отлучался. Поселок этот
стоит там, на том берегу, но к нему, к Павлу, никакого отношения не имеет. К
кому-то имеет, а к нему нет. Он там бывал, видывал его - хороший поселок, но
мало ли их, хороших поселков, на белом свете? Дом у него здесь, а дома, как
известно, лучше. Вот что решительно выстраивалось перед Павлом, едва он
поднимался на яр и открывалась перед ним родная деревня со всем тем, что
знал и видел он с самого детства. Приплыл - и невидимая дверка за спиной
захлопывалась, память услужливо подсказывала только то, что относилось к
тутошней жизни, заслоняя и отдаляя все последние перемены.
А что перемены? Их не изменить и не переменить... И никуда от них не
деться. Ни от него, ни от кого другого это не зависит. Надо - значит, надо,
но в этом "надо" он понимал только одну половину, понимал, что надо
переезжать с Матеры, но не понимал, почему надо переезжать в этот поселок,
сработанный хоть и богато, красиво, домик к домику, линейка к линейке, да
поставленный так не по-людски и несуразно, что только руками развести. И
когда, собираясь вместе, маракуя, что к чему, старались догадаться мужики,
зачем, по какой такой причине надо было относить его за пять верст от берега
моря, которое разольется здесь, и заносить в глину да камни, на северный
склон сопки, ни одна, даже самая веселая отгадка в голову не лезла.
Поставили - и хоть лопни! Будто, как в старых сказках, пустили наугад
стрелу, и куда ветер ее занес, туда и пошли. Объяснение простое: не для себя
строили, смотрели только, как легче построить, и меньше всего думали, удобно
ли будет жить. Считалось, когда привязывали этот новый поселок, что есть в
комиссии свой человек, который постоит за интересы жителей,- директор
совхоза, но этот "свой" со стороны явился и куда-то на сторону тут же и
провалился, едва успев поставить согласную подпись. Он бы так же спокойно
поставил ее и под тем, чтобы строиться под землей. Рассказывают, что даже
начальник ГЭСстроя, ставившего новые поселки, приехав и посмотрев, что это
за град заложен, будто бы выматерился и признал, что, будь его воля, он ни
за чем бы не постоял, а перенес поселок куда следует. Но нет, дело уже было
сделано, деньги угроханы, и деньги немалые, изменить что-то стало
невозможно. Жизнь, на то она и жизнь, чтоб продолжаться, она все перенесет и
примется везде, хоть и на голом камне и в зыбкой трясине, а понадобится
если, то и под водой, но зачем же без нужды испытывать ее таким образом и
создавать для людей никому не нужные трудности, зачем, заботясь о маленьких
удобствах, создавать большие неудобства? Вот о чем думал и что пытался
понять Павел. И не мог понять. А поэтому и не мог полностью принять этот
новый поселок, хоть и знал, что жить в нем так или иначе придется и что
жизнь в конце концов там наладится.
Надо - значит, надо, но, вспоминая, какая будет затоплена земля, самая
лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами и вскормившая не
одно поколение, недоверчиво и тревожно замирало сердце: а не слишком ли
дорогая цена? Не переплатить бы? Не больно терять это только тем, кто тут не
жил, не работал, не поливал своим потом каждую борозду. Вот оно - гектар
новой пашни разодрать стоит тысячу рублей; на него, на этот золотой гектар,
посеяли нынче пшеничку, а она даже не взошла. Сверху земля черная, а подняли
ее - она красная, впору кирпичный завод ставить. Пришлось пересевать
люцерной по пословице "с паршивой овцы хоть шерсти клок", и неизвестно еще,
уродится ли люцерна. Кто знает, сколько надо времени, чтоб приспособить эту
дикую и бедную лесную землицу под хлеб, заставить ее делать то, что ей не
надо. А со старой пашни, помнится, в былые времена и сами кормились, и на
север, на восток многие тысячи пудов везли. Знаменитая была пашня!
"Нет, старею, видно,- ставил себя Павел на место.- Старею, если не могу
понять. Молодые вон понимают. Им и в голову не приходит сомневаться. Как
делают - так и надо. Построили поселок тут - тут ему и следует стоять, это
его единственное возможное место. Все, что ни происходит,- к лучшему, к
тому, чтобы жить было интересней и счастливей. Ну и живи: не оглядывайся, не
задумывайся. Хлеб не родит земля - привезут тебе хлеб, готовенький, смолотый
- испеченный, в белых, черных и серых булках, ешь от пуза! Молока не станет
от собственной коровы - привезут и молоко, чтоб не возиться тебе с этой
коровой, не хвостаться по кустам, собирая сенцо. И картошку, и редьку,
луковку - все привезут... А где возьмут - не твоя забота. У нас поселок
городского типа - вот и будет в нем как в городе, ничуть не хуже. Деньги за
разодранную пашню, за то, что будешь сеять-пересевать ее, ты получишь, на
деньги эти, что потребуется, купишь. Вот какой выстеклили магазин -
любо-дорого смотреть. Рядом стеклят другой, там на очереди третий... А плохо
станет здесь - уедешь в другое место, где хорошо, дорога никуда не заказана.
Старею,- признавал он.- Постарел уж - чего там! Считаю, что мать по
недомыслию хватается за старое, а далеко ли и сам ушел от нее? Неужели и мое
время вышло? Мать живет в одной уверенности, молодые в другой, а тут и
уверенности никакой нету. Ни туда, ни сюда, меж теми и другими. Возраст, что
ли, такой? Не успеешь разгадать одну загадку, наваливается вторая, еще
похитрей. Но мать-то свой век отжила, а тебе еще жить и работать. Не
понимаю, что ли, что новое на пустом месте не построишь и из ничего не
возьмешь, что ради него приходится попускаться чем-то и дорогим, привычным,
вкладывать немаленькие труды? Прекрасно понимаю. И понимаю, что без техники,
без самой большой техники ничего нынче не сделать и никуда не уехать. Каждый
это понимает, но как понять, как признать то, что сотворили с поселком?
Зачем потребовали от людей, кому жить тут, напрасных трудов? Сколько,
выгадывая на один день, потеряли наперед - и почему бы это не подсчитать
заранее? Можно, конечно, и не задаваться этими вопросами, а жить, как
живется, и плыть, как плывется, да ведь на том замешен: знать, что почем и
что для чего, самому докапываться до истины. На то ты и человек".
А возвращался в поселок, заходил в свой дворик, к которому
волей-неволей успел прилипнуть, и смирялась душа: жить можно. Непривычно,
неудобно, чувствуешь себя квартирантом, да оно квартирант и есть, потому что
дом не твой и хозяином-барином себя в нем не поведешь, зато и являешься на
готовенькое: дрова не рубить, печку не топить... Воду, верно, носить еще
приходится, но обещают и воду на дом. Что и говорить - жизнь настала
облегченная. Пришел с работы, умылся и можешь полеживать, в потолок
поплевывать, никаких забот, никаких переживаний... Только при этой
облегченности и себя чувствуешь как-то не во весь свой вес, без твердости и
надежности, будто любому дурному ветру ничего не стоит подхватить тебя и
сорвать,- ищи потом, где ты есть; какая-то противная неуверенность
исподтишка точит и точит: ты это или не ты? А если ты, как ты здесь
оказался?
Ничего, привыкнет и к этому...
Павел удивлялся, глядя на Соню, на жену свою: она как вошла в дом - в
квартиру теперь надо говорить, не в дом,- как вошла, ахнула, увидев
сверкающую игрушку - электроплиту, цветочки-лепесточки на стенах, которые и
белить, оказывается, не надо, шкафчики, вделанные внутрь, да еще ванную с
кафелем, а в ней сидяк, пока, правда, без воды, бездействующий, да еще
зелененькую и веселенькую, с одной стороны полностью застекленную веранду -
будто тут всегда и была. В день освоилась, сбегала к соседям - как у них,
взялась распоряжаться, что куда ставить, что не стыдно из имеющейся
мебелишки привезти и что придется покупать, раскинула, где можно вырыть
подвал и как расширить кладовку, носилась разгоряченная, суматошная,
предовольная и готова была, кажется, приковать себя к этой квартире. А ведь
тоже деревенская баба, с князьями да дворянами не возжалась, красивой жизни
не нюхала, но вот поди ж ты - распушилась, откуда что и взялось? Как жареный
петух в одно место клюнул. Для бабы и верно заманка: красиво, чисто, не
носиться как угорелой со двора в кухню и обратно, все здесь, все под руками.
У Сони к тому же две сестры в Иркутске: одна, выйдя замуж за человека
расторопного и удачливого, работающего по снабженческой части, жила как
барыня, в квартире своей чего только не имела, и Соня немало ей завидовала.
Приезжая из города, когда удавалось туда вырваться, недобро смотрела на
ухваты да чугунки, а однажды попробовала сманить в Иркутск и Павла. Ей там
нагородили с три короба, как хорошо да ладно, культурно да уважительно,
свояк по снабженческой части посулил пристроить куда-то и его, Павла,- она и
растаяла, поддалась, полетела чуть ли не укладываться. Павел тоже едва не
дрогнул, потому как раз пошли слухи о затоплении и переселяться куда-то все
равно предстояло, но сдержался. В городе тем хорошо, кому город хорош, а
кого матушка-деревня взрастила да до старости довела - сиди уж, не рыпайся.
А вышло, что и ехать в город ни к чему, город сам сюда пожаловал. Теперь и
Соня могла успокоиться, а то нет-нет да попрекала мужика. Из грязи вылезли,
в князи пошли...
Потихоньку да помаленьку жизнь притрется, человек приспособится, иначе
не бывает. Нарежут потом где-нибудь на остатках старых полей землицу под
картошку - все не завезешь, как ни старайся, спохватятся, что и без коровы
трудновато, на общественное стадо надейся, а свою коровку держи - и, как
великий дар, дадут позволенье: держи, кому надо, городи, коси, пурхайся с
темна до темна, если нравится. А верно, понравится уже далеко не всем, уже
другую привычку народ возьмет.
Им легче, Соне и сейчас ничего больше не надо, он приспособится, но
Павел хорошо понимал, что матери здесь не привыкнуть. Ни в какую. Для нее
это чужой рай. Привезут ее - забьется в закуток и не вылезет, пока
окончательно не засохнет. Ей эти перемены не по силам. И, будто не собираясь
никуда, она почти и не расспрашивала его, что там да как, а когда он
проговаривался о чем-то сам, и ахала, и всплескивала руками, но как над
далекой и посторонней чудовиной, никакого отношения к ней не имеющей. Для
нее этот новый поселок был не ближе и не родней, чем какая-нибудь Америка,
где люди, говорят, чтобы не маять ноги, ходят на головах. Наблюдая за
матерью, Павел все больше убеждался, что, рассуждая о переезде, себя она
нигде, кроме Матеры, не видит и не представляет, и боялся того дня, когда
придется все-таки ее с Матеры увозить.

10

Петруха у Катерины, как и следовало ожидать, на другой же день после
пожара убрался и вот уже неделю не давал о себе знать. И корки хлеба матери
не оставил, Катерина жила на Дарьиных чаях. Последняя мучонка в кладовке
сгорела. Ничего вроде в доме не было, а стала разбираться после огня - то
сгорело, это сгорело... Больше всего убивалась Катерина по самовару; она,
переходя к Дарье, не думала, конечно, о пожаре и оставила самовар до другого
дня - после разгребла в золе только оплавленный медный слиток. Петруха
гармонь свою безголосую не забыл, вынес, а заслуженный, вспоивший,
вскормивший его самовар кинул. Без него и вовсе осиротела Катерина.
Она все еще не теряла надежду, что Петруха остепенится, устроится на
работу и возьмет ее к себе. И о самоваре она вздыхала, представляя, что дом
у них будет, а самовара в дому не будет, теперь их не делают, нигде не
возьмешь. Стол без самоварного возглавия - это уже и не стол, а так...
кормушка, как у птиц и зверей, ни приятности, ни чинности. Из веку почитали
в доме трех хозяев - самого, кто главный в семье, русскую печь и самовар. К
ним подлаживались, их уважали, без них, как правило, не раскрывали белого
дня, с их наказа и почина делались все остальные дела. Теперь одним разом не
стало у Катерины ни дома, ни самовара, ни русской печи (она, печь-то, не
сгорела, потрескавшаяся и раскрытая, торчала на пепелище, как памятник - да
белый свет, что ли, ею обогревать?). Хозяина у Катерины после отца не было
никакого.
У Дарьи, у той в голове не укладывалось, как можно было без времени
сжечь свою избу, она снова и снова принималась костерить Петруху, требуя
ответа: как, как на такое рука поднялась? Катерина, затаившись,
отмалчивалась, виновато убирая глаза, будто срамили ее, и, когда Дарья
подступала вплотную и надо было что-то отвечать, торопливо отговаривалась:
- Беспутный, дак че...
И не было в этих коротких словах ни злости, ни обиды на сына,
оставившего ее без крова и хлеба,- один охранный, всепрощающий смысл: мол,
такой он у меня уродился, что с него взять?!
- Вот, вот,- распаляясь, тыкала в нее пальцем Дарья.- Всюю жисть ты
так. Всюю жисть поблажки давала, исповадила донельзя. Так тебе тепери и
надо. Так и надо, так тебе и надо. Он живую избу спалил, он и тебя живьем в
землю зароет. Не в землю,- с досадой спохватилась она,- в воду он тебя, в
воду, чтоб не хоронить. А ты же сама будешь просить, чтоб он тебе камень
поболе привязал на шею... чтоб не всплыть тебе.
- А он может,- вздыхала Катерина.- Беспутный, дак че...
- Вот и поговори с ей,- всплескивала Дарья руками.- Я ей про дело, она
- про козу белу... Ну и захвати тебя с Петрухой вместе! - вот дал господь
кормильца...
Катерина замуж не выходила, Петруху она прижила от своего же,
материнского, мужика Алеши Звонникова, теперь давно уже неживого, убитого на
войне. Катерина была много моложе его; когда они схлестнулись, у него уже
бегало четверо по лавкам, но так прищемил он ей сердце, что ни за кого она
не пошла, хоть охотников в молодые годы находилось вдоволь. Алеша Звонников
тоже был порядочный баламут, и Петруха взял от него по этой части немало, но
он и до работы был охочий мужик и имел же что-то особенное, если смирилась с
Катериной его родная баба и если сама Катерина, ни на что не надеясь, вся
светилась и обмирала от радости, когда в ночь-полночь подворачивал к ней
чужой мужик. Она и сейчас, вспоминая о нем, менялась в лице и оживала, как
от вина, глаза ее раскрывались и счастливо уставлялись туда, в дни и ночи
сорокалетней давности, и то, что видела она там, еще теперь согревало ее. И
говорила она об Алеше, как о своем, и в Матере она имела на это право,
потому что Алешина семья после войны съехала с острова.
Связь между Катериной и Алешей скрыть было невозможно, в деревне знали
о ней все. Потом, когда родился Петруха, Алеша и вовсе перестал таиться и
открыто взял на себя заботу о новой своей семье, среди бела дня на глазах у
народа привозил Катерине дрова и сено, поднимал завалившееся прясло. Так, на
две семьи, и жил года три или четыре, пока не свалилась война, и в Матере к
этому скоро привыкли и перестали судачить. Об Алеше особенно и не посудачишь
- всякие пересуды от него отскакивали как от стенки горох. Он и сам кого
хошь мог остыдить и просмеять, с ним не всякий решался схватываться. "А я
таковский,- любил он прихвастнуть,- меня не перетакуешь". И десять, и
пятнадцать лет спустя после войны про задиристых, ухлестистых парней и
мужиков в деревне говорили: "Ну ишо один Алеша Звонников объявился".
Вот эту легкость, разговорную тароватость Петруха с избытком перенял у
незаконного своего отца. Но если у того она была не на пустом месте - за
делом Алеша лясы не точил, знал прежде дело, а уж потом все остальное,- то у
Петрухи вышло наоборот. Работник он был аховый: за что ни возьмется - все
через пень-колоду, ни в чем толку. Там, где надо руками шевелить, он их
закладывал за спину. где надо смекалку показать - только гоношился,
раскидывал так и этак, а получалось никак. Послали от колхоза на курсы
трактористов, полгода проучился, дали ему, как доброму, новенький "Беларусь"
на больших колесах - он этими колесами половину заборов по деревне
перекрушил, гоняясь за кошками да собаками, у себя в ограде и на скотном
дворе за неделю оставил ровное поле. Как выпьет - так за руль, и пошел
кружить, только щепки во все стороны. Катерина выскочит: "Ты че творишь,
Петруха? Опомнись - че ты творишь, куда ездишь?! Тут для того, че ли, место
сроблено, чтоб ты его давил?" Он отмахнется: "Ниче ты, старая, не понимаешь.
Так полагается. Такая разнарядка на севодни" - и дальше, а Катерина и
отойдет в раздумье: кто его знает, может, и верно, полагается, чтоб научить
трактор ровно ходить по полю, не выскакивать из борозды.
Отобрали у Петрухи от греха подальше трактор, ссадили на землю, а он к
той поре и вовсе избаловался, ничего не хотел делать: туркали с места на
место, с работы на работу, и нигде от него проку, всюду старались от Петрухи
поскорей отбояриться и не скрывали этого даже перед ним - он лишь
похохатывал, слушая, что о нем говорят, подначивая говорить посильней,
пооткровенней, словно это доставляло ему какое-то удовольствие. Ничем
Петруху пронять было нельзя. И когда переливали колхоз в совхоз - колхоз,
умирая, мог быть доволен: наконец-то он избавился от этого работничка.
Под сорок человеку, а все продуриться не хочет, все как мальчишка: ни
семьи (два раза каким-то чудом привозил из-за реки баб, но та и другая на
первом же месяце летом улетывали от него через Ангару), ни рук, способных к
работе, ни головы, способной к жизни. Все трын-трава. Лишь бы прожить
сегодняшний день, а что будет завтра - это его не касается, короткие
разудалые мысли до этого не достают. Подписался поначалу на совхоз и
отказался, собираясь в город, потом вдруг, как муха укусила, заговорил об
охотничьей артели, хотя из ружья за всю свою жизнь стрелял только по
бутылкам, да и то мимо. А в последнее время стал сниться ему север с
большими рублями... Но до севера только доехать надо терпение иметь, а у
Петрухи его не водилось ни капли.
Вот и посудите теперь, каково быть матерью такого человека. Боялась
Катерина: чья душа во грехе, та и в ответе, поэтому вину за Петрухино
сумасходство перекладывала на себя. Она говорила:
- Дак ежли он такой и есть - че с им самдели? Голову на плаху?
- А какой он у тебя будет, когда ты распустила его до последней
степени? - подхватывала Дарья.- Он избу сжег, ты ему слово сказала?
- Сама говорела: так и этак бы сожгли...
- Да не своей же рукой! Как она у его не отсохла, что спичку чиркала?!
Это надо камень заместо сердца держать, он в ей родился, в ей рос, и он же
ее поперед всех спалил! Ну!
- Он, может, самдели незначай.
- Вот христовенькая, вот христовенькая! - приходила Дарья в
восхищение.- Ишо бы - конешно, незначай. Он тебе сам ее срубил, богачество
нажил - золотые руки у твово Петрухи. Пошто бы нарочно он сжигать ее стал -
эва че придумали про мужика. Незначай, незначай...
Катерина умолкала.
- А как такие люди получаются? - пыталась она понять - не в первый раз
пыталась понять и знала уже, что не поймет, и все-таки спрашивала, надеясь
на недолгое облегчение и прощение себе, когда и вместе с Дарьей не сумеют
они ни в чем разобраться.- Он с малолетства беспутный. Ты говоришь: я
исповадила. А че я исповадила? Никакой сильно повады не было. Я с им и
добром, и по-всякому - дак ежли он уродился такой. Он маленький был, ниче не
хотел понимать. Глаза заворотит - и хошь говори ты ему, хошь кол на голове
теши. Много ты с ребятами возилась?
- Когда мне с имя было возиться? С темна до темна в беготне.
- А все люди. Ни один не свихнулся. Мне его баловать тоже... не до
баловства было. В запустенье, правда что, не ходил. Старалася. Я погляжу на
Клавкиных ребятишек... лучше самдели с мачехой жить. Родная она мать, да не
своим деткам. Ни уходу, ни привету - на подзатыльниках да на кусках, бедные.
А какие славные ребятишки, ласковые, послушные... С чего, с каких дрожжей,
ежели она только и знает, что собачиться? Она, че ли, воспитала?
- Н-ну,- хмыкнула Дарья, полностью отказывая в этом Клавке.
Речь шла о Клавке Стригуновой.
- Дак че тогды? Одного кажин день лупцуют - человек выходит. Другого
никакая лупцовка не берет - был разбойник и вырос разбойник. Одного нежат -
на пользу, другого - на вред. Это как? В ком че есть, то и будет? И хошь
руки ты об его обломай, хошь испечалься об ем - он свое возьмет. Никакой
правью не поправить. Так, че ли? Ты говоришь: я не спрашиваю с его. Царица
небесная! Я надсадилась спрашивать. А тепери самдели отступилась, вижу, что
без толку. Теперь какой есть, такой и есть. Вся злость вышла... жалость
одна, что он такой. Дак не на плаху же, самдели? Пущай как хочет. Ему жить.
- Дак ты тоже не из могилы это говоришь. Тебе тоже доживать как-то
надо.
- А-а, че будет,- отмахнулась Катерина.- Мы уж тепери так и так не
своим ходом живем. Тащит. Куды затащит, там и ладно.
- Что тащит... правда, что тащит,- согласилась Дарья.
- Потом оне же, Клавкины ребяты, вырастут,- подчищая разговор,
вернулась Катерина,- и будут ее на руках носить, что она для их доброго
слова не знала. Говорят: какой привет - такой ответ... а-а,- несогласным
стоном протянула она,- ниче не сходится. Кому как на роду написано. Мало, че
ли: другая мать дюжину их подымет и живет на старости с имя хуже, чем у
чужих. Чужие-то постесняются галиться. А свои, как право им такое дадено, до
того лютуют... злого ворога больше жалеют. За что? Помнишь старуху Аграфену?
- А не доживай до этакой старости,- вдруг ни с чего со злостью
вскинулась Дарья.- Знай свой срок,- и пригасила, опустила голос, понимая,
что не дано его человеку знать.- За грехи, ли че ли, за какие держит господь
боле, чем положено. Ой, страшные надо иметь грехи, чтоб так... Где их
набрать? Человек должен жить, покуль польза от его есть. Нету пользы -
слезай, приехали. Нашто его самого маять, других маять? Живые... им жить
надо, а не смерть в дому держать, горшки с-под ее таскать. Я потаскала,
знаю. Из-под меня скоро с-под самой хошь таскай, мигом от горшка до горшка
долетела, а помню. Свекровку свою помню, как я на ее смотрела. А то и
смотрела,- непонятно на что опять осердясь, продолжала она,- что думала:
"Когды тебя бог приберет? Надоела хужей горькой редьки". Это мы с ей ишо
хорошо жили, она покладистая была. А я была небрезгливая. А помню: до того
мне под конец тошно к ей подходить. Навроде все понимала, что она,
христовенькая, невиноватая, а все равно ниче с собой сделать не могла. Не
могу, и все, хошь из дому беги. И думаю: а ежели бы это мамка моя пластом
так лежала - я бы тоже ей смерти хотела? Сама отговариваюсь, а сама слышу,
издали голос идет: а тоже хотела бы. Пущай не так, и терпения давала бы
поболе, а в худые минуты тоже про себя, поди, срывалась бы. Это уж и не от
меня идет - от чего-то другого. Нет, Катерина, старость запускать нельзя.
Никому это не надо.
- Дак че - удавку, че ли, на шею? Дарья не стала отвечать.
- И хоронют оне нас, плачут... оне плачут не об нас, кого в гроб
кладут, а кого помнют... какие мы были,- говорила она.- И жалко нас...
потому что себя жалко. Оне видят, что состарются, нисколь не лучше нас
будут. А без нас оне скорей старются. Про себя оне нас раньше похоронили.
Вот тогда бы и убраться, скараулить тот миг. А мы все за жисть ловимся. Че
за ее ловиться - во вред только. Помоложе уберешься, тебя же лутше будут
помнить, и память об тебе останется покрасивей. Побольней останется память,
позаметней. А ежели в гроб тебя, как кащею, кладут - дак ить глядеть
страшно. Такая страхолюдина всю до-прежнюю память отшибет...
- А мы-то в чем виноватые?
- А в том и виноватые, что привычку к себе, как собачонку какую,
держим. Чтоб нас она оберегала, на других полаивала. Скажи в молодости,
какую ты себя опосле будешь терпеть - перекрестишься, не поверишь. Ниче уж
живого нету, все вывалилось, окостенело, ни зубов, ни рогов, ни холеры -
нет, милей тебя белый свет нее не видывал. Да нашто? Тебе господь жить дал,
чтоб ты дело сделала, ребят оставила - и в землю... чтоб земля не убывала.
Там тепери от тебя польза. А ты все тут хорохоришься, людям поперек.
Отстряпалась и уходи, не мешай. Дай другим свое дело спроворить, не отымай у
их время. У их его тоже в обрез.
- Куда так торопиться-то? - отказывалась Катерина.- Жить бегом и
помирать бегом? Другой раз, может, не живать будет?
- Оно и потеперь, может, не ты жила...
- А кто? Ты уж говори, да не заговаривайся. Кто за-место меня будет
жить?
- Может, кто другой. А тебя обманули, что ты. А ежели ты - пошто ты
тогда с Петрухой со своим не можешь сладить? Пошто не живешь как охота, а по
чужой указке ходишь? Пошто всю жисть маешься? Нет, Катерина, я про себя,
прости господи, не возьмусь сказать, что это я жила... Сильно много со мной
не сходится...
...Вдвоем и правда было легче и за хозяйственной управой, и за
разговорами. Дни стояли длинные, старухи успевали все и, устав, ложились
после обеда отдохнуть, но не засыпали, а разговаривали лежа. И разговаривали
поднявшись, в ожидании вечерней уборки, а потом и после нее - так и шло
время, так незаметно и соскальзывали с одной стороны на другую длинные
летние дни. На разговоры подходила Сима со своим неотвязным хвостом -
Колькой; заявлялся Богодул, кряхтя и поругиваясь, и тоже норовил вставить
слово; приходила глуховатая тунгуска с трубкой в зубах, которую она почти не
вынимала, а потому почти не говорила; приходили на чай и беседы другие, кто
еще оставался в Матере... Поминали старое, дивились новому, смыкали вместе
то и другое, жизнь и смерть... Никогда раньше так подолгу они не
разговаривали.
И мало осталось, что было ими не переговорено, и мало, несмотря на
большую жизнь, было что в ней понято.
А впереди, если смотреть на оставшиеся дни, становилось все просторней
и свободней. Впереди уже погуливал в пустоте ветер.

11

Но еще сумела, всплеснулась жизнь на Матере - когда начался сенокос.
Кормов по новым угодьям было не набрать, да их и не было еще, новых-то
угодий, двинулись в последний раз на старые. Пришлось совхозу расползаться
опять по колхозам - кто где жил, туда на страдованье и поехал. Редкий
человек не обрадовался этой счастливой возможности пожить-побыть под конец в
родной деревеньке, чуть не у каждого там дом, скотина, огород, неподчищенные
дела, да и земля не молчала, звала их перед смертью проститься. Мало кто, не
слепой, не глухой, не осевший в конторе и не занятый на строгой, прицепной
работе, отказался поехать - привязчив человек, имевший свой дом и родину, ох
как привязчив!
Полдеревни вернулось в Матеру, и Матера ожила пускай не прежней, не
текущей по порядку, но все-таки похожей на нее жизнью, будто для того она и
воротилась, чтобы посмотреть и запомнить, как это было. Заржали опять кони,
пригнанные с Подмоги, зазвучали по утрам, перекликаясь, голоса работников,
застучало-забренчало покосное снаряженье. Разыскали, где она есть, и
отогрели кузницы, чтобы подладить технику на конной тяге, достали литовки -
и поднялся с постели дед Максим, вытащил из-под хлама молоток и подвязал к
нему петлю, чтобы не выскальзывал при отбое из дряхлой руки. Понадобилось -
и поди ж ты! - как раньше, отыскались литовки и оказался жив дед Максим. К
нему же тащили грабли, вилы, косилки - и он подновлял, подгонял, острил,
вставлял взамен выпавших новые зубья. И вроде подобрел, повеселел дед за
работой, хотя только что помирал, стал помахивать руками, покрикивать,
распоряжаться. Ему с улыбкой, с удовольствием подчинялись - так же
покрикивал он на них двадцать и больше годов назад, так же назначал их на
работу Павел, бывший тогда бригадиром и вызвавшийся в бригадиры теперь,-
будто ничего не изменилось. И, как тогда, обходились без большой техники:
тракторы, машины на той стороне, им и там ни минуты покоя, а здесь
оставались только одна бортовая машинешка да два самоходных комбайна,
которые ждали своей поры на бугре за деревней. Но машину, как нарочно, как в
наказанье, что она здесь оказалась, держали на побегушках: за холодным
квасом по жаре сгонять или доставить на луг припоздавшую со скотиной бабу.
Серьезной работы ей не давали. Из какого-то каприза, прихоти выкатили из
завозни два старых ходка и запрягали в них по утрам коней, отъезжая на луга,
а машина сиротливо, не смея вырваться вперед, плелась позади и казалась
много дряхлей и неуместней подвод. Но это уж действительно из каприза из
игры, в которую, однако, включались все, и включались с охотой.
Потом, верно, без техники не обойтись, и переплавлять сюда трактор, а
то и не один, так или иначе придется, когда понадобится стягивать зароды к
воде - их сразу на тракторные сани и собирались метать. Но это потом,
потом... пока управлялись, как раньше, косилками, конными граблями, вязали
для копен метлы...
И работали с радостью, со страстью, каких давно не испытывали. Махали
литовками так, словно хотели показать, кто лучше знает дело, которое здесь
же, вместе с этой землей, придется навеки оставить. Намахавшись, падали на
срезанную траву и, опьяненные, взбудораженные работой, подтачиваемые
чувством, что никогда больше такое не повторится, подзуживали, подначивали
друг друга старым и новым, что было и не было. И молодели на глазах друг у
друга немолодые уже бабы, зная, что сразу же за этим летом, нет, сразу за
этим месяцем, который чудом вынес их на десять лет назад, тут же придется на
десять же лет и стариться. Гомонили, играли, дурили, как маленькие: чуть
обсохнув от пота, с визгом кидались в Ангару, а кто не хотел кидаться сам,
того гурьбой ловили и втаскивали в чем был, и стыд не в стыд, когда кругом
свой табор,- с легкой руки Клавки Стригуновой раздевались до голых грудей, с
отчаянным и разбойным видом выступали перед мужиками, которых было меньше,
даже гонялись за ними, чтобы столкнуть в воду. И, приступая опять к работе,
приходили в себя, говорили: "Ну, совсем обезумели бабы, дорвались до Матеры.
Она, поди-ка, и не верит, что это мы", но в следующий роздых с удовольствием
безумели снова.
Выползали из деревни на луга старухи и, глядя, как работает народ, не
могли сдержать слез. И подступали с вопросом:
- Че вам надо было? Че надо было, на что жалобились, когда так жили?
Ну? Эх, стегать вас некому. И соглашался народ, задумываясь:
- Некому.
Клавка Стригунова и та помалкивала, не лезла спорить.
Вечером возвращались с песней. И чванливые раньше к трезвой песне
мужики подтягивали тоже. Заслышав песню, выходили и выстраивались вдоль
улицы все, кто оставался в деревне,- ребятишки, старухи, а также понаехавшие
со стороны, когда такие были; в последнее время движение стало больше,
моторки то и дело тарахтели и стригли туда-сюда Ангару. Приезжали не только
из совхоза - из городов, из дальних краев наезжали те, кто когда-то здесь
жил и кто не забыл совсем Матеру. Это был горький, но праздник, когда
бросались друг к другу двое, не видевшиеся много лет, успевшие уже и
потерять, забыть друг друга, и, встретившись, найдясь, обнявшись среди
улицы, вскрикивали и рыдали до опустошения, до того, что отказывали ноги.
Матери и отцы, бабушки и дедушки везли с собой ребятишек, зазывали и вовсе
посторонних людей, чтобы показать землю, из которой они вышли и которую
позже будет уже не увидеть и не сыскать. Казалось, полсвета знает о судьбе
Матеры. За деревней с верхнего края, где повыше, появились разноцветные
палатки, по острову разгуливал народ - кто бродил по кладбищу, кто сидел на
берегу, невесело глядя куда-то вдаль, кто подбирал на полянах первую красную
ягоду - и непросто было сразу сказать, свои это или чужие.
Покосчики возвращались с работы неторопливо, устало и важно. Впереди -
запряженные в ходки кони, согласно кивающие мордами, будто кланяющиеся при
въезде в деревню, по два-три человека в ходках, несколько верховых по
сторонам, все остальные с песней за подводами. Песня то одна, то другая, то
старая, то новая, но чаще все-таки старая, прощальная-поминальная, которую,
оказывается, помнил и знал народ, которую словно для этой поры и хранил в
себе... Кто пел, тем легче, слушать же их, несущих песню как дружное и
безнадежное заклинание, было до того больно и пытко, что подплывало кровью
сердце.
Июль вышел на вторую половину, погода держалась ясная, сухая, к покосу
самая что ни на есть милостивая. На одной луговине косили, на другой гребли,
а то и совсем рядом стрекотали косилки и подпрыгивали, дребезжа, конные
грабли с большими изогнутыми зубьями; гребь поспевала на солнце и на ветру
уже через день, до обеда бабы водились с литовками, подкашивая на неудобных
для колес, сырых и неровных местах, после обеда брались за грабли. Мужики
ставили копны, орудуя вилами; огромные лохматые навильники плыли за их
спинами, как что-то живое, самостоятельное, двигающееся на своих ногах с
уродливой, оттянутой назад головой. К концу дня угорали и от работы, и от
солнца, а больше того - от резких и вязких, тучных запахов поспевшего сена.
Запахи эти доставали и до деревни, и там народ, с удовольствием втягивая их,
обмирал: эх, пахнет-то, пахнет-то!.. Где, в каком краю может еще так
пахнуть!
И уже начинали оглядываться с опаской: быстро, быстро подвигается дело
- так и обратно скоро, не пожив вволюшку в Матере. Дождь, что ли, брызнул
бы, чтоб потянуть, полениться, подержаться подольше. Мужики принялись уже
сколачивать тракторные сани - и верно, конец проглядывает, куда торопиться?!
За сеном и с Матерой на прощанье не побыть, не увидать, где всю жизнь жили,
что имели, что теряют. Но выходили утром, и работа забирала, подгоняла сама,
и не находилось человечьих сил осаживать ее - гнали, напротив, злясь на
себя, и того пуще. Не та это была работа, чтоб удерживать ее; и работники не
успели еще избаловаться.
По вечерам, перед тем как упасть в постель, выходили на улицу и
собирались вместе - полянка не полянка, посиделки не посиделки, но вместе,
помня, что не много остается таких вечеров, и забывая об усталости. Обмирала
Матера от судьбы своей в эти часы: догорала заря за Ангарой, ярко обжигая
глядящие в ту сторону окна; еще больше вытягивалась наверху бездна неба;
ласково булькала под близким берегом вода. Догасал день, и догасала,
благодарствуя, жизнь округ: звуки и краски сливались в одно благостное
дремотное качание, которое то возникало сильней, то усмирялось; и чувства
человеческие в лад ему тоже сходились в одно зыбкое, ничего не выделяющее
ответствие. И казалось, сдвигались плотней в деревне избы и, покачиваясь,
тянули единый, под ветер, нутряной голос; казалось, наносило откуда-то
запахом старых, давно отлетевших дымов; казалось, близко подступало все, что
было на острову, и, стоя друг за другом, рукотворное и самотворное,
выглядывая друг из-за друга, единым шепотом что-то спрашивало. Что - не
понять, не услышать было, но мнилось, что и на это, невнятное и неслышимое,
следует отвечать.
Говорили мало и негромко - и правда словно пытаясь кому-то что-то
отвечать. Не думалось о жизни прожитой, и небоязно было того, что грядет;
только это, как обморочное, сном-духом чаянное, состояние и представлялось
важным, только в нем и хотелось оставаться. Но заявлялся, как черт на
богомолье, Петруха со своей неладной гармошкой, вызволенной, к несчастью, из
огня, начинал возить на ней "Ты, Подгорна, ты, Подгорна...", сбивал
настроение - и приходилось подниматься, приходилось вспоминать, что будет
завтра, и идти в постель.
Петруха после двухнедельной отлучки воротился в Матеру развеселый, в
новом, но уже изрядно помызганном светлом костюме с красной ниткой и в
кожаной кепке с коричневыми разводьями, и в наряде этом еще больше стал
смахивать на урку. Увидав его впервые, Дарья воскликнула:
- Но-о... это откуль такая божья коровка к нам заползла?
- Извини-подвинься,- возмутился Петруха - не "божьей коровкой"
возмутился, а "заползла".- Я не ползаю, я на самолетах, хошь знать, летаю.
Это "извини-подвинься" он подцепил где-то в последних своих
странствиях, и так оно ему понравилось, таким показалось красивым и ловким,
что без него Петруха не мыслил разговора. Приехав, занес он матери с больших
денег за сожженную усадьбу пятнадцать рублей и, когда она заикнулась было,
что мало, отвечал:
- И-извини-подвинься. А я на что должен существовать? Я должон ехать,
устраиваться на постоянное местожительство. Кто меня задаром повезет? Это
тебе тут ни на что деньги.
Но все-таки смилостивился и отсчитал еще десятку мятыми-перемятыми
бумажками.
- Много наменял-то? - спросила Катерина при виде этих на тысячу рядов
изжамканных, бойких денег, которые словно всегда и ходили по рукам таких,
как Петруха, в добрые руки не попадали.
- Это мое дело. Я в твою личную жизнь не мешаюсь, и ты в мою не
мешайся. Устроюсь - выпишу тебя, будем жить вместе. А покудова -
извини-подвинься.
Два дня он потосковал в Матере без магазина и нырнул в новый поселок,
три дня плавал там, не снимая своего маркого костюма, светлый тон в котором
после этого остался только далеко в глубине, а красная нитка полностью
исчезла. Теперь опять объявился в Матере, спал без родного угла где
придется, иногда даже у Богодула в его колчаковском бараке, что считалось
крайней степенью бездомности и опущенности, но форс продолжал держать,
выдумывая про себя, что в законном отпуску, что кто-то скоро приедет за ним
на катере и куда-то увезет как человека, до зарезу необходимого; подвязал к
своей инвалидной "подгорне" веревку, чтобы накидывать на плечо, и "тарзанил"
ее, по слову самого Петрухи, денно и нощно. Как-то притащился с нею даже на
луг, устроился под березу и запилил-запиликал, но упаренные, веселые и злые
работники так турнули его, что Петруха, обычно языкастый, и отругиваться не
стал - отступил.
...Но после долгого, крепкого ведра сумело-таки подползти однажды ночью
под одно небо другое, и пошли дожди...

12

В первый день, когда дождь только еще направлялся, побрызгивая манной
небесной, угодной полям и огородам, в Дарьин дом нагрянул гость - приехал
Андрей, младший сын Павла. Павлу как отцу выпало обойтись без дочерей,
четырежды Соня, жена его, рожала, и все были парни, но один сразу же, как
только открыл глаза, не вынес белого света и отошел, осталось трое. Старший,
женившись на нерусской, поехал на ее родину на Кавказские горы посмотреть,
что это такое, да там и остался, соблазнившись теплым житьем; средний,
гораздый на грамоту, учился в Иркутске на геолога и на тот год должен был
уже отучиться, а Андрей прошлой осенью пришел из армии и был тогда в Матере,
но прожил полторы недели, подивился на всю эту суматоху, все больше
нарастающую, связанную с переселением, и укатил в город, устроился там на
завод. Теперь он, оказывается, уволился с завода и метил в другое место, а
по пути завернул домой. Два дня Андрей побыл у матери в совхозе - Соня
работала в бухгалтерии и осталась в поселке,- отвел у нее первую очередь и
поплыл к отцу и бабушке. Павел исподволь добился своего, вел в Матере
сенокос и постоянно находился теперь здесь, а в совхоз только наезжал, как
до того наезжал в Матеру.
Дождь оказался кстати: можно было посидеть, поговорить не торопясь; не
решались отважиться на передышку своей властью, так ее спустил сам бог.
Андрей, здоровый рядом с отцом, невыболевший, не потратившийся на работе
парень, которому армия пошла явно на пользу - уходил туда согнутый,
заглядывавший в землю нескладень, а воротился этакий вот молодец с
выправленной спиной и поднятой головой,- Андрей без терпения, пока бабушка
собирала на стол, шил туда-обратно из избы во двор и со двора в избу, громко
топал на крыльце ботинками, сбивая с них еще и не грязь, а только смоченную
и налипающую пыль, вспоминал и спрашивал о деревенских, кто где есть, кто
куда переезжает, и от нечего делать по-свойски, ласково задирал Дарью:
- Что, бабушка, скоро и ты эвакуируешься?
- Куируюсь, куируюсь,- даже и без вздоха, спокойно, послушно отвечала
она.
- Неохота, наверно, отсюда уезжать?
- А какая тут охота. На своем-то месте мы бы, старухи, ишо ползали да
ползали полегоньку, а вот погоди, сковырнут нас, и зараз все перемрем.
- Кто это, интересно, позволит вам умирать?
- А уж на это мы команду спрашивать не будем. Как-нить сами,-
незаметно, в свою очередь, задираясь, говорила Дарья.- На это
уполномоченных, чтоб приказы подавал, ишо не додумались назначать. Вот и
мрут люди как попадя, что разнарядки такой нету.
- Да ты не обижайся, бабушка. Обиделась, что ли, на меня? Я так говорю.
- Пошто я на тебя-то буду бижаться?
- А на кого ты обижаешься?
- Ни на кого. На самуе себя. Это ты на меня бидься, что я тебе тут одно
место крапивой жарила, чтоб ты на ем сидел. Плохо, видать, жарила, что не
усидел, поскакал отсель...
Андрей смеялся.
- Пока молодой, надо, бабушка, все посмотреть, везде побывать. Что
хорошего, что ты тут, не сходя с места, всю жизнь прожила? Надо не
поддаваться судьбе, самому распоряжаться над ней.
- Распорядись, распорядись... Охота на тебя поглядеть, до чего ты под
послед распорядишься. Нет, парень, весь белый свет не обживешь. Хошь на
крыльях летай. И не надейся. Ты думаешь, ежели ты человек родился, дак все
можешь? Ох, Андрей, не думай. Поживешь, поживешь и поймешь...
- Э-э, бабушка, тут я с тобой не согласен. Это у тебя от Матеры, оттого
что ты дальше Матеры носа не высовывала. Что ты ничего не видела. Человек
столько может, что и сказать нельзя, что он может. У него сейчас в руках
такая сила - о-е-ей! Что захочет, то и сделает.
- Это сделает, сделает... - соглашалась Дарья.
- Ну, так что ты тогда говоришь?
- То и говорю. Сделает, сделает... А смерть придет, помирать будет. Ты
со мной, Андрюшка, не спорь. Я мало видала, да много жила. На че мне
довелось смотреть, я до-о-олго на его смотрела, а не походя, как ты. Покуль
Матера стояла, мне торопиться некуда было. И про людей я разглядела, что
маленькие оне. Как бы оне не приставлялись, а маленькие. Жалко их. Тебе
покуль себя не жалко, дак это по молодости. В тебе сила играет, ты думаешь,
что ты сильный, все можешь. Нет, парень. Я не знаю ишо такого человека, чтоб
его не жалко было. Будь он хошь на семь пядей во лбу. Издали вроде
покажется: ну, это ниче не боится, самого дьявола поборет... гонор такой
держит... А поближе поглядишь: такой же, как все, ничем не лутше... Ты из
своей человечьей шкуры хочешь выскочить? Ан нет, Андрюшка, не выскочишь. Не
бывало ишо такого. Только обдерешься да надсадишься без пути. И дела не
сделаешь. Покуль выскакивать пыжиться будешь, смерть придет, она тебя не
пустит. Люди про свое место под богом забыли - от че я тебе скажу. Мы не
лутчей других, кто до нас жил... Накладывай на воз столь, сколь кобыла
увезет, а то не на чем возить будет. Бог, он наше место не забыл, нет. Он
видит: загордел человек, ох загордел. Гордей, тебе же хуже. Тот малахольный,
который под собой сук рубил, тоже много чего об себе думал. А шмякнулся,
печенки отбил - дак он об землю их отбил, а не об небо. Никуда с земли не
деться. Че говорить - сила вам нонче большая дадена. Ох, большая!.. И
отсель, с Матеры, видать ее. Да как бы она вас не поборола, сила-то эта...
Она-то большая, а вы-то как были маленькие, так и остались.
Долго сидели за столом; отец с сыном выпили бутылку водки, привезенную
Андреем, и ничуть не опьянели, только Андрей с лица еще больше помолодел, а
Павел еще больше постарел. Дарья смотрела на них, сидящих рядом, напротив
нее, и думала: "Вот она, одна ниточка с узелками. От узелка до узелка
столько, кажись, было годов - где оне? Мой-то узелок вот-вот растянут и
загладят, ровный конец опустют, чтоб не видать было... чтоб с другого конца
новый подвязать. Куды, в какую сторону потянут эту ниточку дальше? Что
будет? Пошто так охота узнать, что будет?"
Дождь на улице подбивался и зачастил, на стеклах появились потеки.
Потемнела земля, крупными сосульчатыми каплями закапало с крыш; пенясь,
остановилась в окне Ангара. И сильнее, приятней запахло за столом самоварным
духом, душистей показался чай, который пили теперь уже все, и важней,
уместней показался семейный разговор, который они говорили.
- Мало зарабатывал, что ли? - спрашивал Павел, допытываясь, почему
Андрей уволился с завода.
- Зарабатывал - одному хватало,- пожимал плечами Андрей. Он старался
говорить с отцом на равных, но, еще не привыкнув к равности, как-то
сбивался, соскальзывал с нужного тона и то поднимал голос, то терял его.-
Одному, конечно, хватало. Дело не в этом. Неинтересно. Там стройка на весь
мир. Утром радио включишь - ни одно утро не обходится, чтоб о ней не
говорили. Погоду специально для нее передают, концерты. А завод... таких
много. В каждом городе они есть.
- Для завода погоду не передают?
- Так и знал, что ты сейчас это скажешь,- спохватывался Андрей.- Для
завода и не надо, для города передают. Дело не в этом. Завод, он никуда не
убежит, а стройку закончат - обидно будет. Охота, пока молодой, тоже
участвовать... чтоб было, значит, потом что вспомнить...
Андрей поморщился, оставшись недовольным своим ответом: он скомкал,
поджевал его, чтобы не произносить громких слов, которых, он знал это, отец
не любил. Павел ожидающе молчал, и от этого неясного, как скрадывающего
молчания Андрей начал горячиться.
- Сейчас время такое, что нельзя на одном месте сидеть,- то ли
доказывал, то ли оправдывался он.- Вы вот и хотели бы сидеть, все равно вас
поднимают, заставляют двигаться. Сейчас время такое живое... все, как
говорится, в движении. Я хочу, чтоб было видно мою работу, чтоб она навечно
осталась, а на заводе что? По неделе с тер-ритории не вылазишь... Это на
машине-то. Железяки с места на место, из цеха в цех, как муравей, крутишься,
развозишь. Это любой старик может. Завод, он для пожилых, для семейных, чтоб
на пенсию оттуда уходить. Мне охота, где молодые, как я сам, где все
по-другому... по-новому. ГЭС отгрохают, она тыщу лет стоять будет.
- Опоздал, однако, маленько,- задумчиво кивая, говорил Павел.- Ее,
ГЭС-то, однако, без тебя успели отгрохать, если затопление вот-вот начнется.
- Ну-у, там еще столько работы! Хватит на меня. Самый интерес сейчас
начнется.
Дарья насторожилась.
- Дак ты погоди, ты туды, че ли, метишь, где Ангару запружают? - только
теперь поняла она.
- Туда, бабушка.
- Но-о, ишо не легче... - начала и не договорила она, потерявшись от
неожиданности, что и сказать, глядя на Андрея с пристальным непониманием.
- А что, бабушка?
- Ты пошто другого-то места не нашел?
- Зачем мне другое? Я хочу туда. Матеру, бабушка, все равно затопят -
хоть со мной, хоть без меня. Я тут ни при чем. Электричество, бабушка,
требуется, электричество,- присаживая на сильную шею голову и взяв голос,
как маленькой, толковал он Дарье.- Наша Матера на электричество пойдет, тоже
пользу будет людям приносить.
- А то она, христовенькая, на вред тут стояла,- тихо и в себя, без
желания к спору, который давно решен без них, ответила Дарья и умолкла,
замкнувшись, слушая, да и то без особого внимания, о чем говорят, наблюдая
больше, как говорят, как меняются в разговоре лица, с трудом или нет
достаются слова, в какой они рядятся голос. Но то, что узнала она, не давало
ей покоя, и, забывшись, она опять сказала, будто и не спрашивая, а
подтверждая для самой себя - никак не укладывалось это в ее голове: - Дак
это ты, значитца, будешь воду на нас пускать?.. Но-но... Гляди-ка, че
деется!
- Почему я-то? - засмеялся Андрей.- Там без меня все готово, чтоб ее
пустить. Ты на меня, бабушка, зря не греши.
- Ну и не ездил бы туды...
- А что,- осторожно подхватил слова матери Павел.- Взял бы и остался
здесь. Нам шоферы нужны. Новую машину получишь. Работы здесь хватит на весь
ваш завод.
Он сказал и без надежды усмехнулся, скосив глаза вниз: не стоило и
предлагать - не останется. И верно, помолчав, словно бы подумав, Андрей
покачал головой:
- Да не-ет. Из города уехал и к вам?
Можно бы возмутиться: какое право он взял, родившись здесь, поднявшись
и став здесь человеком, говорить так о своей родине, но Павел не возмутился,
он для того, казалось, и начал этот разговор, чтобы слышать, что имеет
ответить сын, что нажил он за последние, не связанные
с домом годы самостоятельной жизни, чем дышит и какими правилами
руководится. И что бы сейчас ни ответил Андрей, все следовало принимать
спокойно и раздумчиво. А почему, правда, и не поискать в его словах разумный
смысл,- ведь он как-никак взрослый и вроде неплохой человек, и это он
заменит скоро отца на земле - нет, лучше сказать, не на земле, а на свете.
От земли он отошел и, похоже, никогда к ней не вернется. И если Павел
продолжал говорить, так не для того, чтобы убедить сына, а чтобы знать его
ответы.
- Это ты зря. У нас не так уж и плохо. Это не старая деревня, где мы с
тобой сидим.- Павел покосился на мать, боясь ненароком обидеть ее; к новому
совхозному поселку он и сам не испытывал любви, но что верно, то верно.- У
нас там будет как в городе, к тому дело идет. Ты был, видел, что творится.
- Видел. Здорово, конечно. А все равно неинтересно у вас.
- Какой тебе нужен интерес?
- Я уж говорил... - Андрей легонько поморщился от нежелания повторить
то, что и не выстроилось в порядок, а только кружило голову, и о чем, стало
быть, трудно сказать определенно.- Потом семьей обзаведусь, потом, может, и
сюда приеду. А пока молодой, неженатый, охота туда, на передний, как
говорится, край... чтоб не опоздать. Вся молодежь там.
- Война, что ли,- передний край? - не пропустил Павел.
- Передний не передний... я не знаю, как сказать. Так говорят. Где
горячее самое место, самая нужная стройка. Сейчас все внимание туда. Люди
вон из какой дали едут, чтобы участвовать, а я тут рядом и - мимо. Как-то
неудобно даже... будто прячусь. Потом, может, всю жизнь буду жалеть. Сильно,
значит, нужна эта ГЭС... пишут о ней столько. Такое внимание... Чем я хуже
других?
- Закончат - снимут внимание. Потом как? Другое место искать, которое
под вниманием? Привыкнете ведь на виду, избалуетесь, одного солнца мало
покажется. Ты-то как думаешь, надолго туда, под внимание?
- Там видно будет.- И, почувствовав, что этого мало для ответа,
заговорил быстрей и уверенней, с какой-то новой у него, печальной и словно
бы обиженной интонацией: - Как вы не понимаете?.. Бабушка не понимает - ей
простительно, она старая. А ты-то? - Андрей чуть споткнулся, не решившись
сказать "отец", но и не захотев, отказавшись вернуться к прежнему и, как
казалось ему, детскому "папа".- Ты-то почему не понимаешь? Сам на машинах
работаешь, знаешь, что теперь другое время. Пешком теперь, если хозяйство
вести, как говорится, нельзя. Далеко не уйдешь. Разве что по Матере
топтаться... Много ли толку от этой Матеры? И ГЭС строят... наверное,
подумал, что к чему, а не с бухты-барахты. Значит, сейчас, вот сейчас, а не
вчера, не позавчера, это сильно надо. Значит, самое нужное. Вот я и хочу
туда, где самое нужное. Вы почему-то о себе только думаете, да и то, однако,
памятью больше думаете, памяти у вас много накопилось, а там думают обо всех
сразу. Жалко Матеру, и мне тоже жалко, она нам родная... По-другому, значит,
нельзя. Все равно бы она такой, какая она сейчас есть, такой старой, что ли,
долго не простояла. Все равно бы перестраиваться пришлось, на новую жизнь
переходить. Люди и то больше чем сто лет не живут, другие родятся. Как вы не
понимаете?
Павел посмотрел на сына внимательно и удивленно, будто только теперь
по-настоящему осознав, что перед ним действительно взрослый и вполне
разумный человек, но уже не из его - из другого, из следующего поколения.
- Почему не понимаем? - задумчиво и не сразу сказал он.- Маленько и мы
чего-то понимаем. Я с тобой не о том говорю, нужна или не нужна ГЭС. Об этом
спору нет. Я говорю, что и здесь кому-то работать надо.
- Вот вы и работайте. Работа, она тоже вроде как по возрастам. Где
новые стройки, где, значит, трудней всего - там молодежь. Где полегче,
попривычней - другие. Все-таки не сравнить - там или здесь, условия-то
разные. Туда люди для того и едут, чтоб одну большую работу всем вместе
сделать, она для них - самое главное, они там и живут только для этой
работы, а вы здесь вроде как наоборот, вроде как работаете для жизни. Ты
говоришь, внимание. Внимание, оно от важности, от нужности, ничего в нем
особенного нет. По-моему, всегда так было. У тебя тоже... если тебе
требуется что-то сделать в первую очередь, ты же из внимания это не
выпустишь, хочешь не хочешь, а будешь думать, пока не сделаешь. А там это в
масштабе, значит, всей страны, там, может, от этой стройки много чего
другого зависит. Стройка-то под вниманием, а люди, они просто работают, и
все. Не для славы, а для дела. Ну, может, получше работают, чем в другом
месте. Так требуется...
- Вот это-то, парень, и плохо, что в одном месте мы требуем работать
получше, а в другом считаем, что можно как попало.
- Плохо, конечно,- не задумываясь, думая над тем, что еще возразить
отцу, кивнул Андрей.- Вспомни, как было, например, тридцать или двадцать лет
назад и как теперь. Сколько всего понастроили да напридумывали! Когда-то,
наверно, и на нашу Матеру, казалось, зачем идти? Земли, что ли, без нее не
хватало? А кто-то пришел и остался - и вышло, что земли без Матеры и правда
не хватало. А сын его пошел дальше - не все же тут задерживались. А сын сына
еще дальше. Это закон жизни, и его не остановить, и их, молодых, тоже не
остановить. На то они и молодые. Пожилые, значит, остаются на обжитых
местах, остаются еще больше их обживать, а молодые, они так устроены,
наверно, они к новому стремятся. Ясно, что они первыми идут туда, где
труднее...
-- А почему ты думаешь, что здесь полегче?
Ни к кому не обращаясь, ни на кого не глядя, Дарья сказала:
- В старину как говаривали... Мать, ежли она одного ребенка холит, а
другого неволит,- худая мать.
- Это ты о чем, бабушка? - хмыкнул Андрей, хмыкнул весело и
обрадованно, что она встряла и перебила этот несогласный и какой-то
неоткровенный, стыдливый разговор между отцом и сыном - точно говорили о
бабах.
- А не об этом,- отказалась Дарья, поджимая тонкие, острые губы.
- Дождь-то как разошелся,- заглядывая в окно, сказал в молчании Андрей;
ему показалось, что именно он должен что-то сказать, чтобы снять неловкость
и непонимание.
Стали смотреть на дождь - как бьет он о землю, собираясь уже в лужи в
твердых низинках, как уже и не каплями, а расторопными струйками стекает он
с крыш амбаров; услышали перегончатое, еще дробное бульканье, приятным,
неполным покоем отозвавшееся в душе, и сразу почувствовали, что легче,
свежей стало дышаться, что, обновленный чистыми, снесенными водой небесными
запахами и густыми, взнятыми дождем запахами открывшейся земли, воздух успел
натечь и в избу. И поверилось им, что засиделись они за столом и разговором,
что разговор только отъединил их, родных по самому прямому родству, друг от
друга, а это минутное пустое гляденье на дождь сумело снова сблизить. Но,
поднимаясь, спросил еще Павел у сына, что нужно было, наверное, спросить
давно:
- Когда уезжаешь-то?
- Поживу пока,- улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого
решения об этом у него нет.- Куда торопиться?
- Если поживешь, может, сена мне подмогнешь накосить? - предложил вдруг
отец. Ему только сейчас, сию минуту пало это в голову и тут же само
сказалось, он еще не успел осознать, надо ли было говорить и готов ли он сам
к тому, на что подбивает сына.
Андрей с охотой согласился:
- Давай. А что мне тут делать? Конечно, помогу.
- И правда,- обрадовался, решившись, и живей заговорил Павел: - Вдвоем
мы на корову накосим, зиму еще подержим ее. Пока ты тут, долго ли? А то мы
уж в панику ударились, не знали, как быть. Одному где же... я на работе.
Мать там. Бабушка тоже не помощница.
- До смертинки три пердинки,- кивнула Дарья.
Но это легкое и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то, о
чем, не переставая почти, страдала она все последнее время, и,
приподнявшись, натянувшись вся, взмолилась Дарья сдавленным голосом:
- И могилки, Павел. Ты посулился. Когда потом?.. Заодно бы...
- Ага,- вспомнил Павел.- Надо бы еще могилы перенести. Она давно
просит.
Андрей удивился, ожидающе помолчал, вскинул брови,- всерьез ли говорят,
но согласился и на могилы.

13

Дождь то примолкал, переходя на мутное, как пыльное, стоящее в намокшем
воздухе, морошение, то припускал опять, с новой силой принимаясь хлестать
землю. Все вокруг вымокло до последней степени, набухло, натяжелело и уже не
впитывало воду, наполнившись до краев,- она разливалась через края,
растекалась вширь и полнилась, полнилась... Вода стояла даже в травах.
Улица, выбитая тележной и машинной ездой, походила на речку, по берегам
которой выстроились порядки домов; только вдоль этих порядков и можно было
ходить, а уж перебраться с берега на берег - надо было изноравливаться,
наводить какую-то переправу. Несколько дней подряд держалась редкая тишь,
наверху тяжелое, вздутое небо находило еще порой власть шевелиться, будто
отставляя в сторону отработанные, издождившиеся тучи, внизу же не было
никакого даже подобия ветерка, замерший воздух сек один дождь. Ветки на
деревьях обвисли, с них обрывались большие и белые, похожие на снег, капли;
обвисли и нескошенные травы, спрятав острые возглавия и выстелившись
сплошным согбением, о которое шумел и шумел то сильней, то слабей, упадая,
дождь. После первых трех дней начала прибывать Ангара, замолкло,
захлебнулось веселое ее бормотание на мысу и по релке, понесло мусор,
заметней вздулась, пенясь, проносная вода - пену выталкивало к берегам, к
затопленной тиши, но она, добираясь в белые клочковатые мыри, хитрыми,
изворотливыми кругами снова выбиралась на быстрину и куда-то устремлялась,
что-то показывала из себя.
Спасаясь от сырости, топили печи; дымы по утрам поднимались над избами
как зимой - так же дружно и важно, продираясь сквозь плотный воздух.
Дымилась и Настасьина изба, в нее сразу же, как только приехал к Дарье внук,
перебралась Катерина. Похоже, что она обрадовалась причине перейти туда,
чтобы сподобить сухой угол и своему Петрухе, который по-прежнему слонялся по
деревне без забот и без дела, как одуванчик божий: куда понесет - туда и
покатится. Услышав, что Андрей едет на ГЭС, Петруха заявился к нему и долго
выяснял условия: сколько там зарабатывают, как живут, какой имеют "навар" -
под "наваром" разумелась выгода.
- Мне чтоб фатера была, а не стайка,- выкаблучивался, прицениваясь, он,
как всегда, с придурью, с форсом.- Я с матерью, я желаю создать матери
душевную жизнь. Хватит ей маяться. Конешное дело, она из комсомола
состарилась, а ты говоришь, там комсомол... Но потребуется - сильно даже
может сгодиться. Про старую беспросветную жизнь,- "жизнь" Петруха
выговаривал полностью, с удовольствием подзванивая это слово,- к примеру,
рассказать...
Толком о стройке Андрей ничего не мог объяснить, он и сам знал о ней
только по газетам да по сбивчивым рассказам, но Петруха вдруг засобирался с
ним вместе, стал захаживать каждый день, чтобы поговорить, как и что будет,
представляя себя там бывалым и нужным работником, а по деревне нес, будто
уже устроился и чуть ли не получает даже зарплату. Зная Петруху, у него не
без ехидства спрашивали:
- Сюда высылают?
- А куда - сюда? Ежли у нас почты нету? - поражался он людской
бестолковости.- Мне бы высылали, дак я на обстановку разъяснение дал:
задержать. Опосле, вот непогодь эта кончится, подъеду и зараз получу.
- С тебя, поди-ка, и налоги не будут высчитывать, если ты не работал?
- Пошто-о?! - Петруха был за полную справедливость.- Я про бездетность
сам в детдом перечислю, раз такое дело. Ты говоришь... не работал. Ну и что,
ежли не работал? Мне и плотят, чтоб я на другое какое производство не ушел.
У себя задержать хочут. И я по закону уж не могу больше никуда перекинуться.
Закон, он хитрый. Он, извини-подвинься, о-о-о! С ним не шибко!
- Ну трекало! Ну трекало! - восхищались люди, восхищались прямо в глаза
Петрухе, а он, довольный, что у них не находится больше что сказать, с
настырной уверенностью в себе отвечал:
- Понимать надо.
В эти негодные для работы дни от тоски и безделья, а пуще всего от
какой-то неясной, вплоть подступающей тревоги люди часто собирались вместе,
много одно по одному говорили, но и разговоры тоже были тревожными, вязкими,
с длинными прогалами молчания. То ли так действовала погода, то ли приходило
понимание: нет, и сенокос с его дружной, заядлой работой, и песни, и
посиделки по вечерам, и самое это житье чуть не всем колхозом в родной
деревне как дарованное, а лучше сказать, как ворованное на прощанье - все
обман, на который они из слабости человеческого сердца поддались. А правда
состоит в том, что надо переезжать, надо, хочешь не хочешь, устраивать жизнь
там, а не искать, не допытываться, чем жили здесь. Уж если жили не зная, чем
жили,- зачем знать уезжая, оставляя после себя пустое место? Правда не в
том, что чувствовать в работе, в песнях, в благостных слезах, когда заходит
солнце и выстывает свет, а в душе поднимаются смятение, и любовь, и жажда
еще большей любви, какие выпадают не часто,- правда в том, чтобы стояли
зароды. Вот для чего они здесь. Но приходили и сомнения: так-то оно так, да
не совсем же так. Зароды в конце концов они поставят и увезут, коровы к
весне до последней травинки их приберут, всю работу, а вот эти песни после
работы, когда уж будто и не они, не люди, будто души их пели, соединившись
вместе,- так свято и изначально верили они бесхитростным выпеваемым словам и
так истово и едино возносили голоса; это сладкое и тревожное обмирание по
вечерам пред красотой и жутью подступающей ночи, когда уж и не понимаешь,
где ты и что ты, когда чудится исподволь, что ты бесшумно и плавно скользишь
над землей, едва пошевеливая крыльями и правя открывшимся тебе
благословенным путем, чутко внимая всему, что проплывает внизу; эта
возникшая неизвестно откуда тихая глубокая боль, что ты и не знал себя до
теперешней минуты, не знал, что ты - не только то, что ты носишь в себе, но
и то, не всегда замечаемое, что вокруг тебя, и потерять его иной раз
пострашнее, чем потерять руку или ногу,- вот это все запомнится надолго и
останется в душе незакатным светом и радостью. Быть может, лишь это одно и
вечно, лишь оно, передаваемое, как дух святой, от человека к человеку, от
отцов к детям и от детей к внукам, смущая и оберегая их, направляя и очищая,
и вынесет когда-нибудь к чему-то, ради чего жили поколенья людей.
Так отчего бы и им не омыться под конец жизнью, что велась в Матере
долгие-долгие годы, не посмотреть вокруг удивленными и печальными глазами:
было. Было, да сплыло. Смерть кажется страшной, но она же, смерть, засевает
в души живых щедрый и полезный урожай, и из семени тайны и тлена созревает
семя жизни и понимания.
Смотрите, думайте! Человек не един, немало в нем разных, в одну шкуру,
как в одну лодку собравшихся земляков, перегребающих с берега на берег, и
истинный человек выказывается едва ли не только в минуты прощания и
страдания - он это и есть, его и запомните.
Но почему так тревожно, так смутно на душе - только ли от затяжного
ненастья, от вынужденного безделья, когда дел невпроворот, или от чего-то
еще? Попробуй разберись. Вот стоит земля, которая казалась вечной, но
выходит, что казалась,- не будет земли. Пахнет травами, пахнет лесом,
отдельно с листом и отдельно с иголкой, каждый кустик веет своим дыханием;
пахнет деревом постройки, пахнет скотиной, жильем, навозной кучей за
стайкой, огуречной ботвой, старым углем от кузницы - из всего дождь вымыл и
взнял розные терпкие запахи, всему дал свободный дых. Почему, почему при
них, кто живет сейчас, ничего этого не станет на этой земле? Не раньше и не
позже. Спроста ли? Хорошо ли? Чем, каким утешением унять душу?
С утра попробовало распогодиться, тучи отжато посветлели и
заворошились, пахнуло откуда-то иным, легким воздухом, вот-вот, казалось,
поднырнет под тучи солнце, и люди поверили, тоже зашевелились, собрались к
Павлу справляться, будет ли дело. А пока собирались да рассуждали, опять
потемнело и потекло. Расходиться не хотелось - сидели, возили все те же
разговоры. Дарья вскипятила самовар, но на чай почему-то не польстились,
видать, не просохли еще от домашнего. Одна Катерина взяла на колени стакан.
У дверей на лавке, прислонившись к стене и подняв и обняв ногу, расположился
Афанасий Кошкин, или Коткин, кому как нравится, тот так и называл, а Петруха
из потехи сливал их вместе и на всю матушку-деревню кричал: "Кот и Кошкин, а
Кот и Кошкин!" Афанасий всю жизнь был Кошкиным, а стали переезжать в совхоз,
всей семьей поменяли фамилию на Коткины: новое - так все новое, красивое -
так все красивое. Над Афанасием подшучивали - он добродушно отсмеивался в
ответ и объяснял:
- Да мне-то што?! Мне што Кошкин, что Мышкин. Я шестьдесят годов, да
ишо с хвостиком, Кошкиным ходил - никто в рожу не плюнул. Это все молодежь.
Невестки, заразы, сомустили. Особливо Галька. Им што - она им, фамиль-то, не
родная, она им што платок на голову - седни одна, завтрева другу одевай.
Пристали: давай да давай. А в тот раз подпоили меня... я и задумался.
"Кошкин,- грят,- это ты вроде под бабой ходишь, а Коткин - дак баба под
тобой". Чем, заразы, стравили... Задумался и грю: "Поллитру ишо дадите, дак
берите". Никому не видал: в четыре ноги кинулись, однем духом выставили.
- За поллитру, значит, фамиль продал?
- Дак, выходит, так. Галька в раен ездила, документы переписать. А я
сам. Сам над етой буковкой крышку сделал. Пойми: ты или шы? Шито-крыто, а
расписуюсь, дак нарошно не достаю до ее, закорюку ставлю. Был Кошкин, и есть
Кошкин. А оне как хочут.
Вера Носарева, Дарьина соседка с нижнего края, несколько раз уже
порывалась встать и уйти домой, даже не домой, а на деляну,- Вера, пока суть
да дело, бегала на свой сенокос, потихоньку валила травку, но уходить из
тепла и от людей не хотелось, дождь к тому же распалился и шумел сплошной
волной. На топчане, как на шильях, вертелась, каждую минуту заглядывая в
окно, Клавка Стригунова - эта давно бы и стриганула, да не пускал дождь. С
тоски Клавка вязалась к Андрею, расспрашивала его про городских мужиков:
каких они нынче любят баб - полных или поджарых? Андрей, смущаясь, пожимал
плечами. Среди бела дня стало темнеть, дождь хлестал как сумасшедший,
веселый разговор поневоле померк, мало-помалу перешел опять все к тому же,-
к Матере, к ее судьбе и судьбе материнцев. Дарья, как обычно, решительно и
безнадежно махнула рукой:
- А-а, ниче не жалко стало...
- Жалко-то, поди, как не жалко... - начал Афанасий и умолк: сказать
было нечего.
- Ой, старые вы пустохваты, пропаду на вас нету,- отстав от Андрея,
вдруг вцепилась в разговор Клавка, будто ожгли ее.- Нашли над чем плакать! И
плачут, и плачут... Да она вся назьмом провоняла, Матера ваша! Дыхнуть
нечем. Какую радость вы тут нашли?! Кругом давно новая жисть настала, а вы
все, как жуки навозные, за старую хватаетесь, все какую-то сладость в ей
роете. Сами себя только обманываете. Давно пора сковырнуть вашу Матеру и по
Ангаре отправить.
Афанасий же первый и ответил, задумчиво поджав голос, словно и не
Клавке отвечал, а себе, своим сомнениям:
- Хошь по-старому, хошь по-новому, а все без хлеба не прожить.
- Без хлеба, че ли, сидим? Вон свиней уж на чистый хлеб посадили.
- Покеда не сидим...
- Ну горлодерка ты, Клавка! - вступила, опомнившись, Дарья.- Ну
горлодерка! Откуль ты такая и взялась, у нас в Матере таких раньче не было.
- Раньче не было, теперь есть.
- Дак вижу, что есть, не ослепла. Вы как с Петрухой-то вот с
Катерининым не смыкнулись? Ты, Катерина, не слушай, я не тебе говорю. Как
это вы нарозь по сю пору живете? Он такой же. Два сапога - пара.
- Нужон он мне как собаке пятая нога,- дернулась Клавка.
- А ты ему дак прямо сильно нужна,- обиделась, в свою очередь,
Катерина.
- Вам че тут жалеть, об чем плакать? - наступала Дарья. Она одна, как
за председательским местом, сидела за столом и, спрашивая, от обиды и
волнения дергалась головой вперед, точно клевала, синенький выцветший платок
сползал на лоб.- У вас давно уж ноги пляшут: куды кинуться? Вам что Матера,
что холера... Тут не приросли и нигде не прирастете, ниче вам не жалко
будет. Такие уж вы есть... обсевки.
Клавка, взбудоражив стариков, и спорить стала легко, с улыбочкой:
- Тетка Дарья, да это вы такие есть. Сами на ладан дышите и житье по
себе выбираете. По Сеньке шапка. А жисть-то идет... почему вы ниче не
видите? Мне вот уже тошно в вашей занюханной Матере, мне поселок на том
берегу подходит, а Андрейке вашему, он помоложе меня, ему и поселка мало.
Ему город подавай. Так, нет, Андрейка? Скажи, да нешто жалко тебе эту
деревню?
Андрей замялся.
- Говори, говори, не отлынивай,- настаивала Клавка.
- Жалко,- сказал Андрей.
- За что тебе ее жалко-то?
- Я тут восемнадцать лет прожил. Родился тут. Пускай бы стояла.
- Вот ребеночек! Че тебе детство, если ты из него вышел? Вырос ты из
него. Вон какой лоб вымахал! И из Матеры вырос. Заставь-ка тебя здесь
остаться - как же! Это ты говоришь - бабку боишься. Бабку тебе жалко, а не
Матеру.
- Почему...
- Потому. Меня не проведешь. А бабке твоей себя жалко. Ей помоложе-то
не сделаться, она и злится, боится туда, где живым пахнет. Ты не обижайся,
тетка Дарья, я тебе всю правду... Ты тоже не любишь ее прятать.
Но Дарья и не собиралась обижаться.
- Я, девка, и об етим думала,- призналась она, чуть кивая головой,
подтверждая, что да, думала, и налила себе чаю.- Надумь другой раз возьмет,
дак все переберешь. Ну ладно, думаю, пущай я такая... А вы-то какие? Вы-то
пошто так делаете? Эта земля-то рази вам однем принадлежит? Эта земля-то
всем принадлежит - кто до нас был и кто после нас придет. Мы тут в самой
малой доле на ей. Дак пошто ты ее, как туе кобылу, что на семерых братов
пахала... ты, один брат, уздечку накинул и цыгану за рупь двадцать отвел.
Она не твоя. Так и нам Матеру на подержание только дали... чтоб обихаживали
мы ее с пользой и от ее кормились. А вы че с ей сотворили? Вам ее старшие
поручили, чтобы вы жисть прожили и младшим передали. Оне ить с вас спросют.
Старших не боитесь - младшие споосют. Вы детишек-то нашто рожаете? Только
начни этак фуговать - поглянется. Мы-то однова живем, да мы-то кто?
- Человек - царь природы,- подсказал Андрей.
- Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет да загорюет.
И замолчали. Обвальный дождь затихал, и вместе с последними, как
стряхиваемыми, крупными каплями сыпал мелкий, гнилой. Темь, которая перед
тем пала, как под самую ночь, будто опустили сверху над Матерой крышку,
теперь рассосалась,- было серо и размыто, и так же серо и размыто было в
небе, где глаза ничего не различали, кроме водянистой глубины. И серо,
мглисто было в избе, где все они на минуту замерли в молчании, точно камни.
- Фу-ты ну-ты, лапти гнуты,- приговоркой прервал его, очнувшись,
Афанасий и поднялся.- Налей-ка мне, Дарья, чаю. Работенка наша седни уплыла,
будем чаи гонять.
Пришла Тунгуска. Где сходился народ, туда обязательно тащилась и она,
молча пристраивалась, молча вынимала из-за пазухи трубку и, причмокивая,
принималась сосать ее. И не трогай ее, не скажет за весь день ни слова, а
может, и не слышит даже, о чем говорят, находясь в какой-то постоянной
глубокой и сонной задумчивости.
Была она в Матере не своя, но теперь уже и не чужая, потому что
доживала здесь второе лето. Иногда, впрочем, расшевелившись и заговорив,
Тунгуска толковала - не столько словами, сколько жестами, что это ее земля,
что в далекую старину сюда заходили тунгусы,- и так оно, наверно, и было.
Теперь же старуха прикочевала сюда по другой причине. Совхоз собрался
заводить звероферму, но пока завел только заведующего - это и была
Тунгускина дочь, немолодая безмужняя женщина. Прошлой весной, когда они
приехали, домики в новом поселке только еще достраивались, квартир не
хватало, и дочь по чьей-то подсказке привезла свою старуху в Матеру, где
появились свободные избы. Так и застряла здесь Тунгуска. Сядет на берегу и
полными днями сидит, смотрит, уставив глаза куда-то в низовья, на север. С
огородишком она почти не возилась - так, грядку, две, да и те запускала до
крайности - или не умела, или не хотела, не привыкла. Чем она пробавлялась,
никто не знал: дочь к ней наведывалась из поселка не часто. На людях за чай,
когда усаживали, садилась, но не помнили, чтобы хоть раз взяла она корку
хлеба. Но тем не менее жила, не пропадала и как-то чуяла, где собирался
народ, туда сразу и правила.
Сегодня она еще задержалась, обычно появлялась раньше. Тунгуска прошла
в передний угол и устроилась возле Катерининых ног на полу. К этому тоже
привыкли - что усаживалась на пол, и хоть силой подымай ее на сиденье - не
встанет. Старики в Матере тоже, бывало, примащивались курить на пол - вот
она откуда, выходит, привычка эта,- еще от древних тунгусских кровей.
-- Пришла? - отрываясь от чая, спросил Афанасий.
Тунгуска кивнула.
- Вот тоже для чего-то человек живет,- философски заметил Афанасий.- А
живет.
- Она добрая, пускай живет,- с улыбкой сказала Вера Косарева.
- Да пуша-ай. Ты в совхоз-то поедешь? - громко, как глухой, крикнул он
Тунгуске.
Она, не успев сомлеть, опять кивнула - на этот раз уже с трубкой в
зубах.
- Ишь ты, собирается. Ей-то там, однако, совсем не шибко будет.
- Дался вам этот совхоз,- задираясь, опять начала Клавка.- Прямо как
бельмо на глазу. А начни вас завтра сгонять с совхоза - опомнитесь, не то
запоете. До чего капризный народ: че забирают - жалко, хоть самим не надо, в
сто раз лучше дают - дак нет, ерепенятся: то не так, это не растак. Че дают,
то и берите, плохого не дадут. Другие вон радуются. Чем не житье там? Тетка
Дарья ладно,- сделала она отмашку в сторону Дарьи,- с нее спрос, как с
летошного снега. А вам-то че ешо надо?
Вера Носарева, необычно присмиревшая, уставшая и растерянная без
работы, сбитая с толку разговором, тяжело вздохнула:
- Дали б только корову держать... Косить бы дали... А там-то че? Другая
жисть, непривычная, дак привыкнем. Школа там, до десятого классу, говорят,
школа будет. А тут с четырехлеткой мученье ребятишкам. Куда бы я нонче Ирку
отправляла? А там она на месте, со мной. От дому отрывать не надо.- Вера
украдкой и виновато взглянула на Дарью и в мечте, не один раз, наверно,
представленной, захотелось свести...- Этот поселок да в Матеру бы к нам...
- Ишь, чего захотела! Нет уж, я несогласная,- закричала Клавка.- Это
опять посередь Ангары, у дьявола на рогах! Ни сходить никуды, ни съездить...
Как в тюрьме.
- Привыкнем,- откуда-то издалека, со дна, достал свое, своей думой
решенное слово Афанасий.- Конешно, привыкнем. Через год, через два... тут
Клавка в кои-то веки правду обронила... Через год, два доведись перебираться
куда, жалко будет и поселок. Труды положим, дак што... Нас с землей-то
первым делом оне, труды, роднят. Тебе, Клавка, не жалко отсюда уезжать - дак
ты не шибко и упиралась тута. Не подскакивай, не подскакивай,- остановил он
ее,- мы-то знаем. Покеда мать живая была, дак она твоих ребятишек подымала.
А ты по магазинам да по избам-читалкам мышковала...
- У меня грамота...
- Я про твою грамоту ништо не говорю. Я про землю. А там трудов - у-у!
- много трудов, чтоб землю добыть. За што и браться... Найти бы тую
комиссию, што место выбирала, и носом, носом... Эх, мать вашу растак...
- Тебя, может, нарочно туда загнали, чтоб ты больше трудов положил да
покрепче привык.
- Может, и так. Где наша не пропадала. Вырулим. Обтерпимся, исхитримся.
Где поддадимся маленько, где назад воротим свое. Были бы силы да не мешали
бы мужику - он из любой заразы вылезет. Так, нет я Павел, говорю? Што
молчишь?
Павел курил, слушал и все больше, не понимая и ненавидя себя, терялся:
говорила мать - он соглашался с ней, сказал сейчас Афанасий - он и с ним
согласился, не найдя, чем можно возразить. "Что же это такое? - спрашивал
себя Павел.- Своя-то голова где? Есть она? Или песок в ней, который, что ни
скажи, все без разбору впитывает внутрь? И где правда, почему так широко и
далеко ее растянули, что не найти ни начал, ни концов? Ведь должна же быть
какая-то одна, коренная правда? Почему я не могу ее отыскать?" Но
чувствовал, чувствовал он и втайне давно с этим согласился, и если не вынес
для себя в твердое убеждение, которое отметало бы всякие раздумья, то потому
лишь, что мешали этому боль прощания с Матерой да горечь и суета переезда -
чувствовал он, что и в словах Клавки, хоть и не ей, а куда более серьезному
человеку бы их говорить, и в рассуждениях Андрея в тот день, когда они
встретились и сидели за столом, и есть сегодняшняя правда, от которой никуда
не уйти. И молодые понимают ее, видимо, лучше. Что ж, на то они и молодые,
им жить дальше. Хочешь не хочешь, а приходится согласиться с Андреем, что на
своих двоих, да еще в старой Матере, за сегодняшней жизнью не поспеть.
- Привыкнем,- согласился Павел.
- Как думаешь, добьемся, нет хлебушка от той землицы? - спрашивал
Афанасий.
- Должны добиться. Наука пособит. А не добьемся - свиней будем
откармливать или куриц разводить. Счас везде эта... специализация.
- Дак я на своем комбайне што - куриц теребить буду?
Бабы оживились.
- Сделают приспособление - и будешь. Чем плохо?
- Хватит пыль глотать, вон почернел весь от ее.
- Перо полетит, дак очистится.
Дарья, отстав от разговора, никого не слушая и не видя, сосредоточенно,
занятая только этим, потягивала из поднятого в руках блюдечка чай и чему-то,
как обычно, мелко и согласно кивала.
- Што, бабы,- руководил Афанасий,- будем закрывать, однако, собрание.
Засиделись. Дарья уж самовар допивает. Какое примем постановленье?
Переезжать али што?
- Без нас давно приняли.
- Пое-е-хали! Там, на большой земле, и вниманье на нас будет большое.
- Только клопов, тараканов лучше вытряхайте.
-- Как ты, Тунгуска? Будем переезжать?
Тунгуска вынула изо рта трубку, облизнулась, подняла на голос непонятно
где плутавшие глаза и кивнула.
-- Ты, Дарья, тоже собирайся. Без тебя мы не поедем.
Но Дарья не ответила.
- Глите-ка,- спохватилась Вера Косарева.- Дожь-то вроде присмирел.
Засиделись, засиделись... Воду толочь - дак вода и будет. Я побежала.
Крикнешь, Павел, ежли че. Но седни уж не кричи. Седни я побежала.
...Дождь, дождь... Но виделся уже и конец ему, промежутки от дождя до
дождя стали больше, подул верховик и с натугой, с раскачкой сдвинул наконец
влипшую в небо мокрень, потянул ее на север. Только проходящие, проплывающие
мимо тучи продолжали сбрасывать оставшуюся воду. Притихнет и снова
забарабанит, падет без солнца слабый, скошенный многими углами солнечный
свет и опять померкнет, опять забрызгало - словно из какой-то вредности и
нарочитости, чтобы не подавать людям надежды, что когда-нибудь окончательно
прояснит. И люди, не умея покориться, злились, кляли и небо, и себя - за то,
что живут под этим небом.
В один из таких не устоявшихся еще шатких дней - не дождь и не ведро,
не работа и не отдых - приехал Воронцов и с ним представитель из района,
отвечающий за очистку земель, которые уйдут под воды. Народ собрали в
грязном и сыром помещении с наполовину выбитыми стеклами, бывшей колхозной
конторе. Не было лавок, люди стояли на ногах; не было и стола, за который бы
устроились приехавшие,- они, дав между собой и народом небольшую, в три шага
дистанцию, встали возле дальней стены. Первым говорил Воронцов - о том, что
надо закончить сенокос по-ударному, и люди, не перебивая, смотрели на него
так, будто он свалился с луны: что он говорит - дождь за окном. И верно,
опять сорвался дождь, застучал по крыше, но Воронцов, завернутый в
плащ-палатку, ничего не видел и не слышал, он толковал свое. Представитель
из района, по фамилии Песенный, простоватый с виду мужчина с загорелым и
скуластым, как у всех местных, лицом и голубыми детскими глазами, который,
быть может, и правда хорошо пел, если имел такую фамилию,- представитель
этот, когда Воронцов назвал его, начал издалека, чуть ли не с текущего
момента, но сумел увидеть, как люди переминаются и жмутся друг к другу от
сырости и сквозняка, и оборвал себя. Помолчав, он сказал то, зачем и прибыл
сюда: надо, чтобы к половине сентября Матера была полностью очищена от
всего, что на ней стоит и растет. Двадцатого числа государственная комиссия
поедет принимать ложе водохранилища.
- Дак мы картошку не успеем выкопать. Хлеб не успеют убрать. Вот так же
задурит погода...- несмело возразил кто-то.
Песенный развел руками; отвечал Воронцов:
- С личной картошкой как хотите, хоть совсем ее не копайте. А совхозный
урожай мы обязаны убрать. И мы его уберем. В крайнем случае из города силы
подъедут.
Но люди, изнуренные ненастьем, и объявленный крайний срок гибели родной
деревни приняли как-то спокойно и просто. Не верилось, когда все кругом на
десять рядов пропиталось водой, что когда-нибудь что-нибудь может
загореться. И середина сентября казалась сейчас столь же далекой, как
середина декабря. Только взяли на память, что нынче придется приниматься за
картошку пораньше. И мысли пошли в сторону: выкопать - ладно, выкопается, а
как ее перевозить, куда ссыпать? Где взять столько мешков? По семьдесят, по
восемьдесят кулей накапывали, а в это лето посажено было не меньше, чем
всегда. Тут чего проще: при нужде можно весь урожай одним мешком перетаскать
- огород под боком, а туда, наверно, понадобится снаряжать все одним разом.
Вот и задумаешься: что делать, как быть?
Из собрания запомнили еще, что Воронцов, наказывая не ждать последнего
дня и постепенно сжигать все, что находится без крайней надобности, поставил
материнцам в пример Петруху, который первым очистил свою территорию. Петруху
сроду никто не хвалил, и он завзглядывал кругом себя героем, а после
собрания подошел к Воронцову и Песенному для беседы. О чем была меж ними
беседа, никто не слышал, но видели, как Воронцов, показывая на Петруху,
что-то долго говорил Песенному, а тот вынул из кармана блокнот и стал
чиркать в нем карандашиком.
И только по избам, отогревшись, загалдели люди: середина сентября.
Полтора месяца осталось. Всего-навсего полтора месяца - не заметишь, как и
пролетят. И непривычно, жутко было представлять, что дальше дни пойдут уже
без Матеры-деревни. Будут всходить они, как всегда, и протягиваться над
островом, но уже пустынным и прибранным, откуда не поднимутся в небо
человечьи глаза: где там, рано или поздно, красное солнышко? Походят,
походят осенние дни над Матерой-островом, приглядываясь, что случилось,
отчего не несет с острова дымом и не звучат голоса, пока в свой час один из
дней, на какой это падет, не сможет отыскать на своем извечном месте и
острова.
И дальше дни пойдут без запинки мимо, все мимо и мимо.

14

Андрей от нечего делать тоже сходил на это собрание, тоже постоял,
привалившись к дверному косяку, отдельно от всех, как человек посторонний,
послушал, что привезло начальство. И, вернувшись домой, подробно передал
Дарье, о чем говорилось. Она присела на лавку у стены, опустив руки,
помолчала и, словно что-то надумав, что-то решив про себя, только и сказала:
- Но-но.
Андрея удивил ее голос: на одном этом звуке он сумел вознестись до
какой-то праведной торжественности, точно никто не верил, не знал, одна она
верила и знала, и правда осталась за ней. Но было в нем, кроме того, что-то
еще, что-то похожее на предостережение: мол, посмотрим, как оно будет.
Будет-то будет, никуда от этого не деться, но как будет?! Не спечется ли,
глядя на Матеру, вся остальная земля? Но уже тише, покорней Дарья добавила:
- Вот так бы и человеку. Сказали бы, когда помирать - ну и знал бы,
готовился... без пути не суетился бы...
- Что ты, бабушка! Зачем же знать?!
Она не ответила - может, согласилась с ним, что ни к чему это человеку,
и очурала себя, да не захотела повиниться. Но Андрей уже загорелся, взялся
представлять.
- А забавно было бы. Ты, значит, живой, здоровый, а в паспорте у тебя,
где год рождения, год смерти рядышком стоит.- Он натянуто, чужим смехом
рассмеялся.- Подаешь ты паспорт, а у тебя не фамилию смотрят, а смотрят,
сколько тебе осталось жить. Это же самый главный интерес. Кому мало - иди
дальше, не работник; кому много - давай сюда. А захотел, к примеру,
жениться: покажь, покажь, голубушка, какая ты долголетняя. И она тоже первым
делом: ну-ка... Нет, бабушка,- поморщившись, задумчиво отказался он,- не
надо. Пускай будет как есть.
Пришел Павел, и Дарья поднялась, хотела собирать на стол, но Павел
сказал, что сходит прежде на луг посмотреть копны. Под вечер разъяснило
больше и шире, чем в прежние короткие обещания, небо поднялось, облака в нем
висели горами и начинали с краев белеть. Ветер дул холодный - первый знак
того, что идет наконец погода. Временами соскальзывало и солнце - то упадет
полосой за реку, то проплывет, вынырнув, возле деревни, по поскотине, по
полям и по лугу и снесется куда-то вниз. Заголосили присмиревшие в последние
дни петухи - тоже чуют, что к чему, не просто так; слышнее и чище стали
звуки: за версту брякнет, а отдается как над ухом. И Павел поверил: все,
конец ненастью, а поверив, решил проверить, что успел натворить дождь,- не
почернела ли гребь, не загорелись ли копны, чтобы знать, с чего опять
начинать работу.
Когда он, сменив дождевик на телогрейку, ушел, Андрей, смущенный и
подталкиваемый какими-то своими мыслями, вспомнил разговор, который
состоялся в день его приезда:
- Бабушка, ты сказала тогда, что тебе жалко человека. Всех жалко.
Помнишь, ты говорила?
- Помню. Как не помню.
- Почему тебе его жалко?
Дарья убиралась по дому; потеряв ковшик и кружась по избе, высматривая
его, она не приняла для серьезного ответа эти слова:
- По то и жалко, что жалко. Как его, христовенького, не пожалеть? Не
чужой, поди-ка.
- Да почему жалко-то, я спрашиваю. Ты говорила: маленький он, человек.
Слабый, значит, бессильный, или что?
- Ну, приспичило. Сказала и сказала. Я, может, так сказала, непроста.
- Не так ты сказала.
Дарья отыскала наконец ковшик, начерпала в сенях из ушата воды и
вернулась в куть. И дальше, не сумев отказаться от разговора, говорила
оттуда, успевая в то же время топтаться, справлять подоспевшие дела.
- А че, не маленький, ли че ли? - спросила она, втягивая себя
постепенно в разговор, подбираясь к тому, что могла сказать.- Не прибыл,
поди-ка. Какой был, такой и есть. Был о двух руках-ногах, боле не приросло.
А жисть раскипяти-и-ил... страшно поглядеть, какую он ее раскипятил. Ну дак
сам старался, никто его не подталкивал. Он думает, он хозяин над ей, а он
давно-о-о уж не хозяин. Давно из рук ее упустил. Она над им верх взяла, она
с его требует, че хочет, погоном его погоняет. Он только успевай
поворачивайся. Ему бы попридержать ее, помешкать, оглядеться округ себя, че
ишо осталось, а че уж ветром унесло... Не-ет, он тошней того - ну понужать,
ну понужать! Дак ить он этак надсадится, надолго его не хватит. Надсадился
уж - че там!..
- Как это он, интересно, надсадится, если есть машины? Все на машинах.
Знала бы ты, бабушка, каких машин понастроили. Тебе и в голову не придет,
что они могут делать. Теперь уж не осталось такого производства, чтоб самому
упираться. Где ему надсадиться-то? Не то ты, бабушка, говоришь. Ты мне про
старого человека говоришь, который сто лет назад жил.
Дарья недовольно обернулась от чугунков и выпрямилась.
- Я знаю, про че говорю. Сто годов... Сто-то годов назадь в спокое,
поди-ка, жили. Я про тебя, про вас толкую тебе, как щас. Пуп вы щас не
надрываете - че говорить! Его-то вы берегете. А что душу свою потратили -
вам и дела нету. Ты хошь слыхал, что у его, у человека-то, душа есть?
Андрей улыбнулся:
- Есть, говорят, такая.
- Не надсмехайся, есть. Это вы приучили себя, что ежли видом не видать,
ежли пощупать нельзя, дак и нету. В ком душа, в том и бог, парень. И хошь не
верь - изневерься ты, а он в тебе же и есть. Не в небе. А боле того -
человека в тебе держит. Чтоб человеком ты родился и человеком остался.
Благость в себе имел. А кто душу вытравил, тот не человек, не-е-ет! На че
угодно такой пойдет, не оглянется. Ну дак без ее-то легче. Налегке
устремились. Че хочу, то и ворочу. Никто в тебе не заноет, не заболит. Не
спросит никто. Ты говоришь, машины. Машины на вас работают. Но-но. Давно уж
не оне на вас, а вы на их работаете - не вижу я, ли че ли! А на их мно-ого
чего надо! Это не конь, что овса кинул да на выпас пустил. Оне с вас все
жилы вытянут, а землю изнахратят, оне на это мастаки. Вон как скоро бегают
да много загребают. Вам и дивля, то и подавай. Вы за имя и тянитесь. Оне от
вас - вы за имя вдогоню. Догонили, не догонили те машины, другие сотворили.
Эти, новые, ишо похлеще. Вам тошней того припускать надо, чтоб не отстать.
Уж не до себя, не до человека... себя вы и вовсе скоро растеряете по дороге.
Че, чтоб быстро нестись, оставите, остальное не надо. И в ранешное время
робили, не сидели руки в укладку, дак ить робили в спокое, а не так. Щас все
бегом. И на работу, и за стол - никуды время нету. Это че на белом свете
деется! Ребятенка и того бегом рожают. А он, ребятенок, не успел родиться,
ишо на ноги не встал, одного слова не сказал, а уж запыхался. Куды, на што
он такой годится? - Дарья прервалась ненадолго, выставляя на пол, рядом с
ведром, варенную с утра для коровы картошку, и продолжала: - Я на отца
твоего погляжу. Рази он до моих годов дотянет? Дак это ишо Матера, тут
потишей, поди-ка, будет. В городе-то я была, посмотрела - ой, сколь их
бежит! Как муравьев, как мошки! Взадь-вперед, взадь-вперед! Прямо
непроворот. Друг дружку толкают, обгоняют... Упаси бог! Глядишь и думаешь:
это где же земли набраться, чтоб их всех опосле захоронить? Никакой земли не
хватит. И ты туды же: галопом в одну сторону поскакал, огляделся, не
огляделся - в другу-у-ю. Чтоб, не дай господь, не остановиться на месте.
Громоток там, ишь, поболе, громоток тебе понадобился.
- Да что ты говоришь-то, бабушка? Галопом, бегом... Живем, и все. Кто
как может, так и живет.- Андрей стоял в дверях в куть и, удивленный словами
Дарьи, смотрел на нее внимательно и насмешливо.
- Живете... Живете как хочете, ежли глянется. Я вам не указ. Мы свое
отстрадовали. Только и ты, и ты, Андрюшка, помянешь опосле меня, как из сил
выбьешься. Куды, скажешь, торопился, че сумел сделать? А то и сумел, что
жару-пару подбавлял округ себя. Живите... Она, жисть ваша, ишь какие подати
берет: Матеру ей подавай, оголодала она. Однуе бы только Матеру?! Схапает,
помырчит-пофырчит и ишо сильней того затребует. Опеть давай. А куда деться:
будете давать. Иначе вам пропаловка. Вы ее из вожжей отпустили, теперь ее не
остановишь. Пеняйте на себя.
- Я тебя не про то, бабушка, спрашиваю. Я спрашиваю, почему тебе
человека жалко?
- А я тебе про че говорю? - обиженно споткнулась она и вздохнула,
опомнясь, что и верно, говорит, однако, не о том. Лучше бы ни о чем и не
говорить - что толку! Вон объявили, когда уберут, в пепел обратят Матеру, а
она, вместо того чтобы поднять и вознести до срока и действа этого душу,
берется рассуждать из пустого в порожнее. Ох, сколько же проходит за этим
занятием времени! Немых считают несчастными, что говорить они не могут, а уж
так ли они несчастливы, думая долгими, неперебиваемыми думами? Но Андрей
ждал, ему для чего-то нужен был ее ответ, и она, снова вздохнув, отыскивая,
с чего начать, потерянным до полного смирения голосом неуверенно скачала: -
Ну и жалко... Ить только посмотреть на его...
Намешивая мутовкой в ведре пойло, то понижая, стискивая за работой
голос, то освобожденно поднимая его, как бы размахивая им, перескакивая с
одного на другое, Дарья стала объяснять:
- Путаник он несусветный, человек твой. Других путает - ладно, с его
спросится. Дак ить он и себя до того запутал, не видит, где право, где лево.
Как нарошно, все наоборот творит. Че не хочет, то и делает. Это не я одна
вижу, что мне такие глаза дадены, и ты, ежли посмотришь, увидишь.
Приглядись, приглядись хорошенько. Ему смеяться совсем неохота, ему, может,
плакать надо, а он смеется, смеется... И говорит... он хитрит на каждом
слове, он не то хотел сказать. А че сказать просится - не скажет, промолчит.
Надо идти в одну сторону - он поворотит в другую. Опосле опомнится - стыдно
станет, обозлится на себя... а раз на себя, то и на весь белый свет. И
тошней того поперек, хужей того наперекосяк. Это ж надо так не держать себя,
под угон пустить. Живешь-то всего ничего, пошто бы ладом не прожить, не
подумать, какая об тебе останется память. А память, она все-о помнит, все
держит, ни одной крупинки не обронит. Опосле хошь кажин день на могилке
цветочки сади, все одно колюча попрет. Э-эх! - Дарья опять вздохнула, и к
Андрею вдруг - чего прежде и в голову не пришло - явилось недоверие к этому
вздоху: вышел он сам собой, чтобы облегчить накопившуюся тяжесть, или
бабушка умело подыграла им в лад словам? Но он не стал перебивать бабушку -
она продолжала: - Ты думаешь, не надоело тому же Катерининому Петрухе
дурачком прикидываться. Он ить парень не глупой, не-ет. Он знает про себя,
что кочевряжится, а не живет. Но уж не оборотится, из вредности не захочет.
Направил свою дорожку и пойде-от, пойдет по ей до конца. Да че Петруха! С
Петрухи и спросу нету. На сурьезного человека посмотреть, который навроде по
уму живет, а и он боле того приставляется. И он не сам собой на люди
выходит, кого-то другого из себя корчит. Чем он, другой-то, лутше тебя?
Пошто ты, какой есть, не живешь, а все норовишь притвориться? У сватьи
Татьяны невестка была за Иваном - Гутька, форсистая такая девка, ишо
косоглазой любила прикидываться, дерьгала свои глазенки почем зря. Дак она,
Гутька, молоток за уборну прятала. Ежли кто увидит, что она туды идет, она
щас молоток в руки и давай стукать. Навроде как по то и шла, чтоб доску
прибить. А спросить ее: кто туды не ходит? Каку холеру стыдиться?! От так и
все мы. По прибитому бьем. Человек сотворен, жить пущен, а ему, ишь, другого
себя подавай. Запутался, ох, запутался, вконец заигрался.
- И ты, бабушка, тоже?
- А че я? И я себя другой раз ловлю, что не то делаю. Ить ниче не стоит
сделать как надо - нет, ноги не туды идут, руки не то берут. Будто как по
дьяволу наущенью. Ежли это он, много он успел натворить, покуль народ
хлестался, есть бог али нету. Прости, господь милостивый, прости меня
грешную,- перекрестилась она в дверь, мимо Андрея.- Я че?! Не мне людей
судить. Да ить глаза ишо видят, уши слышат. Я тебе боле того скажу,
Андрюшка, а ты запомни. Думаешь, люди не понимают, что не надо Матеру
топить? Понимают оне. А все ж таки топют.
-- Значит, нельзя по-другому. Необходимость такая.
Дарья выпрямилась от печки, в которую она собралась накладывать на утро
дрова, и повернулась к Андрею:
- А нельзя, дак вы возьмите и срежьте Матеру - ежли вы все можете, ежли
вы всяких машин понаделали... Срежьте ее и отведите, где земля стоит,
поставьте рядышком. Господь, когда землю спускал, он ни одной сажени никому
лишной не дал. А вам она лишняя стала. Отведите, и пущай будет. Вам сгодится
и внукам вашим послужит. Оне вам спасибо скажут.
- Нету, бабушка, таких машин. Таких не придумали.
- Думали - дак придумали бы.
И, то ли убоявшись, то ли застыдившись своих слов, примирительно и
устало заговорила, занося деревянной лопатой в русскую печь поленья:
- Ты говоришь: пошто жалко его? А как не жалко? Ежли на гонор не
смотреть - родился ребятенком и во всю жисть ребятенком же и остался. И
бесится, дурит - ребятенок, и плачет - ребятенок. Я завсегда вижу, кто
втихомолку плачет. Ни власти над собой, ни холеры. А сколь на его всякого
направлено - страшно смотреть. И вот он мечется, мечется... По-пустому же
боле того и мечется. Где можно шагом продти, он бежит. А ишо смерть... Как
он ее, христовенький, боится! За одно за это его надо пожалеть. Никто в
свете так не боится смерти, как он. Хужей всякого зайца. А от страху чего не
наделаешь...
Она отставила в угол лопату и обернулась. За Андреевой спиной, в
прихожей, где одно окно выходило на Ангару, стояло солнце. Лицо ее
просветлело.
- Господи! - виновато прошептала Дарья.- А я про смерть... Не иначе как
с ума, старая, сошла. Не иначе.
Это было настоящее, хоть и бледное, усталое, с великим трудом
продравшееся сквозь тучи солнце. Пред самым закатом оно выкатилось на узкую
чистую полоску и, объявляя свое освобождение, зазвенело, засияло, обещая,
что только зайдет за ночь, а утром выйдет и примется за работу.
Дурноматом кричали петухи; кричала скотина; где-то гулко и торжественно
бухало железо.

15

И оно, солнце, не обмануло. На другой день оно вышло с восходом: в небе
еще держались тучи, подсохшие и сморенные, словно надоевшие сами себе, но
восточная, утренняя сторона была чистой, и солнце выкатилось без помех.
И пока оно поднималось, тучи, утоньшаясь и сквозя, все отступали от
него и отступали - и наконец, как льдины, растаяли совсем. К обеду небо
полностью освободилось, засияло и в радостном нетерпении как бы заходило,
закружилось над землей, снизывая, волна за волной, щедрую, чистую краску. В
него ринулись птицы и заиграли, заносились, разминая крылья, вскрикивая в
глубоких нырках от счастья, что им дано летать. Мокрая земля задымила белым,
молочным парком, который тут же сгорал под солнцем; готовились кваситься
лужи, в них со вниманием заглядывали, словно решаясь наконец научиться
плавать, курицы, в них бродили поросята, но без жары не ложились, только
примеривались, где можно будет позже лечь. Зелень в лесах и травах налилась
и загустела до темноты, но и после недельного ненастья нигде не тронулся
желтизной лист - лето, значит, будет долгим. Ровные в дождь, резкие и ясные
запахи слились в одно могучее испарение, в котором, как в реке, нельзя было
разобрать, чья из какого ручья вода.
После обеда, едва обыгало, Павел повел людей разбрасывать копны, сушить
пролитое сено. Дождь работы наделал. Но хуже всего - он смыл и унес азарт и
запал, с каким до того шел сенокос. Положим, переделывать, возвращать свою
работу всегда приятного мало, но люди чувствовали, что и наперед, когда они
наверстают ее и пойдут дальше, что и тогда они станут работать только ради
работы, а не ради удовольствия. А ведь поначалу именно удовольствие и было.
Теперь же хотелось скорей конца: поставить зароды - и домой. Хватит жить
нараскоряку: одна нога здесь, другая там, пора прибиваться к твердому
берегу. Сейчас, при солнце, середина сентября казалась совсем близкой -
рукой подать, а еще столько всяких забот, столько хлопот по переезду - где
взять силы и время? Корова вон ходит на выпасе, не чуя беды,- как быть с
ней? И кто решался косить, теперь задумался: когда? Не лучше ли сразу корову
под топор, а заботу под забор?
- Можно было и в дождь ходить помаленьку, махать,- попрекала себя и
мужиков своих Дарья, недовольно охая, растравляясь тем, что вот задним умом
только и умны.
- Можно было,- пряча глаза и нервничая, отвечал Павел.- Только он не
сказывался, когда кончится. Можно было и сгноить.
Один Андрей не унывал:
- Накосим, бабушка, чего ты шебутишься? Погода установится - накосим. Я
хоть завтра могу начать. Копен тридцать в неделю поставим. Хватит вам на
корову тридцать копен?
- Ежели картофка уродится, пошто не хватит.
- Уродится - куда она денется? Веселел от этой уверенности и Павел:
- Может, с кем сговорюсь впристяжку. В три пары рук оно поскорей. В
колхозе теперь допоздна работы не будет.- Он еще по привычке говорил
"колхоз".
- А поправитесь, могилки, Павел, могилки,- не забывала Дарья.- Покуль
могилки не перенесете, я вас с Матеры не пущу. А нет - дак я сама тут
остануся.
Андрей удивленно и недоверчиво переводил глаза с отца на бабушку и с
бабушки на отца: неужто правда, как они говорят, придется отрывать могилы и
выгребать то, что осталось от покойников, похороненных давным-давно, когда
еще и его не было на свете? Зачем? Предстоящая эта работа и пугала, казалась
жуткой, недоброй, но и подманивала, дразнила: интересно. Интересно, во что
превращается человек, пролежавший в земле тридцать, сорок, пятьдесят лет, и
не просто какой-нибудь посторонний человек, а из твоего рода-племени - дядя
или прадед? Вызовет ли это в нем какие-то особенные, не испытанные еще
чувства? Едва ли потом, во всю остальную жизнь, доведется увидеть что-нибудь
похожее. Это особый случай, особая история, которые наверняка не повторятся.
Но известно же, что человек только предполагает... Назавтра вдруг как
снег на голову: Павла срочно, с посыльным, вызвали в поселок. Кто-то из его
рабочих-ремонтников по пьянке или по недосмотру, по головотяпству сунул руку
в станок и остался на всю жизнь инвалидом.
Павел лишь на минутку забежал домой, приехал с луга, куда за ним гоняли
машину, едва переоделся и без чаю, без сборов кинулся на берег. Дарья вслед
ему крикнула:
- Когда назад-то ждать?
- Не знаю,- на бегу отмахнулся он.
Андрей в тот день косил. Пинигинский покос вот уже лет пятнадцать
оставался на одном месте - на правом дальнем берегу за полями и кочкарником,
и Андрей, не забыв дорогу к нему, ушел туда утром один, прихватив с собой
узелок с едой, если лень будет возвращаться в обед, котелок и брусок, чтобы
острить литовку. Он унес две литовки: вечером, пораньше, прямо с луга туда
должен был завернуть отец. Но он не пришел, и о том, что случилось, Андрей
узнал, воротясь в потемках домой. Выслушав бабушку, он уверенно сказал - так
что поверила и она:
- Утром приплывет.
Однако утром Павел не приплыл. Дарья подождала, подождала и, когда
солнце пошло под уклон, не вытерпев, побежала к Андрею на покос. В
кочкарнике после дождей стояла вода; если обходить - заворачивать далеко,
долго, и она не от ума поперла прямо, выше колен провалилась в холодную
вязкую трясину, едва ползком выбралась, грязная и мокрая, как ведьма, и
вынуждена была все-таки повернуть. Она совсем выбилась из сил, пока
добралась до места,- Андрея там не было. Литовка, воткнутая в землю, торчала
возле шалагана - старого, наполовину разоренного, крытого корьем еще в
первый год, как получили этот надел, но до последнего времени все еще
служившего и пригождавшегося в минуты отдыха или внезапного дождя. Другая
литовка, поддетая за ветку, висела на березе, одной из трех, под которыми
притаился шалаган. Он был в тени, и Дарья отошла от него, присела под
солнышко на поваленную траву - ноги никак не отогревались. Разувшись и
растирая их руками, она осмотрелась.
Андрей не столько накосил, сколько напутал,- видно, отвык от
крестьянской работы, позабыл, растерял, что умел. Валки топорщились высоко,
сквозь них торчала уцелевшая, ростовая трава, прокосы были волнистыми.
Приглядевшись, Дарья заметила, что валки успели подвялиться и обсохнуть,-
значит, сегодня Андрей не косил совсем или прошел всего два-три коротких
гона. И горькое, неприятное чувство сжало Дарью: нет, ничего из загаданного
не будет. Ничего не будет, не стоит и надеяться. Все впустую.
Она крикнула Андрея, потом еще и еще, пока не дождалась ответа. Андрей
выбрался из тальниковых кустов выше по берегу в полверсте от нее, в руках у
него был котелок, в котором что-то ярко краснело. И она догадалась: он
.собирал кислицу. Господи, совсем еще ребенок! Не досмотри - он в кусты, где
ягодка... И как он один живет?!
Но она для того и пришла, чтобы снять его с работы. За день она
извелась и, когда услышала, что снаряжают лодку в поселок за продуктами, тут
же подхватилась: пусть сплавает Андрей, пусть разузнает, что там с отцом.
Бог с ней, с косьбой: приедет Павел - накосят, не приедет - один Андрей так
и этак не справится. Но она уже мало сомневалась, что на этом нынешний
сенокос и закончится. Что нынешний! Никакого другого для нее и подавно не
будет. Одна работа в жизни навеки закрыта. Да и одна ли?.. Не слушая Андрея,
который хотел спрятать литовки в кусты, надеясь вернуться и продолжать
косьбу, она решительно взяла одну литовку себе на плечо, вторую сунула ему и
зашагала обратно, думая, что надо бы потом как-нибудь выбрать время и прийти
сюда проститься. Вся земля на Матере своя, но эта из своих своя: сколько
здесь положено трудов, сколько пролито пота, но сколько и снято, испытано
радости!
Андрей уплыл и пропал. Чтобы занять за ожиданием время, Дарья
копошилась в огороде. После дождей густо полезла трава, размыло картошку, и
ботва тонкой дудкой дуром поперла вверх. Пришлось огребать ее заново. После
недельного полива, а затем тепла хорошо, богато пошли огурцы - снимай хоть
два раза на дню. И Дарья снимала, жалея, что некому их есть, вспоминая то
время, когда свои ребята, потом внуки караулили чуть не каждый огурец,
размечая еще на гряде: этот твой, а этот мой... Давно ли, кажется, такое
было? Вчера. Она сказала Андрею в тот разговор, когда он пристал с
расспросами, что человек живет на свете всего ничего. И верно, не успеешь
оглянуться - жизнь прошла. Только на три дня и можно рассчитывать: вчера,
сегодня, ну и, может, немножко завтра.
В огород теперь, когда появилось что клепать, лезли курицы, опускались
и небесные птички, и Дарья решила поставить пугало. Она натянула на
крестовину палок свой старый и драный малахай; не найдя подходящей шапки,
повязала сверху грязную тряпицу и, отойдя, не видя за ботвой воткнутого
черенка, вдруг поразилась: да ведь это она и есть. Она, она... Встать вот
так посреди гряды, раскинуть руки - и ни одна курица не подойдет, ни одна
птичка не подлетит. А она еще искала, спрашивала себя, на кого она похожа...
Господи милостивый! Или так надо?
Только на четвертый день вернулся Андрей и рассказал, что отца таскают
по комиссиям, история эта скоро не кончится... решили не косить. Но Дарья
думала уже не о сене, она перепугалась:
- Дак он-то при чем? Его там не было. Он тут был. Пошто его-то таскают?
- За технику безопасности он отвечает.
- Ну и че ему тепери будет... за эту опасность? - За век свой Дарья
давно убедилась, что человеческий спрос часто неразборчив: на кого пальцем
покажут, того и метит, того и судит, и что человеческая вина нередко
прилипает без глаз.
- Ничего не будет,- как всегда, уверенно отвечал Андрей.- Потаскают,
нервы потреплют, ну, выговор на всякий пожарный случай дадут. И все.
- Это он тебе говорел?
- Он говорил. Я и сам знаю. Известная штука.
Он собрался уезжать, но взялся для чего-то оправдываться перед Дарьей,
объясняя, что дальше тянуть нельзя, что скоро попрет из армии солдат и на
работу устроиться будет непросто. Но Дарья и не удерживала, не напомнив ни о
сене, ни о могилах,- все шло так, как она и догадывалась. В этот вечер
приплелся Богодул и долго сидел, скырныкая на Андрея зубами, который тоже, в
свою очередь, косился на старика задиристым, недобрым взглядом. В молчании
пили втроем чай, но Андрей скоро выскочил из-за стола и, насвистывая,
напевая что-то, стал укладывать чемоданчик, не скрывая радости, что уезжает.
Раньше Дарья не стерпела бы свиста: "Ты кого высвистываешь, кого из
избы высвистываешь, такой-сякой?" Теперь ей было все равно. Всех высвистят,
никого не оставят. Богодул крякал, возмущаясь, почему она молчит, терпит, но
она сделала вид, что не слышит, не понимает и этих знаков.
После, когда рассерженный, недовольный ею Богодул ушел, Андрей с
возмущением спросил:
- Че ты его, бабушка, принимаешь? Че не гонишь от себя, зверюгу такую?
Это же не человек, это зверь.
- Пошто не человек? - с какой-то непосильной душевной нехотью,
усталостью и скорбью отвечала она.- Он человек.
- Какой он человек? Ты погляди хоть раз внимательно на него, на
образину. Страх берет. Он и говорить-то, как люди говорят, не может,
по-звериному рычит да бурчит.
- А я его и без лишнего разговора понимаю. И он меня понимает. Я ить,
Андрюшка, потеперь ищу, кто ровня мне, не как-нить. Сама-то я лутше, ли че
ли? Никого уж не остается, кто бы меня понимал.
Утром, в отъезд, Дарью обидело, что Андрей стал прощаться с нею в избе,
не хотел, чтобы она проводила его до лодки. Она все-таки проводила. Но
сильней и больней этой обиды была другая, которую и назвать нельзя, потому
что нет для нее подходящего слова. Ею можно только мучиться, как мучаются
тоской или хворью, когда непонятно, что и где болит. Она помнила хорошо: со
вчера, как приехал, и по сегодня, как уезжать, Андрей не выходил никуда
дальше своего двора. Не прошелся по Матере, не погоревал тайком, что больше
ее никогда не увидит, не подвинул душу... ну, есть же все-таки, к чему ее в
последний раз на этой земле, где он родился и поднялся, подвинуть, а взял в
руки чемоданчик, спустился ближней дорогой к берегу и завел мотор.
Прощай и ты, Андрей. Прощай. Не дай господь, чтобы жизнь твоя
показалась тебе легкой.
А скоро фыркнул без всяких объяснений куда-то опять Петруха, и Катерина
снова перебралась к Дарье.
Это уже шел август, месяц-поспень. Поспевало в огородах, в полях, в
лесах, поспела, по-бабьи вызрев и отгуляв, Ангара, в которой после ильина
дня отрезно, как после свадьбы, никто не купался, потому что "олень в воду
написал", нельзя. Отцветало небо и солнечными днями смотрелось тяжелым и
мякотным. Погода больше не дурила, стояла ветреная, сухая, но уже
чувствовалось, чувствовалось время: ночами было студено; ярко, блескуче
горели звезды и часто срывались, догорая на лету, прочеркивая небо
прощальными огненными полосами, при виде которых что-то тревожно обрывалось
и в душе, сиротя и сжимая ее; по утрам, после особенно звонких ночей,
наплывали серые мутные туманы, держась покуда возле берегов, не застилая
всей сплошью Ангару, а дни, ставшие заметно короче, но не потерявшие силы и
мощи, казались до предела полными и тугими, вобравшими в себя больше, чем
они могут свезти.
И верно, случался словно бы затор, и раза два или три, и все под вечер
где-то далеко, за небом, недовольно грозил гром, но только грозил, до дождя
и буйства не доходило.
Отстрадовали покосчики: на лугу стояло восемь больших зародов. Для себя
из всей деревни насмелились косить два дома: Кошкины или Коткины, которые
своей большой дружной семьей намахали на корову шутя, и Дарьина соседка Вера
Носарева. Но эта на диво отчаянная баба: и в дождь, и в ночь, не разгибая
спины, тюкала и тюкала одна, без всякой пособи, и натюкала на корову. Почти
одна же, потому что от девчонки на двенадцатом году пользы немного, сгребла,
стаскала в копны, а сметать под запал, из уважения и удивления к Вериному
упрямству, помог
после общей работы народ. И хоть после метки выставила баба угощенье,
ясно было, что не ради него колхозом навалились на Верино сенцо люди, а ради
нее, решившейся наперекор всему и в укор им не попуститься коровой, отстоять
свое право на собственное, непокупное молоко для ребятишек. И, глядя на нее,
думала с упреком себе Дарья, что надо бы и ей попробовать взяться за
литовку. А там бы видно было... тогда, глядишь, пожил бы еще Андрей и не
стряслась эта оказия с Павлом. Оттого, может, и стряслась, что долго
раздумывали, ждали у моря погоду. Почему бы в дождь не косить! Ни холеры
зеленой траве от него не будет. Спохватилась - нечего сказать. Эх, да что
толку, что прожила она восемьдесят и больше годов, если и этого не взяла в
разум?!
Вовсю подкапывали молодую картошку и жарили ее с маслятами, которых
высыпало видимо-невидимо,- будто за все оставшиеся наперед, оборванные годы.
Где стоит хоть одна сосенка или елочка,- обязательно густой россыпью
маслята. Подошли и грузди, осиновые и березовые, но эти всходили степенно и
разборчиво, без спешки и колготни. Вообще это последнее лето, словно зная,
что оно последнее, было урожайным на ягоды и грибы. Вслед за кислицей
поспела по берегам черная смородина; Дарья раз на обыденок сходила и в
момент нахлестала большое ведро, едва дотащила его до кладбища и оставила
там у родных могилок в кустах. Под вечер только вторым ходом вместе с
Катериной перенесла домой. Бабы и ребятишки зачастили на Подмогу - там росла
голубица, и тоже было вдоволь. В последние годы стали брать "воронью ягоду"
- жимолость, которая, по слухам, хорошо помогает от большого давления, но
старые люди, не зная, что такое давление, с чем его едят, не ели по-прежнему
эту горьковатую, и верно, как для ворон водившуюся, дикую ягоду, любящую
вырубки и хлам. И уж одно то, что она подделывалась под голубицу и не имела
своего чистого вида, не говорило в пользу этой жимолости. Вот и имя чудное,
какое-то нечистое и жидкое, раньше на Матере его не знали. Другое дело -
смородина, черемуха или брусника, их никак невозможно заподозрить в
худородстве. Брусники, правда, на островах, на том и другом, было мало,
только в рот покидать, за ней плавали за реку, на старые гари. Но для
брусники еще и время не вышло. Вот уж кто всем ягодам ягода, ни вороньей, ни
медвежьей никто никогда не осмеливался ее называть.
Дарья ждала Соню, невестку, думала, что, быть может, Соня приплывет и
побегает, посбирает, а она, Дарья, потом бы сварила. Нет, Соня и глаз не
казала - так, видно, поглянулось ей на новом месте. Не все же время она
работает... Ну да как хотят, им жить. Только на второй неделе приехал,
отделавшись и от истории своей, и от бригадирства, Павел, привез старухам
чаю и сахару, сказал, что будет теперь работать на тракторе, нагрузился
огородной всячиной и, не пробыв полного дня, опять утарахтел на своей
моторке. Дарья вышла за деревню к мысу и долго смотрела на его сгорбленную в
лодке, неподвижную фигуру, отлетающую словно от какой-то посторонней
пущенности, и тяжело, устало размышляла: нет, не хозяин себе Павел. И не
Соня им руководит, этого он не позволит,- просто подхватило всех их и несет,
несет куда-то, не давая оглянуться... своим шагом мало кто ходит. Уехать
разве к Ивану, второму сыну, в леспромхоз? А что там? Сторона хоть и не
дальняя, да чужая, чужие люди, чужие вещи, и неизвестно, не чужой ли сын.
Может, съездить поначалу в гости, посмотреть? Нет, надо прежде проводить
Матеру. Проводить Матеру и лучше всего к своим - туда, где своих в десять
раз больше, чем здесь. Верхней, скользящей памятью Дарья помимо воли стала
вспоминать, перечисляя тех, кто там, и вдруг вспомнила старика своего -
Мирона. Вспомнила и замерла от стыда: стала забывать о нем, редко, совсем
редко приходит он на ум. Господи, как легко расстается человек с близкими
своими, как быстро он забывает всех, кто не дети ему: жена забывает мужа,
муж жену; сестра забывает брата, брат сестру. Хоронит - волосы рвет на себе
от горя, на ногах стоять не может, а проходит полгода, год, и того, с кем
жили вместе двадцать, тридцать лет, с кем рожали детей и не чаяли друг без
дружки ни единого дня, будто бы никогда и не было. Что это? Так суждено или
совсем закаменел человек? И о детях своих, уложенных раньше себя, он
страдает потому лишь, что чувствует свою вину: он обязан был беречь их и не
сберег. А со всеми остальными случайно или не случайно - от одного
отца-матери - встретился, побыл, поговорил, поиграл в родство и разошелся -
каждому своя дорога. Нет, дик, дик человек, этак и зверь не умеет. Волк,
потерявши подругу, отказывается жить...
Одно лишь находилось у Дарьи оправдание, да и то если искать его. У
Мирона, у старика ее, не было своей могилы, на которой можно посидеть и,
вынув душу, погоревать, поплакать, вспоминая, что было, и представляя, что
могло быть дальше. Он ушел осенью в тайгу за свою Ангару и пропал. Ушел и не
пришел, как сквозь землю провалился. И ни одна душа не сказала, что с ним
сталось. Когда на второй раз вышло время, на которое он брал харч, Дарья
всполошилась не на шутку, забегала по деревне и добилась, что мужики
снарядились на розыски, зная, где Мирон промышлял, но никаких следов не
отыскали. Вместе с ним сгинули две собаки - попробуй догадайся, какая
приняла всех их смерть. Он не старик и был, это она, применяя его к
теперешним своим годам, говорит "старик", а ему тогда едва перевалило за
пятьдесят, в самой мужицкой поре. Примерно столько же, сколько сейчас Павлу.
Но с Павлом его не сравнить: отец был покрепче, поживей, характером
потверже. Или это теперь только кажется? Многое, поди, было на самом деле
другим, чем видится ныне, снесенное временем и ненадежной, изнурившейся
памятью. Вот вспомнился Мирон, но как-то спокойно и ровно, не тронул сердца.
Выстудилось оно. Выстудилось и болит только ближним, что рядом с сегодняшним
днем,- той же Матерой... Неужели и о Матере люди, которые останутся, будут
вспоминать не больше, чем о прошлогоднем снеге? Если даже о родных своих
забывают так скоро...
"Прости нам, господи, что слабы мы, непамятливы и разорены душой,-
думала она.- С камня не спросится, что камень он, с человека же спросится.
Или ты устал спрашивать? Отчего же вопросы твои не доходят до нас? Прости,
прости, господи, что спрашиваю я. Худо мне. А уйти ты не даешь. Я уже не по
земле хожу и не по небу, а как подвешенная меж небом и землей: все вижу, а
понять, че к чему, не умею. Людей сужу, а кто дал мне такое право? Выходит,
отсторонилась я от них, пора убирать. Пора, пора... Пошли за мной, господи,
просю тебя. Всем я тут чужая. Забери меня к той родине... к той, к которой я
ближе".
Текла в солнечном сиянии Ангара... текло под слабый верховик с легким
шуршанием время. За спиной лежала Матера, омываемая той и другой течью;
высоко над головой возносилось небо. Прекрасна, значит, земля под ним, если
так красиво и жутко небо. Остановят Ангару - время не остановится, и то, что
казалось одним движением, разойдется на части. Уйдет под воду Матера - все
так же будет сиять и праздновать ясный день и ясную ночь небо. "Что небу-то
до Матеры? - поправляла себя Дарья.- Это людское дело. Она у людей в руках,
оне над ей распоряжаются". И все же что-то в Дарьиных скорых и невольных,
как наплывающих со стороны, омывающих ее, рассуждениях обрывалось, для
чего-то полного и понятного не хватало связи. И билась, билась, короткая и
упрямая, оборванная мысль: течет Ангара, и течет время...
И хотелось с чем-то спорить, доказывать свое, зная даже, что правда не
твоя.
Вечером, укладываясь спать, спросила Дарья у Катерины:
- У тебя не бывало, что никого нету, а будто кто с тобой говорит?
- Кто говорит? - испуганно отозвалась Катерина.
- Не знаю. Я седни пришла в себя, а я вслух разговариваю. Навроде как
кто со мной рядом был. Спрашивал у меня, а я с им говорела.
- Царица небесная! Об чем спрашивал-то?
- Все смутливое, тяжело... И не сказать об чем. Видно, с ума схожу.
Скорей бы уж, ли че ли...

16

Это были уже последние, не то чтобы спокойные, но все-таки мирные, как
бы домашние, дни. Потом нагрянула на уборку орда из города, человек в
тридцать,- все, за исключением трех молодых, но уже подержанных бабешек,
мужики - тоже молодые, разудалые. В первый же день, захватив Матеру и почуяв
вольницу, они перепились, передрались меж собой, так что на завтра двоих
пришлось отправлять к врачу. И на завтра они шумели, разбираясь, кто прав,
кто виноват, снарядили лодку в магазин за добавкой, к вечеру добавили, но
уже полегче, без боя. Матере хватило одного дня, чтоб до смерти
перепугаться; мало кто без особой нужды высовывал нос за ограду, а уж
контору, где обосновалась орда, старались обходить за версту. И когда
постучали к Дарье два парня, она готова была пасть на колени: пожалейте, не
губите христианскую душу. Но парни попросили луку, даже совали за него
деньги и ушли; Дарья после, запомнив, выделяла их из всего войска. Только
Богодул, не боявшийся ни черта и ни дьявола, как нарочно, лез к конторе и
смотрел на приезжих пристально и недовольно, а они, чувствовалось, хоть и
задирали его и потешались над ним, но и побаивались: не человек - леший,
мало ли что такому в голову взбредет. Босой, лохматый и красноглазый, с
огромными, как у обезьяны, руками и цепким пугающим взглядом, он поневоле
внушал к себе почтение, а когда кто-то из деревенских подсказал, что на нем
есть грех, а может, и не один за убийство, Богодула и задирать стали меньше.
Но вдобавок к старому дали ему еще одно прозвище - "Снежный человек", на что
он, как и положено сошедшему с гор снежному человеку, рычал и матюкался.
Худо ли, хорошо ли, но приезжие все-таки копошились, что-то делали, и
хлеб потихоньку убирался. Хорошо работать они не могли: не свое собирают -
не им и страдать. Все равно без хлеба теперь не сидят, все равно эта земля
родит в последний раз, а могло случиться так, что и нынче б уже не родила -
все равно... Кто-то уезжал, кто-то взамен приезжал; лодка сновала в поселок
и магазин чуть не каждый день. И посеяно было нынче много меньше против
прошлых колхозных лет, могли управиться своими силами, но почему-то отдали
на откуп этим... А свои, закончив сенокос, опять перебрались в поселок до
картошки и окончательного переезда, опять в деревне остались в сторожах одни
старухи. Перед тем как выйти в улицу, они выглядывали из ограды в щели - все
ли там спокойно; по улице ходили крадучись; дома сидели тихо, на ночь
закрывались на вес запоры.
А время шло. День да ночь - сутки прочь, а за сутки еще ближе, еще
непоправимей подворачивала осень. Утренники стояли холодные и ленивые,
подсыхало от росы и туманов поздно, солнце всходило высоко. Громко и бранно
звучали голоса от конторы, где то ругались, то смеялись, подолгу урчала там
заведенная машина, пока наконец не влезали в нее и не отъезжали. После этого
у поварни за конторой начинали мелькать бабешки, которых трудно было
различить со стороны: все три бойкие, горластые, в мужицких штанах, все три,
как родные сестры, низкорослые и мясистые. Но про одну говорили, что она
чья-то, кто здесь же, с ней, жена; две другие, безмужние, страдовали
нелегкую страду. К обеду вылезал из двери какой-нибудь парень, почесываясь и
зевая, щурился на солнце, шел справлять нужду и задумывался, что дальше -
снова спать или жить? Тут, подкараулив, брали его в оборот бабешки,
заставляли колоть дрова, подносить из бочки воду, прислуживать в поварне, и
тогда оттуда, из поварни, слышались возня, шлепки и смех.
Днями припекало, струился перед глазами нагревшийся воздух и горчил от
спелого сухого духа, исходящего от трав, от хлебов, от всего, что принес
урожай. С полей доносился приятный, будто и не машинный вовсе, стрекот
комбайнов: на одном работал свой, материнский парень из семьи Кошкиных, на
другом - кто-то из приезжих. К правому, удобному для погрузки берегу рядом с
пинигинским покосом подогнали баржу, которая доставила на остров вторую
машину и трактор и в которую ссыпали от комбайнов зерно. Совхоз под конец
лета обзавелся катером, он и притянул баржу, на нем теперь подвозили
приезжим продукты и шло всякое иное сообщение между Матерой и поселком. И,
пользуясь катером, из боязни к чужому народу, начали бабы потихоньку
эвакуировать из деревни мелкую живность - куриц, поросят, овец. Это ведь
как: только покажи одна, и пошло-поехало... Кудахтанье и визг раздавались
каждый день. Коровы пока гуляли. Для них, а также для сена рубилась мужиками
и на плаву стягивалась в одно высокая, в два наката со стояками,
большегрузная платформа.
Видать, видать конец... И назначенный срок не опоздает, и люди не
оробеют - вон как взялись, сколько понагнали рук!
На Подмогу, где не было полей, только выпасы да леса, высадилась другая
бригада - эта из леспромхоза. Весь скот оттуда в день велено было перегнать
на Матеру - хорошо, вода в протоке стояла низкая. И запылала Подмога -
вспыхнули старые, какие там были, постройки для скота, потом занялись огнем
леса. Дула низовка, и весь дым с Подмоги несло на Матеру - не видно в иные
часы было неба, солнце, выныривая, проглядывало бледным кругляшком. Скот
забивался в стайки и мычал, совхозные коровы, оставшиеся от колхоза,
носились по острову с дурным ревом, сбиваясь в кучи, топоча и роняя с губ
пену; кони, их и осталось-то немного, вели себя поспокойней, но и они
боялись земли и жались к воде. Свои люди возмущались:
- Что делают-то? Что делают?! Пошто было не подождать маленько! Этак и
Матере недолго пыхнуть. Сушь такая... Зароды стоят, хлеб стоит. Тут одной
искринки хватит.
А не свои, больше некому, подожгли в ответ мельницу - или по чьей тихой
команде, чтоб потихоньку подчищать, или без нее, из одного озорства: все
равно гореть - ну и пускай горит, мы посмотрим. Что чужой дым глотать - мы
свой добудем, с треском, с огоньком! И добыли. Вечером Дарья вышла на улицу
и ахнула, увидев высокое зарево уже и не с нижней стороны, от Подмоги, а с
верхней, слева от деревни. Кроме как мельнице пылать было там нечему. И,
воротясь торопливо в избу, Дарья растормошила Катерину, которая уже
улеглась:
- Пойдем, простимся с ей. Там, поди-ка, все чужие. Каково ей середь их
- никто добрым словом не помянет! Пошли, Катерина.
- Куды? О чем ты? - испугалась та; всего они в последнее время боялись,
от каждого стука замирали, при каждом нежданном слове вздрагивали - не беду
ли оно несет, не о худом ли скажет?
- Мельницу запалили. Помешала она имя. Сколь она, христовенькая,
хлебушка нам перемолола! Собирайся, хошь мы ей покажемся. Пускай хошь нас
под послед увидит.
На подъезде возле горящей мельницы, и правда, толпились одни приезжие.
Что делает огонь пожирающий с людьми, почему так страшно он на них
действует? Эти как с ума посходили: они прыгали, кричали, бросались под жар
- кто дальше забежит, дольше подержится, погеройствует, и, не выдерживая,
падая на опаленную бурую землю, с гиком откатывались назад. Взвизгивали
бабешки, их было здесь две, когда их, пугая, подталкивали к огню,
замахивались на мужиков кулаками, стучали по спинам и были довольны, веселы,
счастливы. Какой-то парень, совсем еще молоденький, глупый, залез на березу
и, болтая ногами, ошалев от огня, выкрикивал оттуда частушки. На него, как
на зверя, гавкала снизу собачонка, тоже беспутная, тронувшаяся от всего
происходящего кругом,- на парня и на нее показывали пальцами и покатывались
со смеху. Собака, понимая, что она угождает, старалась и того пуще. Потеха,
потеха... На березе свертывались, подрагивая, листочки, западали с жаркой
стороны тяжелые ветки, и вся она в ярком зареве казалась бесцветной,
прозрачной. Прозрачными, бесплотными казались и лица людей.
Горело с жутким, идущим изнутри подвывом; высокое пламя загибало
поверху ветром и обрывало; сажные лохмотья неслись дальше. Дарья с Катериной
стояли в сторонке, напротив боковой стены, закрытые от чужих людей кустами,
чтоб их не было видно, чтоб видела их только мельница. Она вся уже
потерялась в огне - казалось, он, играя, то поднимал ее над землей, то
опускал; верилось даже, что все это огромное бешеное полымя может клубком
сорваться с места и, вознесшись, полететь, полететь над Ангарой, пугая
народ, празднуя свою буйную сатанинскую радость.
Старухи не услышали, когда к ним подошел незнакомый, тоже из приезжих,
но немолодой уже мужик в распущенной клетчатой рубахе - где было и услышать
в том гуде и треске!
Постояв рядом, мужик спросил - в голосе его прозвучало участие:
- Хорошая была мельница?
- Хорошая,- без испуга ответила Дарья.
- Понимаю,- кивнул он.- Послужила, выходит, службу.- И протянул: -
По-е-ехала!
Слово это - "поехала" - не выходило потом у Дарьи, из головы и стало
главным, все объясняющим, ко всему, что происходило вокруг, приложимым.
Визжал поросенок в мешке, которого тащили за спиной на катер, и Дарья
смотрела вслед: поехал. Гнали к Ангаре совхозный скот, чтоб переправлять на
тот, на дальний, где поселок, берег, но не в поселок, а на выпасы у реки,- и
Дарья шла провожать, глядела, как затягивают на большой, огороженной жердями
плот не плот, паром не паром упирающихся коров и телят, как подвязывают их к
скобам и трогают от земли. Поехали. Несли горький черный дым с Подмоги,
который набирался в жилье и доводил до кашля, и она думала: поехала Подмога,
поехала. Сдала Клавка Стригунова в совхоз бычка городским на мясо - поехал,
христовенький... Тянули к берегу зароды - пое-ехали! Все меньше и меньше
оставалось своего, привычного, все торопилось съехать, убраться с опасного
острова подальше. И деревня стояла сирая, оголенная, глухая, тоже готовая к
отъезду; голоса чужих людей звучали в ней как в бочке, а собственные где-та
терялись, пропадали. И уже сквозно, далеко видели глаза - пустела Матера,
свободно было взгляду.
Клавка Стригунова, с помощью забитого бычка сойдясь с приезжими,
подговорила их спалить и ее избу - не терпелось Клавке получить деньги. Они,
конечно, в удовольствие себе за милу душу спалили; спасибо хоть - не пустили
огонь на соседние постройки. Но теперь и посреди деревни зияла черная
дымящаяся яма, а глаз, не находя опоры, проваливался и обрывался, как в
колодец, в дальний ангарский простор. Разъединилась, распалась Матера на две
стороны...
В тот вечер, когда "поехала" мельница, Дарья с Катериной, воротясь в
темноте с пожара домой, натолкнулись на крыльце на Симу с мальчишкой. Они
сидели перед запертой дверью: Колька хныкал, Сима, успокаивая, что-то
наговаривала ему. Она торопливо поднялась навстречу старухам и, как всегда,
когда нервничала, поглаживая себя ладонью по щеке, взмолилась:
- Пустите севодни к себе... боимся мы. И он не спит, плачет, и я не
могу. Так страшно... так страшно...
Их уклали на кровать, и кровать эта больше не пустовала: днем Сима еще
уходила к себе, копошилась там по дому и огороду, на ночь же возвращалась к
Дарье. Взяв страх один раз, она уже больше не могла от него избавиться. Но
страшно было не одной только Симе. Даже Богодул разглядел как-то висящую у
Дарьи в сенях под шубой берданку и обрадовался:
- Дай-ка мне. Кур-рва! Убью-у!
- Кого убьешь? - всполошилась Дарья.- Как я тебе ее дам? Ишо правду
убьешь! Ты че это? На кого так?
- Гор-розят, кур-рва! Пожгут бар-рак. Я их...- Он гулко, как выстрелил,
прукнул губами.
- Из ее, однако что, и стрелить нельзя. Не помню, чтоб кто брал. Ишо
сам живой был...
Но Богодул снял берданку и унес - разве что попугать кого, потому что о
патронах, о зарядах он не вспомнил. С патронами Дарья и не дала бы: у него
ума достанет и пальнуть, если разгорячится, на то он и Богодул. Теперь
только этого и не хватало. С него взятки гладки, с нее, с Дарьи, тоже много
не спросишь - таскать, стало быть, возьмутся опять Павла.
Так, с поночевщиками, с Симой и мальчишкой, стали держаться вместе уже
и не вдвоем, а вчетвером, как в том теремке... Картошки, всякой другой овощи
было вдоволь, мучица оставалась еще из старых, из колхозных запасов, чай,
соль Павел если не сам привозил, так с кем-нибудь посылал - он теперь
работал на тракторе, корчевал лес под поля и не вдруг мог сорваться. Молоко
свое; Дарья была рада, что есть наконец кому пить его, и подливала Кольке и
утром, и вечером, наказывала прибегать днем. Сама она спала на печке,
Катерина, как и раньше, стелилась на топчане, Симе с Колькой отдали кровать.
После отъезда Андрея чаще наведывался Богодул - этот, наоборот, мало
выводился днем, а ночевать уходил к себе, боялся, не подожгли бы барак.
Чтобы показать берданку, он несколько раз прошелся с ней мимо конторы,
громко покрякивая, покашливая, обращая на себя внимание. Приезжие вываливали
на крыльцо, кричали:
- Эй ты! Партизан!
- Снежный человек!
- Турок!
- С кем воевать собрался, а? Какого она у тебя образца, пушка твоя?
- Ты спроси, какого он сам образца. Не служил ли он у Петра Первого?
- А у Ивана Грозного не хошь?
-- Да она у него и не стреляет.
Богодул только и ждал этих слов.
- Выдь! - показывал он в сторонку и снимал берданку из-за спины.- Выдь,
кур-рва!
Но охотников проверить на себе, стреляет ли берданка, не находилось;
Богодул, победно рявкнув, закидывал ее за плечо и под смех и свист, не
оборачиваясь больше, удалялся.

17

А у Дарьи вечерами подолгу за разговорами не спали. Ложились в
сумерках, не добывая огня, и поначалу говорили о том, с чем легли,- после
раздольного чаевничанья и неспешных последних хлопот. Как водится,
жаловались на старые кости, возились, кряхтели, укладывались помягче, чтобы
услужить им; коротко, как расписываясь, подтверждая, что знали его, были в
нем, поминали только что канувший день. Но все больше и больше мерк за
окнами и изникал свет, замирали шумы, отступали мелкие заботы, и разговор
успокаивался, выбираясь на вольную волю, становился задумчивей, печальней,
откровенней. Старухи уже и не видели, а только слышали друг друга; сладко
посапывал во сне возле Симы мальчишка, леденисто мерцали окна, огромной,
одна на весь белый свет, казалась изба, в которой все еще стоял слабый,
дразнящий, с кислинкой, запах дотлевающих в самоваре углей - и слова
возникали как бы сами собой, без усилий, память была легкой и покладистой. О
чем говорили? А о чем можно говорить? Куда заносил разговор, то и пытали, но
от Матеры да от самих себя отворачивали редко, так одно по одному на разные
лады и толкли.
На этот раз должно было икаться Петрухе: начали с него. Клава
Стригунова, ездившая в район получать за избу деньги, встретила его на
пристани в Подволочной. Петруха, рассказывала она, там при деле: занимается
пожогом оставленных домов. У своих руки на такую работу не поднимаются, в
это можно поверить, а Петрухе она - дело знакомое, он с ней управляется
почем зря. Клавка уверяла, что за каждую сожженную постройку Петрухе платят,
и платят вроде неплохо, он не жалуется. "Сытый, пьяный, и нос в табаке",-
будто хвалился он Клавке, и верно, неизвестно, сытый ли, но пьяный был, а на
пароход прибегал за новой бутылкой. Он звал угоститься и Клавку, но она
якобы отказалась, потому что мужик, который стоял с Петрухой, показался ей
ненадежным, а она была при деньгах.
Катерина, примирившаяся с потерей своей избы, не могла простить Петрухе
того, что он жжет чужие. Весь день после разговора с Клавкой она ахала со
стыдом и страхом:
- Ой, какой страм! Ой, страм какой! Он че, самдели последнюю голову
потерял?! Как он опосле того в глаза людям хочет смотреть?! Как он по земле
ходить хочет? О-е-ей!
Днем Дарья, и сама возмущаясь Петрухой, поддакивала:
- Нашел все ж таки по себе работенку. А то никак не мог сыскать. Ну
дак: жегчи - не строить. Соломки подложил, спичку чиркнул, от той же спички
ишо папиресу запалил, и грейся - куды тебе с добром! Подволошна - деревня
большая, версты на три, однако что, растянулась... Там ему работенки хватит.
Но Катерина не успокаивалась, и вечером, когда улеглись, Дарья на ее
причитанья сказала:
- Че ты расстоналась? Че ты себя так маешь? Не знала ты, ли че ли,
какой он есть, твой Петруха? Али только он один у тебя такой? Мы с тобой на
мельницу ходили, ты рази не видала, сколь их там было? Скажи им: хлеб
убирать али избы жегчи - кто на поле-то останется? Заладила: страм, страм...
Не он, дак другой бы сжег. Свято место пусто не бывает - прости, господи! -
Пущай другой... пущай другой. Он-то пошто? Он на себя до смерти славушку
надел, ему не отмыть ее будет.
- А начто ему отмывать? Он и с ей проживет нe хуже других. Ишо и
хвалиться будет. Ты об ем, Катерина, сильно не печалься. Ты об себе
попечалься. А он че: эта работенка кончится, другая такая же найдется.
- Дак я мать ему или не мать? Ить он и на меня позор кладет. И в меня
будут пальцем тыкать...
- Не присбирывай. Кто в тебя будет пальцем тыкать, кому ты нужна? То
тебя и не знают. Ты сколько жить собралась - сто годов, ли че ли?
- Может, поехать туды? - не отвечая, осторожно подала на совет
Катерина.- Очурать его? Сказать: че ты делаешь?
Дарья с удовольствием подхватила:
- Поезжай, поезжай. Погляди, чьи избы лутче горят - подволошенские али
материнские? Он тебе за-ради праздничка, что ты приехала, две, а то и все
три зараз запалит - ох, хорошо будет видать. Опосле нам расскажешь, чью
деревню солнышко больше грело. Утресь подымешься и собирайся, не тяни. Для
этого дела тебя на катере отвезут. Очурай его. Че это он чужие избы жгет,
ежли свои ишо не все погорели. Ох, Катерина, пошто мы с тобой такие
простофили? Жили, жили и нисколь ума не нажили. Что дети малые, что мы...
Ну?
И замолчали, оставив бесполезный разговор. Катерина знала, что никуда
она не поедет и ничем Петруху не проймет и не вразумит: был Петруха и
останется Петруха. Так, видно, до смерти своей и не бросит петрухаться,
такая ему судьба. А ей судьба - быть матерью Петрухи. Надо ее бессловесно
нести, смириться с нею и ни на что не роптать. Люди... Катерина стала
думать, следует ли ей стыдиться перед людьми, знакомыми и незнакомыми, за
себя и за Петруху, если сам он не ведает стыда? И если она теперь стала
никому не нужной - ни сыну, ни, тем паче, чужим людям, будто ее и нет на
свете? А может, и верно, сделать вид, что ее нет, а то, что ходит в ее
шкуре, ни для чего не годится - ни для совести, ни для стыда? Что толку
мучиться и стыдиться, если никому твой стыд не надобен, никто его не ждет и
ни одна душа, перед которой хотелось бы повиниться, на него не ответит? Что
толку? Дарья... Она все понимает. Дарья ее не осудит. Замереть и жить только
собой... и жить-то уж ничего не осталось...
А Дарья думала о том, что она чувствовала бы на месте Катерины, какими
защищалась бы словами. То же самое, наверное, и чувствовала бы, то же и
говорила. И так же отвечала бы, наверно, Катерина на ее, на Дарьином, месте.
Это что же такое? Дарья впервые так близко задумалась над тем, что значит в
жизни человека положение, место, на котором он стоит. Вот ей не надо
стыдиться своих детей, и она уже взяла за право спрашивать с Катерины за
Петруху, поучать ее, чуть ли не виноватить. И так же, получается,
разговаривала бы с нею Катерина, окажись Дарья матерью Петрухи. А где же
тогда характер человека, его собственная, ни на какую другую не похожая
натура, если так много зависит от того, повезло тебе или нет? И стань она,
Дарья, в положение Симы, живущей в чужой деревне, без родни и защиты, с
малолетним внучонком на руках - тоже была бы тише воды, ниже травы? А что
поделаешь? - наверно, была бы. Как мало, выходит, в человеке своего, данного
ему от рождения, и сколько в нем от судьбы, от того, куда он на сегодняшний
день приехал и что с собой привез. Неужели правда она могла бы быть такой
же, как Сима? - совсем ведь разные люди. Сима что-то тихонько нашептывала
засыпающему Кольке. Вечерний свет погас, и теперь после недолгой темноты
всходил ночной: ярче обозначались окна, мертвым сиянием дробился мутный
воздух, выплывали, покачиваясь, из невиди предметы, ложились слабые дроглые
тени. Где-то на другом конце деревни, как нанялась, гавкала давно и
безостановочно собака - устало, беззлобно, лишь бы не дать о себе забыть. Из
Симиного шепота доносились отдельные бессвязные слова - будто тоже тени слов
настоящих, такими они были тихими и одинокими. И опять Катерина негромко и
печально начала:
- А много ли, кажись, надо... Царица небесная, послушай. Только и надо:
чтоб пристроился он, беспутный, куды... Занялся человечьим делом. Оно и без
Матеры, поди, жить можно. Дали бы ему где угол, а туды и на меня, глядишь,
такой же от топчан бы влез. Я бы его утром будила: вставай, Петруха,
вставай, на работу пора. Собирала бы узелок на обед. Пущай бы он на меня
ругался, пущай хошь че - я бы стерпела. Я бы не то стерпела, а знать бы, что
на путь он стал.
- Женить его надо,- недовольно сказала Дарья: опять она, Катерина, о
Петрухе.- Ежли ты с ним не можешь сладить, такую бы бабу ему, чтоб она его в
ежовые рукавицы взяла. Иначе толку не будет.
- Кто за его, беспутного, пойдет...
- Дак ежли бы он маленько за ум взялся - пошто не подти?!
- Он так-то добрый,- обрадовалась Катерина тому, что вот и Дарья,
значит, не считает его совсем пропащим человеком, что и она видит для него
пусть слабое, ненадежное, но спасение.- Сердце у его мягкое...
Дарья наверху, на печке, хмыкнула: как не мягкое... мягче некуда.
- Нет, правда. Когды нечем, я его выгораживать не стану. А тут правда.
У нас телка была... не доглядишь ежли - весь хлебушко ей скормит. Режет на
ломти, солью сластит и ей. Она уж его знала: подойдет вечером под ворота и
кричит, кричит: это она его зовет. Я отгоню - она со двора зайдет и тошней
того кричит. Дашь ей из своих рук такой же ломоть - съест, а не успокоится,
надо, чтоб он вышел. А он даст - самдели уйдет. И раньше корова была...
увидит, что она мое сено подчистила, тайком от меня, чтоб я не ругалась, ишо
ей кинет. Тоже подкармливал. А сколько этих щенков перетаскал! Где он их
только подбирал?! Особливо ежли нетрезвый - ну обязательно щенка под пазухой
тащит. У нас одно время четыре, однако что, собаки собралось. Я надселась на
их кричать. Кажной кусок надо бросить, и их, кусков-то, на себя не хватало.
Нет, он ничего не понимал.
- Ишь, до чего добрый! - не утерпела, ковырнула Дарья.- Собак блудящих
он кормил, жалел, а мать родную кинул. Как хошь, так и живи. Это не его
дело.
- Беспутный. Я говорю, что беспутный,- привычно ответила Катерина.- Он
и корове подбрасывал, не думал, а хватит ей до весны или не хватит. Я даю,
чтоб растянуть, по норме даю, а он как попало. А потом, под весну, и росить
нечего.
- Че ты мне опеть про корову? Ты-то, христовенькая, че делать будешь,
как сгонют нас отсель? Сгонют ить. Ты-то куда? Ты об етим подумала? Она мне
про корову толкует, коровы уж сто годов в живых нету.
- Я и говорю... - Сказать Катерине было нечего, голос ее без твердости
и надежды звучал пусто.- Ежли бы он куды пристроился... дали бы угол...
Дарья громко, на всю избу вздохнула: ах, кабы не цветы да не морозы...
Но, видно, так уж направился разговор, и не завернуть: вступила, усыпив
Кольку, Сима, и она потянула его туда же, в ту же сторону.
Сима сказала:
- Каждому свое. Тебе, Катерина, возле сына бы жить, хлопотать за ним.
Внучонка бы дождаться, нянчиться...
- Ой, не говори, Сима,- простонала Катерина, не смея и надеяться на
такое счастье.- Не говори.
- У меня тоже от дочери помочи ждать не приходится. Тоже не знаю, куда
голову приклонить. У меня хоть Коляня есть. Для него из последних сил надо
жить. А как жить? День и ночь думаю, день и ночь думаю: как жить? куда
двинуться? Нашелся бы старичок какой...
- Господи! - взмолилась Дарья.- Ить это надо! У самой уж... а она все
про старичка! Ну... Какого тебе ишо старичка, невеста ты, прости господи, на
семьдесят семь дырок. И из каждой песок сыпится. Че ты у старичка делать
будешь?
Сима обиженно молчала.
- Ну, на что он тебе? По каку холеру он тебе потребовался? - добивалась
Дарья.- Пошто ты нам не скажешь?
- Мне, Дарья Васильевна, скрывать нечего.- Если "Дарья Васильевна", не
на шутку, значит, разобижена Сима.- А мечтать никому не запрещается, да.
Катерина мечтает возле сына жить, и я мечтаю. Мне тоже охота свой угол
иметь. Я не так чтоб совсем старая, на домашнюю работу сгожусь. Вошла бы в
дом, никто не пожалел бы. Мне много, Дарья Васильевна, не надо. В мои годы
люди сходятся не детишек рожать, а полегче друг возле дружки старость
принять. И Колька бы рос, у меня об Кольке забота. Я об чем попало не
мечтаю. А на что гожусь, на то гожусь. И постирала бы, и сготовила.
- Годисься, годисься...
- А если тебе мечтать не о чем - че ж... Не наше кукованье. Дети в люди
вышли, не отказывают. Это нам на сирую голову... Не все же плакать...
- И песенку старичку бы спела?
- А славный старик бы попался, и песенку бы спела. Он бы послушал.
Теперь замолчала, отступив, Дарья, смущенная позабытым словом
"мечтать". Симе ли его говорить? Дарье ли его слушать? Мечтают в девичестве,
приготовляясь к жизни, ничего о ней еще толком не зная, а как почал тебя
мужик да обзавелась семьей - остается только надеяться. Но и надежды с
каждым годом все меньше, и она тает, как снег, пока не истает совсем,
впитавшись в землю,- и вот уже перед тобой не надежда, а парком дымящиеся
из-под земли воспоминания. Ну так Сима - что с нее взять! В мечтания
ударилась! Сирая голова, да не головкой звать. Вольная птица, да присесть
некуда, все места заняты. А летать - крылышки не те. "Хошь Сима - да мимо",-
вспомнила Дарья дразнилку. Мимо и будет, не иначе. Но, размышляя об этом,
Дарья с тоской подумала, что, пожалуй, Сима говорит правду, что ничего ей,
Дарье, от завтрашнего дня не надо... Не то что мечтать - куда там! - не то
что надеяться, но и самых простых желаний, кажется, не осталось. Все сошло в
одну сторону. На что ей, верно, надеяться? На смерть? Этого не минуешь, на
это можно не тратить надежду. А на что еще? Не на что. Стало быть, скоро и
помирать, если жить больше не с чем. А Сима с Катериной подержатся, поживут,
и не потому, что они помоложе, силенки у ней тоже не все еще вышли, а
потому, что есть у них тут дело: Симе - поднимать мальчонку, Катерине -
беспокоиться о Петрухе, надеяться на его выправление. Они кому-то нужны,
этой нуждой в себе они и станут шевелиться, от нее же никому ничего не
требуется. Сейчас она в сторожах, а переедут, и этого не понадобится. Без
дела, без того, чтобы в нем нуждались, человек жить не может. Тут ему и
конец. И не такие люди, как она, и не в таких годах, оставшись без
надобности, без полезного служения, крест-накрест складывали на груди лапки.
Стало еще светлей и неспокойней - вышла в окно луна. Все бренчала и
бренчала жестяным голосом одуревшая собака - прямо в уши вонзался этот
невредный лай. Чтобы перебить в себе какое-то давящее, неизвестно с чего
взявшееся удушливое беспокойство, Дарье захотелось встать - и так
захотелось, настолько показалось необходимым, что она, понимая, что незачем
это, все-таки торопливо опустила ноги в носках на приступку, сошла по голбцу
на пол и приблизилась к окну. Пол-ограды было залито ярким и полным лунным
светом, деревянные мостки у крыльца купались в нем, как в воде; пол-ограды
лежало в тяжелой, сплошной тени от амбаров. "Как вареный",- вздрогнув,
подумала Дарья о лунном свете и отвернулась от окна. Сима, наблюдая за
Дарьей, приподняла от подушки голову, и Дарья - надо было что-то сказать -
спросила:
- Уснул мальчонка-то?
- Уснул,- услужливо ответила Сима.- Давно уснул. А ты че?
- Так. Спина затерпла на печи, на девятом кирпичи. Промялась маленько,
посмотрела, вы со мной говорели али не вы. Полезу назадь.
- Ну и кто с тобой говорел? - спросила Катерина.- Мы, нет?
- Кто вас разберет? По голосу навроде вы, а по словам - каки-то
молоденькие. Ох, че щас Настасья наша - спит, не спит? Может, так же вот
лежит, нас поминает. Она ить не знает, что мы теперь в одной избе ночуем.
Ох, Настасья, Настасья! Скорей бы приехала, посмотреть ишо на ее, побалакать
с ей. Лежала бы тут у нас ишо Настасья - от и коммуния, никого боле не надо.
Ей-то, поди-ка, есть о чем порассказать. Столь насмотрелась, че и за всю
жизнь не видывала. За себя и за нас насмотрелась. До утра хватило бы
слушать.
Она с кряхтеньем стала взбираться обратно на печь и, одолев ее,
отдышавшись, отозвалась оттуда о себе:
- Ох, свежий человек поглядел бы: и вправду баба-яга. Ни кожи, ни рожи.
А хужей того - злиться стала. Вот это совсем нехорошо. Я раньче навроде
незлая была. А потеперь то не по мне, это не по мне. Нет, пора помирать,
дале ходу нету. Че злиться?! Оне делают как хочут - ну и пущай. Оне хозяева,
ихное время настало. Схоронить меня, поди-ка, схоронют, поверх земли не
бросют, а боле мне ниче и не надо. Так, нет я, девки, говорю?
"Девки", не зная, хорошо ли соглашаться, отмолчались.
- Уснули, ли че ли? Ну спите, когда уснули. Скоро, однако что,
рассветать зачнет. А рассветет, белый день выйдет - ишо потопчемся. Оно,
может, так и надо. Спи, Дарьюшка, и ты. Не об чем, люди говорят, твоему
сердцу болеть. Только пошто оно так болит? Хорошо, ежли об чем одном болит -
поправить можно, а ежли не об чем, обо всем вместе? Как на огне оно,
христовенькое, горит и горит, ноет и ноет... Никакого спасу. Сильно,
выходит, виноватая. Что виноватая, я знаю, а сказал бы кто, в чем виноватая,
в чем каяться мне, многогрешливой? Рази можно без покаяния? Ох, да спи,
спи... Утром солнышко придет, оно тебе много че скажет. За-ради солнышка,
когда боле ниче бы и не было, можно жить.

18

Убрали хлеб, и на три дня опять напросился дождь. Но был он тихий и
услужливый - унять пыль, помягчить усталую затвердевшую землю, промыть леса,
которые под долгим солнцем повяли и засмурились, подогнать на свет божий
рыжики, которые нынче опаздывали, пригасить чадящие дымы и горькие, разорные
запахи пожарищ. И падал этот дождь светло и тихо, не забивая воздуха и не
закрывая далей, не давая лишней воды,- сквозь неплотные, подтаивающие тучи
вторым, прореженным светом удавалось сочиться солнцу. Все три дня было
тепло, мякотно, дождь не шумел, приникая к земле, и не набирался, после него
и луж не осталось, и подсохло быстро. А когда подсохло, оказалось, что
пришла пора копать картошку.
Приезжие, покончив с хлебом, слава богу, снялись - после них и прошел
этот благодатный, очистной дождик. Стало полегче, поспокойней, можно было
без страха выйти за ворота, прогуляться по острову. Но прощание они устроили
шумное, опять дрались, гонялись друг за другом с криком по деревне; верещали
бабешки, кого-то успокаивая, а когда успокаивают бабешки, значит, больше
того стравливая, сшибая злость со злостью; всю ночь как полоумные
шарашились, всю ночь держали деревню в дрожи, а утром, перед отплытием, на
жаркую память подожгли вслед за собой контору, в которой квартировали.
Только они отчалили, вышел из кустов на верхней протоке еще один из этого же
войска - покорябанный, грязный и страшный в свежих лохмотьях на одежонке,
имевший какую-то причину скрываться от своих. Завидев огонь, он кинулся в
деревню - как бежал, не обрываясь, влетел в конторскую дверь, за которой у
него, видать, что-то осталось, каким-то чудом сумел развернуться внутри и
выскочил ни с чем обратно. Поплясал, поплясал поджаренно и успокоился, стал,
отойдя, смотреть, как горит.
Горело на удивление долго, только под вечер опал огонь, но еще в
темноте горячим, накальным жаром полыхала высокая горка углей - то, что
осталось от конторы. Никто не догадался эту горку посторожить, и утром,
когда проснулись, горела уже стоявшая поблизости конюховка. Но грешить на
отставшего от орды парня нельзя было: он уплыл еще днем. От конюховки
занялся и горько, смрадно зачадил слежавшийся, спрессованный под ногами
назем на конном дворе. Тут и пошел дождь, но ему не удалось совсем прибить
дым - дым больше так и не сходил с Матеры.
На совхозную картошку стали привозить школьников. Это шумное, шныристое
племя, высыпав на берег, первым делом устремлялось искать по курятникам и
закуткам птичье перо. Не дай бог, попадется на глаза живая курица - загоняют
и отеребят. Вера Носарева едва спасла своего петуха: зажав вдвоем меж ног,
его уже доканывали. После этого чудо какой голосистый, петух уже и не
кукарекал, а только жалобно по-утиному крякал,- смертный страх даром ему не
прошел. Куриное перо работнички втыкали в картофелины и с силой подбрасывали
вверх - игрушка летела обратно со свистящим красивым рулением. А всего
потешней, если она находила цель, угадывала на чью-нибудь склоненную спину.
Просто швырять картошку - хулиганство, а с пером - игра. Играли - такой
народ! Что с него взять? Но, рассыпавшись по полю, иногда для чего-то и
нагибались, что-то подбирали, что-то отвозила на берег машина. Наверно, и
старшие, кто был с ними, присматривали и подгоняли. Дарья однажды издали
наблюдала: галдят, жгут костры и, окружив, караулят их, чтобы ненароком не
убежали, но кто работает - подвигается споро, вырывает ботву как коноплю. А
что там остается в земле, знает одна земля. Раньше, оберегая, чистя себя,
готовясь к новому урожаю, она сама выказывала худую работу на глаза, а
теперь, перед смертью, и ей было все равно.
В помощь ребятишкам снимали с разных служб в поселке женщин - из
конторы, больницы, детсада, столовой - откуда только можно. Совхозное
начальство, не без понуканий, конечно, со стороны, считало нужным прежде
всего прибраться на дальней и неудобной Матере, сюда и гнали людей. И
прибрались, верно, быстро: в прежние годы самая бы страда, самая работа, и
нынче - все, конец, хоть праздник справляй. За центнерами не гнались:
сколько окажется, столько и ладно, была бы очищена земля. За центнеры никто
не спрашивал. Новому совхозу разрешили в первые годы вести хозяйство не в
прибыток, а в убыток - чего ж было на приговоренных, затопляемых пашнях
подбирать колоски или выколупывать всю до единой картошку? Пришло время
обходиться без того, что давала эта земля.
Из материнских баб на совхозную картошку мало кто ходил: сидели на
собственной. В последний раз собрался в деревне свой народ. Но теперь в
отличие от сенокоса не сходились вместе, не пели песен, не вели о
подступающей жизни бесед - торопились, каждый жил в своем доме, в своем
огороде своим, а подступающее затопление уже и без бесед брало за горло.
Отрывали от школы ребятишек, нанимали работниц: четвертый куль - твой, но
скорей, скорей... Люди приберутся, перестанет ходить катер, таскать за собой
паром - и будешь прыгать, кричать перевозу. Совхозное добро вон уже
отплавили, поля за выгоном опустели и примолкли, все больше оголялась и
сквозила Матера. Да и какие песни - полдеревни сгорело, а уцелевшие,
расцепленные, раздерганные на звенья избенки до того потратились и вжались в
землю от страха, до того казались жалкими и старыми, что и понять нельзя
было, как в них жили. Какие песни! Горели уже материнские леса, и в иной
день остров, окутанный дымом, с чужого берега было не видать - туда, на дым,
и плыли.
Леспромхозовские пожогщики, управившись с Подмогой, не мешкая,
перебрались на Матеру. Было их то пятеро, то семеро - мужики, не в пример
прежней орде, немолодые, степенные, не шумливые. Поселились они в
колчаковском бараке, через стенку от Богодула, больше на Матере устроиться
было негде, и по утрам проходили по деревне с верхнего края на нижний и
дальше на работу, а вечером с нижнего на верхний возвращались обратно.
Работой своей и казались они страшными - той последней окончательной
работой, которой на веки вечные и суждено закрыть Матеру. Они вышагивали
молча, ни с кем не заговаривая, ни на что не обращая внимания, но твердо,
посреди дороги, с хозяйской уверенностью в себе, и один их вид, одно их
присутствие заставляли торопиться: скорей, скорей - пока не поджарили. Они
ждать не станут. Собаки и те чувствовали, что за люди эти чужие, и, завидев
их, с поджатыми хвостами лезли в подворотни. А тут еще прошел слух, что
"поджигатели", как их называли, подрядились заодно с лесом спалить и
деревню. И верно, Богодул приметил, как к ним в барак приходили и долго
толковали о чем-то Воронцов и кто-то из районного начальства. Что ж, на то
они и поджигатели. И хоть злиться на них, рассудить если, было не за что, не
они, так другие сделали бы то, что положено делать, но и водиться,
разговаривать с ними никто из деревенских желания не испытывал: делали-то
они, глаза видели перед собой их.
Картошка напоследок наросла не просто богатая, а дурная: два куста -
ведро, два куста - ведро. А ведра, конечно, не базарные - свои. И так у
всех, кто хоть мало-мальски присматривал за ней, тяпал, окучивал, берег. Но,
охая над белыми и чистыми в песочке, крупными, как поросята, картофелинами,
охали и над мешками, которые приходилось ворочать по многу раз, прежде чем
отправить с острова, не говоря уж о том, как доставить их до места. С
огорода на телегу ворочай, с телеги под яр ворочай, с берега на паром или
катер ворочай, а подводу надо караулить, потому что на деревню осталась одна
кобыленка, всех остальных увезли, а машин не осталось уже ни одной. Паром
тоже не ждет под берегом. Мучились, ох мучились с этим богатством! Но самое
страшное оханье: куда ссыпать там, в поселке? Совхоз, правда, чтобы выйти из
положения, предложил свое овощехранилище, едва заполненное до половины, но
это только подумать хозяйке: в одну огромную общую яму ссыпать свою
картошку, которая кажется лучше, роднее и вкуснее любой другой, и достать
потом неизвестно что. Да и набегаешься разве с котелком или ведром куда-то к
черту на кулички, а он, черт с ключом, то ли у дверей сидит, то ли дома на
печке спит! Что тут говорить! Не у себя - не свое. Да на двенадцать деревень
никакого и подземелья не хватит.
Но это там, там, впереди... Здесь же надо было поскорей выкопать и
увезти, чтоб не унесло водой.
Пинигины управились со своей картошкой в три дня, на четвертый остался
небольшой докопок. Отпросился с работы Павел, впервые за лето приехала Соня,
но приехала зато не одна, с работницей, с которой они вместе постукивали в
конторе на счетах, с молодой рыжей хохотушкой по имени Мила. Смеясь, эта
Мила запрокидывала кудрявую, папашью голову и закатывала глаза, ну и раз
смеялась она почти беспрерывно, то и глаза были как бельмастые, слепые. Что
ни скажи - ей смешно, а того, где она, хорошо ли тут мыть зубы, не понимает.
Потому она поначалу и не понравилась Дарье.
- Как, как, говоришь, ее зовут? - нарочно переспрашивала она у Сони,
чтобы слышала приезжая.
- Мила.
- Мила? Рази есть такое имя?
- Есть,- смеялась приезжая.- Есть, бабушка, есть. А что?
- Ишo не легче! Раньше это парень любую девку мог так скликать. Все
милки. Частушки про их складывали. Нешто не слыхала? А теперь телок так
зовут.
- Телок? - пуще того заливалась работница.- Ты, бабушка, скажешь...
Значит, я телка? Похожа я на телку?
- Однако что, похожая,- с удовольствием соглашалась Дарья.- Тогды
правда что Милка.
Работница копала два дня, и копала старательно, поэтому Дарья смирилась
потом и с беспричинным ее смехом, и с несерьезным, под смех ее, именем. А
особенно смирилась, когда, расспросив, узнала, что Мила замужем и у нее, как
у нормальной, как у всякой бабы, есть ребенок. Это, выходит, мужик годами
терпит такую дребезжалку - пускай, христовенький, отдохнет маленько. К концу
второго дня, когда Мила собралась уезжать, Дарья сказала ей:
- Ты бы все ж таки поменялась с телкой с какой... У их хорошие бывают
наклички. У нас, помню, Зойка была - куды с добром! Глядишь, и хаханькать
стала бы помене. Че это тебе все смешно-то?
Мила закатилась и, покуда Соня провожала ее на берег, покуда слышно
было, смеялась не переставая, будто кто-то неуемный дергал за веревочку - и
звенькал, заходясь, колокольчик. А Дарья думала: может, это и хорошо, может,
так и надо, чтоб не знать ни тревог, ни печалей Есть они - ха-ха, и нет -
ха-ха! К таким и горе придет - не поймут, что горе, отсмеются от него, как
от непоглянувшегося ухажера; никакая напасть не пристанет близко к сердцу,
все в леготочку, все жизнь - потеха, И верно - чем плохо? Где бы такому
научиться?
Павел на третий день повез картошку. Пятнадцать мешков нагребли, во всю
имеющуюся тару, а наваленная в огороде куча едва поджалась лишь с одного
края. Да еще сколько копать! Это значит, возить не перевозить. Дарья
намекала, что надо бы помочь Катерине, увезти и от нее мешков пять; на
Петруху надеяться нельзя, то ли он покажется, то ли нет, а старухе где-то
жить, что-то жевать.
- Куда я их?! - не отказываясь, не зная действительно, что с ними
делать, пожимал Павел плечами.
- А свою куда?
- Что не войдет, придется пока на веранду высыпать.
"Не войдет" - это в подполье. Павел промучился с ним с месяц: привез с
Ангары песочку, сделал настил и избавился-таки от воды (хорошо еще, что дом
угадал на взгорке: у кого в низине - там не избавиться), но теперь оно стало
заметно меньше, много в него не столкаешь. Отрывать в сторону - возни не
оберешься: подполье цементированное, а отроешь - как знать, не забулькает ли
снова вода. Уж лучше от греха подальше довольствоваться тем, что есть.
Соня, копавшая два дня внаклонку, на третий опустилась на коленки. На
подмогу ей и Дарье, как бы отрабатывая за поночевство, пришли Сима с
Катериной. Пока у Дарьи был народ, они квартировали в Настасьиной избе, но
только Соня уехала, вернулись обратно. Соня вечером уезжала с пристоном:
успела в конторе отвыкнуть от плотной работы и, насилившись, видать,
надорвалась. Там, в новом поселке, она так за лето изменилась, что Дарья
порой смотрела на нее как на незнакомую: потолстела, одрябла, остригла на
городской манер и закручивала в колечки волосы, отчего лицо сделалось больше
и круглей; глаза заплыли и казались прищуренными и маленькими. Она научилась
разбираться в болезнях и говорила о них с большим понятием, называя по
именам и помня, чем от чего лечиться. В Матере не до болезней было, тут и
фельдшерицы не усиживали: приедут, поглядят, что кругом вода, а народ
занятой, не хворый, и назад.
- Кто там - ндравится? - осторожно спросила у Сони Дарья.
- Да уж не здесь,- не объясняя, с какой-то злостью ответила она. А что
"не здесь" - хуже, лучше? - поди разберись.
И представила Дарья, что и отношение к ней, к старухе, там будет
другим. Тут она жила в своей избе, все кругом на десять рядов было своим,
идущим от нее, и над всем она почиталась хозяйкой. Пусть даже и не старалась
показывать себя ею - это признавалось само собой. Там хозяйкой выступит
Соня. Тоже не молодуха, понимает, что недолго осталось ей быть в силе,- пора
выходить вперед, чтобы не ей слушаться, а слушались ее. Человек не может без
того, чтоб над кем-нибудь не командовать, это ему самая сладкая служба, и
чем дольше он просидел под началом другого, тем больше старается потом
наверстать свое.
Катер таскал паром каждый день, а то и по два раза на дню. Вывозили
картошку, вывозили, у кого оставался, скот, подбирали последнее, что еще
могло пригодиться. Отставлять наперед больше было некуда: наступила та
самая, объявленная крайним сроком, середина сентября. Многих выручила
нежданно подчалившая к берегу самоходная баржа, с которой закупали
картошку,- по четыре рубля за мешок. Подумав, а пуще того устав,
надломившись возиться с нею, продал последние двадцать кулей Павел. И без
того сделал три ездки, каждый раз по пятнадцать мешков, хватит с головой.
Катерине он советовал сбыть все, а что понадобится на жизнь, обещал из своих
запасов, картошка одинаковая. Но три куля Катерина все-таки оставила - мало
ли что! Разбогатела на двадцать рублей и Сима - этой совсем некуда ничего
девать, не то что рассчитывать, а огородишко, хоть и некорыстненький, что
прошено было у него и даже сверх того, принес. После Сима охала, что надо
было продать больше, а она придержалась, половину картошки для чего-то
сберегла, и та теперь лежала в сенцах на свету и зеленела.
Старухи долго не знали, что делать с Настасьиным огородом. Настасья не
ехала. Летом Дарья присматривала за ним, подпалывала, подгребала, гоняла из
него куриц - неужто пропадать трудам и добру? Он оставался на всю деревню
последним: опустели кормильцы. Только кой-где торчала еще морковка, да
свекла, да редька. Капусту, зная, что не дадут ей затвердеть, мало кто
сажал. Не видя больше надобности в себе, заваливалась городьба, ветер
позванивал на высоких грядах высохшей тонкой огуречной травой, ерошил
бесполезную картофельную ботву. Только Вера Носарева для порядка стаскала
ее, как и раньше, в копну, а увезти, пустить в корм скотине отказалась и
она: больше того мороки. Не до ботвы - хорошо хоть сено переправила, и тому
не могла нарадоваться.
Не ехала Настасья, и старухам ничего не оставалось, как приняться и за
ее огород. Что делать? Закрыли в Настасьиной избе ставни и ссыпали картошку
на пол, а для чего копали, для чего ссыпали - чтобы сгореть ей вместе с
избой или чтобы пойти все-таки в пользу, не знали. Рассказывали же о
мужиках-пожогщиках, что хвалятся они жаренными на корню рыжиками, которые
подбирают, когда палят лес,- вот так же, может случиться, испекут и
картошку. Но в земле оставлять совестно - как, правда, допустить, чтоб не
выкопать, это уж совсем из рук вон. Должна все-таки Настасья приехать, раз
сулилась,- как им там без картошки? Может, что задержало, может, вынырнет из
Ангары в самый последний момент, когда будет не до копки, а сгрести времени
много не потребуется, сгрести они ей пособят. И выкопали - нет Настасьи...
Вывезли скот; Павел приехал за коровой едва ли не последним. Корова,
умница и послушница Майка, напуганная разором, огнем, одиночеством и
суматохой, уже несколько дней не выходила со двора. Дарья гнала ее на траву
- Майка мычала и забивалась в грязную и темную стайку. Только ночью
осмеливалась она выбраться из нее, да и то не на вольную волю, а в огород
рядом, чтобы подкормиться там ботвой, и обратно. Долгими часами стояла
стоймя с наклоненной, вытянутой вперед, к дверке, головой, все время чего-то
в напряжении ожидая, к чему-то готовясь. И когда Павел накинул ей на шею
веревку и повел, Майка послушно пошла - куда угодно, на что угодно, но
прочь, прочь с этой страшной земли. И послушно поднялась по доскам на паром,
дала себя привязать, отвернувшись от Матеры, кося глазами на далекий
противоположный берег.
Дарья, провожая ее, заплакала.
- Ну что, мать,- еще дома сказал ей Павел,- может, и тебя сразу
соберем? Больше как будто тут делать нечего.
- Нет,- твердо отказалась Дарья.- Меня уж ты покуль не трогай. Я не
корова, чтоб просто так с Матеры съехать. Это вам тут делать нечего. Мне
есть че делать.
- Подожгут скоро, мать...
- Пущай поджигают.
И не сдержалась, с упреком и обидой спросила, зная, что поздно и не к
чему спрашивать:
- Могилки, значитца, так и оставим? Могилки наши, изродные? Под воду?
Павел сник, на него было жалко смотреть.
- Видишь, как все нынче получилось,- стал оправдываться он.- Собирались
же... если б не эта... А теперь когда? Я три дня сменщику задолжал. Наверно,
не выйдет, мать. Не мы одни...
- Ежли мы кинули, нас с тобой не задумаются кинут,- предрекла она.-
О-ох, нелюди мы, боле никто. Да как же без родных-то могилок?!
Когда Павел уехал, она пошла, еще не остыв, не успокоившись после этого
разговора, на кладбище. День опускался, солнце скатилось больше чем
наполовину и грело сухим остывающим зноем. Сильно и удушливо пахло гарью:
снималась с земли, отлетая в небо, сосновая пустошка за поскотиной, и
бесцветное, словно пустое, похожее на большой игривый солнечный зайчик пламя
то выскакивало вверх, то опадало. Если бы не треск и гул, доходящий оттуда,
и не понять бы, что пустошка горит: дыма от нее почти не отличить было от
приносного, стелющегося над Ангарой, чужого дымления. Дул слабый, угарный
верховик, в горле у Дарьи першило, голова кружилась, ноги ступали наугад.
Справа, за поворотным мысом, все еще доносился стукоток катера, с которым
поехала Майка. Вот и Майка поехала, чуя беду здесь и не чуя ее там, где
теперь встала забота, как докормить ее до мороза, чтоб не испортилось мясо.
Воротца на кладбище были распахнуты, а сразу за воротцами, на первой же
полянке, чернела большим пятном выжженная земля. Дарья вскинула голову и не
увидела на могилках ни крестов, ни тумбочек, ни оградок - то, чему помешали
старухи в начале лета, выступив войной против незнакомых мужиков, потихоньку
под один огонь и дым сделано было теперь. Но теперь Дарья не почувствовала
ни возмущения, ни обиды - один конец. Много чего было видано и вынесено с
той поры - сердце закаменело. Дождалась она, значит, еще и этого - ну и
ладно, что дождалась, так ей написано на роду. Озлиться нельзя: она шла к
своим, а идти туда со смутливой, несогласной душой не годится, пришлось бы
поворачивать назад. Один, один конец...
Она повернула влево и отыскала в глубине леска холмик, под которым
лежали отец и мать, те, кто дал ей жизнь. Холмик был запачкан землей от
вывернутого креста. Слева, ее клали первой, покоилась мать, справа отец. В
изголовье, но не на холмике, а на соступе с него, росла рябина, посаженная
когда-то ею же, Дарьей, на траве валялись клеванные птицей красные ягоды. А
в изножье стояла сосна; в ту пору, когда отрывали могилы, ее здесь и в
помине не было, она взошла позже от вольного упавшего семени. Холмик давно
уже казался Дарье чересчур коротким, она не раз удерживала себя, чтобы не
прилечь, вытянувшись, и не примериться к нему, понять наконец, скатилась ли
с него за долгие годы земля, или, верно, так невелик человек. Ветки рябины и
сосны сошлись наверху вместе. И жутко, грешно, и угодно было думать, что,
быть может, и в их жизни, как и в ее, есть какой-то долей участие тех двоих,
лежащих в глуби, откуда питаются корни. Все, все кругом родное...
Дарья поклонилась могильному холму и опустилась рядом на землю. Ветерок
сюда не пробивался, было тихо, лишь сухо и колко шуршали трынки. Дым еще не
убил того особого, дразнящего и сладковатого запаха, какой стоит только на
кладбище и чудится духом человеческого избывания.
Она прикрыла глаза, чтоб не видеть ни дыма, ни разоренных могил, и,
покачиваясь усыпляющими движениями вперед-назад, как бы отлетая от одного
состояния и правя к другому, набираясь облегчающей небыти, тихонько
объявилась:
- Это я, тятька. Я это, мамка.- Голос был неверный, вяклый, и,
помолчав, подождав, когда придет нужный, она повторила то же самое уже
другим, годным для дальнего проникновения тоном.- Вот пришла. Совсем
ослобонилась, корову и ту седни увезли. Можно помирать. А помирать, тятька,
придется мне мимо Матеры. Не лягу я к вам, ниче не выйдет. И вас хотела с
собой взять, чтоб там вместе лягчи, и это не выйдет. Не сердитесь на меня, я
не виноватая. Я-то виноватая, виноватая, я уж потому виноватая, что это я,
на меня пало. А я бестолковая, не знала, че делать. Ты мне, тятька, говорел,
чтоб я долго жила... я послушалась, жила. А нашто было столь жить, надо бы к
вам, мы бы вместе и были. А теперь че? Не помереть мне в спокое, что я от
вас отказалась, что это на моем, не на чьем веку отрубит наш род и унесет.
Ой, унесет, унесет... А я, клятая, отделяюсь, другое поселенье зачну. Кто
мне такое простит?! Тятька! Мамка! Я-то в чем виноватая? - Она уткнулась
лицом в траву на могильном холме, плечи ее вздрагивали. И туда, в траву, в
землю, горько пожаловалась: - Ды-ы-ымно, дымно у нас. Продыху нету от дыму.
Сами видите. А меня-то вы видите? Видите, какая я стала? Я ваша, ваша, мне к
вам надо... рази можно меня к живым? Я ж туда непригодная, я вашего веку.
Мне к вам... я бы избу ишо проводила и к вам. Пушай огонь, вода...- Она
подняла голову и поправила платок.- Избу нашу, тятька, не седни завтри
тоже... тоже туды. А я глядеть буду. Подойду, чтоб не сильно пекло, и буду
глядеть, хорошо ли горит. А после приду и скажу тебе. Че я сделаю? Ну?
И вдруг ей пришло на ум - будто донесло угадывающимся шепотом откуда-то
издалека-издалека: "А избу нашу ты прибрала? Ты провожать ее собралась, а
как? Али просто уйдешь и дверь за собой захлопнешь? Прибрать надо избу. Мы
все в ей жили". Вздрогнув, Дарья торопливо согласилась: "Приберу, приберу. И
как я из памяти выпустила? Сама бы должна знать. Приберу".
"А ишо че? - надеясь на ответ, спросила она.- Ишо че мне делать? Как
быть-то мне?" - и напряглась, натянулась, вслушиваясь, собирая в одно слабые
проплывающие мимо звуки. Но нет, ничего не сказалось ей. Самое главное не
сказалось. По-прежнему было тихо, шелест листьев и травы не сошелся в ответ.
Она спросила еще раз, уже без надежды,- могилы молчали. И она решила, что не
получила прощения. Так ей и надо. За какие такие заслуги она собиралась его
получить? Сама себя не может простить, а хочет, чтоб простили они,- не стыд
ли?
Дарья подняла глаза - в верхушках деревьев висел дым, в высоком небе
плыли редкие веселые облачка. Солнце опустилось и полосило по кладбищенскому
леску, длинные тени казались закругленными и твердыми - вдоль одной такой
тени прыгали, как по лежащему стволу, друг за дружкой две пташки с
задранными хвостиками. Но Дарья не захотела воротиться в этот мир, где
светило закатным сиянием солнце и прыгали пташки,- было еще не время. Ей
представилось, как потом, когда она сойдет отсюда в свой род, соберется на
суд много-много людей - там будут и отец с матерью, и деды, и прадеды - все,
кто прошел свой черед до нее. Ей казалось, что она хорошо видит их, стоящих
огромным, клином расходящимся строем, которому нет конца,- все с угрюмыми,
строгими и вопрошающими лицами. А на острие этого многовекового клина, чуть
отступив, чтобы лучше ее было видно, лицом к нему одна она. Она слышит
голоса и понимает, о чем они, хоть слова звучат и неразборчиво, но самой ей
сказать в ответ нечего. В растерянности, в тревоге и страхе смотрит она на
отца с матерью, стоящих прямо перед ней, думая, что они помогут, вступятся
за нее перед всеми остальными, но они виновато молчат. А голоса все громче,
все нетерпеливей и яростней... Они спрашивают о надежде, они говорят, что
она, Дарья, оставила их без надежды и будущего. Она пытается отступить, но
ей не дают: позади нее мальчишеский голос требует, чтобы она оставалась на
месте и отвечала, и она понимает, что там, позади, может быть только Сенька,
сын ее, зашибленный лесиной...
Ей стало жутко, и она с трудом оборвала видение. Приходя в себя, Дарья
подумала нетвердой мыслью: "Выходит, и там без надежды нельзя. Нигде нельзя.
Выходит, так".
Она приподнялась, покачалась, устанавливаясь на ноги, поклонилась холму
и пошла в ту сторону, куда падали тени. Голова кружилась еще сильней, чем
раньше, но Сенькина могилка была недалеко, шагах в тридцати, и она,
подковыляв, опять опустилась на землю. "Тянет, тянет земля,- отметила она.-
Седни, как никогда, тянет". Она боялась разговаривать с сыном: вот кого
действительно обманула, не явилась, он там, христовенький, так и будет
маяться на этом поселенье без связки со своим родом-племенем. Теперь все
равно ничего не поделать. Она сидела, уставив перед собой невидящие глаза, и
тяжело, подневольно, не зная ответов, думала и думала. Вокруг среди родных
березок и сосен, кустов рябины и черемухи лежали оголенные, обезображенные
могилы, горбатясь поросшими травой бугорками, чуть ли не в каждой второй из
них покоилась родня: братья, сестра, дядья, тетки, деды, прадеды и дальше,
дальше... Сколько их, она только что в слабом своем представлении видела, да
и то они были не все. Нет, тянет, тянет земля. Подрагивали над ними листья
на деревьях, качалась высокая белеющая трава. Легкое прозрачное облачко
снесло вышним ветром на солнце и, не закрыв, сплющило его - солнечный свет
померк, тени поднялись с земли. Потянуло прохладой.
А Дарья все спрашивала себя, все тщилась отвечать и не могла ответить.
Да и кто, какой ум ответит? Человек приходит в мир и, пожив, устав от жизни,
как теперь она, Дарья, а когда и не устав, неминуемо уходит обратно. Вон
сколько их было, прежде чем дошло до нее, и сколько будет после нее! Она
находится сейчас на самом сгибе: одна половина есть и будет, другая была, но
вот-вот продернется вниз, а на сгиб встанет новое кольцо. Где же их больше -
впереди или позади? И кто знает правду о человеке, зачем он живет? Ради
жизни самой, ради детей, чтобы и дети оставили детей, и дети детей оставили
детей, или ради чего-то еще? Вечным ли будет это движение? И если ради
детей, ради движения, ради этого беспрерывного подергивания - зачем тогда
приходить на эти могилы? Вот они лежат здесь полной материнской ратью,
молчат, отдав все свое для нее, для Дарьи, и для таких, как она,- и что из
этого получается? Что должен чувствовать человек, ради которого жили многие
поколения? Ничего он не чувствует. Ничего не понимает. И ведет он себя так,
будто с него с первого и началась жизнь и им она навсегда закончится. Вы,
мертвые, скажите: узнали, нет вы всю правду там, за этой чертой? Для чего вы
были? Здесь мы боимся ее знать, да и некогда. Что это было - то, что зовут
жизнью, кому это надо? Надо это для чего-то или нет? И наши дети, родившись
от нас, устав потом и задумавшись, станут спрашивать, для чего их рожали.
Тесно уж тут. И дымно. Пахнет гарью.
"Устала я,- думала Дарья.- Ох, устала, устала. Щас бы никуда и не
ходить, тут и припасть. И укрыться, обрести долгожданный покой. И разом
узнать всю правду. Тянет, тянет земля. И сказать оттуль: глупые вы. Вы пошто
такие глупые-то? Че спрашивать-то? Это только вам непонятно, а здесь все-все
до капельки понятно. Каждого из вас мы видим и с каждого спросим. Спросим,
спросим. Вы как на выставке перед нами, мы и глядим во все глаза, кто че
делает, кто че помнит. Правда в памяти".
И уже с трудом верилось Дарье, что она жива, казалось, что произносит
она эти слова, только что познав их, оттуда, пока не успели ей запретить их
открыть. Правда в памяти. У кого нет памяти, у того нет жизни.
Но она понимала: это не вся правда. Предстояло подниматься и идти,
чтобы смотреть и слышать, что происходит, до конца, а потом снести это
сполна виденное, слышанное и испытанное с собой и получить взамен полную
правду. Она с трудом поднялась и пошла.
Справа, где горела пустошка, ярко плескалось в сумерках пламя;
прокалывались в небе звездочки; четко и грозно темнел на поскотине одинокий
"царский листвень". И тихо, без единого огонька и звука, как оставленная
всеми без исключения, лежала, чуть маяча последними избенками, горестная
Матера.

19

Матеру, и остров и деревню, нельзя было представить без этой
лиственницы на поскотине. Она возвышалась и возглавлялась среди всего
остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое
разбрелось по пастбищу. Она и напоминала пастуха, несущего древнюю
сторожевую службу. Но говорить "она" об этом дереве никто, пускай пять раз
грамотный, не решался; нет, это был он, "царский листвень" - так вечно,
могуче и властно стоял он на бугре в полверсте от деревни, заметный почти
отовсюду и знаемый всеми. И так, видно, вознесся он, такую набрал силу, что
решено было в небесах для общего порядка и размера окоротить его - тогда и
грянула та знаменитая гроза, в которую срезало молнией "царскому лиственю"
верхушку и кинуло ее на землю. Без верхушки листвепь присел и потратился, но
нет, не потерял своего могучего, величавого вида, стал, пожалуй, еще
грозней, еще непобедимей. Неизвестно, с каких пор жило поверье, что как раз
им, "царским лиственем", и крепится остров к речному дну, одной общей земле,
и покуда стоять будет он, будет стоять и Матера. Не в столь еще давние
времена по большим теплым праздникам, в Пасху и Троицу, задабривали его
угощением, которое горкой складывали у корня и которое потом собаки же,
конечно, и подбирали, но считалось: надо, не то листвень может обидеться.
Подати эти при новой жизни постепенно прекратились, но почтение и страх к
наглавному, державному дереву у старых людей по-прежнему оставались. На это,
верно, имели свои причины.
Толстые огромные ветви отходили у "царского лиственя" от ствола не
вверх наискосок, как обычно, а прямо в стороны - будто росли вбок
самостоятельные деревья. Самая нижняя такая ветка одиноко висела метрах в
четырех от земли и издавна звалась "Пашиным суком": когда-то на нем
повесилась сглупа от несчастной любви молодая материнская девка Паша.
Колчаковцы, захватив остров, слыхом не слыхали про Пашу, однако сук ее
сумели как-то распознать и именно на нем, не на каком другом, вздернули двух
своих же, из собственного воинства, солдат. Чем они провинились, толком в
Матере никто не знал. Весь день, наводя небывалую жуть на старых и малых,
торчали висельцы на виду у деревни, пока мужики не пошли и не попросили ради
ребятишек вынуть их из петли. Мертвых, их предали тогда еще и другой казни:
сбросили с яра в Ангару.
И последняя, уже совсем безвинная смерть случилась под "царским
лиственем" после войны: все с того же "Пашиного сука" оборвался и
захлестнулся мальчишка, Веры Носаревой сын. Только после того, а надо бы
куда раньше, догадались мужики отсечь сук, а ребятишки сожгли его.
Вот сколько всяких историй связано было с "царским лиственем".
За век свой он наровнял так много хвои и шишек, что земля вокруг
поднялась легким, прогибающимся под ногой курганом, из которого и выносился
могучий, неохватный одними руками ствол. О него терлись коровы, бились
ветры, деревенские парни приходили с тозовкой и стреляли, сшибая наросты
серы, которой потом одаривали девок,- и кора со временем сползла, листвень
оголился и не способен был больше распускать по веснам зеленую хвою. Слабые
и тонкиe, дальние, в пятом-шестом колене, сучки отваливались и опадали. Но
то, что оставалось, становилось, казалось, еще крепче и надежней,
приваривалось навеки. Ствол выбелился и закостенел, его мощное разлапистое
основание, показывающее бугры корней, вызванивало одну твердь, без всякого
намека на трухлявость и пустоту. Со стороны, обращенной к низовьям, как бы
со спины, листвень издавна имел широкое, чуть втиснутое внутрь дуплистое
корявое углубление - и только, все остальное казалось цельным и литым.
А неподалеку, метрах в двадцати ближе к Ангаре, стояла береза, все еще
зеленеющая, дающая листву, но уже старая и смертная. Лишь она решилась
когда-то подняться рядом с грозным "царским лиственем". И он помиловал ее,
не сжил. Быть может, корни их под землей и сходились, знали согласие, но
здесь, на виду, он, казалось, выносил случайную, заблудшую березу только из
великой и капризной своей милости.
И вот настал день, когда к нему, к "царскому лиственю", подступили
чужие люди. Это был уже не день, а вечер, солнце село, и на остров
спускались сумерки. Люди эти возвращались со своей обычной работы, которую
они исполняли на Матере добрых две недели. И как ни исправно, как ни
старательно они исполняли ее, время шло еще быстрей, сроки подгоняли.
Приходилось торопиться. Работа у этих людей имела ту особенность, что ее
можно было иной раз развести как следует, расшуровать, а затем она могла
продолжаться самостоятельно. Вот почему уже под ночь два мужика с
прокопченными сверх меры, дублеными лицами свернули с дороги и приблизились
к дереву.
Тот, что шел первым, с маху, пробуя листвень, стукнул обухом топора о
ствол и едва удержал топор, с испугом отдернув голову,- с такой силой он
спружинил обратно.
- Ого! - изумился мужик.- Зверь какой! Мы тебе, зверю... У нас дважды
два - четыре. Не таких видывали.
Второй, постарше, держал в руках канистру и, поглядывая на деревню,
зевал. Он был в высоких болотных сапогах, которые при ходьбе неприятно, с
резиновым взвизгом, шоркали. При той работе, которую творил их хозяин,
сапоги казались несуразными, погубленными совершенно понапрасну, и как
терпели в них ноги, было непонятно. Для воды, по крайней мере, они уже не
годились: на том и другом темнели дырки.
Мужики обошли вокруг ствола и остановились напротив дуплистого
углубления. Листвень вздымался вверх не прямо и ровно, а чуть клонясь,
нависал над этим углублением, точно прикрывая его от посторонних глаз. Тот,
что был с топором, попробовал натесать щепы, но топор на удивление
соскальзывал и, вызваниваясь, не мог вонзиться и захватить твердь, оставляя
на ней лишь вмятины. Мужик оторопело мазнул по дереву сажной верхонкой,
осмотрел на свет острие топора и покачал головой.
- Как железное,- признал он и опять ввернул непонятную арифметическую
угрозу:- Нич-че, никуда не денешься. У нас пятью пять - двадцать пять.
Он отбросил в сторону бесполезный топор и взялся собирать и ломать
ногами валявшиеся кругом сучья, складывая их крест-накрест под дуплистой
нишей. Товарищ его молча, все с той же позевотой, полил из канистры ствол
бензином и остатки побрызгал на приготовленный костерок. Оставил позадь себя
канистру и чиркнул спичку. Огонь тотчас схватился, поднялся и захлестнул
ствол.
- Вот так,- удовлетворенно сказал разговорчивый мужик, подбирая с земли
топор.- Посвети-ка, а то темно стало. Мы темно не любим.
И они направились в деревню, пошли ужинать и ночевать, уверенные, что,
покуда они будут спать, огонь станет делать свое дело. Когда они уходили, он
так ярко спеленал всю нижнюю часть могучего лиственя, так хватко и жорко
рвался вверх, что сомневаться в нем было бы совестно.
Но утром, когда они шли на нижний край острова, где еще оставалась
работа, листвень как ни в чем не бывало стоял на своем месте.
- Гляди-ка ты! - удивился тот же мужик.- Стоит! Ну постой, постой...-
Это был веселый мужик, он баском пропел:- "Ты постой, постой, красавица моя,
дай мне наглядеться вдоволь на тебя".
Однако глядеть на него он не собирался. Вскоре после обеда пожогщики,
это были они, вернулись к лиственю всей командой - пять человек. Снова
ходили они вокруг дерева, трогали его топорами, пытались рубить и оставляли
эти попытки: топоры, соскребая тонкую гарь, отскакивали от ствола, как от
резины.
- Ну зверь! - с восхищением щурился на листвень веселый мужик.- На
нашего хозяина похожий.- Он имел в виду Богодула.- Такой же ненормальный.
Нет чтоб добром сгореть, людей не мучить. Все равно ведь поддашься. У нас
шестью шесть - тридцать шесть.
- Плюнуть на него,- неуверенно предложил, косясь на бригадира, второй
вчерашний знакомец лиственя - в болотных сапогах.- К чему нам дочиста все
соскребать!
Бригадир, по стати самый невзрачный из всех, но с усиками, чтобы не
походить на мальчишку, задрал вверх голову:
- Здоровый, зараза! Не примут. Надо что-то делать.
- Пилу надо.
- Пилой ты его до морковкиного заговенья будешь ширкать. Тут пилу по
металлу надо.
- Я говорю про бензопилу.
- Не пойдет. Ишь че: ширше...- следовало непечатное слово.- Для него
твоя бензопила - что чикотка.
Один из тех, кто не был накануне возле лиственя, поднял с земли тонкую
горелую стружку и понюхал ее.
- Что зря базарить?! - с усмешкой сказал он.- Нашли закавыку! Гольное
смолье. Посмотрите. Развести пожарче, и пыхнет как миленький.
- Разводили же вчера.
- Плохо, значит, разводили. Горючки надо побольше.
- Давай попробуем еще. Должна загореться.
Болотные сапоги отправили на берег к бочке с бензином, остальные
принялись подтаскивать с упавшей городьбы жерди, рубить их и обкладывать
листвень высокой, в рост человека, клеткой, и не в одну, а в две связи.
Внутрь натолкали бересты, до голого тела ободрав березу, и мелкие сучья. К
тому времени был доставлен бензин - не жалея, полили им вокруг весь ствол и
снизу, от земли, подожгли. Огонь затрещал, скручивая бересту, пуская черный,
дегтярный дым, и вдруг разом пыхнул, на мгновение захлебнулся своим широким
дыхом и взвился высоким разметным пламенем. Мужики, отступая, прикрывали
лица верхонками.
- Как дважды два - четыре,- победно крикнул тот, веселый...
Но он опять поторопился радоваться. Огонь поплясал, поплясал и начал,
слизнув бензин, сползать, отделяться от дерева, точно пылал вокруг воздух, а
листвень под какой-то надежной защитной броней оставался невредимым.
Через десять минут огонь сполз окончательно, занялись с треском сухие
жерди, но они горели сами по себе, и огонь от них к "царскому лиственю" не
приставал, только мазал его сажей.
Скоро догорели и жерди. Новые таскать было бессмысленно. Мужики
ругались. А дерево спокойно и величественно возвышалось над ними, не
признавая никакой силы, кроме своей собственной.
- Надо завтра бензопилой все-таки попробовать,- согласился бригадир,
только что уверявший, что для такой твердыни и махины бензопила не годится.
И опять, уже громче, уверенней, прозвучали отступные слова:
- Плюнуть на него - и дело с концом! Пускай торчит - хрен с ним! Кому
он помешал! Вода-то, где будет?! Деревню надо убирать, а мы тут с этим
связались...
- Все бы плевали! - разозлился бригадир.- Плевать мы мастера, этому нас
учить не надо. А принимать приедут - куда ты его спрячешь? Фуфайкой
закроешь? Неужели дерево не уроним?
- Было бы это дерево...
На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не пристяжному
подступили к "царскому лиственю" с бензопилой. Пилить взялся сам бригадир.
Бочком, без уверенности подошел он к дереву, покосился еще раз на его
могутность и покачал головой. Но все-таки пустил пилу, поднес ее к стволу и
надавил. Она дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легонький надрез
оставить успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее - пила
зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая струйка
бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, что пила не идет. Качать ее
толстый ствол не позволял, можно было лишь опоясать его кругом неглубоким
надрезом - не больше. Это было все равно что давить острой опасной бритвой
по чурке, стараясь ее перерезать,- результат один. И бригадир оставил пилу.
- Неповалимый,- сдался он и, зная теперь лиственю полную цену, еще раз
смерил его глазами от земли доверху.- Пускай с тобой, с заразой, возится,
кому ты нужна!
Он подал пилу оказавшимся рядом болотным сапогам и со злостью кивнул на
березу:
- Урони хоть ее. Чтоб не торчала тут. Наросли, понимаешь...
И береза, виноватая только в том, что стояла она вблизи с могучим и
норовистым, не поддавшимся людям "царским лиственем", упала, ломая последние
свои ветви и обнажив в местах среза и сломав уже и не белое, уже красноватое
старческое волокно. "Царский листвень" не шелохнулся в ответ. Чуть
склонившись, он, казалось, строго и внимательно смотрел на нижний край
острова, где стояли материнские леса. Теперь их там не было. Лишь кое-где на
лугу сиротливо зеленели березы да на гарях чернели острые обугленные столбы.
Низкие, затухающие дымы ползли по острову; желтела, как дымилась, стерня на
полях с опаленными межами; выстывали луга; к голой, обезображенной Матере
жалась такая же голая, обезображенная Подмога.
Один выстоявший, непокорный "царский листвень" продолжал властвовать
надо всем вокруг. Но вокруг него было пусто.

20

Известки не было, и взять ее было негде. Пришлось Дарье идти на косу
близ верхнего мыса и подбирать белый камень, а потом через силу таскать его,
вытягивая последние руки, в ведре, потому что все мешки увезли с картошкой в
поселок, а потом через "не могу" нажигать этот камень, как в старину. Но на
диво, и сама начинала - не верила, что достанет мочи, управилась: нажгла и
добыла известку.
Кистка нашлась, кистки у Дарьи постоянно водились свои, из высокой и
легкой белой лесной травы, резанной перед самым снегом.
Белить избу всегда считалось напраздником; белили на году по два раза -
после осенней приборки перед покровом и после зимней топки на Пасху.
Подготовив, подновив избу, выскоблив косарем до молочно-отстойной желтизны
пол, принимались за стряпню, за варево и жарево, и крутиться возле
подбеленной же печки с гладко вылизанным полом, среди чистоты и порядка, в
предчувствии престольного праздника, было до того ловко и приятно, что
долго-долго не сходило потом с души светлое воскресение.
Но теперь ей предстояло готовить избу не к празднику, нет. После
кладбища, когда Дарья спрашивала над могилой отца-матери, что ей делать, и
когда услышала, как почудилось ей, один ответ, ему она полностью и
подчинилась. Не обмыв, не обрядив во все лучшее, что только есть у него,
покойника в гроб не кладут - так принято. А как можно отдать на смерть
родную избу, из которой выносили отца и мать, деда и бабку, в которой сама
она прожила всю, без малого, жизнь, отказав ей в том же обряженье? Нет,
другие как хотят, а она не без понятия. Она проводит ее как следует. Стояла,
стояла, христовенькая, лет, поди, полтораста, а теперь все, теперь поедет.
А тут еще зашел один из пожогщиков и подстегнул, сказав:
- Ну что, бабки,- перед ним они были вcе вмеcте - Дарья, Катерина и
Сима,- нам ждать не велено, когда вы умрете. Ехать вам надо. А нам -
доканчивать свое дело. Давайте не тяните.
И Дарья заторопилась - не то, не дай бог, подожгут без спросу. Весь
верхний край Матеры, кроме колчаковского барака, был уже подчищен, на нижнем
оставалось шесть сгрудившихся в кучу, сцепившихся неразлучно избенок,
которые лучше всего провожать с двух сторон одновременно, по отдельности не
вырвать.
Увидев наведенную известку, Катерина виновато сказала:
- А я свою не прибрала.
- Ты ж не знала, как будет,- хотела успокоить ее Дарья.
- Не знала,- без облегченья повторила Катерина.
Голова, когда Дарья взбиралась на стол, кружилась, перед глазами
протягивались сверкающие огнистые полосы, ноги подгибались. Боясь свалиться,
Дарья торопливо присаживалась, зажимала голову руками, потом, подержав,
приведя ее в порядок и равновесие, снова поднималась - сначала на
четвереньки,- хорошо, стол был невысокий и нешаткий, затем на ноги. Макала
кисткой в ведро с известкой и, держась одной рукой за подставленную
табуретку, другой, неловко кособенясь, короткими, а надо бы вольными,
размашистыми, движениями водила кисткой по потолку. Глядя, как она мучается,
Сима просила:
- Дай мне. Я помоложе, у меня круженья нету.
- Сиди! - в сердцах отвечала ей Дарья, злясь на то, что видят ее
немощь.
Нет, выбелит она сама. Дух из нее вон, а сама, эту работу перепоручать
никому нельзя. Руки совсем еще не отсохли, а тут нужны собственные руки, как
при похоронах матери облегчение дают собственные, а не заемные слезы. Белить
ее не учить, за жизнь свою набелилась - и известка ложилась ровно, отливая
от порошка мягкой синевой, подсыхающий потолок струился и дышал. Оглядываясь
и сравнивая, Дарья замечала: "Быстро сохнет. Чует, че к чему, торопится. Ох,
чует, чует, не иначе". И уже казалось ей, что белится тускло и скорбно, и
верилось, что так и должно белиться.
Там, на столе, с кисткой в руке, и застигнул ее другой уже пожогщик -
они, видать, подрядились подгонять по очереди. От удивления он широко
разинул глаза:
- Ты, бабка, в своем уме?! Жить, что ли, собралась? Мы завтра поджигать
будем, а она белит. Ты что?!
- Завтри и поджигай, поджигатель,- остановила его сверху Дарья суровым
судным голосом.- Но только не ране вечеру. А щас марш отсель, твоей тут
власти нету. Не мешай. И завтри, слышишь, и завтри придешь поджигать - чтоб
в избу не заходил. Оттуль поджигай. Избу чтоб мне не поганил. Запомнил?
- Запомнил,- кивнул обалдевший, ничего не понимающий мужик. И,
поозиравшись еще, ушел.
А Дарья заторопилась, заторопилась еще пуще. Ишь, зачастили, неймется
им, охолодали. Они ждать не станут, нет, надо скорей. Надо успеть. В тот же
день она выбелила и стены, подмазала русскую печку, а Сима уже в сумерках
помогла ей помыть крашеную заборку и подоконники. Занавески у Дарьи были
выстираны раньше. Ноги совсем не ходили, руки не шевелились, в голову
глухими волнами плескалась боль, но до поздней ночи Дарья не позволяла себе
остановиться, зная, что остановится, присядет - и не встанет. Она двигалась
и не могла надивиться себе, что двигается, не падает - нет, вышло, значит, к
ее собственным слабым силенкам какое-то отдельное и особое дополнение ради
этой работы. Разве смогла бы она для чего другого провернуть такую уйму дел?
Нет, не смогла бы, нечего и думать.
Засыпала она под приятный, холодящий чистотой запах подсыхающей
известки.
И утром чуть свет была на ногах. Протопила русскую печь и согрела воды
для пола и окон. Работы оставалось вдоволь, залеживаться некогда. Подумав об
окнах, Дарья вдруг спохватилась, что остались небелены ставни. Она-то
считала, что с беленкой кончено, а про ставни забыла. Нет, это не дело.
Хорошо, не всю вчера извела известку.
- Давай мне,- вызвалась опять Сима. И опять Дарья отказала:
- Нет, это я сама. Вам и без того таски хватит. Последний день седни.
Сима с Катериной перевозили на тележке в колчаковский барак Настасьину
картошку. Им помогал Богодул. Спасали, сгребая, от сегодняшней гибели, чтобы
ссыпать под завтрашнюю - так оно скорей всего и выйдет. Колчаковский барак
тоже долго не выстоит. Но пока можно было спасать - спасали, иначе нельзя.
Надежды на то, что Настасья приедет, не оставалось, но оставалось
по-прежнему старое и святое, как к богу, отношение к хлебу и картошке.
Дарья добеливала ставни у второго уличного окна, когда услышала позади
себя разговор и шаги - это пожогщики полным строем направлялись на свою
работу. Возле Дарьи они приостановились.
- И правда, спятила бабка,- сказал один веселым и удивленным голосом.
Второй голос оборвал его:
- Помолчи.
К Дарье подошел некорыстный из себя мужик с какой-то машинкой на плече.
Это был тот день, когда пожогщики в третий раз подступали к "царскому
лиственю". Мужик, кашлянув, сказал:
- Слышь, бабка, сегодня еще ночуйте. На сегодня у нас есть чем
заняться. А завтра все... переезжайте. Ты меня слышишь?
- Слышу,- не оборачиваясь, ответила Дарья.
Когда они ушли, Дарья села на завалинку и, прислонясь к избе, чувствуя
спиной ее изношенное, шершавое, но теплое и живое дерево, вволю во всю свою
беду и обиду заплакала - сухими, мучительными слезами: настолько горек и
настолько радостен был этот последний, поданный из милости день. Вот так же,
может статься, и перед ее смертью позволят: ладно, поживи еще до завтра - и
что же в этот день делать, на что его потратить? Э-эх, до чего же мы все
добрые по отдельности люди и до чего же безрассудно и много, как нарочно,
все вместе творим зла!
Но это были ее последние слезы. Проплакавшись, она приказала себе, чтоб
последние, и пусть хоть жгут ее вместе с избой, все выдержит, не пикнет.
Плакать - значит напрашиваться на жалость, а она не хотела, чтобы ее жалели,
нет. Перед живыми она ни в чем не виновата - в том разве только, что
зажилась. Но кому-то надобно, видать, и это, надобно, чтобы она была здесь,
прибирала сейчас избу и по-свойски, по-родному проводила Матеру.
В обед собрались опять возле самовара - три старухи, парнишка и
Богодул. Только они и оставались теперь в Матере, все остальные съехали.
Увезли деда Максима: на берег его вели под руки, своим ходом дед идти не
мог. Приехала за Тунгуской дочь, пожилая уже, сильно схожая лицом с матерью,
привезла с собой вина, и Тунгуска, выпив, долго что-то кричала с реки, с
уходящего катера, на своем древнем непонятном языке. Старший Кошкин в
последний наезд вынул из избы оконные рамы и сам, своей рукой поджег домину,
а рамы увез в поселок. Набегал на той неделе и Воронцов, разговаривал с
пожогщиками и, когда попал ему на глаза Богодул, пристал к нему, требуя,
чтобы Богодул немедленно снимался с острова.
- Если бездетный, бездомный, я напишу справку об одиночестве,-
разъяснял он.- Райисколком устроит. Давай-ка собирайся.
- Кур-р-рва! - много не разговаривая, ответил Богодул и повернулся
тылом.
- Ты смотри... как тебя? - пригрозил, растерявшись, Воронцов.- Я могу и
участкового вызвать. У меня это недолго. Я с тобой, с элементом, политику
разводить не очень. Ты меня понял или не понял?
- Кур-р-рва! - Вот и разбери: понял или не понял.
Но все это уже было, прошло; последние два дня никто в Матеру больше не
наведывался. И делать было нечего: все, что надо, свезли, а что не надо - то
и не надо. На то она и новая жизнь, чтоб не соваться в нее со старьем.
За чаем Дарья сказала, что пожогщики отставили огонь до завтра, и
попросила:
- Вы уж ночуйте там, где собирались. Я напоследок одна. Есть там где
лягчи-то?
- Японский бог! - возмутился Богодул, широко разводя руки.- Нар-ры.
- А завтра и я к вам,- пообещала Дарья.
После обеда, ползая на коленках, она мыла пол и жалела, что нельзя его
как следует выскоблить, снять тонкую верхнюю пленку дерева и нажити, а потом
вышоркать голиком с ангарским песочком, чтобы играло солнце. Она бы
как-нибудь в конечный раз справилась. Но пол был крашеный, это Соня настояла
на своем, когда мытье перешло к ней, и Дарья не могла спорить. Конечно, по
краске споласкивать легче, да ведь это не контора, дома и понагибаться не
велика важность, этак люди скоро, чтоб не ходить в баню, выкрасят и себя.
Сколько тут хожено, сколько топтано - вон как вытоптались яминами,
будто просели, половицы. Ее ноги ступают по ним последними.
Она прибиралась и чувствовала, как истончается, избывается всей своей
мочью,- и чем меньше оставалось дела, меньше оставалось и ее. Казалось, они
должны были изойти враз, только того Дарье и хотелось. Хорошо бы, закончив
все, прилечь под порожком и уснуть. А там будь что будет, это не ее забота.
Там ее спохватятся и найдут то ли живые, то ли мертвые, и она поедет куда
угодно, не откажет ни тем, ни другим.
Она пошла в телятник, раскрытый уже, брошенный, с упавшими затворами,
отыскала в углу старой загородки заржавевшую, в желтых пятнах, литовку и
подкосила травы. Трава была путаная, жесткая, тоже немало поржавевшая, и не
ее бы стелить на обряд, но другой в эту пору не найти. Собрала ее в
кошеломку, воротилась в избу и разбросала эту накось по полу; от нее пахло
не столько зеленью, сколько сухостью и дымом - ну да недолго ей и лежать,
недолго и пахнуть. Ничего, сойдет. Никто с нее не взыщет.
Самое трудное было исполнено, оставалась малость. Не давая себе
приткнуться, Дарья повесила на окошки и предпечье занавески, освободила от
всего лишнего лавки и топчан, аккуратно расставила кухонную утварь по своим
местам. Но все, казалось ей, чего-то не хватает, что-то она упустила.
Немудрено и упустить: как это делается, ей не довелось видывать, и едва ли
кому довелось. Что нужно, чтобы проводить с почестями человека, она знает,
ей был передан этот навык многими поколениями живших, тут же приходилось
полагаться на какое-то смутное, неясное наперед, но все время кем-то
подсказываемое чутье. Ничего, зато другим станет легче. Было бы начало, а
продолжение никуда не денется, будет.
И чего не хватало еще, ей тоже сказалось. Она взглянула в передний
угол, в один и другой, и догадалась, чо там должны быть ветки пихты. И над
окнами тоже. Верно, как можно без пихтача? Но Дарья не знала, остался ли он
где-нибудь на Матере - все ведь изурочили, пожгли. Надо было идти и искать.
Смеркалось; вечер пал теплый и тихий, со светленькой синевой в небе и в
дальних, промытых сумерками, лесах. Пахло, как всегда, дымом, запах этот не
сходил теперь с Матеры, но пахло еще почему-то свежестью, прохладой
глубинной, как при вспашке земли. "Откуда же это?" - поискала Дарья и не
нашла. "А оттуда, из-под земли,- послышалось ей.- Откуда же еще?" И правда -
откуда же сирой земляной дух, как не из земли?
Дарья шла к ближней верхней проточке, там пограблено было меньше, и
шлось ей на удивление легко, будто и не топталась без приседа весь день,
будто что-то несло ее, едва давая касаться ногами тропки для шага. И
дышалось тоже свободно и легко. "Правильно, значит, догадалась про пихту
ту",- подумала она. И благостное, спокойное чувство, что все она делает
правильно, даже то, что отказала в последней ночевке Симе и Катерине,
разлилось по ее душе. Что-то велело же ей отказать, без всякой готовой
мысли, одним дыхом?! И что-то толкнуло же пожогщика отнести огонь на завтра
- тоже, поди, не думал, не гадал, а сказал. Нет, все это не просто, все со
смыслом. И она уже смотрела на перелетающую чуть поперед и обок желтогрудую
птичку, которая то садилась, то снова вспархивала, словно показывая, куда
идти, как на дальнюю и вещую посланницу.
Она отыскала пихту, которая сбереглась для нее и сразу же показала
себя, нарвала полную охапку и в потемках воротилась домой. И только дома
заметила, что воротилась, а как шла обратно, о чем рассуждала дорогой, не
помнила. Ее по-прежнему не оставляло светлое, истайна берущееся настроение,
когда чудилось, что кто-то за ней постоянно следит, кто-то ею руководит.
Устали не было, и теперь, под ночь, руки-ноги точно раскрылились и двигались
неслышно и самостоятельно.
Уже при лампе, при ее красноватом и тусклом мерцании она развешивала с
табуретки пихту по углам, совала ее в надоконные пазы. От пихты тотчас
повеяло печальным курением последнего прощания, вспомнились горящие свечи,
сладкое заунывное пение. И вся изба сразу приняла скорбный и отрешенный,
застывший лик. "Чует, ох чует, куда я ее обряжаю",- думала Дарья,
оглядываясь вокруг со страхом и смирением: что еще? что она выпустила,
забыла? Все как будто на месте. Ей мешало, досаждало вязкое шуршание травы
под ногами; она загасила лампу и взобралась на печь.
Жуткая и пустая тишина обуяла ее - не взлает собака, не скрипнет ни под
чьей ногой камешек, не сорвется случайный голос, не шумнет в тяжелых ветках
ветер. Все кругом точно вымерло. Собаки на острове оставались, три пса,
брошенных хозяевами на произвол судьбы, метались по Матере, кидаясь из
стороны в сторону, но в эту ночь онемели и они. Ни звука.
Испугавшись, Дарья слезла с печки обратно и начала молитву.
И всю ночь она творила ее, виновато и смиренно прощаясь с избой, и
чудилось ей, что слова ее что-то подхватывает и, повторяя, уносит вдаль.
Утром она собрала свой фанерный сундучишко, в котором хранилось ее
похоронное обряженье, в последний раз перекрестила передний угол, мыкнула у
порога, сдерживаясь, чтобы не упасть и не забиться на полу, и вышла,
прикрыла за собой дверь. Самовар был выставлен заранее. Возле Настасьиной
избы, карауля ее, стояли Сима с Катериной. Дарья сказала, чтоб они взяли
самовар, и, не оборачиваясь, зашагала к колчаковскому бараку. Там она
оставила свой сундучок возле первых сенцев, а сама направилась во вторые,
где квартировали пожогщики.
- Все,- сказала она им.- Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой...
И ушла из деревни. И где она была полный день, не помнила. Помнила
только, что все шла и шла, не опинаясь, откуда брались и силы, и все будто
сбоку бежал какой-то маленький, не виданный раньше зверек и пытался
заглянуть ей в глаза.
Старухи искали ее, кричали, но она не слышала.
Под вечер приплывший Павел нашел ее совсем рядом, возле "царского
лиственя". Дарья сидела на земле и, уставившись в сторону деревни, смотрела,
как сносит с острова последние дымы.
-- Вставай, мать,- поднял ее Павел.- Тетка Настасья приехала.

21

Настасья с зажатым в руках лицом, всхлипывая и раскачиваясь
вперед-назад, слабо выстанывала:
- А Егор-то... Егор-то!..
Старухи растерянно и подавленно молчали, не зная, верить, не верить в
смерть деда Егора. Кто скажет, не тронулась ли Настасья в городе за это
время еще больше, и если здесь она выдумывала про старика, будто он без
конца плачет да кровью исходит, не подвинулась ли там своей больной головой
до смерти? А дед Егор, может, сидит сейчас и как ни в чем не бывало палит
свою трубку. Да ведь страшно и подумать, что стала бы она хоронить живого,
что дело дошло уже до этого. И страшно представить, что деда Егора нет...
Богодуловское жилье было узким, как коридор, и до основания запущенным,
грязным. Шмутки, которые снесли сюда вчера и сегодня старухи, только
добавляли беспорядка. На нарах поверх постеленного сена валялись фуфайки,
одеяла, мелкое, увязанное в узлы тряпье; на убогом, голом и щелястом столе
громоздилась гора посуды. Дарьин самовар стоял на полу возле единственного
окошка без нижней стеклины. Там, в этом просвете, садилось солнце, под
которым сально топилось уцелевшее, но непроглядное, годами удобренное мухами
стекло. На полу была натоптана красная пыль от кирпичей, где когда-то стояла
железная печка. Теперь печки не было никакой, да и во всем этом курятнике с
нарами, как насестом, у одной стены и длинным, как корыто, столом - у
другой, не пахло даже мало-мальски жилым духом.
Но выбирать, искать что поприличней не приходилось. К этому часу только
он, колчаковский барак, и уцелел, ни единой ни стайки, ни баньки больше не
осталось. На нижнем краю еще чадили разверстые избища, в горячем пепле время
от времени что-то донятое жаром, будто порох, фукало, мертво и страшно
остывали вышедшие на простор и вид русские печи. Все: снялась, улетела
Матера - царство ей небесное! Этот барак не считается, он, рубленный чужими
руками, и всегда-то был сбоку припека, с ним не захотели возиться даже
пожогщики и под вечер на заказанном заранее
катере, собравшись подчистую, укатили. На прощанье двое из них зашли на
Богодулову половину, где, дрожа от страха и скрываясь от картины горящих
изб, прятались Сима с Катериной.
- Ну что, бабки, с вами делать? - сказал один.- Неуемные вы старухи -
так и так ведь сгонят. А нам пережидать... ну вас! Мы лучше в баню поедем,
вашу сажу смывать. Поджигайте эту крепость сами, раз такое дело.
- Слышь ты, бурлык! - окликнул второй Богодула.- Чтоб в целости не
оставляли после себя, не положено. Спички-то есть?
- Кур-рва! - рывкнул Богодул, а Сима, испуганно и обрадованно
засуетившись, перевела:
- Есть, есть у нас спички. Есть. Мы сами.
Уже после них, только они отбыли, приехал Павел, привез Настасью, потом
привел с поскотины мать. Он растерялся и не знал, что делать со старухами: в
одну лодку не сгрузить, тут еще этот пень замшелый - Богодул, да они сразу
сейчас и не поедут. Он понял это, когда увидел мать, но все-таки спросил:
- Может, сегодня и соберемся? Завтра я бы за остальными приехал.
Она не стала даже отвечать.
- Ладно,- подумав, согласился он.- Раз тетка Настасья тут - ладно. А
через два дня я возьму катер. Слышь, мать: через два дня. Завтра я в ночь
работаю. А послезавтра будьте готовы. И мешки прихвачу - может, увезем вашу
картошку.
Он походил, походил возле горячих пожарищ и уплыл. Так они остались
совсем одни, но уже не впятером, уже с Настасьей вшестером.
Чуть успокоившись, пригасив вспыхнувшую от встречи с Матерой боль,
Настасья рассказывала:
- Как приехали, обосновались, он ни ногой никуды, все дома и дома. Я
говорю: "Ты пошто, Егор, не выйдешь-то? Пошто к людям-то не выйдешь? Люди-то
все такие же, как мы, все утопленники". А нас так и зовут другие-то, кто не
с Ангары: утопленники. Весь, почитай, дом из однех утопленников. По вечеру
сползем вниз за дверку, где народ по улице кружит, сядем и бормо-очем,
бормочем... Кто откуль: и черепановская одна старуха есть, и воробьевские, и
шаманские. Говорим, говорим про старую-то жисть, про эту-то... А он все
дома, все один. Радиу разведет, радиа у нас там своя, и слушат, слушат. Я
говорю: "Пошли, Егор, че люди говорят, послушай. Че хорошего ты по
воздуху-то наслышишь?" Нет, он уткнется, ничем его не оттащить. На меня же
ишо сердится, что я пристаю. Как домовой сделается. А сам пла-ачет,
плачет...
- Как поехала-то ты, тоже плакал? Как сюды-то поехала? - замирая и
стыдясь своих слов, которыми она хотела подловить и провести Настасью,
спросила Дарья.
- Как поехала-то? - не понимая, переспросила Настасья.- Куды поехала?
- Да сюды-то поехала?
Лицо у Настасьи запрыгало, затряслось.
- Он бы плакал... Он бы плакал, да он ж... он как плакать-то будет? Он
опосле-то уж не плакал, когда помер,- вы че это?! Лежит, весь такой
светленый, светленый, он-то, Егор-то... Я увиваюсь над им, я убиваюсь...-
она опять закачалась вперед-назад,- ...а он лежи-ыт, лежит, молчи-ит,
молчит...
- Схоронить-то пособлял кто, нет? - спросила Катерина, и Настасья,
словно обрадовавшись вопросу, заговорила спокойней и живей:
- Схоронить-то хорошо пособили. Че зря говореть: народ добрый. Свой
народ-то, из одной Ангары воду пили. Аксинья черепановская пришла обмыла...
Да че говореть: весь заезд приходил. Там кто в одну дверку по лестнице
заехал - "заезд" называют. Гроб откуль-то добыли, привезли, матерьялом
обтянулив - я ни к чему и не касалась. Опосле машину подогнали, вынесли.
Однако что, Аксинья надо всем и правила, воистая такая... не погляди, что
старуха, что в такой же деревне жила. А от как-то пообвыкла, как тут и была,
и ниче. Егор, он никак не хотел обыкать, уж так тосковал, так плакал... Весь
остатный свет - радиа эта. Слушат и вздыхат, слушат и вздыхат. Я спросю: "Че
там, Егор, говорят-то, что ты не наслушаешься?" - "Посевная,- грит,- идет".-
"Какая посевная? Какая посевная - под осень дело, погляди в окошко-то. Ума,
че ли,- говорю,- решился?" - "А эта посевная,- грит,- круглый год идет". Я
говорю: "Ты че, Егор, молотишь-то? Ты че мелешь-то? Ты лутче, старый,
поплачь, лишнего не выдумывай". А он, Егор-то, вы помните, какой он был
поперешный. Он мне: "То и молотю, то и мелю, что урожайность даю". Он под
послед совсем заговариваться стал. А сам без улишного воздуха извесь уж
прозрачный сделался, белый, весь потоньчел. И дале боле, дале боле. На
глазах погасал. Я спросю: "Че болит-то, Егор? Где у тебя, в каком месте
болит-то?" Я ж не слепая, вижу, что тает он. Он никак не открывался до
последнего часу ерепенился. "Он слышишь,- грит,- бонбы кидают?" - "Это,
Егор, не бонбы,- я ему говорю,- это землю спуста подрывают, чтобы не
копать". Мне старухи на лавочке внизу уж пояснили, что землю рвут, а то я
попервости-то, как ухнуло, едва тут и не кончилась. А он-то никуды не ходил,
это я ему доносю, что так и так. "Ухозвон,- грит,- ухозвон замучил". Только
на этот ухо-звон и жалился, боле ни на че.
- А помер спокойно, не маялся?
- Помер спокойно. Спокойней спокойного помер, дай-то бог и мне так.
Днем говорит: "Поди, Настасья, возьми красненького, чей-то я весь отерп.
Возьми,- говорит,- я кровь подгоню, а то она завернулась куды-то вся". Я
пошла. У нас магазин через дорогу, а в том магазине красненького не было, я
пошла ишо через дорогу. Там машины, со всего белого свету машины - так и
фуркают мимо, так и фуркают. Я боюсь идти, боле того простояла. Головенку-то
туды-сюды, туды-сюды, когда оне пробегут. И долго, видать, ходила.
Ворочаюсь, а Егор на меня так пытко-пытко глядит. Принесла, грю, Егор, не
сердись, не ходовитая я по городу. Он ниче. Встал ко столу-то, встал и
покачнулся, и сам застыдился, что покачнулся, обругал себя. Сели мы, уж
вечер. Немного и посидели, а выпил он на два пальца в стакане. Нет, грит, не
питок, не лезет. И назад в постель. Мы с им нарозь спали. Он на кровати на
нашей, а я на этой, на лягушке-то городской, которая в гармошку
складывается. Лег - и вижу: глядит на меня. "Че,- говорю,- Егор, можеть,
надо че?" - Голос у Настасьи напрягся, она подалась вся вперед, как
наклоняются, не выдерживая, за ответом.- "Можеть,- спрашиваю,- надо че?" Я
же вижу, что он неспроста смотрит.- И откачнулась назад.- А он ниче и не
скажи. Знаю, что хочет сказать, а не сказал,- ишь, он боялся напужать меня.
А чуял, чуял смерть.- Она опять прервалась и покивала.- Чуял, чуял. Я свет
убрала, легла и заснула, непутевая. Заснула! - выкрикнулось у нее, но она
тут же поправила голос.- А ночью пробудилась - слышу, дожжик идет. Че это,
думаю, он - с вечеру-то ни одной тучки не видать было. Там хошь и плохо небо
видно, да я все по привычке смотрела. И дожжик такой норовистый, тихий. Ой,
думаю, че-то неладно. К окошку подошла, а он только-только направился, ишо и
землю не замочил. А сама помню, что Егор однесь дожжик же и поминал: долго,
грит, нету. Я потихоньку говорю: "Егор, дожжик-то пошел. Он тебе нашто
нужон-то был? Нашто,- вдругорядь спрашиваю у Егора,- он тебе нужон-то был?"
Он молчит. Я за огонь, шарю по стенке, шарю. Зажгла, а мой Егор-то,
Егор-то...
Настасья заплакала.
Солнце зашло, в курятнике быстро темнело. Старухи тяжело, подавленно
молчали; испуганно теребил за рукав Симу мальчонка, она слабо отпихивалась.
Со свистом гонял в себя и из себя воздух Богодул. Не дождавшись, пока
примутся за самовар старухи, он в молчании этом вынес его в сени и стал
булькать там водой.
-- Баба, баба,- взялся за голос Колька.
Настасья, обернувшись, заметила его.
- Все с тобой Коляня-то? - спросила она у Симы.
- Со мной, со мной,- торопливо ответила Сима.- С кем он ишо будет? Пока
живая, куда я его?
- У нас с Егором тоже ребята были,- сказала Настасья.- Вот Дарья с
Катериной должны помнить. Помните?
Дарья с Катериной, переглянувшись и понадеявшись друг на друга, не
ответили.
- Дак че - вру, че ли, я? - с обидой выкрикнула Настасья.
- Господь с тобой, Настасья,- сказала Дарья и, успокаивая, повела рукой
по ее спине.- Господь с тобой, Настасья. Че ты?! Приехала - вот и хорошо,
что приехала, вот и ладно. Мы-то тебя ждали как... Картофку твою мы
выкопали.
- Каку картофку?
- Твою-то. Из твоего огорода.
- А-а,- отмахнулась Настасья.- Куды я с ей?
- Куды-никуды - не пропадать же картофке!
Спохватились зажечь свет, ан нет: у Богодула, как у таракана, светить
нечем - ни лампы, ни свечки, а свою лампу Дарья оставила в избе, а она,
поди, подбавила огня. Катерина сходила во вторую половину, где жили
пожогщики, но и там ничего не отыскала. Пришлось сидеть в темноте. Так,
значит, надо, и до этого дошло. Так оно было, пожалуй, даже лучше: не стоит
все время перед глазами это убожество и кочевье и не пугает завтрашним днем.
Причесали Матеру. Съехали с нее последние люди, которым жить дальше, ушел
свет, и, чудилось, все - никто не приедет и свет не вернется, а их,
прилипших к Матере, так и понесет в темноте куда-то, так и понесет, покуда
одним разом для всех не пробьет последний час. И, будто чувствуя это,
жалобно захинькал мальчишка, взялась успокаивать его Сима.
Богодул занес вскипевший самовар, поставил его опять на стол, на ощупь
отыскал в груде посуды запарник и заварил чай. И пили его, не слезая с нар,
придерживая горячие эмалированные кружки обеими руками. Никто не спросил ни
сахару, ни хлеба - казалось, ничего этого больше не положено. Хорошо хоть
остался чай. В дыру в окне тянуло свежестью; Сима, пряча от нее Кольку,
зашебуршилась, стала укладывать его - Колька продолжал хныкать. Скоро чуть
посветлело, выявились стены, и Богодул доложил:
- Цыганско солнце, кур-рва!
- Ты самовар-то увезла - ставила его там, нет? - вспомнив, спросила у
Настасьи Дарья.
- Два раза за все время ставила,- со вздохом сказала Настасья.- Один
раз при Егоре ишо, а в другой - уж опосле. Аксинья черепановская пришла
давай, говорит, вскипятим. Ой, да какой там чай! Вода не дай бог мореная, ее
там травят чем-то, чтоб Ангарой не пахла. И углей нету. Она же, Аксинья,
шишек сосновых насобирала, залили самовар и по лесенке вниз его, на улицу. А
где ишо греть? Боле негде. Сидим с ей, караулим, а народ кругом ходит,
смеется. Она, Аксинья-то, боевитая, ниче не боится. Замучилась ждать - без
трубы тяги никакой нету, шишки наши как каменья. Ну, дождались все ж таки,
надо назад тащить. У нас-то фатера на четвертоим поднебесьи, я на пустых
ногах кой-никак туды заползаю со своей одышкой. На каждой ступеньке стою.
Лесенка не дай бог крутая. А у Аксиньи-то третье поднебесье - хоть и
немного, а пониже. Там на каждый заулок по четыре дверки выходит, у ей
крайняя по левую руку, ежли наверх ползти. Дак мы до меня-то не дотащились,
сердце у меня совсем выпрыгивало, к ей с моим самоваром заехали. С ей там
ишо одна старуха живет, та сильно худая, по ровному полу едва ходит. Ну, мы
как засели - самовар-то опростали. Знам, что не подогреть будет - ну и
давай, ну и давай.
- Назадь поедешь, нет?
- Ой, да не знаю, Дарья. Ниче покуль не знаю. Я бы и рада не поехать,
дак куды меня?
- Ты там, поди, не привязана.
- Не привязана, а визжи. Куды деться-то? Кому я нужна? Это уж так. И
Егорова могилка там - как я ее брошу? А лягчи-то нам, видать, нарозь
доведется, это надо в одночасье помереть, чтобы вместе лягчи. Я уж узнавала.
Кладбище молодое, всех подряд по очереди хоронют, кто с кем угадат. Ой, да
мне-то долго не продержаться - все, может, недалеко от Егора посторонюсь. Не
знаю, зиму перезимую, нет ли... Думаю, поеду, проведаю вас, на Матеру в
остатний раз гляну. И зачну готовиться. Изба-то наша с Егором сгорела?
- Дак ты рази не видала? Седни только сгорела. Ты приплыла-то, она ишо
догорала. Весь наш околоток до седни держался, однем махом сгорел. Не
видала, ли че ли?
- Ниче я не видала. Я не видала, как и сюда-то приплыла, как на
пароходе ехала. Все будто во сне. А так приспичило на Матеру напоследок
поглядеть, так приспичило... свету белого не вижу. Ниче не надо, кусок хлеба
в горло не лезет. Нет, думаю, поеду, иначе жисти не будет. Нюню, кошечку,
привезу. Ой,- спохватилась она.- Нюня-то моя живая? Я и не спросю. Дарья,
Нюню-то я тебе оставляла?..
- Ты спроси, я живая, нет? Про Нюню свою...
- Дак где она, Нюня-то? Я тебе велела доглядывать за ей.
- Вечер ишо живая была. А щас где, не знаю. Помню, что вечор выгнала ее
из избы, чтоб не сгорела. Может, обратно в продушину залезла, а может, родит
где.
- Надо завтри поискать ее, покликать. Как я без ее? Ой, да как я теперь
жить-то буду? Как я одна-то буду? - В темноте Настасья засморкалась,
закачалась.
Дарья вдруг подсказала:
- Возьми вот с собой Симу с мальчонкой. Оне тоже не знают, как жить, в
какую сторону податься. Али Богодула. А то про Нюню...
- Ык! - отказался Богодул.- Гор-род! - и возмущенно фуркнул.
- Дак оно, конешно бы, лутче некуды, ежли бы Сима-то поехала,-
обрадовалась Настасья.- Вместе бы жить стали. А то ить мне, Аксинья говорит,
так и эдак подселенку дадут. Нашто ее, чужую-то, мы, материнские, за одной
дверкой бы жили. Прямо лутче бы некуды.
- Я не знаю,- растерялась Сима.- Надо, наверно, разрешение брать. Могут
не дать. А так хорошо бы...
Настасья вздохнула:
- Я в етим ниче не понимаю. Меня Аксинья же другой раз там такнет, а
без ее я совсем бы пропала. Житье, правда что, нелегкое. Город, он город и
есть. Хлебушко купить надо, картофку купить, лук купить. Хлебушко, он
недорогой... Аксинья меня раз на базар потащила. Ехали, ехали на колесах - у
меня ажно голова закружилась. Ну, приехали. Дак нашто и ехали? Котелок
картофки три рубли стоит, головка чесноку - рупь. Да это че, думаю, деется,
где таких рублев набраться?! Это чистое разбойство! Я так ни с чем и обратно
поехала. Нагляделась зато за глаза. Эти подгородные-то наживаются, ой,
наживаются выше головы. Куды оне столь хапают, нашто имя?! Ой, да че
говореть! У нас покуль за телку деньги оставались, дак жили. А потеперь не
знаю. Сулятся за Егора пензию назначить. Не знаю. За фатеру ондай, за огонь
ондай. Можеть, ниче, я теперь уж много не ем. Не надо стало. Совсем ниче не
надо стало. Другой раз крошки в рот забуду, не возьму, и он не попросит. Как
святая сделалась. В чем душа держится.
Завозился, укладываясь с краю у двери, Богодул, и Настасья умолкла.
Часто, раз за разом, вздыхала Катерина, не слышно было ни мальчишку, ни
Симу. Какой-то дальний, издонный холодный свет кружил по курятнику, смутной
рябью падал на стены и лица, тенетил дверь напротив окошка. И завороженные
этим светом, в молчании и потерянности, старухи забылись.

22

Павел добрался до поселка в сумерках. Дежурная машина, все лето
гонявшая с берега в поселок и обратно, больше не работала, и Павел, замкнув
лодку и поговорив со сторожем, подволошенским стариком Воротилой, прозванным
так когда-то за огромную силушку, а теперь немало усохшим и ослабшим,
направился было за десять верст в гору пешком, но ему неожиданно повезло:
уже где-то на второй версте его догнал на мотоцикле незнакомый мужик в шлеме
над острым, строгим и морщинистым лицом и сам, без просьбы, остановился и
подсадил. Спрашивать, куда едешь, не надо было: дорога от сворота вела
только в поселок, ни дальше, ни ближе никто в ней не нуждался. Так на легкой
и удачной попутке домчал Павел за десять минут. Возле гаража при въезде в
поселок мужик притормозил, молча, кивком головы ответил за благодарность и
повернул по улице влево. Павел пошел прямо, его улица протянулась наверху,
возле самого леса.
Солнце зашло, и в остывающем сгустившемся свете, четко выделяющем
каждый предмет, поселок больше всего походил на пасеку. Ровными, правильными
рядами стояли одинаковые, за одинаковыми же невысокими, но глухими заборами
дома, спадающие прямыми порядками на две стороны - влево и к Ангаре.
Собственно, поселок слева и оставался, улица, по которой поднимался Павел,
была крайней, всю правую сторону ее занимали в глубине производственные
постройки - гараж, мастерские, заправка, котельная, а еще дальше - баня. Она
Рабочей и называлась. Всегда шумная, рокочущая от машин, провонявшая
бензином, углем и железом, улица на этот раз была на удивление тихой и
пустынной; один Павел и шагал по ней, держась жилой стороны, где было меньше
изжулькано и изрыто. Жизнь шла там, за заборами,- там разговаривали,
бренчали, там гремели цепями и лаяли, когда Павел проходил мимо, собаки
(всех собак Воронцов приказал посадить на цепи, и посадили - после того как
участковый Ваня Суслов, молоденький веселый парень из пограничников, едва не
половину их перестрелял), там, за забором, устраивалась своя жизнь и свой
порядок, быть может, высаживались даже черемуха и березки. Здесь же, на
улице, как и на всех без исключения улицах, было просторно и голо - ни
единого палисадничка, ни деревца. Или руки еще не дошли, или считалось, не
надо, ни к чему, кругом лес. Где-то на нижних улицах трещали без умолку
мотоциклы - гоняют, поди, обучаясь, пацаны. Мотоциклов этих развелось - в
каждом дворе, за ними едут в Братск, даже в Иркутск, их покупают с какой-то
ненормальной поспешностью, наперегонки, будто выпуск их прекращен и это
остались последние, или будто выхваляясь друг перед другом: и мы, мол, не
лыком шиты, и мы кое-что имеем и кое-что можем. Не понимая этой
торопливости, Павел, однако, и сам подумывал, что придется к весне
обзаводиться мотоциклом и ему. В Матере он был без надобности, там все под
руками, а здесь вон завтра на смену идти больше часа, если пешком, а летом и
до воды, когда рыбку половить, до пустошек с грибами, до ягод - хоть куда
дoведись - на своих двоих не находишься... Это не Матера.
Что верно, то верно - это не Матера. Вот и не стало Матеры - царствие
ей небесное, как бы сказала, перекрестясь, мать. Вот и не стало
Матеры-деревни, а скоро не станет и острова. Еще можно будет, наверно, нынче
же сплавать, покружить, гадая, тут или не тут стояла она... И удивительно,
что Павел представлял себе это просто и ясно, как не один раз пережитое,- и
лодку на огромной, высоко поднятой воде, и себя в лодке, пытающегося по
далеким берегам определить место Матеры, пристально вглядывающегося в темную
замершую массу воды - не подастся ли оттуда, из сонной глубины, какой знак,
не блеснет ли где огонек. Нет, ни знака, ни огонька. Поперек воды, если
править с берега на берег, еще можно сказать: тут - потому что где-то в
каком-то месте ее пересечешь, а повдоль - нет, повдоль даже приблизительно
не угадать, где ж, на какой линии она, христовенькая, стояла, обетовала,
куда она залегла... Все - поминай как звали. Но удивительно, непонятно было
и то, что он не чувствовал сейчас ничего, кроме облегчающей, разрешившейся
боли: будто нарывало, нарывало и прорвало. Все равно это должно было
случиться и случилось, а от ожидания этой неминуемости устали и измучились
больше, чем от самой потери. Хватит, хватит... никаких сил уже не осталось.
Теперь не придется изводиться Матерой, сравнивать одно с другим, ездить
туда-сюда, баламутить, натягивать без конца душу - теперь, и, взыскивая с
новой жизни здесь, в этом поселке, придется устраиваться прочно, врастать в
нее всеми уцелевшими корнями.
Павел повернул влево и, скосив на одну улицу - так было ближе к дому,-
пошел опять в гору. Откуда-то со двора сладко потянуло дымком, и Павел,
только что приехавший оттуда, где дымы больше месяца не сходили с земли, не
давая дышать, невольно приостановился и потянул в себя приятный, как бы со
всем старым связанный запах, который, казалось, должен был с переездом
сгинуть и не сгинул. И верно, печей, банек здесь не топят, дымокуров не
разводят, но просто дымка на своем клочке никто еще не отменял; Павел стал
вспоминать, добывал ли он за все лето огонь у себя во дворе по какой нужде,
и выходило, что не добывал. Мусор, сгребенный в кучу, так в углу и преет,
сквозь него уж трава проросла; собрался еще по весне сжечь, но представил,
что могут прибежать: что горит? - и плюнул, оставил хотя никто наверняка не
прибежал бы и ничего не сказал. Не привыкли: все, как у чужого дяди, делаешь
с оглядкой, на все ждешь указаний. И, возвращаясь опять мыслью к Матере, к
сегодняшней поездке туда, Павел со стыдом вспоминал, как стоял он возле
догорающей своей избы и все тянул из себя, искал какое-то сильное, надрывное
чувство,- не пень ведь горит, родная изба - и ничего не мог вытянуть и
отыскать, кроме горького и неловкого удивления, что он здесь жил. Вот до
чего вытравилась душа! Точно оправдывая в чем себя, Павел подумал, что ему
вообще нередко приходится вспоминать, что он живет, и подталкивать себя к
жизни: после войны за долгие годы он так и не пришел в себя, и мало кто из
воевавших, казалось ему, пришел. Все, что требуется, они делают - и детей
рожают, и работу справляют, и солнце видят, и радуются, злятся в полную
моченьку, но все как бы после своей смерти или, напротив, во второй раз, все
с натугой, привычностью и терпеливой покорностью. О себе Павел хорошо знал,
что у него часто случаются затмения, когда он теряет, выпускает куда-то, на
какую-то волю, себя, и бывает, надолго; и где он был, куда отлетал, что
делал - не помнит. Затем спохватывается, держит память ближе, ступает
прочней, делает все, чтоб крепче зацепить себя, с зарубками, с заметами - и
так идет неделю или две, порой больше, и снова провал, снова стягивает в
какое-то свихнутое и чужедальнее, как у лунатика, состояние, когда
шевелиться шевелишься, но без головы, только лишь по инерции. Выплеснулись
единым махом ребячьи голоса, и Павел догадался, что это из школы, кончились
уроки. Торец ее с красиво выкрашенной алюминиевой краской водосточной трубой
был виден и отсюда, приманивая взгляд, и Павел, вздохнув отчего-то,
оглянулся на него и пожалел, что сыны его выросли и им не учиться здесь.
Хорошую, даже по нынешним временам, выстроили школу - веселую, в три этажа,
приподнятую надо всем остальным, окнастую - и если поселок действительно
походил на пасеку с вымеренно и ровно поставленными ульями, то они,
постройки нежилые - школа, магазин, детсад, столовая, даже баня,- пятнали,
разбавляли его от красивого и унылого однообразия. А как, верно, хорошо,
если бы кто-то, пускай не из сынов, пускай из внуков, ходил в эту школу, а
его вызывали бы на собрания и спрашивали за двойки и шалости. Но нет, видно,
не бывать и этому. Вот отчего за самое горло берет тоска, когда он глядит на
школу и слышит, как вот сейчас, ребячьи голоса. Прошла, значит, жизнь - и не
время еще, а прошла. И, подумав об этом, вспомнил он опять о матери, о том,
что надо как-то перевозить ее, и опять не поверил, что когда-нибудь ступит
она в этот поселок. Что-то не давало, не опускало поверить - хоть ты что
делай! - ни в какую невозможно было это представить себе, перед глазами
тотчас опускалась пелена.
Отсюда, с горы, стало как бы светлей, и высокие, крытые шифером крыши
домов струились с улицы на улицу живыми спокойными волнами. По-прежнему
трещали мотоциклы, взбивая пыль; с полей доносился натужный вой трактора,
все еще гомонили, растекаясь по улицам, школьники, и горько, страдальчески
взмакивала раз за разом запертым нутром где-то во дворе корова.
Далеко-далеко синел за запанью, где шла Ангара, противоположный берег и
круто, почти отвесно вздымалось над ним чистое застывшее небо с
одним-единственным, заткнутым за горизонт пером легкого, чуть подкрашенного
облачка. Здесь же, над головой, небо уже остыло и смеркалось, клонясь туда
же, в сторону Ангары. Было не как в Матере, где сразу после солнца
прохватывала свежесть,- было кругом тепло и сухо, и шло это тепло от
нагретой за день земли и построек, чувствовалось, как пахнет от них краской
и бензином.
Павел вышел на свою улицу, застроенную только с одной стороны против
леса, дошел до калитки и остановился, высматривая, нет ли среди бродящих в
кустах, потрескивающих сучьями коров Майки. Ее не было. Павел заглянул в
щелку в заборе и увидел, что она во дворе.
До чего умная корова - и здесь, где скот одичал без выпасов и
присмотра, шастая, как звери, по лесу, она сама каждый день приходит домой.
И вот такую умницу-послушницу придется скоро загубить. Павел подумал, что
понадобится кого-то звать на это дело, потому что сам он за него - хоть убей
- не возьмется и даже сбежит со двора и станет бродить, пока не приберутся.
Он не мог смотреть, когда поросенка легчили или отрубали голову петуху, и
Соня, решительная в таких действиях, только бессильно и брезгливо махала
рукой, когда он норовил сбежать. Войну прошел, перевидал всяких смертей за
глаза, до сих пор по ночам воюет и прощается с убитыми, но тут поделать с
собой ничего не может, таким уродился.
Что-то не хотелось ему идти домой... Не хотелось, и все. Вечер тек тихо
и томно, ласково оплывая лицо, и темнота все еще не просела. Все звуки, все
шумы большого поселка, казалось, удалялись - будто осторожно сносило их той
же течью властительного времени. Слетел с осины напротив красный лист и
застыл в воздухе, высматривая, куда править, но оно, движение, подхватило
его и вынесло на дорогу, продернуло еще чуть по земле. Павел без памяти и
без мысли чему-то кивнул: так и должно быть. А что так и должно быть, о чем
подхватилось опять дальнее-предальнее неспокойство - поди разберись.
Наверное, надо было все-таки настоять и перевезти сегодня мать. Он уезжал с
Матеры без особой тревоги, решив, что послезавтра возьмет катер и снимет с
острова сразу всех, чтоб не разлучать их в этом переезде, но сейчас вдруг
стало не по себе. И не "вдруг" - что-то ныло и наплескивалось постоянно с
той поры, как он оставил их, а он считал, что ноет другое. Но как опять же
было настоять? С матерью не больно поговоришь, если она не захочет, от
старух она, конечно, никуда бы не поехала. И без старух, будь она совсем
одна, но сразу после того, как сняли избу, тоже, наверное, не поехала бы, не
сумев хоть немножко успокоиться на родной земле, возле этой избы.
И опять он не поверил, что когда-нибудь она войдет в эту калитку...
Постояв еще, помучившись без утешения, Павел пошел в дом - пора было
укладываться, утром рано на работу. Соня, ожидая его, сидела внизу, в кухне,
и вязала, из большой кастрюли на полу тянулись красная, зеленая и черная
нитки. Вязать она пристрастилась уже здесь, в поселке, когда в магазин
навезли какой-то редкой, не то рижской, не то парижской пряжи, и конторские,
все без исключения, опять же чтобы не отстать друг от друга, набрали ее
ворохами. В Матере от своих овец Соня ни одной шерстинки не извела, носки и
рукавицы в палец толщиной вязала мать, и не было тем носкам и рукавицам
износу. В них воду наливай - не капнет, не то что Сонина, со сплошными
дырками, как кружево, по моде работа.
Поднимаясь, чтобы накормить Павла, Соня сказала:
- Земляк наш два раза уже за вечер приходил, спрашивал тебя.
- Кто такой?
- Петруха. "Где,- говорит,- моя мать?"
- Вспомнил про мать...
- Я и говорю: не рано ли вспомнил про свою мать, сыночек? Подождал бы,
пока затопит, потом и искал бы ее. Его уж и понять нельзя, трезвый он или
пьяный. Одинаково боталит.
Павел не стал расспрашивать, что такое "боталил" Петруха, ему это было
неинтересно. Но повидать Петруху надо бы: пускай поможет послезавтра
перевезти старух. Да и мать свою, о которой он вдруг забеспокоился, пускай
бы забирал - только куда, в какие хоромы, в какое царство-государство станет
он ее забирать? Но это уж не его, не Павла, забота. На него, чувствовал и
предвидел он, достанет заботы определять куда-то Симу с мальчишкой и
Богодула, провожать обратно Настасью. Будет еще мороки, будет... Но не это,
в конце концов, страшно, с этим он как-нибудь бы управился, больше всего
пугало его, и мыслью не давая подступиться и разрешить, угадать хоть немного
наперед,- что будет с матерью? Отсрочка на один день ничего не даст;
оглянуться не успеешь, как вот оно, послезавтра, и надо ехать за нею, надо
перевозить...
Только он поужинал и еще не поднялся наверх, застучали на веранде
сапоги, и по громкому, нарочитому упреждающему этому стуку Павел догадался:
Петруха. Легок на помине. Но Петруха явился не один, с ним был - вот уж кого
нельзя было ожидать - Воронцов. Он вошел и раньше, чем сказал
"здравствуйте", кинулся зыркать своими круглыми, навыкате глазами на круглом
же и румяном лице по углам.
- Павел Миронович,- быстро и требовательно спросил он,- где у вас
старуха?
- В Матере,- уже начиная догадываться, что к чему, ответил Павел.
- Как в Матере?! Ты же ездил сегодня туда! Почему в Матере?!
- Я-то ездил, да она не поехала.
- Шутки шутить будем или что будем?..- вскинулся, растерявшись,
Воронцов.- Как не поехала?! Что значит не поехала?! - Он, все еще не веря,
осматривался по сторонам и даже подскочил к лестнице, заглядывая наверх.
- Нету, нету,- остановил его Павел, а то бы и наверх полез.- Зачем я
обманывать буду? Нету. Там. Не нажилась, говорит. Осталась пожить.
- А моя мать? - вскричал Петруха - ну прямо сердце кровью, можно
подумать, окатилось у него в эту минуту о матери.- Тоже там?
- Ну если ты не снял ее оттуда - тоже там.
- Когда?! - завопил он.- Когда я сыму ее! Я только седни с задания
воротился, я задание выполнял. Вот Борис Андреич скажет,- сослался он на
Воронцова, тряхнув у того перед носом грязной, перебинтованной почему-то
черной тряпицей рукой. И по этому истовому взмаху, по горящим глазам и
выжимаемому до конца голосу Павел понял, что Петруха нетрезв.
Воронцов передернулся.
- 3-задание! - вскипел он.- 3-зад-дание! Мать у тебя почему в
неположенном месте находится, пьяница ты несчастный?! Твое задание, чтоб она
здесь находилась. Где хошь чтоб находилась, а не там. А ты что делаешь?!
Есть указание, оно всех касается! Понимать будем или что будем?..
Что до понимания, Павел понимал, что говорится, кричится это не столько
Петрухе, сколько, конечно, ему.
Но Петруха решил обидеться.
- Я, может, и пьяница,- он исподлобья оглядел всех, приглашая
прочувствовать вместе с ним ответственность этого признания,- но чтоб
нещастный - и-из-вини-подвинься, товарищ Воронцов, Борис Андреич. Я на себя
такую кличку взять не могу. Не имею права! Да! - капризно вздернул он голову
и замер, проникаясь силой своих слов.- А пьяница... че ж пьяница...- Петруха
помолчал.- Че бы вы делали без этих пьяниц?..
- Где они там живут? - не слушая его, опять быстро и нервно спросил
Павла Воронцов.
- В бараке.
- В бараке?! Барак стоит?! Стоит барак?
- Стоит.
- Да это же! Это же... Вы понимаете, что это значит?..- Воронцов даже
затрясся и кинулся к окну - и что он там хотел увидеть, было непонятно.- А
ты,- отскакивая от окна, накинулся он на Павла,- ты, Павел Миронович, куда
смотрел? Как позволил? Ты же коммунист, не то что этот,- брезгливо кивнул он
на Петруху.- А ты мать, столетнюю старуху, не можешь к порядку призвать!
Барак стоит! - простонал он.- А у меня завтра государственная комиссия.
Утром нагрянет. Я им что - барак буду показывать? Людей с самовольной
задержкой? Государственная комиссия - понимаешь ты, Павел Миронович? А он
съездил и приехал. И чай пьет. И никаких! А с кого завтра спросят? - При
собственном же вопросе "с кого завтра спросят?" Воронцов напрягся и
решительно приказал: - Собирайтесь. Хватит в игрушки играть. Надо понимать
положение. К утру чтоб ни барака, ни людей. Не вздумай смыться,- предупредил
он Петруху: - Поедешь. На з-задание поедешь. Вместе со мной. Ты, Павел
Миронович, тоже собирайся. Хватит. Это дело государственное. Черт знает что
творится!
Не хотелось Павлу ехать, устал он, да и ночь на носу, а утром рано на
смену, значит, спать не придется совсем, но больше того не хотелось
тормошить сейчас и выгонять из гнезда старух и на глазах у них поджигать
последнее, что осталось на Матере,- барак, давший им последнее же
пристанище. Но делать нечего - надо было ехать.
Павел представил, как станет Воронцов в темноте суетиться и покрикивать
на старух, поторапливая и загоняя их на катер, как, не выбирая выражений,
станет он грозить им и ругаться, кляня вместе с ними все на свете.
Представил мать и то, как она будет одергивать эту власть и как, с какой
болью и требовательностью станет он смотреть на него, на Павла... представил
потерянную, дрожащую от страха Настасью, с перепугу кивающую беспрерывно
головой... плачущего мальчонку... нахохлившегося и задиристого Богодула, за
которым к тому же надо присматривать, чтобы он - чего доброго! - не кинулся
на Воронцова... Представил Павел все это и предложил Воронцову:
- Может, тебе не ездить? Мы как-нибудь одни управимся.
- Не-ет,- вскинулся тот.- Нет, Павел Миронович, на вас я больше
надеяться не могу. Хватит. Вы из доверия вышли. Мне завтра отчет держать, я
должен быть уверен, что территория очищена, а на вас надейся - вы мне опять
попустительство подкинете. Надо понимать задачу. Мне отвечать за нее.
Он велел Петрухе идти поднимать катериста, дал на сборы и на дорогу до
гаража, где решили собраться, чтобы без задержки оттуда выехать, полчаса и
выскочил.
- А что,- сказала Соня.- И правильно. Зачем человека под удар ставить?
Он отвечает.
- Пущай отвечает,- взъярился Петруха.- Пущай отвечает, никто ему не
мешает отвечать. Да пущай человека уважает. Я ему не пень подколодный, чтоб
на меня садиться да меня же чем попадя обзывать. Извини-подвинься. У меня
гордость. Раскричался! Видали мы таких боевых! Власть!
Но покуда собирались, покуда искал Петруха моториста с катера, которого
катеристом и называли, угрюмого пожилого мужика Галкина, комиссованного из
шоферов, и раскачивал его, а потом еще и сам куда-то за какой-то надобностью
сбегал, прошло не полчаса - час. Выехали уже в темноте, при звездах, на
маленьком автобусе, развозившем по утрам рабочих на дальние участки. За руль
сел Павел. Дорога была хорошая, и под гору покатились быстро; торопливо
набегал и торопливо же отступал, отваливаясь на стороны, лес; мельтешила на
свету, каким-то чудом успевая вонзаться в него, ночная крылатая мелочь;
ровно, сплошным отмякшим звуком шуршала под колесами галька. Позади Павла
молчали. Петруха попробовал было завести беседу, доставая до Воронцова
намеками о сверх-урочных, но Воронцов даже и оборвать его посчитал
недостойным себя, и Петруха затих, отчего-то (Павел видел это в зеркале)
страдая и морщась. Старик Галкин дремал. Воронцов сидел впереди них прямо,
будто даже и не покачиваясь, когда встряхивало, пристально и сердито
уставившись в лобовое стекло.
Проехали полдороги, и Павел почувствовал, как плеснуло на повороте в
окно сыростью. И как-то медлительней, ленивей стал набегать лес, еще глуше
зашуршала резина. А когда выскочили на открытое место в полутора километрах
от реки, на машину надвинулись сначала редкие, затем все больше и больше
нарастающие, густеющие, словно тоже летящие на свет фар, серые мочальные
лохмотья. Павел не сразу понял, что это туман. Старик Галкин позади Павла
встрепенулся и с неуверенностью и тревогой в голосе спросил:
- Туман?
- Туман,- обрадованно подтвердил Петруха.- Может, это...- Он не решался
ясно высказать свое желание только поддернул голову, закидывая ее назад.- Че
по туману шариться?..
Воронцов и на этот раз не посчитал нужным ответить. Не разворачиваясь,
Павел приткнул автобус носом к воде и первым вышел. Катер, стоящий за
вереницей лодок справа, не был виден, но туман висел еще в воздухе, и полоса
воды понизу просматривалась, насколько позволяла темнота, довольно хорошо.
Стояла глухая, сплошная тишь: не плескала вода, не доносило привычного шума
с переката на недалеком верхнем изломе Ангары, не булькала одиноким
случайным чмоком со сна рыба, не возникало, не пробивалось нигде длинного и
мерного, в другую пору доступного чуткому уху, поигрывающего посвиста
течения, молчала земля - все кругом казалось заполнено мягкой, непроницаемой
плотью. Поднялись, не слыша шагов за собой, на катер, Галкин запустил мотор,
но и он не взревел, как обычно, широко и разбойно оглашая окрестности и
надрывая уши, а заработал, точно отдыхиваясь, сдавленно и осторожно, и едва
ли стукоток его пробивался дальше чем за тридцать шагов. Последним заскочил
на катер Петруха, со счастливой усмешкой похвалился Павлу:
- Воротилу подпер. Даже не шевельнулся, спит без задних ног.
- Все ребячишься? - поморщился Павел.
- Пуш-шай. Сторож, дак сторожи, а не спи, как сурок. Проснется, а выдти
- хрен ему. В окошко надо вылазить. Вылезет, а катер угнали. Вот запляшет
Воротила.
Петруха хохотнул и, видя, что проделка его не очень нравится Павлу,
отошел, полез в рубку, которую по-крестьянски называли будкой.
Спятились и на воде развернулись. Берег тут же пропал, туман сомкнулся
ближе и заморосил, забусил даже и не мокренью, а испотью. Павел чувствовал,
как тяжелеют, наливаются противной сыростью и лицо его, и одежда, но
подниматься и идти в будку не хотелось, он устроился позади нее на
приспособленном под сиденье чурбане и закурил, от прохлады и тревоги с
особенным удовольствием и жадностью втягивая в себя дым, но тревога не
рассасывалась, напротив, все больше и больше обострялась и росла. Вот сейчас
приедут они - и что будет? Замирало и отнекивалось от этого вопроса все
внутри, и так не хотелось, хоть в воду бросайся, плыть. Сильней всего он
жалел, что согласился на этот ночной внезапный десант; он уже и забыл, что
ничего другого ему не оставалось. Как, как, в самом деле, угораздило его
согласиться? И как опять-таки мог он отказаться, если там мать, если переезд
ее нельзя перепоручить кому-то другому: мать никогда бы ему этого не
простила.
Матера лежала на нижний искосок верстах в двух от берега, от которого
отчалили. Галкин взял сразу на Ангару и теперь вел катер вслепую, на ощупь:
нo уже через пять минут после того, как снялись, забрались в такой плотный,
дремучий туман, что и в двух метрах различить что-нибудь впереди было
совершенно невозможно. Павел подумал задней догадкой, что следовало,
наверно, сначала спуститься хоть немного вниз по течению и только затем
повернуть поперек, чтобы не промахнуться и наверняка наткнуться на Матеру и
уж по берегу обогнуть ее и спокойно подойти, куда нужно. Но сейчас говорить
об этом было поздно, надо было думать сразу. Ничего, Галкин плавал здесь
полное лето, дорожка знакомая, доберется, поди, по памяти, одним чутьем. Он
вел катер осторожно, на малых оборотах; до Павла донеслось, как Воронцов
добивался, чтобы он прибавил газу, но Галкин не подчинился, и ход остался
тем же; на полной скорости, чего доброго, недолго залететь на мель - потом
кукуй. За катер отвечает моторист. Мотор едва слышно стучал где-то
далеко-далеко внутри, представлялось даже, что под водой, зато хорошо
слышалось шипение разрываемого тумана и разрываемой реки, и под это мягкое и
монотонное шипение Павел, тревожно затаившись, забылся.
Он испуганно вздрогнул, когда катер на повороте накренило и качнуло:
вздрогнул и поднялся, выглядывая берег, на который правил Галкин, но
никакого берега, как ни всматривался, не увидел. Туман стоял сплошной
стеной, и, катер, казалось, топтался, буксовал на месте, не в силах
выбраться за нее, эту отвесную стену, снова и снова соскальзывая с ее кручи;
Павел не помнил, чтобы он когда-нибудь попадал в такой туман, настолько
густой и плотный, что с трудом, будто из глубокого и темного колодца,
пробивалось смутное мерцание воды. Глаза упирались в сплошное серое месиво и
невольно зажмуривались, закрывались от его близости. По времени пора бы уже
приехать, однако непохоже было, что они причаливали; Павел пошел в рубку, и
по тому, с какой пристальностью, с каким беспокойством вытягивая шею,
всматривался в темь Галкин, надеясь что-нибудь там увидеть, понял, что они
заблудились. Что ж, этого и следовало ожидать. Умные люди в такую сгинь в
дорогу, да еще по воде, ясное дело, не отправились бы... И он, Павел, тоже
как маленький: куда повели, туда и пошел, не пробовал даже возражать. Теперь
что ж, теперь крутись, пока не наткнешься на тот или другой берег. Наверное,
они все-таки проскочили Матеру выше, а потом незаметно развернулись и пошли
по течению. Наверное, так и получилось. А если так, надо, значит, брать
вправо и пробовать встретить Матеру с другой стороны, от своей Ангары. Павел
неуверенно, только подавая на совет, кивнул Галкину вправо, и тот,
обрадовавшись, что не ему одному отвечать за руль, не раздумывая, туда и
повернул.
- Долго что-то,- почуяв недоброе, насторожился Воронцов, стоявший от
Галкина слева.- Где мы? Почему так долго? Остров, что ли, потеряли? А?
- Найдем,- без уверенности ответил Галкин.
От голосов встрепенулся дремавший в углу Петруха, поеживаясь от холода
(был он, как и днем, все в той же рубахе навыпуск), высунулся в дверку.
- Ого, туманчик-то! - удивился он, захлопывая дверку, и стал,
согреваясь, растирать руками грудь.- Хошь ножиком режь. Закружали, значит?
Закружали, закружали... Я говорил...- Ничего толкового Петруха не говорил,
ни от чего не предостерегал, но как было упустить случай и не намекнуть о
какой-то своей, хоть и самому неведомой, правоте - и Петруха его, конечно,
не упустил.- В такой туман надо рыбой быть, чтоб не закружать. Дела-а-а!
Проплыли еще минут пятнадцать - вдвое больше того, чем нужно, чтобы
наткнуться со своей Ангары в Матеру или Подмогу,- ничего: ни берега, ни
знака какого, ни просветления, одна вязкая и бесконечная, еще больше,
чудилось, загустевшая, как студень, масса тумана. Галкин повернул к Павлу
лицо, спрашивая, что делать, куда поворачивать, и Павел в ответ пожал
плечами: не знаю.
- Глуши,- решившись, сказал он.
Галкин поднялся и заглушил двигатель. Павел вышел на борт,
прислушиваясь, как затихает шуршание воды и тумана,- самой воды уже не было
видно совсем. Он взял чурбан, на котором перед тем сидел, и кинул его вниз -
там глухо и вязко плеснуло, там, значит, была все-таки вода. Воронцов не
выдержал:
- Долго мы еще тут будем возиться? Вы что - не понимаете или понимаете?
Скоро утро, надо дело делать.
- Не кричи,- оборвал его Галкин.- Тут тебе не собрание.
И Воронцов, как ни странно, сдержался и умолк, догадавшись, что
приказами здесь не поможешь. Однако "не кричи", которое обидело его, потому
что он не привык к такому обращению к себе, подвинуло его к другому решению,
он потребовал от Петрухи.
- Кричи.
- Че кричи? - не понял тот.
- Что хошь кричи. Хоть караул. Есть же тут где-то живые люди или что?
Может, они услышат. Или вы все сговорились? Ну?!
Петруха не сразу, не вдруг, показав, что он подумал и согласился с
Воронцовым, пошел в нос катера, и оттуда донеслось:
- Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Где вы? Э-э-эй!
Ни звука в ответ. И смешно было надеяться, что кто-то отзовется: туман
тут же, на месте, впитывал и топил голос, выбраться из его трясины ничто не
могло.
Снова завели двигатель и поплыли, правя, казалось, к наконец-то точно
угаданному берегу, не отыскав его, поворачивали к другому, потом к третьему
- и ни к одному не могли добраться. Все сгинуло в кромешной тьме тумана.
- Так нам и надо,- уже с последней, безучастной злостью, обращаясь к
Воронцову, сказал Павел.- Какого дьявола было на ночь плыть - до утра бы не
подождали, что ли?
- Если бы ты днем их привез, не поплыли бы,- оправдывался Воронцов.
Павел смирился: будь что будет. Он уже не подсказывал Галкину держать
ни вправо, ни влево, тот правил куда-то, в какую-то пустоту, самостоятельно.
Затих, смирившись, и Воронцов, он сидел с опущенной головой, бессмысленно
глядя перед собой красными, воспаленными за ночь глазами, но время от
времени не забывал расталкивать дремавшего рядом Петруху. Петруха
встряхивался, выходил на борт и глухо и безнадежно кричал, едва слыша себя,
все то же:
- Ма-а-ать! Тетка Дарья-а-а! Эй, Матера!
Затем возвращался и, наваливаясь по-братски на Воронцова, опять
засыпал.
В конце концов, отчаявшись куда-нибуль выплыть, Галкин выключил мотор.
Стало совсем тихо. Кругом были только вода и туман и ничего, кроме воды и
тумана.

Заплакал со сна, тревожно и неутешно, мальчишка, и старухи очнулись,
завозились, распрямляясь и вздыхая,- они так и не укладывались, дремали
сидя, каждая на своем месте, кто где устроился с вечера и остался после
разговора. Сима, что-то наговаривая, стала успокаивать мальчишку, и он
умолк, срываясь временами лишь на слабые и подавленные всхлипы. В курятнике
у Богодула было даже и не темно, а слепо и исподно: в окне стоял мглистый и
сырой, как под водой, непроглядный свет, в котором что-то вяло и бесформенно
шевелилось - будто проплывало мимо.
- Это че - ночь уж? - озираясь, спросила Катерина.
- Дак, однако, не день,- отозвалась Дарья.- Дня для нас, однако, боле
не будет.
- Где мы есть-то? Живые мы, нет?
- Однако, что, неживые.
- Ну и ладно. Вместе - оно и ладно. Че ишо надо-то?
- Мальчонку бы только как отсель выпихнуть. Мальчонке жить надо.
Испуганный и решительный голос Симы:
- Нет, Коляню я не отдам. Мы с Коляней вместе.
- Вместе дак вместе. Куды ему, правда что, без нас?
- Ты не ложилась, Дарья?
- Я с тобой рядом сидю. Не видишь, ли че ли? Это ить я сидю-то.
- Потеперь вижу. Я куды-то летала, меня тут не было. Ниче не помню.
- Куды летала - там люди есть, нет?
- Не видала. Я летала по темени, я на свет не выглядывала.
- А ты кто такая будешь-то? С этого-то боку кто у меня?
- Я-то? Я Настасья.
- Это которая с Матеры?
- Она. А ты Дарья?
- Дарья.
- Это рядом-то со мной жила?
- Ну.
- Я ить тебя, девка, признала.
- Дак я тебя поперед признала.
- Вы че это? Че буровите-то? Рехнулись, че ли?
В два голоса ответили:
- Рехнулись.
И замолчали, то ли пристыженные, то ли смущенные своими же несуразными
словами. Тревожную и тяжелую тишину пилило хриплое, ширкающее дыхание
Богодула. В лад ему, движением успокаивая себя, покачивались вперед-назад
старухи.
- Че там в окошке видать-то? Гляньте кто-нить.
- Нет, я боюсь. Гляди сама. Я боюся.
Уставились в окно и увидели, как в тусклом размытом мерцании проносятся
мимо, точно при сильном вышнем движении, большие и лохматые, похожие на
тучи, очертания. В разбитую стеклину наплескивало сыростью. Сполз с нар
проснувшийся Богодул и приник к окну. Его заторопили:
- Че там? Где мы есть-то? Говори - че ты молчишь?
- Не видать, кур-ва! - ответил Богодул.- Туман.
Старухи закрестились, нашептывая, задевая друг друга руками. И опять,
только еще более потерянно:
- Это ты, Дарья?
- Однако что я. А Настасья где? Где ты, Настасья?
- Я здесь, здесь.
Богодул протопал к двери и распахнул ее. В раскрытую дверь, как из
разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой - то
был прощальный голос Хозяина. Тут же его точно смыло, и сильнее запестрило в
окне, сильнее засвистел ветер, и откуда-то, будто споднизу, донесся слабый,
едва угадывающийся шум мотора.

1976

**В.М.Шукшин "Залетный"**

***О смысле человеческой жизни.***

Кузнец Филипп Наседкин -- спокойный, уважаемый в деревне человек, беспрекословный труженик -- вдруг запил. Да и не запил вовсе, а так -- стал прикладываться. Это жена его, Нюра Заполошная, это она решила, что Филя запил. И она же полетела в правление колхоза и там устроила такой переполох, что все решили: Филя запил. И все решили, что надо Филю спасать.
Главное, всех насторожило, что Филя "схлестнулся" с Саней Неверовым. Саня -- человек очень странный. Весь больной, весь изрезанный (и плеврит, и прободная язва же, и печень, и колит, и черт его не знает, чего у него только не было, и геморрой), он жил так: сегодня жив, а завтра -- это надо еще подумать. Так он говорил. Он не рабо, конечно, но деньги откуда-то у него были. У него соби выпить. Он всех привечал.
Изба Сани стояла на краю деревни, над рекой, присела задом в крутизну берега, а двумя маленькими глазами-ок смотрела далеко-далеко -- через реку, в синие горы. Была маленькая оградка, какие-то старые бревна, две бе росли... Там, в той ограде, отдыхала душа.
Саня не то что слишком уж много знал или много пови на своем веку (впрочем, он про себя не рассказывал. Ма рассказывал) -- он очень уж как-то мудрено говорил про жизнь, про смерть... И был неподдельно добрый человек. Тя к нему, к родному, одинокому, смертельно боль. Можно было долго сидеть на старом теплом бревне и тоже смотреть далеко -- в горы. Думалось не думалось -- хо, ясно делалось на душе, как будто вдруг -- и в ка-то минуту -- стал ты громадный, вольный и коснулся руками начала и конца своей жизни -- смерил нечто драго и все понял. Ну и что? Ну и ладно! -- так думалось.
Бабы замужние возненавидели Саню с того самого дня, как он только появился в деревне. Появился он этой весной, облюбовал у цыган развалюху, сторговал, купил и стал жить. Его сразу, как принято, окрестили -- Залетный. И, разумеется, -- Саня, потому что -- Александр. Его даже по. И все зря. Филя, когда бывал у Сани, испытывал такое чувство, словно держал в ладонях теплого еще, сла воробья с капельками крови на сломанных крыльях -- трепетный живой комочек жизни. И у Фили все восставало в груди -- все доброе и все злое, когда про Саню говорили плохо.
Филя так и сказал на правлении колхоза:
-- Саня -- это человек. Отвяжитесь от него. Не тревожьте.
-- Пьяница, -- поправила бухгалтерша, пожилая уже, но еще миловидная активистка.
Филя глянул на нее, и его вдруг поразило, что она кра губы. Он как-то не замечал этого раньше.
-- Дура, -- сказал ей Филя.
-- Филипп! -- строго прикрикнул председатель колхо. -- Выбирай выражения!
-- Ходил к Сане и буду ходить, -- упрямо повторил Фи, ощущая в себе злую силу.
-- Зачем?
-- А вам какое дело?
-- Ты же свихнешься там! Тому осталось... самое большее полтора года, ему все равно, как их дожить. А ты-то?!
-- Он вас всех переживет, -- зачем-то сказал Филя.
-- Ну, хорошо. Допустим. Но зачем тебе спиваться-то?
-- Иди спои меня, -- усмехнулся Филя. -- Через неделю на баланс сядешь. Вы меня хоть раз сильно пьяным видели?
-- Так это всегда так начинается! -- вместе воскликнули председатель, бухгалтерша, девушка-агроном и бригадир Наум Саранцев, сам большой любитель "пополоскать зуб". -- Всегда же начинается с малого!
-- Тем-то он и опасен, Филипп, этот яд, -- стал разви мысль председатель, -- что он сперва не пугает, а как бы, наоборот, заманивает. Тебе после войны не приходилось на базаре в карты играть?
-- Нет.
-- А мне пришлось. Ехал с фронта, вез кое-какое барах: часы "Павел Буре", аккордеон... В Новосибирске пересадка. От нечего делать пошел на барахолку, гляжу -- играют. В три карты. Давай, говорят, фронтовичек, опробуй счастье! А я уже слышал от ребят -- обманывают нашего брата. Нет, говорю, играйте без меня. Да ты, мол, опробуй! Э-э, думаю, ну, проиграю тридцатку... -- председатель оживился. Его слушали, улыбались. Филя крутил фуражку меж колен. -- Давай, говорю! Только без обмана, черти! А надо было, значит, отгадать одну карту... Он их сперва пока, потом у тебя на глазах тасует и, значит, расклады тыльной стороной. Все три. Одну тебе надо отгадать, ту бубей, например. И ведь все на глазах делает, паразит! Вот показал он мне все три лицом -- запомнил? Запомнил, го. Следи!.. Раз-раз-раз -- перекидывает их. Я слежу, где туз бубей. Какая, спрашивает? Я зажал пальцем... Перевора -- туз бубей. Выиграл. Они мне еще дали выиграть раза три-четыре... Ну, и все: к вечеру и аккордеон мой, и ча, и деньги -- как корова языком слизнула. Все проиграл. Попытался было силой отбить, но их там много оказалось. Так и явился домой с пустыми руками. Вот как, Филипп, за-то всякая начинается -- незаметно. Ведь они же мне сперва дали выиграть, потом уж только чистить-то начали. Ведь мне все отыграться хотелось, все надеялся... Вот и отыг. Водка, она действует тем же методом: я тебя сперва ублажу, убаюкаю, а потом уж возьмусь за тебя. Так что смот, Филипп, -- не прогадай.
-- Мне не восемнадцать лет.
-- А она анкетные данные не спрашивает! Ей все равно... Работник ты хороший, с семьей у тебя пока все благополуч... Просто мы предупреждаем тебя. Не ходи ты к этому Са! Он, может, хороший человек, но смотри, сколько на не баб жалуется!..
-- Дуры, -- опять сказал Филя.
-- Ну, задолбил, как дятел: дуры, дуры. Твоя Нюра -- ду, что ли?
-- И моя дура. Чего заполошничать?
-- Да то, что ей семью разрушать не хочется!
-- Никто ее не разрушает. Сама бегает разрушает.
-- Ну, смотри. Мы тебя предупредили. А этого твоего Са мы просто выселим из деревни, и все... Он дождется.
-- Не имеете права -- больной человек.
-- Найдем право! Больной... Больной, значит, не пей. Иди работай, Филипп.
-- Вызывали? -- спросил вечером Саня, нервно подраги веком левого глаза.
-- Вызывали, -- Филе было стыдно за жену, за председа, за все правление в целом.
-- Не велели ходить?
-- Та-а... што я, ребенок, што ли!
-- Да, да, -- согласился Саня. -- Конечно, -- и веко его все подергивалось. Он смотрел на далекие горы. С таким выражением смотрел, точно ждал, что оттуда -- вспять -- взойдет солнце. Оно там заходило. -- Ночью, часу в двена, соловьи поют. Ах, дьяволята!.. выкомаривают. Друг перед другом, что ли?
-- Самок заманивают, -- пояснил Филя.
-- Красиво заманивают. Красиво. Люди так не умеют. Лю -- сильные.
"Это ты-то -- сильный?" -- думал Филя.
-- Уважаю сильных людей, -- продолжал Саня. -- В дет меня колотил один парнишка -- сильней меня был. Мне отец посоветовал: потренируйся, поподнимай что-нибудь тяжелое -- через месяц поколотишь его. Я стал поднимать ось от вагонетки. Три дня поподнимал -- надорвался. Пупок развязался.
-- А ты бы взял -- раз послабей -- гирьку, привязал бы ее на ремешок да гирькой бы его по башке. Я тоже смирный был, маленький-то, ну один извязался тоже, проходу не да. Я его гирькой от часов разок угостил -- отстал.
Саня пьянел. Взор его туманился... Покидал далекие си горы, наблюдал речку, дорогу, дикий кустик малины под плетнем. Теплел, становился радостным.
-- Хорошо, Филипп. Мне -- пятьдесят два, двенадцать откинем -- несознательные -- сорок... Сорок раз видел вес, сорок раз!.. И только теперь понимаю: хорошо. Раньше все откладывал, все как-то некогда было -- торопился мно узнать, все хотел громко заявить о себе... Теперь -- стоп-машина! Дай нагляжусь. Дай нарадуюсь. И хорошо, что у ме их немного осталось. Я сейчас очень много понимаю. Все! Больше этого понимать нельзя. Не надо.
Снизу, от реки, холодало. Но холодок тот только ощу, наплывал... Это было только слабое гнилостное ды, и огромная, спокойная теплынь от земли и неба гу это дыхание.
Филя не понимал Саню и не силился понять. Он тоже чувствовал, что на земле -- хорошо. Вообще жить -- хорошо. Для приличия он поддерживал разговор.
-- Ты совсем, што ли, одинокий?
-- Почему? У меня есть родные, но я, видишь, болен, -- Саня не жаловался. Ни самым даже скрытым образом не жаловался. -- И у меня слабость эта появилась -- выпить... Я им мешаю. Это естественно...
-- Трудно тебе, наверно, жилось...
-- По-разному. Иногда я тоже брал гирьку... Иногда мне гирькой. Теперь -- конец. Впрочем, нет... вот сейчас я сознаю бесконечность. Как немного стемнеет, и тепло -- я вдруг сознаю бесконечность.
Этого Филя совсем не мог уразуметь. Еще один мужик си, Егор Синкин, с бородой, потому что его в войну ра в челюсть, тот тоже не мог уразуметь.
-- В тюрьме небось сидел? -- допытывался Егор.
-- Бог с вами! Вы еще из меня каторжанина сделаете. Просто я жил и не понимал, что это прекрасно -- жить. Ну, что-то такое делал... Очень любил искусство. Много суетил. Теперь спокоен. Я был художник, если уж вам так инте. Но художником не был, -- Саня искренне, негромко, весело смеялся. -- Вконец запутал вас... Не мучайтесь. Ну ма ли на свете чудаков, странных людей!.. Деньги мне при брат. Он богатый. То есть не то что очень богатый, но ему хватает. И он мне дает.
Это мужики понимали -- жалеет брат.
-- Если бы все начать сначала!.. -- на худом темном лице Сани, на острых скулах вспухали маленькие бугорки желва. Глаза горячо блестели. Он волновался. -- Я объяснил бы, я теперь знаю: человек -- это... нечаянная, прекрасная, мучительная попытка Природы осознать самое себя. Бес, уверяю вас, потому что в природе вместе со мной живет геморрой. Смерть!.. и она неизбежна, и мы ни-ког-да этого не поймем. Природа никогда себя не поймет... Она взбесилась и мстит за себя в лице человека. Как злая... мм... -- дальше Саня говорил только себе, неразборчиво. Мужикам надоедало напрягаться, слушая его, они начинали толко про свои дела.
-- Любовь? Да, -- бормотал Саня, -- но она только запу и все усложняет. Она делает попытку мучительной -- и только. Да здравствует смерть! Если мы не в состоянии постичь ее, то зато смерть позволяет понять нам, что жизнь -- прекрасна. И это совсем не грустно, нет... Может быть, бессмысленно -- да. Да, это бессмысленно.
Мужики понимали, что Саня уже хорош. И расходились по домам.
Филя брел переулками-закоулками и потихоньку растра из груди горячую веру, что жизнь -- прекрасна.
Оставалась только щемящая жалость к человеку, кото остался один сидеть на бревне... И бормочет, бормочет себе под нос нечто -- так он думает, тот человек, -- важное.
Через неделю Саня помер.
Помирал трезвым. Ночью. С ним был Филя.
Саня все понимал и понимал, что помирает. Иногда только забывался -- точно накрепко задумывался, смотрел в стенку, не слышал Филю...
-- Сань! -- звал Филя, -- Ты не задумывайся. А то так ху. Может, встанешь походишь маленько? Давай я повожу тебя по избе... Сань?
-- Мм?..
-- Поломай себя... Разомнись маленько.
-- Сходи, Филипп... дай веточку малины... Под плетнем растет. Только пыль не стряхни... Принеси.
Филя вышел в ночь, и она оглушила его своей необъ. Глухая
весенняя ночь, темная, тяжкая... огромная. Филя никогда ничего в жизни не боялся, а тут вдруг чего-то оробел... Поспешно сломил молодую веточку малины, влаж от ночной сырости, и заторопился опять в избу. Поду: "Какая на ней пыль? Не успела еще... пыль-то, доро-то еще грязные. Откуда пыль-то?"
Саня приподнялся на локте и прямо в упор смотрел на Филю. Ждал. Филя одни только эти глаза и увидел в избе, ко вошел. Они полыхали болью, они молили, они звали его.
-- Не хочу, Филипп! -- ясно сказал Саня. -- Все знаю... Не хочу! Не хочу!
Филя выронил веточку.
Саня, обессиленный, упал головой на подушку и тихо, и торопливо еще сказал:
-- Господи, господи... какая вечность! Еще год... полгода! Больше не надо.
У Фили больно сжалось сердце. Он понял, что Саня пом. Скоро помрет. Он молчал.
-- Не боюсь, -- тихо, из последних сил торопился Са. -- Не страшно... Но еще год -- и я не приму. Ведь это же надо принять! Ведь нельзя же, чтобы так просто... Это же не казнь! Зачем же так?..
-- Выпей водки, Сань?
-- Еще полгода! Лето... Ничего не надо, буду смотреть на солнце... Ни одну травинку не помну... Кому же это надо, ес я не хочу? -- Саня плакал. -- Филипп...
-- Што, Сань?
-- Кому же это надо? Ну ведь глупо же, глупо!.. Она же -- дура! Колесо какое-то.
Филя тоже плакал -- чувствовал, как по щекам текут сле. Сердито вытирался рукавом.
-- Сань... ты не обзывай ее, может, она... это... отступит. Не ругай ее.
-- Я не ругаю. Но ведь как глупо! Так грубо... и ничем не помочь! Дура.
Саня закрыл глаза и замолк. И долго-долго молчал. Филя даже подумал, что уже -- все.
-- Поверни меня... -- попросил Саня. -- Отверни. -- Фи повернул друга лицом к стене.
-- Дура, -- еще раз совсем тихо сказал Саня. И опять за.
Филя с час примерно сидел на стуле не шевелясь, ждал, когда Саня что-нибудь попросит. Или заговорит. Саня боль не заговорил. Он помер.
Филя и другие мужики схоронили Саню. Тихо схорони, без лишних слов. Помянули.
Филя посадил у изголовья его могилы березку. Она при. И когда дули южные теплые ветры, березка кланя и шевелила, шевелила множеством мелких зеленых ла -- точно силилась что-то сказать. И не могла.

**В.Астафьев**

**«Тот, кто не растет, умирает…»**

*1.Борьба за жизнь
2.Как выжить в экстремальной ситуации
3.Цена жизни...*

В густом тонкоствольном осиннике я увидел серый в два обхвата пень. Пень этот сторожили выводки опят с рябоватыми шершавыми шляпками. На срезе пня мягкою топкою лежал линялый мох, украшенный тремя или четырьмя кисточками брусники. И здесь же ютились хиленькие всходы елочек. У них было всего по две-три лапки и мелкая, но очень колючая хвоя. А на кончиках лапок все-таки поблескивали росинки смолы и виднелись пупырышки завязей будущих лапок. Однако завязи были так малы и сами елочки так слабосильны, что им уж и не справиться было с трудной борьбой за жизнь и продолжать рост.

Тот, кто не растет, умирает! - таков закон жизни. Этим елочкам предстояло умереть, едва-едва народившись. Здесь было прорасти, но нельзя выжить.

Я сел возле пенька курить и заметил, что одна из елочек сильно отличается от остальных, она стояла бодро и осанисто посреди пня. В потемневшей хвое, в тоненьком смолистом стволике, в бойко взъерошенной вершинке чувствовались какая-то уверенность и вроде бы даже вызов.

Я запустил пальцы под волглую шапку мха, приподнял ее и улыбнулся: "Вот оно в чем дело!"

Эта елочка ловко устроилась на пеньке. Она веером развернула липкие ниточки корешков, а главный корешок белым шильцем впился в середину пня. Мелкие корешки сосали влагу из мха, и потому он был такой линялый, а корешок центровой ввинчивался в пень, добывая пропитание.

Елочка долго и трудно будет сверлить пень корешком, пока доберется до земли. Еще несколько лет она будет в деревянной рубашке пня, расти из самого сердца того, кто, воз, был ее родителем и кто даже после смерти своей хранил и вскармливал дитя.

И когда от пня останется лишь одна труха и сотрутся следы его с земли, там, в глубине, еще долго будут преть корни родительницы-ели, отдавая молодому деревцу последние соки, сберегая для него капельки влаги, упавшие с травинок и листьев земляники, согревая его в стужу остатным теплым дыханием прошедшей жизни.

Когда мне становится невыносимо больно от воспоминаний, а они не покидают, да и никогда, наверное, не покинут тех, кто прошел войну, когда снова и снова передо мной встают те, кто пал на поле боя, а ведь были среди ниx ребята, которые не успели еще и жизни-то как следует увидеть, ни полюбить, ни насладиться радостями мирскими и даже досыта поесть, - я думаю о елочке, которая растет в лесу на пне.

**Вячеслав ДЁГТЕВ**
**Разумные существа**

*Проблематика:
1.Милосердное отношение к животным.
2.Жестокое отношение к животным (как детеныша богатеи хотели пустить на шашлыки...)
3.Любовь к животным сближает людей (концовка рассказа).*

     Мать  Егорки работает поварихой  на даче нового русского. Мальчик часто
бывает здесь.  В доме  четыре  этажа,  есть  даже лифт. Но  мальчик  в  этих
хоромах,  дальше кухни, где чуть ли не  сутками крутится мать, не бывал. Это
зачем же одному столько места?

     Новый хозяин жизни, которого зовут Ярославом Михайловичем, живет в этом
огромном доме  одиноким куркулем, лишь изредка к  нему  приезжает из  Москвы
Галюся, молодящаяся стервозная тетка,  похожая на  куклу  Барби;  она  зовет
хозяина  Ярик; он ездит по очереди, опять же  один, на трех  огромных черных
машинах, из  которых  с  трудом  вылезает,  похожий  на  борова,  с  красным
затылком, потный и одышливый. Недавно он побывал в Австралии  и купил  там в
каком-то  дельфинарии  Сиднея  дельфиниху  и  ее  почти  что  новорожденного
дельфиненка. Ну захотелось человеку потешить себя -- с кем не бывает...

     Для  перевозки дельфинов изготовили  специальную ванну, загрузили ее  в
самолет  вместе с дельфинами, и таким образом  важный груз был  доставлен из
Австралии прямо на подмосковную дачу Ярослава Михайловича. Правда, по дороге
случилось  ЧП:  старая  дельфиниха   не  выдержала  перелета  и  сдохла.  Но
маленького  дельфиненка,  которого  прозвали   Бабочкой,  все-таки   удалось
доставить живым.

     На даче  дельфиненка  временно поместили  на кухне в огромной ванне. За
две  недели, ударными темпами, бригада молдаван построила для него огромный,
в полгектара, бассейн, который заполнили морской водой и куда его выпустили.

     Но дельфиненок не радовался простору. Он  грустил и, видно, тосковал по
маме-дельфинихе.  Он  обычно неподвижно стоял в  толще  зеленоватой  воды  у
самого дна бассейна, в углу, и лишь изредка всплывал, чтоб с шумом выпустить
воздух и опять погрузиться. Погрузиться в тоску...

     Егорка ходил к бассейну и подолгу  сидел  на дощатом помосте. Он бросал
дельфиненку свежую мойву. Но дельфиненок пищу не брал.

     Тогда  мальчик как-то нырнул, подплыл  под  водой к дельфиненку и почти
насильно воткнул рыбешку в его рот, похожий на пингвиний клюв.

     Дельфиненок несколько опешил, удивился и растерялся, но  рыбешку тем не
менее,  с грехом пополам,  проглотил. Вообще-то его  кормили пока что густым
желтым  дельфиньим  молоком,  которое  присылали  откуда-то из-за границы  в
сорокалитровых  специальных контейнерах.  Молоко  было похоже  на сгущенку и
сильно пахло рыбьим жиром.

     Следующую рыбку удалось втолкнуть ему уже полегче.

     Скоро  дельфиненок стал  подплывать  к  берегу.  И даже  откликаться на
егоркино похлопывание по воде.

     Вообще-то дома родители зовут Егорку Жорой. Егоркой его назвали в честь
модного  в  середине девяностых политика, который даже  умницей считался, но
вскоре  родители на собственной шкуре  поняли, что представляет из  себя тот
инфантильный причмокивающий мажор,  и тогда они,  не сговариваясь, даже имя,
теперь  для  них ненавистное, перестали  упоминать и  сына как  бы  негласно
переименовали.  Так у мальчика оказалось два  имени:  в школе его звали, как
было  записано в документах, а дома -- по-другому. Хотя самому мальчику было
наплевать на  всяческих  там  политиков, он  слабо представлял себе, кто это
такой,  тот, в честь  кого его когда-то назвали, имя  "Егорка" ему нравилось
больше, чем "Жора", и потому сам он называл себя, как было записано.

     Через какое-то время у Ярослава Михайловича  случился банкет.  Или, как
они  выражались,  -  "оттяг".  Сходняк  всяких  Витьков, Толянов,  Диманов,
Вованов и Колянов. Каждый из них  жил  по  принципу: чужого  не возьмешь  -
своего  не  будет. Но  на  подобных  общественных  мероприятиях  они  строго
придерживались понятия, что меж ними, ворами, все  должно быть честно. Когда
они  наклюкались  как сапожники,  наутюжились как  портные, насвистались как
немцы, налимонились как педики или просто по-солдатски употребили не в меру,
в  общем, дошли  до  кондиции, все  началось  как  всегда: борьба, вольная и
классическая, бросание через бедро и бросание ножей в доску, потом  стрельба
из  пистолетов.  Но в этот  раз  было  еще и  ныряние в бассейн и  погони за
дельфиненком.   Перемутили   всю   воду,  наконец  поймали   его  с  помощью
волейбольной  сетки. Потом всяческие  издевательства.  Заглядывание  в  рот.
Разглядывание клоаки. Оживленные, даже ожесточенные  споры -- самец  это или
самка? Окуривание дымом и прижигание сигаретами.

     Большую прыть в этом проявляла та самая разлохматившаяся тетка, похожая
сейчас на  мокрую  ведьму  из  мультика,  которая  не отходила  от  Ярослава
Михайловича и которую звали Галюся. Она вдруг  предложила сделать из Бабочки
шашлык. Все замолкли и устремили взгляды на хозяина. Галюся капризно топнула
ножкой: хочу шашлык из дельфина! Ярик, хочу!

     И Ярослав  Михайлович, такой солидный и  толстый, с  массивной  золотой
цепью на волосатой шее, вдруг неожиданно махнул рукой. Все заорали: на кухню
его! на кухню! Принесли, бросили на кухонный стол: режь, приказали поварихе,
и  быстро шашлык из  него! Егорка  вцепился матери  в подол:  мама, не  режь
Бабочку! Мать тоже заплакала:  что же  делать,  Жора?  что же делать? Если б
Ярослав Михайлович был один, с ним можно  было б как-то договориться, но тут
вертится эта чертова Галюся.

     И мать  неожиданно  принимает прямо-таки героическое  решение: не будет
она резать живое и, говорят, разумное существо, ведь они братья наши меньшие
по разуму,  правда, Жора?  Она прячет дельфиненка в ванну, а шашлык жарит из
жирной осетрины.

     Гости едят  и нахваливают.  И даже Галюся довольна:  "Ах,  и  не думала
никогда, что дельфин такой вкусный. А говорили -- рыба живая..."

     Ночью, когда  часть гостей разъезжается, а  другая укладывается  спать,
Егорка с матерью уносят дельфиненка домой. Поселяют его в семейной ванне.

     Через   некоторое   время  отец   начинает  уговаривать  сына   отвезти
дельфиненка на  речку и отпустить. Наша речка впадает  в другую речку, Жора,
уговаривает  он  сына,  а та -- в  море. Ему  там будет гораздо лучше, чем в
нашей  ванне,  сынок. Мальчик соглашается.  Он понимает,  что Бабочке тяжело
жить в тесной ванне: не то что порезвиться, тут и повернуться-то негде.

     Мать  соглашается с  отцом. Они  собираются.  Ставят на багажник машины
детскую  ванночку, наливают туда воды и грузят дельфиненка - ему в ней лишь
только лежать можно, и то на одном боку, - и едут.

     Приезжают на речку. Находят чистое место, с песчаным дном. Рядом рыбак,
он интересуется: что  это  вы собираетесь делать? Они ему объясняют.  На что
рыбак говорит: но ведь наша речка впадает в другую речку, та в Оку, а Ока  в
Волгу.  А   Волга   -  в  Каспийское  море.  Которое  не   море   вовсе,  а
просто-напросто  большое озеро. И дельфины в  нем не водятся. Даже если  ваш
дельфиненок не сдохнет от  голода и  пресной воды и доплывет до  Каспийского
моря, то всю жизнь придется ему пробыть в одиночестве.

     Как известно, всякое возражение оттачивает мысль. Отец мальчика чешет в
затылке. А ведь рыбак-то прав. Они как-то об этом и не подумали. Так что  же
делать? - спрашивают они рыбака. Нужно везти его  хотя бы до  Дона.  Дон-то
точно в море впадает.

     Отец  по  мобильнику  звонит  матери,  объясняет  ситуацию. Та,  скрепя
сердце,  разрешает  им  проехать до Дона, правда,  дает  при этом  множество
наказов, которые они обещают выполнять.

     С тем они и едут еще дальше на юг. На следующий  день в районе Воронежа
пытаются  отпустить  дельфиненка в Дон. Но стихийно собравшиеся  возле моста
люди начинают  возмущаться. По поводу отпуска  дельфиненка  в реку случается
едва  ли не  народный митинг. Народ в основном ропщет. Смотрите, какая  река
грязная.  Мазут, солярка.  Не  доплывет он  у вас  до моря, сдохнет. Ох,  не
доплывет. Хотя бы до Ростова довезите.

     Находится  человек,  по  виду  совсем не  новый русский,  -  во всяком
случае, нет ни золотой цепи, ни обязательного "болта" на пальце, -  который
предлагает заехать  к нему  на дачу,  пустить дельфиненка в  бассейн,  пусть
порезвится-разомнется,  и переночевать  у него.  А  уж завтра, по холодку, и
тронетесь дальше. Наутро он даже дает денег на бензин.

     После  чего  они  едут  еще  целый  день.  Быстро  ехать  нельзя,  воду
расплескаешь. Тормозить тоже нужно очень мягко. Поэтому движутся  черепашьим
шагом. Солнце  печет нещадно. Дельфиненку  в ванночке очень  жарко,  хоть  и
закрыта она  брезентом.  Им тоже не сахар.  Никаких чувств  уже не осталось,
окромя волчьего аппетита и неутолимой жажды. К вечеру останавливаются где-то
возле  придорожного пруда. Меняют воду. В  киоске покупают  мойву, оттаивают
ее, пытаются кормить дельфиненка.  Он держится молодцом - и это после такой
дороги.  Будто  понимает,  что   ему  нельзя  расслабляться.  Потому   и  не
расслабляется. Видно, он из тех, на кого грядущее отбрасывает свою тень...

     Подходят дальнобойщики. Один говорит,  что тут поблизости  у одного его
корефана  есть  фазенда с бассейном,  в  котором  морская  вода.  Можно туда
доехать, тут рядом, пусть малыш поплавает, отдохнет от такой  дороги. А то и
до греха недалеко.

     Едут на  ту фазенду.  В самом  деле -- в чистом бассейне морская  синяя
вода. Отпускают  дельфиненка. Он  плавает, радуется.  С удовольствием  берет
рыбку из рук мальчика.

     На той фазенде они еще  раз ночуют. Отец  звонит матери, выслушивает от
нее множество  всяческих слов... Мальчик понимает,  что  дома их ждет такое,
что лучше об этом и не думать.

     И  он старается не думать, главное - Бабочку  спасти, довезти до моря,
- с такими мыслями и засыпает.
     Наутро хозяин поспешно выпроваживает их со двора, даже не покормив. Оно
и  понятно:  первые  порывы души бывают обычно  благородны, но, как правило,
порывы...

     Наутро въезжают в Ростов. В Ростове Дон  оказывается еще грязнее, чем в
Воронеже. Едут до Азова. Там -- не лучше. Старый, запущенный  порт. Плавучие
краны,  ржавые  суда, гниющие всюду, насколько  хватает глаз. Ужасное место.
Отец  долго  стоит на берегу, вдыхая горький аромат испарившихся надежд, как
сладкий дым сожженных кораблей... Но находится и в Азове добрый человек,  он
отливает им полбочки бензина. И у них появляется возможность ехать до Анапы.

     В  Анапу  приезжают  к   вечеру.  Прямо  на  пляже  пытаются  выпустить
дельфиненка  в  море.  Но  и  тут собирается  толпа  народу. Дети сбегаются,
кажется, со  всего побережья. Опять кто-то  говорит,  что дельфиненка нельзя
здесь  отпускать.  Или умрет  с  голоду  - ведь он еще молокосос, сам  рыбу
ловить еще не научился, - или его растерзают морские свиньи, которые стаями
плавают  вблизи  побережья.  Что  же  делать? Нужно  везти  его  в  Сочи,  в
дельфинарий.  Только там он  сможет выжить.  Тем более,  там  и  специальные
врачи,  которые по  дельфинам, есть. Находится  и тут свой доброхот. Который
готов предоставить машину с большой цистерной,  а также бензин, естественно,
за его счет.

     Егорка  обвязывает хвост  Бабочки  бечевкой,  отпускает  в воду,  чтобы
дельфиненок на такой привязи немножко поплавал-порезвился в Черном море.

     Наутро едут  в  Сочи. Целый  день  горный серпантин и,  наконец,  уже к
вечеру, вот она - всероссийская здравница. За несколько километров до Сочи,
когда отец рассказывал о викингах, о их крутобоких ладьях,  о том, что вышли
они из этих вот мест и с этих берегов и что покойников хоронили они в полосе
прилива,  на  ничейной  земле,  что  ни море, ни  суша, вдруг из-за поворота
появился какой-то человек. Он махнул рукой,  и отец остановился.  Человек  с
полным ртом золотых зубов залез на сиденье и сказал вдруг: "А ты знаешь, я в
Бога не верю!" Отец в тон ему  отозвался: "Ты прав,  земляк, простота спасет
мир". После чего новый попутчик подал ему руку и назвался: "Евгеньич".

     На самом  въезде в город  появляется плакат:  "Граждане отдыхающие!  Не
играйте с  жителями Сочи  в карты -  они знают прикуп". Егорка  не понимает
ровным  счетом  ничего, зато  отец  долго-долго отчего-то смеется, хватая то
попутчика  за руку, то сына за плечо:  ах, Жора, сынок,  веселые  тут  живут
люди!

     Когда  уже   въехали  в  Сочи,  отец  спросил   попутчика:   как  найти
дельфинарий? А зачем вам? Отец объяснил: так и  так, везут туда дельфиненка.
Попутчик ошарашенно выпячивает глаза: что, в самом деле, из самой Москвы? Из
самой что ни на есть златоглавой.  Тогда  Евгеньич говорит, что  вообще-то в
этом мире нет  ничего  случайного,  и  даже эта встреча, каждый  в этом мире
безумен и у  каждого в башке  свои  тараканы,  в общем,  бессмысленно  все и
беспощадно.

     С этими его словами они  и  подкатывают  к дельфинарию. Входят. В синей
воде  плавают  сородичи  Бабочки,  только  почерней.  Их  попутчик  Евгеньич
преображается в смотрителя-дрессировщика и говорит, что вам, ребята, повезло
просто несказанно. Молодая  дельфиниха  Клара два дня назад родила  мертвого
дельфиненка. Поэтому очень беспокойна,  ничего не  ест, мечется по бассейну.
Вот и сегодня ужин проигнорировала. Может, она и не прогонит вашего...

     Отец хватает золотозубого служителя за рукав: попробуй, Евгеньич!

     Служитель надевает ласты и  маску, берет старинную  бутылку, с  широким
горлышком (Егорка знает: раньше в таких бутылках молоко и кефир продавали) и
ныряет  в  бассейн. Подплывает к Кларе,  чешет ее по боку. С боков  у Клары,
оказывается, есть в шкуре прорези, где  внутри находятся соски.  Дельфиненок
сует  в  прорезь свой "клюв", ухватывает сосок и так сосет молоко.  Евгеньич
поглаживает  Клару  по  боку,  находит  прорезь,  раздвигает ее  пальцами  и
засовывает  туда широкое бутылочное горлышко...  Кое-как, с грехом  пополам,
ему это удается, и он набирает бутылку клариного молока.

     Подплывает к помосту, высоко над головой держа бутылку. Молоко такое же
густое и жирное,  как и то, которым вскармливали Бабочку. И при  этом так же
сильно пахнет рыбой, точнее рыбьим  жиром,  который Егорке  довелось  как-то
попробовать - на всю  жизнь запомнил тот вкус и  запах. Евгеньич  поит этим
ужасным молоком Бабочку - дельфиненок  чмокает от удовольствия, совсем  как
поросенок.  Остатки  молока Евгеньич выливает дельфиненку  на дыхало  и дает
тому молоку высохнуть. После чего выпускает Бабочку в бассейн.

     Как известно,  чтоб добиться фантастических результатов,  нужно ставить
перед  собой  фантастические  цели.  И  тогда люди могут сказать,  что  тебе
повезло  или случилось чудо. Да, чудеса  иногда  случаются, но случаются они
только у тех, кто хотя бы способен поверить в чудо.

     Клара сперва  ничего  не понимает, она  в  растерянности,  даже в шоке.
Потом  бросается к дельфиненку, ошалело кружится вокруг него, и,  видно, чуя
свой  собственный  запах, радостно выпрыгивает метра  на три  из воды. После
чего  начинает  обрадованно виться,  тереться вокруг  дельфиньего  детеныша,
оглашая воздух громким торжествующим свистом и радостным хрюканьем.

     Ах,  до  чего  же,  оказывается, громко  могут эти дельфины  хрюкать  и
свистеть! Прямо паровозы какие-то. Перевозящие поросят.

     А отец  с  сыном, и счастливый,  улыбающийся  во  весь золотозубый  рот
Евгеньич  не заметили, как  откуда-то собралась  вокруг них  огромная  толпа
зевак.  Сперва  все эти  зеваки напряженно молчали. Так,  что  их и не  было
слышно. Потом, когда Клара признала чужого дельфиненка за своего,  все вдруг
загомонили, зашумели. Все громче и  громче зашумели. И вот уже  толпа просто
орет восторженно.

     И громче всех и восторженней  всех  орет и размахивает счастливо руками
один  дядька  с  золотой  цепью  на  волосатой  шее,  похожий  на   Ярослава
Михайловича. А с ним прямо-таки  беснуется какая-то тетка, совсем  как кукла
Барби, очень-очень  смахивающая на  Галюсю. Мальчик даже несколько опешил от
удивления: неужто это те же самые люди? Эх, люди вы, люди...

     А счастливая Клара высовывала  то и дело из воды свой "клюв", и трещала
громко, и  свистела, так  что аж уши закладывало, и  хрюкала сердито, словно
пыталась усовестить эту толпу приматов.

     Тише,  люди!  Не  видите,  что ли, - мать  кормит  своего  пропавшего,
заблудившегося, совсем оголодавшего ребенка. Тише, люди! Не орите, не шумите
так. Ведь вы же, как и мы, - разумные существа...

     Через час отец с сыном уезжали из  Сочи,  они ехали на север, в Москву,
на расправу к грозной матери, так и не догадавшись спросить у Евгеньича: кем
же  был  их  дельфиненок, которого  они нарекли Бабочкой,  --  мальчиком или
девочкой?

**4.Спор поколений: вместе и врозь.**

[Б.Екимов «Про чужбину»](http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/knizhnaya-polka/423-b-ekimov-pro-chuzhbinu)

**ПРО ЧУЖБИНУ**

*Из этого текста можно взять аргументы:
1.К проблеме развала российской деревни.
2.Любовь к Родине. Все слушали Васю, даже адрес записывали, но никто не поехал за ним: хлеб надо сеять, детей поднимать.
3.Стремление человека жить за счет других, пусть в немецкой тюрьме, но на "легких хлебах".
4. Отношение к матери...*
В конце декабря объявился на хуторе Вася Колун. Он всегда старался подгадать к празднику: Рождество ли, масленица, Пасха, Троица, когда сам Бог велит погулять. Околачивался Вася в последние годы в райцентре да в городе: шоферил, чем-то торговал (не от себя, конечно), машины ремонтировал. Словом, на все руки. Как, впрочем, и многие нынче. Колхозам — конец. В городах заводы стоят. Вот люди и применяются. Тем более молодые.
А Васе Колуну — лет тридцать. Разведенный. Сам себе голова. Где-то мыкается; порой к матери приезжает. Поживет — и снова нет его. Бывает и при деньгах, шикует. А чаще материнский загашник проверяет да отъедается на деревенских харчах.
Нынче Вася под Новый год подгадал. Как раз приморозило, снег выпал. Он и объявился. Приодет: новая зеленая куртка-пуховик, такая же шапка с козырьком и наушниками, высокие ботинки со шнурками. А морда, словно у кота, круглая. Сразу видно: не голодал.
Автобус из райцентра останавливался возле бригадной мастерской и гаража. Там вечно люди толклись. Васю Колуна сразу углядели. Да он и сам подошел, поздоровался с земляками.
— Откуда, Васек? — спросили его. — Морду наел. Либо с курортов?
— Из тюрьмы.
Шутку поняли.
— Подскажи адрес. Мы тоже туда. Всем кагалом.
— Кагалом не советую. Получится групповая, — предупредил Вася, но адрес дал: — Шварценпумпе.
— Это где ж такое? — опешили.
— Федеративная Республика Германия.
Народ смолк. Вроде шутит мужик. Но вид не шутейный. Из сумки поллитру достает. Значит, с прибытием, как положено.
Разлили. Выпили. Кое-что прояснилось. Оказывается, наняли Василия какие-то чечены ли, грузины перегонять машины из Германии к нам. На самолете — туда. Там дают машину. Гони. В Белоруссии забирают. Три штуки он пригнал. На четвертой немцы тормознули на границе. В компьютере его имя. Плати штраф, триста марок. За что, не понял. Да и денег нет. Дали два месяца тюрьмы. Отсидел в этом самом Шварценпумпе.
Это — прояснилось. Поверили в тюрьму. Дело житейское. На ком греха нет! Кое-кто сутки сидел, а кое-кто и побольше. Тут у себя никому ничего не докажешь, а там — и вовсе. Тем более с чеченами связался.
Словом, поверили. И в Германию, и в тюрьму. Но вот дальше Колун такое понес, что пришлось его останавливать.
— Телевизор, — говорит, — в камере. Цветной, одиннадцать программ показывает. Гляди хоть круглые сутки. Камеры на двоих, на троих. В каждой — туалет, душ с горячей водой.
— Хорош, — сказали ему. — Вася, ты поплыл. Иди к маме и отсыпайся.
Брехунов в округе хватало. Но не таких. Тем более когда о тюрьме поет. Чего-чего, а про тюрьму на хуторе знали не понаслышке. Костя Шамин три года отсидел за родную тещу. Иван Быков, как говорили, за любовь к сложной бытовой технике. Три холодильника из Дома быта упер, в райцентре. Николай Мазаев отсидел восемь лет. “За дело”, — коротко отвечал он любопытным.
Так что про тюрьму, про зону, про тамошние порядки кое-что знали. И конечно, лапшу на уши вешать не позволили.
Цветной телевизор... На двоих камера... Горячая вода, туалет...
Как говорится, брехать бреши, но знай меру. Хутор, конечно, хутором, но не такие уж тут дуболомы живут. Кое-что понимают.
Словом, направили Васю домой. Проспись, парень, а потом приходи. Гостям всегда рады, особенно если с бутылкой.
Прогнать-то человека прогнали, и он ушел. Нормально. И не качался. Значит, не больно пьяный. И после его ухода появились кое-какие сомненья:
— Все же — заграница... Капитализм... Придуряются. По телевизору глянешь...
— По телевизору чего хочешь можно показать. Пропаганда! Они ведь ныне нас туда агитируют. В свою веру. Вот и стараются!
— Карахтинцев из Вихляевки ездил с женой, к ее родне, в Германию. Тоже рассказывают...
И тут неожиданно взорвался Николай Мазаев.
— Все это — лажа, тухта! — кричал он. — Фуфляк! Полощет мозги! Простыночки! Телевизор! Я от и до прошел, от звонка до звонка. И пересылку, и “крытку”, и зону! Всего навидался, нанюхался, накушался! Парк культуры и отдыха! Да там гнобят хуже нашего. Потому что там — порядок, а не кильдим. Там все полицейские — амбалы, рост не ниже ста восьмидесяти. Будут они с тобой цацкаться. Там — дисциплина!
Обычно мужик неговорливый, Николай аж трясся — видно, задело его. Еле успокоился, напоследок твердо сказав:
— После работы идем к Васе. Пусть попоет, салажонок. И я его расколю. Отцом-матерью клянусь, я его выведу на чистую воду.
С того дня и пошло и поехало. На хуторе — разговоры лишь про тюрьму немецкую. А Николая Мазаева пришлось потом в больницу везти. У него язва открылась. Видно, от нервов.
Всю неделю Васю Колуна по хутору из дома в дом таскали. Всем интересно послушать, хоть и не верилось, потому что похоже на сказку.
— Камеры есть на двоих, на одного, на четверых. Мы жили двое. Туалет, умывальник, душевая, горячая вода круглые сутки...
— Вот дают! А у нас баню закрыли, и, видать, насовсем.
— Правда, туалет и душ — совмещенные.
— Это как? На всех вместе, в коридоре?
— В каждой камере. Но унитаз и душ в одной комнате. И в каждой камере — цветной телевизор. Одиннадцать программ показывает.
— Сколько?!
— Одиннадцать.
— Обнаглели... — вздыхал кто-то. — Тюрьма называется.
— Хочешь — мультики смотри. Отдельная программа. Хочешь — футбол, хоккей, другой спорт. И детективы, там все понятно: бух-бах! Хоть круглые сутки гляди, не запрещается. Так же в каждой камере — холодильник.
— А чего там холодить? — интересовались.
— Как чего... В магазине чего купил. Магазин каждый день работает. И выбор не то что в сельпо. Чего нет, заказываешь, назавтра привезут как штык.
Для этих бесед, для расспросов — в том ли, другом доме — обычно устраивались на кухне. Бутылка-другая на столе, закуска: квашеная капуста, соленые огурцы да помидоры, холодец, сало. Выпьют и слушают. А курить мужики выходили на волю. Иначе надымят — крыша поднимется.
— Днем все камеры — настежь. Ходи гуляй по этому, по другим этажам. Хочешь, иди в спортзал, тренируйся. Там — оборудование: штанги, гантели, тренажеры. Дорожка такая, как транспортер. Бежишь, бежишь, а все вроде на месте. Велосипеды. Теннис настольный. Не хочешь спорт, иди в библиотеку. Книжки — на всех языках. И на русском есть, я брал.
— А вас там много ли русских-то было?
— Один я. С Украины — полно, с Румынии, поляков много, чеченов, азербайджанцев. А из России — я один.
Вася сидел у стола — за почетного гостя: круглолицый, спокойный. Понемногу выпивал. Закусывал холодцом и говорил:
— Вот холодца там нет. Чего нет, того нет. А остальной жратвы — от пуза. Утром обязательно йогурт.
— Чего-чего?..
— Йогурт. Вроде кислое молоко, но сладкое, с фруктовыми добавками.
— Ох и брешет... — негромко, но явственно сквозь зубы цедил Николай Мазаев. Он по всем хатам за Васей Колуном таскался, пытаясь разоблачить.
— На завтрак — йогурт, — спокойно продолжал Вася. — Колбаса, сыр, кофе, само собой, хлеб.
— У-ух и брешет... — шептал Мазаев.
Вслух говорить он уже не решался, боялся, что прогонят, как в первый вечер, когда он устроил скандал. Вывели его тогда мужики и домой отправили.
— Все это — без нормы, от пуза. В обед — густой такой суп дают, суп-пюре. Гороховый, овощной, вроде нашего борща. Потом — мясное с гарниром и фрукты.
— А шампанского не было? — не выдерживал Мазаев.
— Танцы были. Несколько раз. Под оркестр. Мужиков и баб вместе выпускали. Танцевали. И тогда давали вино и пиво.
— Ну ты же брешешь?! Какие еще в тюрьме танцы!! — не мог сдержаться Мазаев.
— Николай! — предупреждали его. — Иди покури.
Мазаев послушно выходил. И уже там, в коридоре ли, во дворе, кому-нибудь из мужиков доказывал яростно:
— Ведь явно он брешет! Я — лично, от звонка до звонка... И в показные лагеря попадал, есть такие, туда иностранцев возят. Но там... Не дом отдыха! И не детский сад! Та же пайка! Он брешет!
Худой, морщинистый, Николай кидался то к одному, то к другому. Глаза его аж горели.
— Ну и пусть брешет, — успокаивали его. — А может, и правда. Капитализм...
— Там — еще хуже нашего! Там — полиция! Все — амбалы!! Брешет он...
А вот другие верили. И удивлялись. Особенно бабы. Да и как не удивишься!
— Если не работаешь, то все равно дают пятьдесят марок в месяц на карманные расходы. Хватает... А если работаешь, то триста марок — это самая маленькая зарплата, меньше не бывает. Это когда ходишь двор убирать. Работают в саду, в теплице, у кроликов, в прачечной, в мастерских. И пятьсот, и семьсот марок можно получить.
— А если по-нашему — это сколь?
— Ну, считай... Марка — это десять или двенадцать рублей. А сейчас и больше. Пятьсот — значит, более пяти тысяч, шесть ли, семь.
— Новыми?
— Ну а какими же?
— Шесть миллионов старыми?
— Да.
— За месяц?
— Конечно.
— Да за такие деньги двух дойных коров можно купить!
— Быка два года кормишь, а за него и полторы не дадут.
Поднимается шум и крик. Потому что такие деньги... Каких не видали. По двести, по триста рублей получка, да и та — лишь в уме: пишут в конторе ведомости, а денег какой уже год не дают.
— Брешет, гад! — теряя голос, сипел Николай Мазаев. — Я за уборку, за полтора месяца... С комбайна не слезал... День и ночь... Полторы... И тех не дали... Брешет! — И, не выдерживая, выскакивал на улицу, на мороз, чтобы остудить голову.
Вася Колун спокойно этот гвалт пережидал. Не торопясь выпивал стаканчик, закусывал холодцом, окисляя его помидорным рассолом, хвалил:
— А вот холодца там нет. Чего нет, того нет.
Когда народ успокаивался, плыли дальше:
— Мыло, шампунь, зубные щетки, паста, бритвы и прочее — все это бесплатно дают. В ихней одежде ходишь. Белье меняют, постельное, нижнее, полотенца хоть каждый день. По коридору ездит телега, шумят: “Кому в стирку!” Кидаешь туда грязное, а чистое выдают.
— Это — жизнь... — завидовал кто-то. — Курорты. Попасть бы туда...
— Пожалуйста, — сообщил Вася. — Поезжай в Берлин, там станция ЦО, прямо в городе. Обойдешь станцию, там — контора. Дают адреса бесплатных ночлежек. И там народ ушлый, объяснят, как попасть.
— А чего, надо податься!
Так и проходил вечер: Вася рассказывал, его слушали. Кто верил, а кто сомневался. Порою шумно спорили, прикладывая к своей жизни. Николай Мазаев обычно до конца не выдерживал, уходил, бросив напоследок: “Брешет Колун!” Но назавтра — как штык! — он снова прибывал Васины байки слушать. Теперь уже в другом доме.
Зима. Вечера долгие. Бабы платки вяжут. А послушать интересно. Чужая жизнь. Тем более не телевизор, а живой человек.
Бутылку-другую на стол. Соленья, холодец, домашнее сало. Вася Колун — на почетном месте. И пошло-поехало:
— В камере — холодильник, цветной телевизор, шкафы для одежды, тумбочки, стол...
Сегодня в одном доме эта песня, завтра в другой зовут.
Васю Колуна дома ругала мать:
— Не ходил бы по людям, не позорился. Весь хутор гутарит...
— Чего? — не понимал ее Вася.
— Ославят... А ты еще молодой, тебе жить. А об тебе все... Доездился. Сроду в нашей родне никого не судили.
— А-а... — отмахивался Вася.
Мать ничего не понимала, и втолковывать ей было бесполезно.
Вася, как всегда, пожил на хуторе пару недель, дождался, когда мать пенсию получит, и уехал. Видели, как он к автобусу шел: в зеленой теплой куртке и кепке с ушами, высокие ботинки — все ненашенское.
Он уехал, понемногу стали забывать и о нем, и о тюрьме немецкой. Жизнь нынче непростая: в колхозе все валится, зарплаты нет, запчастей, горючего для техники купить не на что. А ремонтировать трактора все равно надо. Весна придет, никуда не денется. Сеять надо, да еще сколько с осени непаханого осталось.
Бригадир с утра ездил в контору, оттуда приезжал злой, кричал:
— Чего ждете?! Делайте своими силами!!
— Как делать?! Ты видишь или нет?!.
Начиналась ругня. Потом бригадир говорил со вздохом:
— Либо нам кинуть все, забрать семьи и уехать... в эту, где Колун сидел... С теплым унитазом. У кого адрес? А? Он же говорил. Кто записал?
Оказывается, никто не записал.
— Ну, тогда вперед и с песней. Слезы нам никто не утрет. И кормить нас никто не будет. И нечего ждать. Время ждать не указывает.
Время и впрямь понемногу тянуло к весне. Январю, считай, конец. Февраль остался. Надо успеть. Потом как пойдет одно за другим: бороновать, сеять, пахать... И пошло-поехало. До белых мух.
Стоял конец января. Мороз. Снегу навалило. А днем солнце пригреет — и кое-где начинает с крыш капать, сосульки растут: кап-кап... Кап-кап... Ясно так. Синицы порой пробуют голос: дзень-дзень! А ребятишки из школы выйдут, на весь хутор детские голоса звенят. Это — знак. Дело к весне.

[Ирина Курамшина «Сыновний долг»](http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/knizhnaya-polka/424-i-kuramshina-synovij-dolg)

 *Аргумент первый: осуждение матери-кукушки...
Аргумент второй: благородство Дена, который исполнил свой сыновий долг.*

**Рассказ-миниатюра**

«Попрыгунья-стрекоза, лето красное пропела, оглянуться не успела… Попрыгунья-стрекоза… Попрыгунья-стрекоза…»
Строчки из детского стихотворения прицепилось намертво. Сотни стрекоз с прозрачными крылышками водили хороводы, прочно обосновавшись под черепной коробкой. Не давали думать. Ни о чем. Абсолютно ни о чем.
- Попрыгунья-стрекоза, попрыгунья-стрекоза… - ворчливо повторяла вслух Рэна в надежде, что прилипчивые рифмы отвяжутся. – Так обозвать мать свою! Совесть есть? – Это уже громче. Почти истерично. В сторону комнаты сына.
Макс появился в дверном проеме, покрутил пальцем у виска и насмешливо уставился на родительницу. Насекомые наконец-то прощально помахали Рэне чудовищным веером, сложив все крылья в одно – огромное, внушительное, даже пугающее. Получилось, можно сказать, символично, и… «Остапа понесло»… Остановиться на полном ходу Рэна не могла. Вернее, не умела. Или привыкла… Так было всегда. Почти ежедневно. Обычно после полуночи. Крик переходил в слезы, слезы - в рыдания, рыдания – в истерический смех. А потом - успокоительное, снотворное и кошмары в сновидениях.
Рэна кричала на сына, а он молча жевал бутерброд и запивал чаем. Равнодушно и отстранено.
«Меня никто не понимает. И не воспринимает всерьез. Мне даже не к кому обратиться за помощью. У всех есть друзья. Родные. Сослуживцы, в конце концов. Они знают, что их кто-то выслушает. Поможет. Посоветует. А мне? Куда мне? К кому?.. А надо ли? Все равно осталось не так много… Что, кто-то знает способ избавления от смертельного недуга? Или предложит воспользоваться волшебной палочкой?»
Истерики были частью ее жизни. Её панцирем, скорлупкой. В них она преуспела, как ни в чем другом. Сделать из мухи слона? Да раз плюнуть! Приврать, чтоб сказку сделать былью? Как дважды два! Рэна с детства усвоила, что сопротивление, запряженное в одну упряжку с нападением, рано или поздно приведет к нужному результату, и упрямо сопротивлялась. Сначала родительским советам и приказам. Первая нападала и всегда поступала, как считала нужным только сама. Чужое мнение не уважала, с ним не считалась. Когда Рэне исполнилось 14 лет,
она ушла из дома и в первую очередь избавилась от ненавистного имени – Раиса, превратившись в Рэну. В знак протеста. И для самоутверждения. Прибилась к хиппи, кочевала из города в город, носила цветные лохмотья, курила «травку» и неделями не мыла голову. Потом появился Вадик, пытавшийся перевоспитать ее. Рэна снова сопротивлялась. Результатом стало судьбоносное решение о рождении ребенка, а Вадик исчез из ее жизни в тот день, когда родился Макс.
Пришлось на какое-то время превратиться в рядовую мать-одиночку и даже устроиться на работу.
В борьбе за выживание, уже вдвоем с ребенком, Рэна обнаружила некоторые плюсы. Во-первых, её жалели окружающие. Несовершеннолетняя девчонка. Сирота (так она представлялась новым знакомым). Как же не посочувствовать? Не прилагая особых усилий, молодая мамаша получала многие блага совершенно бесплатно. Смазливая внешность, коммуникабельность, живой язык, врожденная интуиция – открывали перед ней самые неподатливые двери. А во-вторых, отсутствие средств мобилизовало все, до сих пор дремлющие, таланты девушки. Дар повелевать мужчинами был основным. Вот в этой области Рэна и решила преуспеть, листая популярные женские журналы во время прогулок с сыном.
- Жить, как миллионы российских затюканных тёток? Стать одной из них? Откладывать на боках жировые прослойки про запас? Толкаться в очередях? Ездить на городском транспорте в толчее среди потных тел? Ни за что! – Частенько упражнялась Рэна в аутотренинге перед зеркалом. Подруг у нее не было, и заводить их она не собиралась - конкурентки…
- Я – умная, успешная, привлекательная. У меня море поклонников. Мне каждый день дарят роскошные букеты, я одеваюсь в самых дорогих заграничных бутиках, я отдыхаю на самых престижных курортах мира. Все, без исключения, мужчины боготворят меня.
Говорят, что если чего-то очень хочется, то оно обязательно сбудется.
Так и Рэна. Хотела и получила. С маленькими оговорками. «Принца» она-таки повстречала, но не на фешенебельном курорте, а в интуристовской гостинице, где изредка подрабатывала «путаной». На дворец «принц» не раскошелился, и виллу на побережье не подарил, но небольшую квартирку в центре столицы оформил на Рэну – самому в дальнейшем на гостиницы тратиться не надо будет, да и подружку таким подарком можно привязать надолго. Иностранный друг навещал Рэну регулярно, делал подарки, пусть не самые дорогие, но зато все сплошь импортные – на зависть соседям. Макс был пристроен предприимчивым любовником в круглосуточный интернат при Дипкорпусе, и не доставлял ощутимых хлопот. Рэна разбаловалась: стала часто бывать за границей, полюбила ленивый отдых в уютных отелях с посещением преимущественно нудистских пляжей. Привыкла к СПА-процедурам, регулярным походам в спортивные клубы да по салонам красоты. И сейчас, в свои пятьдесят с хвостиком, она выглядела потрясающе молодо и элегантно. Даже синева под глазами не портила Рэнино холеное лицо. И никто не мог дать ей больше сорока лет.
Вот только готовить, стирать, убирать, вести хозяйство, экономно расходовать средства Рэна так и не научилась, а заполнение квитанции по оплате электроэнергии вводило женщину в длительный ступор.
«Попрыгунья-стрекоза… Допрыгалась. Принц состарился. С довольствия снял. От кормушки отлучил. Теперь на молоденьких заглядывается. Мной брезгует. Бегает по барам чуть ли не со школьницами. Можно подумать, старость они ему отсрочат. Как же! Держи карман шире.
А сынок правильно делает. Все верно. Какая я мать была? Никудышная. Ехидна. Кукушка. Кому могла – подбрасывала. Сколько он меня видел-то маленьким? Десять лет провел в интернате. Словно в тюрьме. Срок отбыл. Иногда ленилась по выходным забирать его домой. Все выдумывала уважительные причины для директрисы. За что Максу меня любить? За тряпки, что Майкл привозил? Да он равнодушен к шмоткам. Годами в одной куртке ходит. И ненавидит меня. Действительно – правильно делает. Пусть ненавидит. И презирает пусть. Только бы из дома не выгнал. И дал умереть в своей постели. Диализ уже не помогает... Донора нет... И денег нет на покупку очереди поближе. Майкл, сволочь, полгода уже не появляется. Ведь единственный знает, что меня ждет!.. Но помогать не желает. Тридцать лет ему верой и правдой отслужила. Половой тряпкой... Да вот износилась. Теперь проще выбросить, чем подлатать. Трус! Жалкий трус. Ну, и пусть катится к чертям! в свою заграницу. А я назло ему вот как возьму – и проживу остаток жизни по-новому. Прямо сейчас и начну... новую её…»
- Мать, ты, это… не злись… - Максим подошел и положил руку на плечо Рэне. – Я твою медицинскую карту нашел. Случайно. Знаешь, мам, все будет хорошо. Я уже сходил в твой центр и обо всем договорился.
- О чем договорился?
- Об операции…
- Не понимаю… И карта… Ты не мог случайно. Она заперта в столе. Ты сломал замок?
Рэна в недоумении уставилась на сына
- Ну, да. Извини. Это только для твоей же пользы.
- Пользы? – Рэна было взвизгнула по инерции, но тут же спохватилась, вспомнив про новую жизнь.
«Происходит что-то несуразное. Зачем Макс рылся в моем столе? Почему? Для чего? Он так никогда не делал. Он вообще правильный ребенок в отличии от своей непутевой матери. Об операции говорит. Не может быть. Моя очередь подойдет только через год, а может и больше».
- Макс, объясни толком. Откуда возьмется почка? Ты ее купил? На что? На какие средства?
- Да нет же, нет.
- Что тогда? Очередь купил? Или все, кто передо мной, умерли разом? –Недоумевала Рэна.
- Ма-ма! Успокойся. Сядь. Вот, воды выпей, - он подал стакан с минералкой и отвернулся к окну, прислушиваясь, как мать жадно, большими глотками, пьет воду.
– Донором выступлю я. – Жестко, тоном, не терпящим возражений, сказал Макс. У Рэны неестественно округлились глаза, она попыталась что-то сказать, но только по-рыбьи открывала рот, не произнося ни звука. Мать понимала, что решение, приятое сыном – слишком большая жертва, принимать которую она не должна. Рэна разнервничалась, руки не слушались, жили какой-то своей, отдельной жизнью, и еще невыносимо заныло слева от первого шейного позвонка. Она попыталась возразить, но сын продолжил все тем же, строгим голосом:
- У нас с тобой одна группа крови. Мы близкие родственники. Ближе некуда. Ведь так? – Мать непроизвольно кивнула – получилось испуганно. И вообще, она чувствовала себя маленькой девочкой перед своим вмиг ставшим каким-то чужим и слишком взрослым сыном.
- Вот и хорошо. Раз близкие - моя почка тебе подойдет. И приживется лучше. Чем чья-либо.
Хоть Максим и хорохорился, но прилипшие ко лбу волосы говорили о многом. Страх, который никуда не делся после информации, полученной из медицинской карты матери, прочно обосновался в душе, уступив, однако, дорогу любви и благородству. И перебороть этот страх у Максима не хватало сил. Однако он сумел совладать с собой, и уже мягко добавил, глядя на всхлипывающую мать:
- Да не реви, дурная. Ничего сверхъестественного я и не делаю. Это мой долг. Понимаешь?
Рэна мотала головой: «Нет, нет и еще раз нет. Не понимаю. Такого не может быть. Он же ненавидит меня. Нет, нет. Это не со мной происходит…»
- А, ну, и не понимай. – Максим махнул рукой и поспешил из комнаты, чтобы самому не разреветься, потому что предательский комок в горле поднимался все выше и выше. – Я пошел телек смотреть. Там футбол. – Буркнул он в дверях и неожиданно для самого себя послал ошеломленной известием Рэне воздушный поцелуй. – Я хочу, чтобы ты понянчила своих внуков.

**Людмила Михайловна  Куликова**
**Свиделись**

*Интересный рассказ по теме ДОМ - семья - родители и взрослые дети. Проблема одинокой старости, чёрствости взрослых детей, культ денег и материального благополучия*

В новой квартире пахло влажными обоями. Запах был приятен. Он связывался с уверенностью в завтрашнем дне, надёжностью и чувством владения семьюдесятью квадратными метрами жилой площади. Впервые за долгие годы скитания по съёмным квартирам отпустил Толика подспудный страх быть выселенным по прихоти хозяев. Даже многодневная нервотрёпка при подготовке к переезду не смогла испортить ему приподнятого настроения. С обретением квартиры показалось Толику, что он застолбил место на земном шаре и теперь никогда не умрёт.
По случаю новоселья Анюта испекла рыбный пирог с яйцом и зелёным лучком. Поставила его на середину стола, за которым собралась семья Титовых: отец, мать да четверо ребятишек. Анюта раскраснелась, хозяйничая; разливала чай, нарезала куски, шутила с детьми. Дети звенели ложками о чашки, размешивая сахар, и с нетерпением поглядывали на поблескивающий коричневой коркой рыбник. Толик смотрел на семью и был счастлив. «Как в детстве у мамы», - неожиданно подумал он и почувствовал, как только что переживаемое счастье затуманилось и потеряло лоск, будто червячок поселился в совершенном яблоке. Начал вспоминать, когда последний раз писал матери. Кажется, в год рождения первенца. Сейчас Алёшке тринадцать. Виделся с матерью сразу после армии, потом уехал за тридевять земель на стройку. С их последнего свидания прошло двадцать четыре года.
- Налетай! – задорно призвала Анюта, села на стул и отхлебнула несколько глотков чая. Сынишки зачавкали, озорно переглядываясь и перемигиваясь, захлюпали ртами, втягивая горячий янтарный напиток, и заёрзали на стульях. Оживление за столом немного расслабило Толика, он с благодарностью принял у жены большой кусок пирога и стал неспеша есть.
- Анют, а где синяя папка с письмами?

- Я ещё три картонных коробки не разобрала. Наверное, в одной из них. - Найди мне её.

- Срочно надо или подождёшь?

- Срочно.

Ребятишки уминали по второму куску, Анюта подливала в чашки, улыбкой откликаясь на весёлый детский гомон. Титовы дружно доели и допили. Первая трапеза в новой квартире оказалась неимоверно вкусной и укрепила ощущение счастья.

Спустя час сидел Толик за кухонным столом и просматривал содержимое папки. В ней хранились несколько писем от сослуживцев, штук двадцать армейских фотографий и весточка от мамы. Когда он уходил в армию, матери исполнилось пятьдесят. Она писала ему длинные послания, перечисляя деревенские новости и какие-то мировые сенсации, шутила по-простому, по-бабьему и неизменно заканчивала своим обычным: «Сыночку Толеньке от мамы Оленьки». Молодого солдата раздражали эти письма, он их прочитывал бегло, рвал на мелкие куски и выбрасывал в урну. Интересней читать письма от девчонок, которые сотнями доставляла армейская почта на имя «самого красивого» или «самого весёлого» солдата. Толик пожалел сейчас о тех уничтоженных письмах. Сердце будто в размерах уменьшилось – до чего неприятное чувство сжало его. Он взял в руки единственное сохранённое письмо матери, оставшееся с давних времён. Развернул. «Здравствуй, дорогой сынок Толик. Дошла до меня весть, что твой отец, от которого ты родился, помер. Уж и не помнишь его, поди. Малой ты был, когда он нас оставил. Так папаня твой и не удосужился сынка увидать, а ведь ты ему кровный. И я тебя уж столько лет не вижу. Не знаю, свидИмся ли ещё». А внизу добавлено: «Сыну Толе от мамы Оли». Присказку поменяла, - отметил про себя Титов.

- Анют, отпустишь меня? Мать надо навестить.

- Как не вовремя! Столько работы в квартире и денег на поездку нет – всё переезд сожрал.

- Что, совсем нет?

- Нет. Я зарплату получу через две недели, твои отпускные на ремонт квартиры ушли, получка у тебя только через месяц. Едва на еду до моей зарплаты хватит.

- Значит, у Симоновых надо в долг брать.

- Что ж так приспичило? Столько лет словом не вспоминал и вдруг

– «поеду»! А мне одной с четырьмя бойцами по детсадам-школам

мотаться и на работу успевать бегать.

- Чувство у меня нехорошее, Анют. Отпусти! С детьми попрошу Любу Симонову пособить. Если уж брать в долг, то – по полной. А, Анют?

- Да езжай уж, горемыка! – Анюта обняла мужа, прижалась щекой к его щеке, постояла так немного и пошла в комнаты, тешась мыслями об улучшении семейного быта.

Дорога заняла три тягучих дня. Толику странно было думать, что он едет домой, к маме. Столько лет не был в этих краях! Добирался сначала поездом, потом автобусом, на попутке и пешком. Он преодолевал последние сотни метров, ведущие к родной избе. Шёл странной походкой - на ватных ногах, часто вздыхал полной грудью, пытаясь уменьшить волнение, и внимательно смотрел окрест. Деревня изменилась. Обветшали и вросли в землю избы. Все постройки были одного цвета - серого. Кое-где ровными грядками зеленели огороды, но в основном – запустенье, безрадостное, вымороченное отчаяньем. С трудом узнал родительский двор, подошёл к выгнутому дугой штакетнику, толкнул калитку, сделал несколько шагов и остановился посреди небольшого подворья. Огляделся, вздохнул ещё раз, прошагал к избе и ступил на порог. Дверь оказалась незапертой. Пересёк сени, торкнул ещё одну дверь и вошёл в сумрак горницы.

- Есть кто живой? – спросил тихо.

- А как же! Я живая, – раздался голос из чёрнеющего угла.

Глаза Толика скоро привыкли к темноте, и он различил фигуру старушки, примостившуюся на краю кровати.

Толик опустил рюкзак на пол и присел на скамью.

- Из собеса будете? – спросила мать.

- Нет.

- Летом привезли чурки и уж месяц, поди, жду, когда кого-нибудь

пришлют дров наколоть и в сени перенесть. В прошлом году зима была суровая, еле дотянула, думала, заиндЕвею в ледяной избе. Эту зиму ожидаем слабую, но без дров и мягкая зима жёстко постелит.

- Давайте я вам дров наколю! – вскочил Толик, неожиданно для себя назвав мать на «вы».

- Сиди. Успеется. Чай, по другому делу пришёл. Чует моё сердце, что снова про пенсию новость плохую принёс. Мародёрствуют начальники. Зачем у бабки последнее отбирать? Ить той пенсии с гулькин нос.

- А на что вы живёте?

- Из собеса шефствуют надо мной. Раз в неделю приезжают, хлеба и молока привозят. А когда и крупы с маргарином. Мало, конечно. Да я экономная, тяну до следующего раза.

- А чем вы занимаетесь?

- Что?

- Что делаете?

- Сижу.

- Нет, я не про то, что вы сейчас делаете. Я про то, чем вы каждый день занимаетесь?

- Сижу. Что ещё делать? А ты по какому делу, мил человек?

На чьём-то дворе залаяла собака, кудахтнула курица, а с неба донёсся гул летящего над облаками самолёта.

- Сын я ваш, Ольга Герасимовна.

- Сы-ы-ын? – недоверчиво протянула старушка, - Нету у меня сына. Пропал он.

- Как пропал?! Вот он я! Неужто не узнаёте? Посмотрите внимательно.

- А мне теперь смотри–не смотри – всё одно. Ослепла я.

- Как – ослепли?!

- А вот так. Не вижу ничего. В темноте живу. Уж приноровилась да и экономия опять же – электричество не трачу. Другие копеечку за свет отдают, а у меня копеечек нету. Правильно Господь рассудил: чем государству за электричество задалживать, лучше пусть бабка ослепнет.

- Я выйду на минутку?

- А чего ж, выходь.

Серо, неприглядно и бесприютно выглядело подворье. Подул ветер и охолодил слёзы на щеках взрослого сына. Завыл бы мужик, да постеснялся чувства оголить. Скрипнул зубами, вытер слёзы рукавом, высморкался в сторону и пошёл к сараю. Там увидел гору берёзовых чурок. В сарае отыскал топор, выбрал чурку покрупнее и начал колоть на ней дрова.

С работой Толик справился к вечеру. Дрова ровнёхонько уложил по обе стороны просторных сеней, взял несколько поленьев и затопил печь.

- А кто вам печь растапливает? – так и не решаясь назвать старушку мамой, поинтересовался Толик.

- Сама. У меня на пальцах за столько лет короста от ожогов образовалась, так что если суну руку в пламя, то уже не больно.

Разогрели еду в кастрюльке, на раскалённые круги печной плиты поставили чайник. Ольга Герасимовна стояла у стола и накладывала в тарелки кашу. Толик окинул взглядом её фигуру и поразился изменениям. Худенькая, седая, беззубая старая женщина небольшого росточка с невидящими глазами, улыбающимся лицом и обожжёнными пальцами была его мамой. Он спинным мозгом ощутил течение времени, а взглядом успел уловить, как начинают блекнуть очертания фигуры матери, истекая в небытие. Толик мотнул головой, прогоняя видение, и спросил: - Я переночую у вас?

- А чего ж, ночуй.

После ужина отправился Толик в боковую комнатёнку на старый диван. Лампу не стал зажигать, нашарил в потёмках одеяло, лёг не раздеваясь, укрылся по самый подбородок и крепко задумался. Не затем он сюда приехал, чтоб каши отведать. Рассказать бы ей про все его заботы, про то, как гробился на тяжёлых работах - себя не жалел, чтоб лишнюю копейку иметь. Как прежде, чем жениться, денег поднакопил на шикарную свадьбу и на машину – завидным женихом был. Пахал по две-три смены, хватало и на оплату съёмных квартир, и на шубу молодой жене и на кооператив откладывал. На море семью возил и не раз. Четверых сыновей родил, и у каждого – своя сберкнижка на образование. Квартиру купил, наконец. Большую, просторную. Не просто так всё далось, ох не просто! Толик долго ворочался с боку на бок, вздыхал, кашлял, потом поднялся рывком и пошёл наощупь в горницу. На фоне светлеющего окошка увидел чёрный силуэт матери, сидящей в своей извечной позе на краю кровати.

- Не спите?

- Не сплю.

Он набрал воздух в лёгкие, чтоб одним махом выложить матери историю своей трудной жизни, как вдруг услышал:

- Я ить не знаю, кто ты такой. Помирать не боюся, смерти каждый день жду. Господь не торопится меня забирать, и ты Eго не торопи.

- Зря вы так. Ничего плохого я вам не сделаю... Как мне доказать, что я ваш сын?

- Зачем доказывать? Сыновья – они о родителях пекутся, так же, как родители о них когда-то пеклись. Я своего до самой армии пестовала. В девятнадцать призвали его. Пока был в армии, письма писала, думами была с ним. А после армии приехал на два дня, с тех пор его не видела. Знаю, что сынок у него родился.

- Теперь уже четверо.

- Воон как! А ты откуда знаешь?

- Ольга Герасимовна, я, я – сын ваш. Помните, когда мне пять лет исполнилось, вы щенка подарили? Я его вечером с собой в постель брал, а вы ругались.

- Нет, не помню.

- А вот шрам на локте. Потрогайте! Вы обед готовили, а я под руками вертелся и нечаянно прислонился к раскалённой кочерге. Вы мне несколько дней маслом подсолнечным ожог смазывали.

- Не помню.

- А друга моего Ваську Петренко помните? Он тоже

безотцовщиной был. С матерью его, правда, вы не ладили.

- Не помню, мил человек.

- Да как же так! Я и лицом на вас похож. Я – сын ваш, а вы – мать моя.

У старушки дрогнули веки. Толик не видел этого - темнота

надёжно скрывала выражение лица матери.

- Однажды я влюбился. Мне было четырнадцать, а ей двенадцать. Я привёл «невесту» домой и сказал, что теперь она будет жить с нами. Вы прогнали «невесту» и отлупили меня. Помните?... Неужели ничего не помните? Как же так – забыть такое!... Я заберу вас к себе.

- Нет, мил человек, мне здесь привычнее. Я хоть и слепа, но каждый уголок знаю, каждую стеночку. Ты иди спать, не тревожься. Утром поедешь.

Толик проснулся с больной головой. Не думал, что так повидается с матерью. Ожидал чуть ли не праздничной суеты, слёз радости, ахов и охов. А оно, вишь, как получилось. Не признала мать сына своего. Ехал сюда с тяжёлым сердцем, а уезжает с глыбой на душе. Что-то подсказывало ему, повиниться надо перед матерью, но не чувствовал сын вины своей перед нею, значит, и каяться было не в чем. От чая, предложенного матерью, отказался. Закинул рюкзак на плечо, подошёл к ней, не решаясь обнять на прощанье. Всматривался в морщинистое лицо и чувствовал, как слёзы наворачиваются на глаза.

- Поехал я.

- Доброго пути.

Ступил на подворье, оглянулся. В окне увидел мать. Лицо её казалось печальным. Отворил калитку и зашагал широким шагом по улице в сторону околицы. Чем дальше уходил от деревни, тем легче становилось. Чикнул воображаемым ножом, отрезал широкий ломоть жизненного хлеба, бросил его на дорогу и сразу же успокоился. «У каждого своя судьба. А мне семью поднимать надо», - сказал сам себе Толик и зашагал ещё быстрее, мысленно отправляясь туда, где был его дом, жена и дети. Ольга Герасимовна долго сидела на своём посту у окна. Ни разу не шелохнулась. Наконец, произнесла:

- Вот и свиделись, сынок. Успел таки.

21 ноября 2007, Фризойтэ, Германия

**Б. Екимов. “Говори, мама, говори…”**

*Какой рассказ!!!В сочинение об одиночестве или о судьбе забытой матери после примера по Насте (рассказ"Телегр амма" Паустовского) можно вставить этот пример по дочке, которая вовремя осознала, что значит для нее мать...И все забыто:дорогой тариф на сотовый, отсутствие времени...Само главное - мать! Как молитва, звучат слова дочки:"Говори, мама, говори..."*

По утрам теперь звонил телефон-мобильник. Черная коробочка оживала:
загорался в ней свет, пела веселая музыка и объявлялся голос дочери, словно рядом она:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец! Вопросы и пожелания? Замечательно! Тогда целую. Будь-будь!
Коробочка тухла, смолкала. Старая Катерина дивилась на нее, не могла привыкнуть. Такая вроде малость — спичечный коробок. Никаких проводов. Лежит-лежит — и вдруг заиграет, засветит, и голос дочери:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Не надумала ехать? Гляди… Вопросов нет? Целую. Будь-будь!
А ведь до города, где дочь живет, полторы сотни верст. И не всегда легких, особенно в непогоду.
Но в год нынешний осень выдалась долгая, теплая. Возле хутора, на окрестных курганах, порыжела трава, а тополевое да вербовое займище возле Дона стояло зеленым, и по дворам по-летнему зеленели груши да вишни, хотя по времени им давно пора отгореть рдяным да багровым тихим пожаром.
Птичий перелет затянулся. Неспешно уходила на юг казарка, вызванивая где-то в туманистом, ненастном небе негромкое онг-онг… онг-онг…
Да что о птице говорить, если бабка Катерина, иссохшая, горбатенькая от возраста, но еще проворная старушка, никак не могла собраться в отъезд.
— Кидаю умом, не накину… — жаловалась она соседке. — Ехать, не ехать?.. А может, так и будет тепло стоять? Гутарят по радио: навовсе поломалась погода. Ныне ведь пост пошел, а сороки ко двору не прибились. Тепло-растепло. Туды-сюды… Рождество да Крещенье. А там пора об рассаде думать. Чего зря и ехать, колготу разводить.
Соседка лишь вздыхала: до весны, до рассады было еще ох как далеко.
Но старая Катерина, скорее себя убеждая, вынимала из пазухи еще один довод — мобильный телефон.
— Мобила! — горделиво повторяла она слова городского внука. — Одно слово — мобила. Нажал кнопку, и враз — Мария. Другую нажал — Коля. Кому хочешь жалься. И чего нам не жить? — вопрошала она. — Зачем уезжать? Хату кидать, хозяйство…
Этот разговор был не первый. С детьми толковала, с соседкой, но чаще сама с собой.
Последние годы она уезжала зимовать к дочери в город. Одно дело — возраст: трудно всякий день печку топить да воду носить из колодца. По грязи да в гололед. Упадешь, расшибешься. И кто поднимет?
Хутор, еще недавно людный, с кончиной колхоза разошелся, разъехался, вымер. Остались лишь старики да пьянь. И хлеб не возят, про остальное не говоря. Тяжело старому человеку зимовать. Вот и уезжала к своим.
Но с хутором, с гнездом насиженным нелегко расставаться. Куда девать малую живность: Тузика, кошку да кур? Распихивать по людям?.. И о хате душа болит. Пьянчуги залезут, последние кастрюлешки упрут.
Да и не больно весело на старости лет новые углы обживать. Хоть и родные дети, но стены чужие и вовсе другая жизнь. Гостюй да оглядывайся.
Вот и думала: ехать, не ехать?.. А тут еще телефон привезли на подмогу — “мобилу”. Долго объясняли про кнопки: какие нажимать, а какие не трогать. Обычно звонила дочь из города, по утрам.
Запоет веселая музыка, вспыхнет в коробочке свет. Поначалу старой Катерине казалось, что там, словно в малом, но телевизоре, появится лицо дочери. Объявлялся лишь голос, далекий и ненадолго:
— Мама, здравствуй! Ты в порядке? Молодец. Вопросы есть? Вот и хорошо. Целую. Будь-будь.
Не успеешь опомниться, а уже свет потух, коробочка смолкла.
В первые дни старая Катерина лишь дивилась такому чуду. Прежде на хуторе был телефон в колхозной конторе. Там все привычно: провода, черная большая трубка, долго можно говорить. Но тот телефон уплыл вместе с колхозом. Теперь появился “мобильный”. И то слава богу.
— Мама! Слышишь меня?! Живая-здоровая? Молодец. Целую.
Не успеешь и рта раскрыть, а коробочка уж потухла.
— Это что за страсть такая… — ворчала старая женщина. — Не телефон, свиристелка. Прокукарекал: будь-будь… Вот тебе и будь. А тут…
А тут, то есть в жизни хуторской, стариковской, было много всего, о чем рассказать хотелось.
— Мама, слышишь меня?
— Слышу, слышу… Это ты, доча? А голос будто не твой, какой-то хрипавый. Ты не хвораешь? Гляди одевайся теплей. А то вы городские — модные, платок пуховый повяжи. И нехай глядят. Здоровье дороже. А то я ныне сон видала, такой нехороший. К чему бы? Вроде на нашем подворье стоит скотиняка. Живая. Прямо у порога. Хвост у нее лошадиный, на голове — рога, а морда козиная. Это что за страсть? И к чему бы такое?
— Мама, — донеслось из телефона строгое. — Говори по делу, а не про козиные морды. Мы же тебе объясняли: тариф.
— Прости Христа ради, — опомнилась старая женщина. Ее и впрямь упреждали, когда телефон привезли, что он дорогой и нужно говорить короче, о самом главном.
Но что оно в жизни главное? Особенно у старых людей... И в самом деле ведь привиделась ночью такая страсть: лошадиный хвост и козья страшенная морда.
Вот и думай, к чему это? Наверное, не к добру.
Снова миновал день, за ним — другой. Старой женщины жизнь катилась привычно: подняться, прибраться, выпустить на волю кур; покормить да напоить свою малую живность да и самой чего поклевать. А потом пойдет цеплять дело за дело. Не зря говорится: хоть и дом невелик, а сидеть не велит.
Просторное подворье, которым когда-то кормилась немалая семья: огород, картофельник, левада. Сараи, закуты, курятник. Летняя кухня-мазанка, погреб с выходом. Плетневая городьба, забор. Земля, которую нужно копать помаленьку, пока тепло. И дровишки пилить, ширкая ручною пилой на забазье. Уголек нынче стал дорогущий, его не укупишь.
Помаленьку да полегоньку тянулся день, пасмурный, теплый. Онг-онг... онг-онг… — слышалось порой. Это казарка уходила на юг, стая за стаей. Улетали, чтобы весной вернуться. А на земле, на хуторе было по-кладбищенски тихо. Уезжая, сюда люди уже не возвращались ни весной, ни летом. И потому редкие дома и подворья словно расползались по-рачьи, чураясь друг друга.
Прошел еще один день. А утром слегка подморозило. Деревья, кусты и сухие травы стояли в легком куржаке — белом пушистом инее. Старая Катерина, выйдя во двор, глядела вокруг, на эту красоту, радуясь, а надо бы вниз, под ноги глядеть. Шла-шла, запнулась, упала, больно ударившись о корневище.
Неловко начался день, да так и пошел не в лад.
Как всегда поутру, засветил и запел телефон мобильный.
— Здравствуй, моя доча, здравствуй. Одно лишь звание, что — живая. Я ныне так вдарилась, — пожаловалась она. — Не то нога подыграла, а может, склизь. Где, где… — подосадовала она. — Во дворе. Воротца пошла отворять, с ночи. А тама, возля ворот, там грушина-черномяска. Ты ее любишь. Она сладимая. Я из нее вам компот варю. Иначе бы я ее давно ликвидировала. Возля этой грушины…
— Мама, — раздался в телефоне далекий голос, — конкретней говори, что случилось, а не про сладимую грушину.
— А я тебе о чем и толкую. Тама корень из земли вылез, как змеюка. А я шла не глядела. Да тут еще глупомордая кошка под ноги суется. Этот корень… Летось Володю просила до скольких разов: убери его Христа ради. Он на самом ходу. Черномяска…
— Мама, говори, пожалуйста, конкретней. О себе, а не о черномяске. Не забывай, что это — мобильник, тариф. Что болит? Ничего не сломала?
— Вроде бы не сломала, — все поняла старая женщина. — Прикладаю капустный лист.
На том и закончился с дочерью разговор. Остальное самой себе пришлось досказывать: “Чего болит, не болит… Все у меня болит, каждая косточка. Такая жизнь позади…”
И, отгоняя горькие мысли, старая женщина занялась привычными делами во дворе и в доме. Но старалась больше толочься под крышей, чтобы еще не упасть. А потом возле прялки уселась. Пушистая кудель, шерстяная нить, мерное вращенье колеса старинной самопряхи. И мысли, словно нить, тянутся и тянутся. А за окном — день осенний, словно бы сумерки. И вроде зябко. Надо бы протопить, но дровишек — внатяг. Вдруг и впрямь зимовать придется.
В свою пору включила радио, ожидая слов о погоде. Но после короткого молчания из репродуктора донесся мягкий, ласковый голос молодой женщины:
— Болят ваши косточки?..
Так впору и к месту были эти душевные слова, что ответилось само собой:
— Болят, моя доча…
— Ноют руки и ноги?.. — словно угадывая и зная судьбу, спрашивал добрый голос.
— Спасу нет… Молодые были, не чуяли. В доярках да в свинарках. А обувка — никакая. А потом в резиновые сапоги влезли, зимой и летом в них. Вот и нудят…
— Болит ваша спина… — мягко ворковал, словно завораживая, женский голос.
— Заболит, моя доча… Век на горбу таскала чувалы да вахли с соломой. Как не болеть… Такая жизнь…
Жизнь ведь и вправду нелегкой выдалась: война, сиротство, тяжкая колхозная работа.
Ласковый голос из репродуктора вещал и вещал, а потом смолк.
Старая женщина даже всплакнула, ругая себя: “Овечка глупая… Чего ревешь?..” Но плакалось. И от слез вроде бы стало легче.
И тут совсем неожиданно, в обеденный неурочный час, заиграла музыка и засветил, проснувшись, мобильный телефон. Старая женщина испугалась:
— Доча, доча… Чего случилось? Не заболел кто? А я всполохнулась: не к сроку звонишь. Ты на меня, доча, не держи обиду. Я знаю, что дорогой телефон, деньги большие. Но я ведь взаправду чуток не убилась. Тама, возля этой дулинки… — Она опомнилась: — Господи, опять я про эту дулинку, прости, моя доча…
Издалека, через многие километры, донесся голос дочери:
— Говори, мама, говори…
— Вот я и гутарю. Ныне какая-то склизь. А тут еще эта кошка… Да корень этот под ноги лезет, от грушины. Нам, старым, ныне ведь все мешает. Я бы эту грушину навовсе ликвидировала, но ты ее любишь. Запарить ее и сушить, как бывалоча… Опять я не то плету… Прости, моя доча. Ты слышишь меня?..
В далеком городе дочь ее слышала и даже видела, прикрыв глаза, старую мать свою: маленькую, согбенную, в белом платочке. Увидела, но почуяла вдруг, как все это зыбко и ненадежно: телефонная связь, видение.
— Говори, мама… — просила она и боялась лишь одного: вдруг оборвется и, может быть, навсегда этот голос и эта жизнь. — Говори, мама, говори…

**5.Чем люди живы?**

**Толстой Лев Николаевич**
**Чем люди живы**

***Размышления о нравственных ценностях, о смысле человеческой жизни.***

 Мы знаем, что мы перешли из смерти и жизнь, потому что любим братьев: не любящий брата пребывает в смерти. (I посл. Иоан. III, 14)
 А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое: как пребывает в том любовь божия? (III, 17)
 Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиной. (III, 18)
 Любовь от бога, и всякий любящий рожден от бога и знает бога. (IV, 7)
 Кто не любит, тот не познал бога, потому что бог есть любовь. (IV, 8)
 Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то бог в нас пребывает. (IV, 12)
 Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в боге, и бог в нем. (IV, 16)
 Кто говорит: я люблю бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить бога, которого не видит? (IV, 20).
 I
 Жил сапожник с женой и детьми у мужика на квартире. Ни дома своего, ни земли у него не было, и кормился он с семьею сапожной работой. Хлеб был дорогой, а работа дешевая, и что заработает, то и проест. Была у сапожника одна шуба с женой, да и та износилась в лохмотья; и второй год собирался сапожник купить овчин на новую шубу.
 К осени собрались у сапожника деньжонки: три рубля бумажка лежала у бабы в сундуке, а еще пять рублей двадцать копеек было за мужиками в селе.
 И собрался с утра сапожник в село за шубой. Надел нанковую бабью куртушку на вате на рубаху, сверху кафтан суконный, взял бумажку трехрублевую в карман, выломал палку и пошел после завтрака. Думал: "Получу пять рублей с мужиков, приложу своих три, - куплю овчин на шубу".
 Пришел сапожник в село, зашел к одному мужику - дома нет, обещала баба на неделе прислать мужа с деньгами, а денег не дала; зашел к другому, - забожился мужик, что нет денег, только двадцать копеек отдал за починку сапог. Думал сапожник в долг взять овчины, - в долг не поверил овчинник.
 - Денежки, - говорит, - принеси, тогда выбирай любые, а то знаем мы, как долги выбирать.
 Так и не сделал сапожник никакого дела, только получил двадцать копеек за починку да взял у мужика старые валенки кожей обшить.
 Потужил сапожник, выпил на все двадцать копеек водки и пошел домой без шубы. С утра сапожнику морозно показалось, а выпивши - тепло было и без шубы. Идет сапожник дорогой, одной рукой палочкой по мерзлым калмыжкам постукивает, а другой рукой сапогами валеными помахивает, сам с собой разговаривает.
 - Я, - говорит, - и без шубы тёпел. Выпил шкалик; оно во всех жилках играет. И тулупа не надо. Иду, забывши горе. Вот какой я человек! Мне что? Я без шубы проживу. Мне ее век не надо. Одно - баба заскучает. Да и обидно - ты на него работай, а он тебя водит. Постой же ты теперь: не принесешь денежки, я с тебя шапку сниму, ей-богу, сниму. А то что же это? По двугривенному отдает! Ну что на двугривенный сделаешь? Выпить - одно. Говорит: нужда. Тебе нужда, а мне не нужда? У тебя и дом, и скотина, и все, а я весь тут; у тебя свой хлеб, а я на покупном, - откуда хочешь, а три рубля в неделю на один хлеб подай. Приду домой - а хлеб дошел; опять полтора рубля выложь. Так ты мне мое отдай.
 Подходит так сапожник к часовне у повертка, глядит - за самой за часовней что-то белеется. Стало уж смеркаться. Приглядывается сапожник, а не может рассмотреть, что такое. "Камня, думает, здесь такого не было. Скотина? На скотину не похоже. С головы похоже на человека, да бело что-то. Да и человеку зачем тут быть?"
 Подошел ближе - совсем видно стало. Что за чудо: точно, человек, живой ли, мер 1000 твый, голышом сидит, прислонен к часовне и не шевелится. Страшно стало сапожнику; думает себе: "Убили какие-нибудь человека, раздели, да и бросили тут. Подойди только, и не разделаешься потом".
 И пошел сапожник мимо. Зашел за часовню - не видать стало человека. Прошел часовню, оглянулся, видит - человек отслонился от часовни, шевелится, как будто приглядывается. Еще больше заробел сапожник, думает себе: "Подойти или мимо пройти? Подойти - как бы худо не было: кто его знает, какой он? Не за добрые дела попал сюда. Подойдешь, а он вскочит да задушит, и не уйдешь от него. А не задушит, так поди вожжайся с ним. Что с ним, с голым, делать? Не с себя же снять, последнее отдать. Пронеси только бог!"
 И прибавил сапожник шагу. Стал уж проходить часовню, да зазрила его совесть.
 И остановился сапожник на дороге.
 - Ты что же это, - говорит на себя, - Семен, делаешь? Человек в беде помирает, а ты заробел, мимо идешь. Али дюже разбогател? боишься, ограбят богатство твое? Ай, Сема, неладно!
 Повернулся Семен и пошел к человеку.
 II
 Подходит Семен к человеку, разглядывает его и видит: человек молодой, в силе, не видать на теле побоев, только видно - измерз человек и напуган; сидит, прислонясь, и не глядит на Семена, будто ослаб, глаз поднять не может. Подошел Семен вплоть, и вдруг как будто очнулся человек, повернул голову, открыл глаза и взглянул на Семена. И с этого взгляда полюбился человек Семену. Бросил он наземь валенки, распоясался, положил подпояску на валенки, скинул кафтан.
 - Будет, - говорит, - толковать-то! Одевай, что ли! Ну-ка!
 Взял Семен человека под локоть, стал поднимать. Поднялся человек. И видит Семен - тело тонкое, чистое, руки, ноги не ломаные и лицо умильное. Накинул ему Семен кафтан на плечи, - не попадет в рукава. Заправил ему Семен руки, натянул, запахнул кафтан и подтянул подпояскою.
 Снял было Семен картуз рваный, хотел на голого надеть, да холодно голове стало, думает: "У меня лысина во всю голову, а у него виски курчавые, длинные". Надел опять. "Лучше сапоги ему обую".
 Посадил его и сапоги валеные обул ему.
 Одел его сапожник и говорит:
 - Так-то, брат. Ну-ка, разминайся да согревайся. А эти дела все без нас разберут. Идти можешь?
 Стоит человек, умильно глядит на Семена, а выговорить ничего не может.
 - Что же не говоришь? Не зимовать же тут. Надо к жилью. Ну-ка, на вот дубинку мою, обопрись, коли ослаб. Раскачивайся-ка!
 И пошел человек. И пошел легко, не отстает.
 Идут они дорогой, и говорит Семен:
 - Чей, значит, будешь?
 - Я не здешний.
 - Здешних-то я знаю. Попал-то, значит, как сюда, под часовню?
 - Нельзя мне сказать.
 - Должно, люди обидели?
 - Никто меня не обидел. Меня бог наказал.
 - Известно, все бог, да все же куда-нибудь прибиваться надо. Куда надо-то тебе?
 - Мне все одно.
 Подивился Семен. Не похож на озорника и на речах мягок, а не сказывает про себя. И думает Семен: "Мало ли какие дела бывают", - и говорит человеку:
 - Что ж, так пойдем ко мне в дом, хоть отойдешь мало-мальски.
 Идет Семен, не отстает от него странник, рядом идет. Поднялся ветер, прохватывает Семена под рубаху, и стал с него сходить хмель, и прозябать стал. Идет он, носом посапывает, запахивает на себе куртушку бабью и думает: "Вот-те и шуба, пошел за шубой, а без кафтана приду да еще голого с собой приведу. Не похвалит Матрена!" И как подумает об Матрене, скучно станет Семену. А как поглядит на странника, вспомнит, как он взглянул на него за часовней, так взыграет в нем сердце.
 III
 Убралась Семена жена рано. Дров нарубила, воды принесла, ребят накормила 1000 , сама закусила и задумалась; задумалась, когда хлебы ставить: нынче или завтра? Краюшка большая осталась.
 "Если, думает, Семен там пообедает да много за ужином не съест, на завтра хватит хлеба".
 Повертела, повертела Матрена краюху, думает: "Не стану нынче хлебов ставить. Муки и то всего на одни хлебы осталось. Еще до пятницы протянем".
 Убрала Матрена хлеб и села у стола заплату на мужнину рубаху нашить. Шьет и думает Матрена про мужа, как он будет овчины на шубу покупать.
 "Не обманул бы его овчинник. А то прост уж очень мой-то. Сам никого не обманет, а его малое дитя проведет. Восемь рублей деньги не малые. Можно хорошую шубу собрать. Хоть не дубленая, а все шуба. Прошлую зиму как бились без шубы! Ни на речку выйти, ни куда. А то вот пошел со двора, все на себя падел, мне и одеть нечего. Не рано пошел. Пора бы ему. Уж не загулял ли соколик-то мой?"
 Только подумала Матрена, заскрипели ступеньки на крыльце, кто-то вошел. Воткнула Матрена иголку, вышла в сени. Видит - вошли двое: Семен и с ним мужик какой-то без шапки и в валенках.
 Сразу почуяла Матрена дух винный от мужа. "Ну, думает, так и есть загулял". Да как увидела, что он без кафтана, в куртушке в одной и не несет ничего, а молчит, ужимается, оборвалось у Матрены сердце. "Пропил, думает, деньги, загулял с каким-нибудь непутевым, да и его еще с собой привел".
 Пропустила их Матрена в избу, сама вошла, видит - человек чужой, молодой, худощавый, кафтан на нем ихний. Рубахи не видать под кафтаном, шапки нет. Как вошел, так стал, не шевелится и глаз не поднимает. И думает Матрена: недобрый человек - боится.
 Насупилась Матрена, отошла к печи, глядит, что от них будет.
 Снял Семен шапку, сел на лавку, как добрый.
 - Что ж, - говорит, - Матрена, собери ужинать, что ли!
 Пробурчала что-то себе под нос Матрена. Как стала у печи, не шевельнется: то на одного, то на другого посмотрит и только головой покачивает. Видит Семен, что баба не в себе, да делать нечего: как будто не примечает, берет за руку странника.
 - Садись, - говорит, - брат, ужинать станем.
 Сел странник на лавку.
 - Что же, али не варила?
 Взяло зло Матрену.
 - Варила, да не про тебя. Ты и ум, я вижу, пропил. Пошел за шубой, а без кафтана пришел, да еще какого-то бродягу голого с собой привел. Нет у меня про вас, пьяниц, ужина.
 - Будет, Матрена, что без толку-то языком стрекотать! Ты спроси прежде, какой человек...
 - Ты сказывай, куда деньги девал?
 Полез Семен в кафтан, вынул бумажку, развернул.
 - Деньги - вот они, а Трифонов не отдал, завтра посудился.
 Еще пуще взяло зло Матрену: шубы не купил, а последний кафтан на какого-то голого надел да к себе привел.
 Схватила со стола бумажку, понесла прятать, сама говорит:
 - Нет у меня ужина. Всех пьяниц голых не накормишь.
 - Эх, Матрена, подержи язык-то. Прежде послушай, что говорят...
 - Наслушаешься ума от пьяного дурака. Недаром не хотела за тебя, пьяницу, замуж идти. Матушка мне холсты отдала - ты пропил; пошел шубу купить - пропил.
 Хочет Семен растолковать жене, что пропил он только двадцать копеек, хочет сказать, где он человека нашел, - не дает ему Матрена слова вставить: откуда что берется, по два слова вдруг говорит. Что десять лет тому назад было, и то все помянула.
 Говорила, говорила Матрена, подскочила к Семену, схватила его за рукав.
 - Давай поддевку-то мою. А то одна осталась, и ту с меня снял да на себя напер. Давай сюда, конопатый пес, пострел тебя расшиби!
 Стал снимать с себя Семен куцавейку, рукав вывернул, дернула баба затрещала в швах куцавейка. Схватила Матрена поддевку, на голову накин 1000 ула и взялась за дверь. Хотела уйти, да остановилась: и сердце в ней расходилось - хочется ей зло сорвать и узнать хочется, какой-такой человек.
 IV
 Остановилась Матрена и говорит:
 - Кабы добрый человек, так голый бы не был, а то на нем и рубахи-то нет. Кабы за добрыми делами пошел, ты бы сказал, откуда привел щеголя такого.
 - Да я сказываю тебе: иду, у часовни сидит этот раздемши, застыл совсем. Не лето ведь, нагишом-то. Нанес меня на него бог, а то бы пропасть. Ну, как быть? Мало ли какие дела бывают! Взял, одел и привел сюда. Утиши ты свое сердце. Грех, Матрена. Помирать будем.
 Хотела Матрена изругаться, да поглядела на странника и замолчала. Сидит странник - не шевельнется, как сел на краю лавки. Руки сложены на коленях, голова на грудь опущена, глаз не раскрывает и все морщится, как будто душит его что. Замолчала Матрена. Семен и говорит:
 - Матрена, али в тебе бога нет?!
 Услыхала это слово Матрена, взглянула еще на странника, и вдруг сошло в ней сердце. Отошла она от двери, подошла к печному углу, достала ужинать. Поставила чашку на стол, налила квасу, выложила краюшку последнюю. Подала нож и ложки.
 - Хлебайте, что ль, - говорит.
 Подвинул Семен странника.
 - Пролезай, - говорит, - молодец.
 Нарезал Семен хлеба, накрошил, и стали ужинать. А Матрена села об угол стола, подперлась рукой и глядит на странника.
 И жалко стало Матрене странника, и полюбила она его. И вдруг повеселел странник, перестал морщиться, поднял глаза на Матрену и улыбнулся.
 Поужинали; убрала баба и стала спрашивать странника:
 - Да ты чей будешь?
 - Не здешний я.
 - Да как же ты на дорогу-то попал?
 - Нельзя мне сказать.
 - Кто ж тебя обобрал?
 - Меня бог наказал.
 - Так голый и лежал?
 - Так и лежал нагой, замерзал. Увидал меня Семен, пожалел, снял с себя кафтан, на меня надел и велел сюда прийти. А здесь ты меня накормила, напоила, пожалела. Спасет вас господь!
 Встала Матрена, взяла с окна рубаху старую Семенову, ту самую, что платила, подала страннику; нашла еще портки, подала.
 - На вот, я вижу, у тебя и рубахи-то нет. Оденься да ложись где полюбится - на хоры али на печь.
 Снял странник кафтан, одел рубаху и портки и лег на хоры. Потушила Матрена свет, взяла кафтан и полезла к мужу.
 Прикрылась Матрена концом кафтана, лежит и не спит, все странник ей с мыслей не идет.
 Как вспомнит, что он последнюю краюшку доел и на завтра нет хлеба, как вспомнит, что рубаху и портки отдала, так скучно ей станет; а вспомнит, как он улыбнулся, и взыграет в ней сердце.
 Долго не спала Матрена и слышит - Семен тоже не спит, кафтан на себя тащит.
 - Семен!
 - А!
 - Хлеб-то последний поели, а я не ставила. На завтра, не знаю, как быть. Нечто у кумы Маланьи попрошу.
 - Живы будем, сыты будем.
 Полежала баба, помолчала.
 - А человек, видно, хороший, только что ж он не сказывает про себя.
 - Должно, нельзя.
 - Сём!
 - А!
 - Мы-то даем, да что ж нам никто не дает?
 Не знал Семен, что сказать. Говорит: "Будет толковать-то". Повернулся и заснул.
 V
 Наутро проснулся Семен. Дети спят, жена пошла к соседям хлеба занимать. Один вчерашний странник в старых портках и рубахе на лавке сидит, вверх смотрит. И лицо у него против вчерашнего светлее.
 И говорит Семен:
 - Чего ж, милая голова: брюхо хлеба просит, а голое тело одежи. Кормиться надо. Что работать умеешь?
 - Я ничего не умею.
 Подивился Семен и говорит:
 - Была бы охота. Всему люди учатся.
 - Люди работают, и я работать буду.
 - Тебя как звать?
 - Михаил.
 - Ну, Михайла, сказывать про себя не хочешь - твое дело, а кормиться надо. Работать будешь, что прикажу, - кормить буду.
 - Спаси тебя господь, а я учиться буду. Покажи, что делать.
 Взял Семен пряжу, надел на пальцы и стал делать конец.
 - Дело не хитрое, гляди...
 Посмотрел Михаила, надел также на пальцы, тотчас перенял, сделал конец.
 Показал ему Семен, как наваривать. Также сразу понял Михайла. Показал хозяин и как всучить щетинку и как тачать, и тоже сразу понял Михайла.
 Какую ни покажет ему работу Семен, все сразу поймет, и с третьего дня стал работать, как будто век шил. Работает без разгиба, ест мало; перемежится работа - молчит и все вверх глядит. На улицу не ходит, не говорит лишнего, не шутит, не смеется.
 Только и видели раз, как он улыбнулся в первый вечер, когда ему баба ужинать собрала.
 VI
 День ко дню, неделя к неделе, вскружился и год. Живет Михайла по-прежнему у Семена, работает. И прошла про Семенова работника слава, что никто так чисто и крепко сапог не сошьет, как Семенов работник Михайла, и стали из округи к Семену за сапогами ездить, и стал у Семена достаток прибавляться.
 Сидят раз по зиме Семен с Михайлой, работают, подъезжает к избе тройкой с колокольцами возок. Поглядели в окно: остановился возок против избы, соскочил молодец с облучка, отворил дверцу. Вылезает из возка в шубе барин. Вышел из возка, пошел к Семенову дому, вошел на крыльцо. Выскочила Матрена, распахнула дверь настежь. Нагнулся барин, вошел в избу, выпрямился, чуть головой до потолка не достал, весь угол захватил.
 Встал Семен, поклонился и дивуется на барина. И не видывал он людей таких. Сам Семен поджарый и Михайла худощавый, а Матрена и вовсе как щепка сухая, а этот - как с другого света человек: морда красная, налитая, шея как у быка, весь как из чугуна вылит.
 Отдулся барин, снял шубу, сел на лавку и говорит:
 - Кто хозяин сапожник?
 Вышел Семен, говорит:
 - Я, ваше степенство.
 Крикнул барин на своего малого:
 - Эй, Федька, подай сюда товар.
 Вбежал малый, внес узелок. Взял барин узел, положил на стол.
 - Развяжи, - говорит.
 Развязал малый. Ткнул барин пальцем товар сапожный и говорит Семену:
 - Ну, слушай же ты, сапожник. Видишь товар?
 - Вижу, - говорит, - ваше благородие.
 - Да ты понимаешь ли, какой это товар?.
 Пощупал Семен товар, говорит:
 - Товар хороший.
 - То-то хороший! Ты, дурак, еще не видал товару такого. Товар немецкий, двадцать рублей плачен.
 Заробел Семен, говорит:
 - Где же нам видать.
 - Ну, то-то. Можешь ты из этого товара на мою ногу сапоги сшить?
 - Можно, ваше степенство.
 Закричал на него барин:
 - То-то "можно". Ты понимай, ты на кого шьешь, из какого товару. Такие сапоги мне сшей, чтобы год носились, не кривились, не поролись. Можешь берись, режь товар, а не можешь - и не берись и не режь товару. Я тебе наперед говорю: распорются, скривятся сапоги раньше году, я тебя в острог засажу; не скривятся, не распорются до году, я за работу десять рублей отдам.
 Заробел Семен и не знает, что сказать. Оглянулся на Михайлу. Толканул его локтем и шепчет:
 - Брать, что ли?
 Кивнул головой Михаила: "Бери, мол, работу".
 Послушался Семен Михаилу, взялся такие са 1000 поги сшить, чтобы год не кривились, не поролись.
 Крикнул барин малого, велел снять сапог с левой ноги, вытянул ногу.
 - Снимай мерку!
 Сшил Семен бумажку в десять вершков, загладил, стал на коленки, руку об фартук обтер хорошенько, чтобы барский чулок не попачкать, и стал мерить. Обмерил Семен подошву, обмерил в подъеме; стал икру мерить, не сошлась бумажка. Ножища в икре как бревно толстая.
 - Смотри, в голенище не обузь.
 Стал Семен еще бумажку нашивать. Сидит барин, пошевеливает перстами в чулке, народ в избе оглядывает. Увидал Михайлу.
 - Это кто ж, - говорит, - у тебя?
 - А это самый мой мастер, он и шить будет.
 - Смотри же, - говорит барин на Михайлу, - помни, так сшей, чтобы год проносились.
 Оглянулся и Семен на Михайлу; видит - Михайла на барина и не глядит, а уставился в угол за барином, точно вглядывается в кого. Глядел, глядел Михаила и вдруг улыбнулся и просветлел весь.
 - Ты что, дурак, зубы скалишь? Ты лучше смотри, чтобы к сроку готовы были.
 И говорит Михайла:
 - Как раз поспеют, когда надо.
 - То-то.
 Надел барин сапог, шубу, запахнулся и пошел к двери. Да забыл нагнуться, стукнулся в притолоку головой. Разругался барин, потер себе голову, сел в возок и уехал.
 Отъехал барин, Семен и говорит:
 - Ну уж кремняст. Этого долбней не убьешь. Косяк головой высадил, а ему горя мало.
 А Матрена говорит:
 - С житья такого как им гладким не быть. Этакого заклепа и смерть не возьмет.
 VII
 И говорит Семен Михайле:
 - Взять-то взяли работу, да как бы нам беды не нажить. Товар дорогой, а барин сердитый. Как бы не ошибиться. Ну-ка ты, у тебя и глаза повострее, да и в руках-то больше моего сноровки стало, на-ка мерку. Крои товар, а я головки дошивать буду.
 Не ослушался Михайла, вяял товар барский, разостлал на столе, сложил вдвое, взял нож и начал кроить.
 Подошла Матрена, глядит, как Михайла кроит, и дивится, что такое Михайла делает. Привыкла уж и Матрена к сапожному делу, глядит и видит, что Михайла не по-сапожному товар кроит, а на круглые вырезает.
 Хотела сказать Матрена, да думает себе: "Должно, не поняла я, как сапоги барину шить; должно, Михайла лучше знает, не стану мешаться".
 Скроил Михаила пару, взял конец и стал сшивать не по-сапожному, в два конца, а одним концом, как босовики шьют.
 Подивилась и на это Матрена, да тоже мешаться не стала. А Михайла все шьет. Стали полудновать, поднялся Семен, смотрит - у Михайлы из барского товару босовики сшиты.
 Ахнул Семен. "Как это, думает, Михайла год целый жил, не ошибался ни в чем, а теперь беду такую наделал? Барин сапоги вытяжные на ранту заказывал, а он босовики сшил без подошвы, товар испортил. Как я теперь разделаюсь с барином? Товару такого не найдешь".
 И говорит он Михайле:
 - Ты что же это, - говорит, - милая голова, наделал? Зарезал ты меня! Ведь барин сапоги заказывал, а ты что сшил?
 Только начал он выговаривать Михайле - грох в кольцо у двери, стучится кто-то. Глянули в окно: верхом кто-то приехал, лошадь привязывает. Отперли: входит тот самый малый от барина.
 - Здорово!
 - Здорово. Чего надо?
 - Да вот барыня прислала об сапогах.
 - Что об сапогах?
 - Да что об сапогах! сапог не нужно барину. Приказал долго жить барин,
 - Что ты!
 - От вас до дома не доехал, в возке и помер. Подъехала повозка к дому, вышли высаживать, а он как куль завалился, уж и закоченел, мертвый лежит, насилу из возка выпростали. Барыня и прислала, говорит: "Скажи ты сапожнику, что был 1000 , мол, у вас барин, сапоги заказывал и товар оставил, так скажи: сапог не нужно, а чтобы босовики на мертвого поскорее из товару сшил. Да дождись, пока сошьют, и с собой босовики привези". Вот и приехал.
 Взял Михайла со стола обрезки товара, свернул трубкой, взял и босовики готовые, щелкнул друг об друга, обтер фартуком и подал малому. Взял малый босовики.
 - Прощайте, хозяева! Час добрый!
 VIII
 Прошел и еще год, и два, и живет Михайла уже шестой год у Семена. Живет по-прежнему. Никуда не ходит, лишнего не говорит и во все время только два раза улыбнулся: один раз, когда баба ему ужинать собрала, другой раз на барина. Не нарадуется Семен на своего работника. И не спрашивает его больше, откуда он; только одного боится, чтоб не ушел от него Михайла.
 Сидят раз дома. Хозяйка в печь чугуны ставит, а ребята по лавкам бегают, в окна глядят. Семен тачает у одного окна, а Михайла у другого каблук набивает.
 Подбежал мальчик по лавке к Михайле, оперся ему на плечо и глядит в окно.
 - Дядя Михайла, глянь-ка, купчиха с девочками, никак, к нам идет. А девочка одна хромая.
 Только сказал это мальчик, Михайла бросил работу, повернулся к окну, глядит на улицу.
 И удивился Семен. То никогда не глядит на улицу Михайла, а теперь припал к окну, глядит на что-то. Поглядел и Семен в окно; видит - вправду идет женщина к его двору, одета чисто, ведет за ручки двух девочек в шубках, в платочках в ковровых. Девочки одна в одну, разузнать нельзя. Только у одной левая ножка попорчена - идет, припадает.
 Взошла женщина на крыльцо, в сени, ощупала дверь, потянула за скобу отворила. Пропустила вперед себя двух девочек и вошла в избу.
 - Здорово, хозяева!
 - Просим милости. Что надо?
 Села женщина к столу. Прижались ей девочки в колени, людей чудятся.
 - Да вот девочкам на весну кожаные башмачки сшить.
 - Что же, можно. Не шивали мы маленьких таких, да все можно. Можно рантовые, можно выворотные на холсте. Вот Михайла у меня мастер.
 Оглянулся Семен на Михайлу и видит: Михайла работу бросил, сидит, глаз не сводит с девочек.
 И подивился Семен на Михайлу. Правда, хороши, думает, девочки: черноглазенькие, пухленькие, румяненькие, и шубки и платочки на них хорошие, а все не поймет Семен, что он так приглядывается на них, точно знакомые они ему.
 Подивился Семен и стал с женщиной толковать - рядиться. Порядился, сложил мерку. Подняла себе женщина на колени хроменькую и говорит:
 - Вот с этой две мерки сними; на кривенькую ножку один башмачок сшей, а на пряменькую три. У них ножки одинакие, одна в одну. Двойни они.
 Снял Семен мерку и говорит на хроменькую:
 - С чего же это с ней сталось? Девочка такая хорошая. Сроду, что ли?
 - Нет, мать задавила.
 Вступилась Матрена, хочется ей узнать, чья такая женщина и чьи дети, и говорит:
 - А ты разве им не мать будешь?
 - Я не мать им и не родня, хозяюшка, чужие вовсе - приемыши.
 - Не свои дети, а как жалеешь их!
 - Как мне их не жалеть, я их обеих своею грудью выкормила. Свое было детище, да бог прибрал, его так не жалела, как их жалею.
 - Да чьи же они?
 IX
 Разговорилась женщина и стала рассказывать. - Годов шесть, - говорит, тому дело было, в одну неделю обмерли сиротки эти: отца во вторник похоронили, а мать в пятницу померла. Остались обморушки эти от отца трех деньков, а мать и дня не прожила. Я в эту пору с мужем в крестьянстве жила. Соседи были, двор об двор жили. Отец их мужик одинокий был, в роще работал. Да уронили дерево как-то на него, его поперек прихватило, все нутро выдавило. Только довезли, он и отдал богу душу, а баба его в ту же 1000 неделю и роди двойню, вот этих девочек. Бедность, одиночество, одна баба была, - ни старухи, ни девчонки. Одна родила, одна и померла.
 Пошла я наутро проведать соседку, прихожу в избу, а она, сердечная, уж и застыла. Да как помирала, завалилась на девочку. Вот эту задавила - ножку вывернула. Собрался народ - обмыли, спрятали, гроб сделали, похоронили. Всё добрые люди. Остались девчонки одни. Куда их деть? А я из баб одна с ребенком была. Первенького мальчика восьмую неделю кормила. Взяла я их до времени к себе. Собрались мужики, думали, думали, куда их деть, и говорят мне: "Ты, Марья, подержи покамест девчонок у себя, а мы, дай срок, их обдумаем". А я разок покормила грудью пряменькую, а эту раздавленную и кормить не стала: не чаяла ей живой быть. Да думаю себе, за что ангельская душка млеет? Жалко стало и ту. Стала кормить, да так-то одного своего да этих двух - троих грудью и выкормила! Молода была, сила была, да и пища хорошая. И молока столько бог дал в грудях было, что зальются, бывало. Двоих кормлю, бывало, а третья ждет. Отвалится одна, третью возьму. Да так-то бог привел, что этих выкормила, а своего по второму годочку схоронила. И больше бог и детей не дал. А достаток прибавляться стал. Вот теперь живем здесь на мельнице у купца. Жалованье большое, жизнь хорошая. А детей нет. И как бы мне жить одной, кабы не девчонки эти! Как же мне их не любить! Только у меня и воску в свечке, что они!
 Прижала к себе женщина одною рукой девочку хроменькую, а другою рукой стала со щек слезы стирать.
 И вздохнула Матрена и говорит:
 - Видно, пословица не мимо молвится: без отца, матери проживут, а без бога не проживут.
 Поговорили они так промеж себя, поднялась женщина идти; проводили ее хозяева, оглянулись на Михайлу. А он сидит, сложивши руки на коленках, глядит вверх, улыбается.
 Х
 Подошел к нему Семен: что, говорит, ты, Михайла! Встал Михайла с лавки, положил работу, снял фартук, поклонился хозяину с хозяйкой и говорит:
 - Простите, хозяева. Меня бог простил. Простите и вы.
 И видят хозяева, что от Михайлы свет идет. И встал Семен, поклонился Михайле и сказал ему:
 - Вижу я, Михайла, что ты не простой человек, и не могу я тебя держать, и не могу я тебя спрашивать. Скажи мне только одно: отчего, когда я нашел тебя и привел в дом, ты был пасмурен, и когда баба подала тебе ужинать, ты улыбнулся на нее и с тех пор стал светлее? Потом, когда барин заказывал сапоги, ты улыбнулся в другой раз и с тех пор стал еще светлее? И теперь, когда женщина приводила девочек, ты улыбнулся в третий раз и весь просветлел. Скажи мне, Михайла, отчего такой свет от тебя и отчего ты улыбнулся три раза?
 И сказал Михайла:
 - Оттого свет от меня, что я был наказан, а теперь бог простил меня. А улыбнулся я три раза оттого, что мне надо было узнать три слова божии. И я узнал слова божьи; одно слово я узнал, когда твоя жена пожалела меня, и оттого я в первый раз улыбнулся. Другое слово я узнал, когда богач заказывал сапоги, и я в другой раз улыбнулся; и теперь, когда я увидал девочек, я узнал последнее, третье слово, и я улыбнулся в третий раз.
 И сказал Семен:
 - Скажи мне, Михайла, за что бог наказал тебя и какие те слова бога, чтобы мне знать.
 И сказал Михайла:
 - Наказал меня бог за то, что я ослушался его. Я был ангел на небе и ослушался бога. Был я ангел на небе, и послал меня господь вынуть из женщины душу. Слетел я на землю, вижу: лежит одна жена - больна, родила двойню, двух девочек. Копошатся девочки подле матери, и не может их мать к грудям взять. Увидала меня жена, поняла, что бог меня по душу послал, заплакала и говорит: "Ангел божий! мужа моего только схоронили, деревом в лесу убило. Нет у меня ни сестры, ни тетки, ни бабки, некому моих сирот взрастить. Не бери ты мою душеньку, дай мне самой детей вспоить, вскормить, на ноги поставить! Н 1000 ельзя детям без отца, без матери прожить!" И послушал я матери, приложил одну девочку к груди, подал другую матери в руки и поднялся к господу на небо. Прилетел к господу и говорю: "Не мог я из родильницы души вынуть. Отца деревом убило, мать родила двойню и молит не брать из нее души, говорит: "Дай мне детей вспоить, вскормить, на ноги поставить. Нельзя детям без отца, без матери прожить". Не вынул я из родильницы душу". И сказал господь: "Поди вынь из родильницы душу и узнаешь три слова: узнаешь, что есть в людях, и чего не дано людям, и чем люди живы. Когда узнаешь, вернешься на небо". Полетел я назад на землю и вынул из родильницы душу.
 Отпали младенцы от грудей. Завалилось на кровати мертвое тело, придавило одну девочку, вывернуло ей ножку. Поднялся я над селом, хотел отнести душу богу, подхватил меня ветер, повисли у меня крылья, отвалились, и пошла душа одна к богу, а я упал у дороги на землю.
 XI
 И поняли Семен с Матреной, кого они одели и накормили и кто жил с ними, и заплакали они от страха и радости.
 И сказал ангел:
 - Остался я один в поле и нагой. Не знал я прежде нужды людской, не знал ни холода, ни голода, и стал человеком. Проголодался, измерз и не знал, что делать. Увидал я - в поле часовня для бога сделана, подошел к божьей часовне, хотел в ней укрыться. Часовня заперта была замком, и войти нельзя было. И сел я за часовней, чтобы укрыться от ветра. Пришел вечер, проголодался я и застыл и изболел весь. Вдруг слышу: идет человек по дороге, несет сапоги, сам с собой говорит. И увидал я впервой смертное лицо человеческое после того, как стал человеком, и страшно мне стало это лицо, отвернулся я от него. И слышу я, что говорит сам с собой этот человек о том, как ему свое тело от стужи в зиму прикрыть, как жену и детей прокормить. И подумал: "Я пропадаю от холода и голода, а вот идет человек, только о том и думает, как себя с женой шубой прикрыть и хлебом прокормить. Нельзя ему помочь мне". Увидал меня человек, нахмурился, стал еще страшнее и прошел мимо. И отчаялся я. Вдруг слышу, идет назад человек. Взглянул я и не узнал прежнего человека: то в лице его была смерть, а теперь вдруг стал живой, и в лице его я узнал бога. Подошел он ко мне, одел меня, взял с собой и повел к себе в дом. Пришел я в его дом, вышла нам навстречу женщина и стала говорить. Женщина была еще страшнее человека мертвый дух шел у нее изо рта, и я не мог продохнуть от смрада смерти. Она хотела выгнать меня на холод, и я знал, что умрет она, если выгонит меня. И вдруг муж ее напомнил ей о боге, и женщина вдруг переменилась. И когда она подала нам ужинать, а сама глядела на меня, я взглянул на нее - в ней уже не было смерти, она была живая, и я и в ней узнал бога.
 И вспомнил я первое слово бога: "Узнаешь, что есть в людях". И я узнал, что есть в людях любовь. И обрадовался я тому, что бог уже начал открывать мне то, что обещал, и улыбнулся в первый раз. Но всего не мог я узнать еще. Не мог я понять, чего не дано людям и чем люди живы.
 Стал я жить у вас и прожил год. И приехал человек заказывать сапоги такие, чтобы год носились, не поролись, не кривились. Я взглянул на него и вдруг за плечами его увидал товарища своего, смертного ангела. Никто, кроме меня, не видал этого ангела, но я знал его и знал, что не зайдет еще солнце, как возьмется душа богача. И подумал я: "Припасает себе человек на год, а не знает, что не будет жив до вечера". И вспомнил я другое слово бога: "Узнаешь, чего не дано людям".
 Что есть в людях, я уже знал. Теперь я узнал, чего не дано людям. Не дано людям знать, чего им для своего тела нужно. И улыбнулся я в другой раз. Обрадовался я тому, что увидал товарища ангела, и тому, что бог мне другое слово открыл.
 Но всего не мог я понять. Не мог еще я понять, чем люди живы. И все жил я и ждал, когда бог откроет мне последнее слово. И на шестом году пришли девочки-двойни с женщиной, и узнал я девочек, и узнал, как остались живы девочки эти. Узнал и b9b подумал: "Просила мать за детей, и поверил я матери, - думал, что без отца, матери нельзя прожить детям, а чужая женщина вскормила, взрастила их". И когда умилилась женщина на чужих детей и заплакала, я в ней увидал живого бога и понял, чем люди живы. И узнал, что бог открыл мне последнее слово и простил меня, и улыбнулся я в третий раз.
 XII
 И обнажилось тело ангела, и оделся он весь светом, так что глазу нельзя смотреть на него; и заговорил он громче, как будто не из него, а с неба шел его голос. И сказал ангел:
 - Узнал я, что жив всякий человек не заботой о себе, а любовью.
 Не дано было знать матери, чего ее детям для жизни нужно. Не дано было знать богачу, чего ему самому нужно. И не дано знать ни одному человеку сапоги на живого или босовики ему же на мертвого к вечеру нужны.
 Остался я жив, когда был человеком, не тем, что я сам себя обдумал, а тем, что была любовь в прохожем человеке и в жене его и они пожалели и полюбили меня. Остались живы сироты не тем, что обдумали их, а тем, что была любовь в сердце чужой женщины и она пожалела, полюбила их. И живы все люди не тем, что они сами себя обдумывают, а тем, что есть любовь в людях.
 Знал я прежде, что бог дал жизнь людям и хочет, чтобы они жили; теперь понял я еще и другое.
 Я понял, что бог не хотел, чтобы люди врозь жили, и затем не открыл им того, что каждому для себя нужно, а хотел, чтоб они жили заодно, и затем открыл им то, что им всем для себя и для всех нужно.
 Понял я теперь, что кажется только людям, что они заботой о себе живы, а что живы они одною любовью. Кто в любви, тот в боге и бог в нем, потому что бог есть любовь.
 И запел ангел хвалу богу, и от голоса его затряслась изба. И раздвинулся потолок, и встал огненный столб от земли до неба. И попадали Семен с женой и с детьми на землю. И распустились у ангела за спиной крылья, и поднялся он на небо.
 И когда очнулся Семен, изба стояла по-прежнему, и в избе уже никого, кроме семейных, не было.

**Вячеслав ДЁГТЕВ**
**Выбор**

*На войне девушка потеряла обе ноги.Неизвестно :выживет ли она... Роман, чтобы поддержать девушку, предлагает ей выйти за него замуж...Как сложатся судьбы гроев, мы не знаем, но поступок Романа потрясает.
Проблемы:
Осуждение войны, калечащей судьбы людей...
Милосердие бойца по отношению к пострадавшей девушке.*

                                                                      Посвящается Юрию Бондареву

     Он был с Дона, она - с Кубани.

     Он служил гранатометчиком, она - в полевой пекарне.

     У  него в прошлом было много чего разного, в основном неприятного,  что
сейчас, на войне, казалось несущественным: работа, жена, семейные дрязги.

     У  нее  где-то  в  Армавире,  говорили ребята, осталась  старушка-мать,
которую  не  на что было лечить, потому и поступила она  в армию хлебопеком.
Восемьсот  рублей  в  день  "боевых"  -  где их,  такие  деньги,  в  России
заработаешь?

     Они не обмолвились ни единым словом друг с другом - она нарезала хлеб,
он подходил к  раздаче  в очереди таких  же,  как сам, грязных,  пропотевших
солдат, и молодых безусых "срочников", и угрюмых в основном "контрактников",
у которых у каждого была в жизни какая-нибудь трагедия  (от хорошей жизни на
войну не вербуются), подходил, молча брал свою пайку, любил он с поджаристой
корочкой, даже чтобы чуть-чуть  хлеб был подгорелый, и она в последнее время
стала оставлять ему именно такой.

     Она молча  клала  в его огрубелую  ладонь пышущий жаром  пышный пахучий
хлеб, пальцы их соприкасались, они вскидывали друг на  друга глаза - у него
они  были серые,  стального,  немного зеленоватого цвета, у  нее  -  карие,
выпуклые, как у породистой  преданной собаки;  в последнее время глаза у нее
сделались отчего-то  золотистые  и с  янтарным  оттенком.  Вот и все было их
общение.

     Он знал, что зовут ее Оксана,  редкое  по нынешним  временам  имя. Она,
конечно  же,  имени его не знала. Да  и зачем ей,  молодой и  красивой,  имя
какого-то  гранатометчика в  потертом бушлате и  с проседью,  "дикого гуся",
"пса войны",  сбежавшего  на  эту  непонятную необъявленную войну от  нужды,
беспросветности и тоски.

     Нет,  кажется,  раза два  он  сказал ей:  "Спасибо!",  а она  ответила:
"Пожалуйста!" Вот теперь уж точно - все!

     Да,  несколько  последних  лет  он не  жил  - существовал. В  тоске  и
беспросветности. Он не  верил больше женщинам.  Казалось, все  они сделались
шлюхами,  падкими  на  деньги, тряпки и удовольствия.  Телевизор  с рекламой
прокладок, безопасного секса,  Багам,  Канар  и французского  парфюма сгубил
русскую бабу. Вместо  того  чтобы  мечтать  о  детях,  они  теперь мечтают о
колготках от Версачи. И с некоторого времени  он стал рассуждать совсем  как
эти   "звери",  с  которыми  приходилось  сейчас  воевать:  русские  женщины
продажные, живут даже с неграми ("лишь бы человек  был  хороший"),  и потому
нет у нас будущего и весь народ обречен на вымирание.

     Он  был согласен с этим, как это ни прискорбно.  В прошлом служил  он в
милиции  участковым  и  насмотрелся такого,  что  даже  не  рисковал  никому
рассказывать - не поверят. Он любил свою жену-пианистку, она же считала его
неровней себе, не парой, а потому спуталась с каким-то плюгавым настройщиком
роялей и постоянными вздорными заявлениями в УВД сначала вынудила начальство
отобрать у  него, заядлого с 16 лет  охотника, ружье, которым он будто бы ей
угрожал, затем лишить его табельного оружия, а потом и уволить из "органов".
Квартиру, которую он заработал, разделила, но ключи не отдавала, жила  в ней
одна.  Он помыкался, помыкался, то у  родителей, то где придется, и пришлось
соглашаться на то, что она ему предложила (и то спасибо соседям, засовестили
ее), и досталась ему  после  разъезда конура  - в прямом смысле, без всяких
кавычек.  Ах, как  тоскливо и  горестно  бывало ему в  той  конуре, особенно
вечерами! Одно оставалось - выйти, взять бутылку. Пока деньги были...

     А тут началась война. И ноги как-то сами собой принесли его к казачьему
атаману,  а потом в военкомат, и взяли его на войну, и направили в отдельный
казачий   полк   по  армейской  специальности  и  с  армейским  званием   -
гранатометчиком и младшим сержантом.

     Так  и  служил  он уже второй год,  бывший  старший  лейтенант милиции,
младшим сержантом. За  это время он сделался настоящим  "псом войны". Уже не
являлись ему во  сне убитые им "звери", уже  не дрожали в бою  руки. Недавно
пришлось  пристрелить  своего  - уж  очень парень был труслив,  чуть что --
сразу же у него паника, в  бою  своим несдержанным  поведением  чуть всех не
угробил,  пришлось  под шумок  щелкнуть  его  в затылок.  А то  еще на  днях
приезжал  в  полк  известный  своими  мерзкими интервью  с  так  называемыми
"полевыми  командирами" один  московский журналюга  -  этого  педика просто
подставили  под пули те, кого он  воспевал, после чего некоторые сослуживцы,
даже офицеры, подходили к нему и молча жали руку. Что ж, на то она и война.

     Вот такая теперь была у него жизнь.

     Но в последнее время суровая его жизнь  стала скрашиваться присутствием
Оксаны в их полевой походной пекарне.

     Оксана как-то выступала на День Победы перед  солдатами.  Среди  прочей
самодеятельности она плясала чечетку,  или, как называют специалисты,  степ.
Когда-то  в прошлом она занималась в танцевальном кружке при Доме пионеров и
в  тот  день,  в святой для  всякого русского День  Победы, решила,  видать,
тряхнуть стариной.  На ней были  блестящие хромом  сапожки, которые полковые
умельцы  подбили так,  что  они  и звенели  медными подковками,  и  скрипели
вложенной между стелек берестой.

     Ее  стройные,  немного  полноватые в икрах ножки так и мелькали, так  и
носились по дощатой сцене -  стоял топот, стук, скрип, а солдаты сидели кто
на  чем,  некоторые -  раскрыв  от восхищения рот, сидели и смотрели на это
чудо, и не один, верно, плоховато спал в ту ночь.

     Да,  она была настоящая королева их  полка. Многие вздыхали,  некоторые
даже пытались чего-то там предпринимать,  да только  без толку. Как истинная
казачка, она знала  себе  цену, строго держала себя. Поэтому  он  даже и  не
пытался...

     И  вот сейчас  ее  внесли  на  носилках  двое дюжих  измазанных  глиной
десантников.  Внесли   в  подвал-бомбоубежище,   где   когда-то   выращивали
шампиньоны (ими до сих пор еще тут кисловато пахло), а теперь оборудован был
полевой госпиталь и где он получал индивидуальные аптечки на весь взвод.

     Она была по  самый подбородок укрыта окровавленным  то ли пледом, то ли
ковром,  то ли одеялом.  Среди раненых и  медобслуги пополз  шумок:  "звери"
обстреляли хлебовозку, где, случалось, и сами получали дармовой хлеб.

     Ее положили возле печки-буржуйки, в которой гудело замурованное пламя и
наносило  тополевым  горьковатым  дымком,  который  будил  в  памяти осенние
субботники и запах сжигавшейся листвы.

     Глаза ее горели каким-то странным, лихорадочным, янтарным огнем. В  них
прямо-таки плескался непонятный и потому  страшный пожар. Он  подошел к ней.
Она угадала его и улыбнулась.

     - А-а, Роман! Здравствуй!

     Он удивился: откуда знает его имя? Ведь они не знакомились. Они даже ни
разу не поговорили. "Спасибо". - "Пожалуйста" -  вот и все! Она пекла хлеб
для всего  полка. Он был  одним из трех тысяч солдат.  Все  солдаты  на одно
лицо. Но на  душе сделалось так тепло и  так  легко,  хоть пой,  хоть  скачи
козленком.

    - Видишь, как меня? - продолжала говорить она. - Ну ничего, это ведь
не страшно. И не надолго. Мы еще потанцуем. Ведь правда, Рома?

     - Конечно, конечно. Ты только не говори много. Береги силы. Потом мы с
тобой наговоримся. И натанцуемся. Ты еще покажешь класс -- в своих скрипучих
сапожках-то...

     - Сапог,  сапог!  -  Она схватила его  за  руку,  притянула  к  себе,
приложила ладонь к своей щеке -  щека горела огнем!  - зашептала свистящим
полушепотом, с  перехватом дыхания: - Слушай,  будь другом...  Я стеснялась
этих ребят-санитаров, чужие люди,  а тебя попрошу, будь другом, сними с меня
левый сапог - жмет, вражина, мочи нету! Или разрежь его, что ли, а?

     Он кивнул и приподнял край задубевшего от крови одеяла.

     Ног у нее не было по самые колена.

     Его бросило  в жар. Он еле сдержался, чтоб  не  отшатнуться. Стоящая  у
бетонного столба молоденькая медсестра,  помогавшая  размещать раненых, чуть
слышно вскрикнула, увидев это, и заткнула рот воротом  халата,  испачканного
кровью, грязью, зеленкой.

     Он  медленно  опустил  край   одеяла  (или  ковра?),  поправил  его   и
приблизился к  ее  лицу.  В  глазах Оксаны,  оглушенных промедолом, прочитал
облегчение, будто сапог и в самом деле перестал мучить.

    В подвале  сразу же отчего-то сделалось тихо. Так тихо, что слышен стал
лязг и звон инструментов за ширмой, где готовили стол для операции.

     - Знаешь что, Оксана дорогая? - сказал он хрипловато, но твердо. - А
выходи-ка ты за меня замуж, -- докончил он и словно груз сбросил.

     Она широко распахнула глаза. В них были слезы.

     - Что? Замуж? -  Сейчас в глазах уже плескалась радость. Да, радость!
Радость золотая, неподдельная. - Я знала, что ты рано или поздно заговоришь
со мной. Я знала... Но замуж?! - И тут же промелькнуло недоверие в ее тоне,
даже  настороженность  появилась  в интонации. - Но почему  именно сегодня,
именно сейчас?

     - Боюсь, что завтра... я не осмелюсь. Так что сейчас решай.

     Она  коснулась  его  темной  загорелой  руки.  Закрыла  янтарные   свои
прекрасные от счастья глаза и прошептала:

     - Какой ты... Ведь правда, все у нас с тобой будет хорошо? Меня сейчас
перевяжут,  и  мы  с  тобой  еще станцуем  на нашей  свадьбе...  Ах,  как  я
счастлива, Ромка!

     У бетонного столба стояла молоденькая медсестра и беззвучно плакала.

     В подвале  висела звонкая, чистая, прямо-таки стерильная  тишина, запах
грибов  куда-то  пропал, и  лишь горьковато припахивало от  печки тополевыми
поленьями...

**Юрий Буйда**
*1.Каждый человек - это целый мир...
2.Душа человека хрупка...
3.Чеховский Беликов,оказыва ется, - просто несчастный человек...
4.И классики, бывает, ошибаются...*

**Химич**

Сергея Сергеевича Химича все считали очень нерешительным человеком, а некоторые вдобавок – человеком в футляре, вроде учителя Беликова из чеховского рассказа. Он едва-едва вытянул первый год в качестве штатного преподавателя химии, и в конце концов директор школы предложил ему прекратить мучить себя и учеников и перейти в лаборанты. Нисколько не обидевшись, но даже с радостью Сергей Сергеевич согласился и новый учебный год начал в примыкавшей к кабинету химии узкой комнате, уставленной шкафами, стеллажами и столиками, колбами, штативами и горелками. А учительское место заняла юная красавица гречанка Азалия Харитоновна Керасиди, в которую все сразу влюбились и между собой стали называть просто Ази. Гибкая, тоненькая, подвижная, смуглая, с изогнутыми, как ятаганы, темными бровями и темно-зелеными блестящими глазами, она отлично справлялась с учительскими обязанностями, заставив всех тотчас забыть об этом увальне и недотепе Химиче, который прославился медлительностью, нерешительностью, какой-то вязкостью, если даже речь шла о самых заурядных бытовых проблемках. Прежде чем ответить на вопрос, сколько будет дважды два, он и то держал паузу, задумчиво мычал и только после этого очень неуверенным тоном выдавливал из себя: "Пять".

Из дома в школу он в любое время года ходил одним и тем же однажды выбранным путем, хотя значительная часть его была ужасно неудобна:глинистая тропинка между оградами огородов и довольно глубоким оврагом, тянувшимся параллельно железнодорожной насыпи. Тропинка выводила к переезду, который для Сергея Сергеевича был мучительнейшей преградой на пути к школе. То и дело сверяясь с самодельным расписанием, он ждал, когда же пройдет московский скорый, чтобы, пропустив поток автомобилей, успеть юркнуть через переезд перед самым носом почто-во-багажного. Опоздать к началу урока или попасть под поезд – эту дилемму он решал ежедневно, обливаясь потом, нервничая и доводя себя до тяжелой головной боли и болезненной одышки. Но изменить однажды и навсегда избранный маршрут – это ему и в голову, видимо, не приходило.

Ази посмеивалась над его страстью к порядку в лаборатории. Ну, скажем, на колбе с соляной кислотой была наклеена большая квадратная бумажка с надписями одна под другой: "Кислота соляная", "Хлористоводо-родная кислота", "Раствор хлористого водорода в воде" и наконец – "НСl". Когда по плану урока на столах в кабинете появлялись газовые горелки, Сергей Сергеевич места себе не находил: он не только подробней-ше инструктировал учеников, как пользоваться опасным прибором, но и класса не покидал, пока не завершится опыт.

— Как бы чего не случилось? – подначивала его с улыбкой Ази.

В ответ он лишь пожимал плечами и отворачивался.

Однажды Ази попросила его принести что-то со школьного чердака. Сергей Сергеевич замер в нерешительности и наконец пробормотал:

- Да… но я никогда там не был… не люблю, заходить в незнакомые подвалы и на чердаки… извините, Азалия Харитоновна…

Ази расхохоталась и, махнув рукой, послала на чердак расторопного старшеклассника, которому завидовали все мальчишки, мечтавшие исполнить любое распоряжение, любую самомалейшую просьбу красавицы Ази, даже если бы это было сопряжено со смертельным риском.

Тем же вечером она вошла в лабораторию, села на стул и, закинув ногу на ногу и закурив тонкую сигарету, кивнула на томик Чехова, лежавший между колбами и пробирками:

- Человек в футляре читает "Человека в футляре"? Вы извините, Сергей Сергеевич, но я слыхала, вас многие так называют…

- Глитайабож паук, – пробормотал он, продолжая при помощи ерша мыть колбу в раковине.

- Что? Какой паук? – растерялась Ази.

— Вы, наверное, давно не перечитывали этот рассказ, – сказал он.

Вытряхнув последнюю каплю из колбы и поставив ее в сушилку, он сел напротив Ази и, поправив очки, продолжал тем же бесстрастным тоном:

- Перечитайте, Азалия Харитоновна. Там краснощекие, чернобровые, вечно хохочущие здоровые люди зверски травят несчастного одинокого человека, который ничуть не лучше, но и ничуть не хуже их. Да, не лучше, но и не хуже. – Он помахал ладонью, отгоняя от лица табачный дым. – От скуки его пытаются женить на краснощекой, чернобровой хохлушке, брат которой ненавидит человека в футляре и сравнивает его с пауком – "абож паук". Между ними случается ссора, после которой человек в футляре умирает. – Сергей Сергеевич неторопливо открыл книгу, полистал, кивнул. – Вот послушайте: "Признаюсь, – (это рассказчик истории говорит, не Чехов), – хоронить таких людей, как Беликов, это большое удовольствие". – Посмотрел на нее поверх очков и продолжал: – "Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, утомительная, бестолковая…" Видите ли, человек в футляре оказался ни при чем. Поэтому… – Он кашлянул и отвернулся. – Поэтому или не поэтому, все равно, но я прошу вас не называть меня человеком в футляре. И не лезть ко мне в душу, даже если вам вдруг стало скучно! – Посмотрел на нее в упор. – Я же не пристаю к вам, правда? Или я плохо работаю? Так и скажите. Но не лезьте, понимаете? – Он закашлялся, зажал рот платком и промычал: – Уходите, пожалуйста… Не надо… Не надо же! Прошу вас!

Ошеломленная Ази вскочила, отпрянула к двери, не спуская изумленного взгляда с Химича и не зная, куда сунуть погасшую сигарету, – вдруг, хлопнув дверью, бросилась бежать, опомнилась в тупике, резко обернулась – коридор был пуст. Она дрожала, хотелось плакать, хотелось вернуться к этому неуклюжему косноязычному очкарику и все-все ему объяснить… Но что объяснить? Такое с нею случилось впервые в жизни. Это было что-то загадочное, даже, может быть, неприятно-таинственное, тягостное, во всяком случае. Ази на цыпочках пробежала по коридору, спустилась во двор и, всхлипывая, помчалась домой.

Летом из-за болезни матери Ази не удалось поехать к морю, и она целыми днями пропадала на узких песчаных пляжах Преголи и Лавы, окруженная поклонниками, демонстрировавшими ей свои мускулы, умение плавать и бегать за мороженым.

Иногда все и вся ей надоедало, и она после завтрака отправлялась подальше от людных пляжей – на Детдомовские озера, где можно бьыобестревожно мечтать под тишайший шелест ивняков, сонно наблюдая за грубоватыми желтыми кувшинками, сбивавшимися в плоские стада на темной, почти черной поверхности воды. Озера тянулись вдоль Преголи цепочкой, соединяясь с рекой узкими кривыми протоками, скрытыми от глаз теми же густыми ивами.

Ази бродила от озера к озеру, собирая мелкие белые и голубые цветы, или лежала в высокой траве, глядя широко открытыми зеленовато-карими глазами на небо, по фальшивой плоскости которого изредка проплывали кое-как вылепленные белые облака. Над нею с жестяным треском проносились стрекозы или бесшумные стайки бабочек-брюквенниц…

Добравшись до последнего озера, она увидела знакомую громоздкую фигуру Сергея Сергеевича, удившего рыбу с берега, и, поколебавшись, – а сколько времени прошло с того дня! – подошла и села рядом.

- Вот уж не думала, что вы страстный рыбак, – сказала она. – У вас такой хищный прищур, когда вы смотрите на поплавок…

- Я не люблю ловить рыбу, – с вялой улыбкой сказал Сергей Сергеевич. – Просто здесь хорошо сидится. Безлюдно, тихо, задумчиво. А иногда я просто ложусь в траву и сплю…

- Спите? Но… – Она вдруг запнулась, не зная, что тут можно сказать. – Это, наверное, хорошо…

Он с любопытством взглянул на нее и снова уставился на поплавок.

- В общем, да. Одно плохо: в сновидениях слишком много людей… в том числе неприятных, от которых невозможно избавиться, потому что таковы, видимо, законы сновидений… – Он тихо засмеялся. – Бог мой, какую я чушь несу, вы уж извините!

- Что вы, Сергей Сергеевич!

- Можете называть меня просто Химичем – я привык. – Пожал плечами. – В сновидениях ты вроде бы становишься свободным, абсолютно свободным, а на самом деле нет худшего рабства, чем сновидения с их людьми…

- Остается быть царем в жизни. – Ази вдруг испугалась, что он воспримет ее слова как намек. – Кажется, клюет!

- Нет, показалось. – Он снял соломенную шляпу и взъерошил соломенные волосы. – В жизни… с кем не хочется знаться – не знайся… Разве нет?

- А давайте искупаемся! – Ази вскочила и одним махом сбросила платьице, оставшись в белом купальнике. – Давайте, не бойтесь!

Он усмехнулся:

- А я и не боюсь.

Она терпеливо ждала, пока он, по обыкновению своему не торопясь, снимет рубашку, брюки, носки. У него было плотное, полноватое белое тело с густыми рыжими волосами на груди, руках и ногах. В два прыжка он оказался у воды и с шумом обрушился в озеро.

Ази расхохоталась.

— Тюленище! – закричала она. – Сергей Сергеевич, вы тюленище!

Химич вынырнул и мощными гребками погнал свое тюленье тело вперед. Ази с удивлением следила за ним: такой стильный кроль она видела только по телевизору. Мужчина обогнул озеро, перевернулся на спину и в несколько толчков подплыл к берегу, уткнувшись макушкой в песок.

- Вот это класс! – сказала Ази, присаживаясь рядом с ним на корточки. – Где вы так научились?

Он выбрался на берег, тяжело дыша, вяло взмахнул руками.

- Я же родился на Волге, да еще и в спортшколу походил несколько лет. А потом – бенц, и все. – Откинул волосы со лба, виновато улыбнулся девушке: – Сердце, видите ли… Из-за сердца даже в армию не взяли.

— Господи, так вам нельзя же! Я дура, Сергей Сергеевич!

Он с удивлением посмотрел на расстроенную девушку:

- Вы серьезно это? Бросьте, Ази, не надо. Считайте, что я вам ничего не говорил. Да и не рассказывайте про это никому, пожалуйста… Вы же хотели искупаться, Ази, так идите же, вода – чудо!

Она вдруг сообразила, что он впервые называет ее ласкательным прозвищем, а не по имени-отчеству, и чуть не разревелась.

Химич стоял перед нею в растерянности.

- Ази… Что-нибудь случилось? Опять я что-нибудь не так… Она замотала головой: нет.

- Хотите, я научу вас плавать по-настоящему? Нет? Ази… чего ж вы хотите?

- Не знаю… – Она села на песок, перевела дух. – А что еще вы видите во сне?

Он наморщил большой лоб.

- Рыбы снятся. С красивыми женскими животами. – Надел очки. – И много лишних людей. Так что же с вами, Азалия Харитоновна? – Голос его звучал доброжелательно, но суховато. – Чего вы хотите?

Она посмотрела на него с жалобной улыбкой:

- Поцелуйте меня, Сергей Сергеевич, пожалуйста. Не то я разревусь.

Она вернулась домой очень поздно, но мать еще не спала.

- Что с тобой, Ази? – Мать мучилась одышкой. – От тебя веет такой свежестью, как будто ты счастлива…

- А я и впрямь счастлива, ма! Я сегодня влюбилась, полюбила и стала женщиной!

Мать посмотрела на нее – Ази угадала ее взгляд в темноте.

- И кто же твой герой?

- Ма! Ты же сама сто раз говорила, что за героев только дуры выходят.

- Так вы еще и пожениться решили?

- Да. Он не герой, он – любимый, ма! Честное слово.

Их свадьба, конечно же, стала сенсацией для полусонного городка, прочившего Ази в мужья человека ну уж никак не ниже генеральского чина. А тут, подумать только, – невоеннообязанный, годный к нестроевой, как записано в его военном билете. В решении красавицы видели даже не каприз, но – темную тайну и уж никак не любовь.

И спустя годы – а прожили они вместе около шести лет – Ази каждый день открывала странного своего мужа, как неведомую, загадочную планету или страну – с городами и водопадами, ночными кошмарами и бездонными морями. Как большинству русских людей, мир представлялся Сергею Сергеевичу хаотическим сцеплением случайностей, и чтобы хоть как-то упорядочить мир и обезопасить себя и близких (через год у них родилась девочка), Химич прибегал одновременно к двум средствам – медлительности и воображению.

Он не торопился открыть дверь – не из страха или трусости – лишь потому, что пытался перебрать, кажется, все возможные варианты встречи с гостем или гостями: это могли быть соседи, птицы, Козебяка, Дон Кихот или преодолевшая тысячи километров и иссохшая за время пути кобра, утратившая яд и жаждавшая лишь покоя у ног последнего властелина…

Получив письмо, он не спешил распечатывать конверт, упорно стремясь предугадать содержание послания – каждое казалось ему некой вестью, иначе зачем бы кому-то тратить время и чернила? Сам он никому писем не писал, ибо, в чем он был убежден, не владел словом, которое помогло бы кому-нибудь в беде, исцелило душу, остановило злодея или вознесло праведника. Поначалу Ази это забавляло, но вскоре и она, словно заразившись от мужа, стала относиться к письмам, вообще к словам столь же бережно, пугая молчанием даже собственную мать.

- Может, тебе плохо? – тревожилась старая гречанка. – Ты стала такая молчаливая…

- И счастливая.

Мать лишь покачивала головой: бессловесное счастье – это было что-то новенькое в мире, зачатом в слове и словом.

Сергей Сергеевич по-прежнему много спал. Однажды он сказал Ази: "Во сне легче переносить счастье. – И с усмешкой добавил: – И потом, во сне я худею".

Он все чаще оказывался на больничной койке: давало знать о себе больное сердце. Однажды оно остановилось. Ази похоронила его с нераспечатанным письмом, подсунутым под скрещенные на груди руки. Это письмо написала она, узнав о его смерти. Никто не знает, что за весть она послала любимому в вечность, но когда кто-то из коллег в учительской вполголоса предположил, что за миг до смерти Сергей Сергеевич думал не: я умираю или не умираю? – но: умирать мне или не умирать? – она вдруг стукнула кулаком по столу и закричала, вскинув лицо к потолку и срывая голос:

- Не смейте! Не смейте так! Вы его не знали и знать не хотели! А я знала… я знаю его! И ненавижу вашего Чехова! Не-на-ви-жу! Не-на-ви-жу…

**Людмила Петрушевская**

Проблема наркомании.

**Глюк**

Однажды, когда настроение было как всегда по утрам, девочка Таня лежала и читала красивый журнал. Было воскресенье.И тут в комнату вошел Глюк. Красивый как киноартист (сами знаете кто), одет как модель, взял и запросто сел на Танину тахту.

— Привет,— воскликнул он,— привет, Таня!

— Ой,— сказала Таня (она была в ночной рубашке).— Ой, это что.

— Как дела,— спросил Глюк.— Ты не стесняйся, это ведь волшебство.

— Прям,— возразила Таня.— Это глюки у меня. Мало сплю, вот и все. Вот и вы.

Вчера они с Анькой и Ольгой на дискотеке попробовали таблетки, которые принес Никола от своего знакомого. Одна таблетка теперь лежала про запас в косметичке, Никола сказал, что деньги можно отдать потом.

— Это неважно, пусть глюки,— согласился Глюк.— Но ты можешь высказать любое желание.

— И что?

— Ну ты сначала выскажи,— улыбнулся Глюк.

— Ну… Я хочу школу кончить…— нерешительно сказала Таня.— Чтобы Марья двойки не ставила… Математичка.

— Знаю, знаю,— кивнул Глюк.

— Знаете?

— Я все про тебя знаю. Конечно! Это ведь волшебство.

Таня растерялась. Он все про нее знает!

— Да не надо мне ничего, и вали отсюда,— смущенно пробормотала она.— Таблетку я нашла на балконе в бумажке кто-то кинул.

Глюк сказал:

— Я уйду, но не будешь ли ты жалеть всю жизнь, что прогнала меня, а ведь я могу исполнить твои три желания! И не трать их на ерунду. Математику всегда можно подогнать. Ты ведь способная. Просто не занимаешься, и все. Марья поэтому поставила тебе парашу.

Таня подумала: действительно, этот глюк прав. И мать так говорила.

— Ну что,— сказала она.— Хочу быть красивой?

— Ну не говори глупостей. Ты ведь красивая. Если тебе вымыть голову, если погулять недельку по часу в день просто на воздухе, а не по рынку, ты будешь красивей чем она (сама знаешь кто).

Мамины слова, точно!

— А если я толстая?— не сдавалась Таня.— Катя вон худая.

— Ты толстых не видела? Чтобы сбросить лишние три килограмма, надо просто не есть без конца сладкое. Это ты можешь! Ну, думай!

— Сережка чтобы… ну, это самое.

— Сережка! Зачем он нам! Сережка уже сейчас пьет. Охота тебе выходить замуж за алкаша! Ты посмотри на тетю Олю.

Да, Глюк знал все. И мать о том же самом говорила. У тети Оли была кошмарная жизнь, пустая квартира и ненормальный ребенок. А Сережка действительно любит выпить, а на Таню даже и не глядит. Он, как говорится, «лазит» с Катей. Когда их класс ездил в Питер, Сережка так нахрюкался на обратном пути в поезде, что утром его не могли разбудить. Катя даже его била по щекам и плакала.

— Ну вы прям как моя мама,— сказала, помолчав, Таня.— Мать тоже базарит так же. Они с отцом кричат на меня, как больные.

— Я же хочу тебе добра!— мягко сказал Глюк.— Итак, внимание. У тебя три желания и четыре минуты остается.

— Ну… Много денег, большой дом на море… и жить за границей!— выпалила Таня.

Чпок! В ту же секунду Таня лежала в розовой, странно знакомой спальне. В широкое окно веял легкий приятный морской ветерок, хотя было жарко. На столике лежал раскрытый чемодан, полный денег.

«У меня спальня как у Барби!» — подумала Таня. Она видела такую спальню на витрине магазина «Детский мир».

Она поднялась, ничего не понимая, где тут что. В доме оказалось два этажа, везде розовая мебель как в кукольном доме. Мечта! Таня ахала, изумлялась, попрыгала на диване, посмотрела что в шкафах (ничего). На кухне стоял холодильник, но пустой. Таня выпила водички из-под крана. Жалко, что не подумала сказать «чтобы всегда была еда». Надо было добавить «и пиво» (Таня любила пиво, они с ребятами постоянно покупали баночки. Денег только не было, но Таня их брала иногда у папы из кармана. Мамина заначка тоже была хорошо известна. От детей ничего не спрячешь!). Нет, надо было вообще сказать Глюку так: «И все что нужно для жизни». Нет, «для богатой жизни!» В ванной находилась какая-то машина, видимо, стиральная. Таня умела пользоваться стиралкой, но дома была другая. Тут не знаешь ничего, где какие кнопки нажимать.

Телевизор в доме был, однако Таня не смогла его включить, тоже были непонятные кнопки.

Затем надо было посмотреть что снаружи. Дом, как оказалось, стоял на краю тротуара, не во дворе. Надо было сказать: «с садом и бассейном». Ключи висели на медном крючке в прихожей, у двери. Все предусмотрено!

Таня поднялась на второй этаж, взяла чемоданчик денег и пошла было с ним на улицу, но обнаружила себя все еще в ночной рубашке.

Правда, это была рубашка типа сарафанчика, на лямочках.

На ногах у Тани красовались старые шлепки, еще не хватало!

Но приходилось идти в таком виде.

Дверь удалось запереть, ключи девать было некуда, не в чемодан же с деньгами, и пришлось оставить их под ковриком, как иногда делала мама. Затем, напевая от радости, Таня побежала куда глаза глядят. Глаза глядели на море.

Улица кончалась песчаной дорогой, по сторонам виднелись маленькие летние домики, затем развернулся большой пустырь. Сильно запахло рыбным магазином, и Таня увидела море.

На берегу сидели и лежали, прогуливались люди. Некоторые плавали, но немногие, поскольку были высокие волны.

Таня захотела немедленно окунуться, однако купальника на ней не было, только белые трусики под ночной рубашкой, в таком виде Таня красоваться не стала и просто побродила по прибою, уворачиваясь от больших волн и держа в одной руке тапки, в другой чемоданчик.

До вечера голодная Таня шла и шла по берегу, а когда повернула обратно, надеясь найти какой-нибудь магазин, то перепутала местность и не смогла найти тот пустырь, откуда вела прямая улица до ее дома.

Чемодан с деньгами оттянул ей руки. Тапки намокли от брызг прибоя.

Она села на сыроватый песок, на свой чемоданчик. Солнце заходило. Страшно хотелось есть и особенно пить. Таня ругала себя последними словами, что не подумала о возвращении, вообще ни о чем не подумала — надо было найти сначала хоть какой-нибудь магазин, что-то купить. Еду, тапочки, штук десять платьев, купальник, очки, пляжное полотенце. Обо всем у них дома заботились мама и папа, Таня не привыкла планировать, что есть, что пить завтра, что надеть, как постирать грязное и что постелить на кровать.

В ночной рубашке было холодно. Мокрые шлепки отяжелели от песка.

Надо было что-то делать. Берег уже почти опустел.

Сидела только пара старушек да вдали вопили, собираясь уходить с пляжа, какие-то школьники во главе с тремя учителями.

Таня побрела в ту сторону. Нерешительно она остановилась около кричащих, как стая ворон, детей. Все эти ребята были одеты в кроссовки, шорты, майки и кепки, и у каждого имелся рюкзак. Кричали они по-английски, но Таня не поняла ни слова. Она учила в школе английский, да не такой.

Детки пили воду из бутылочек. Кое-кто, не допив драгоценную водичку, бросал бутылки с размахом подальше. Некоторые, дураки, кидали их в море.

Таня стала ждать, пока галдящих детей уведут.

Сборы были долгие, солнце почти село, и наконец этих воронят построили и повели под тройным конвоем куда-то вон. На пляже осталось несколько бутылочек, и Таня бросилась их собирать и с жадностью допила из них воду. Потом побрела дальше по песку, все-таки вглядываясь в прибрежные холмы, надеясь увидеть в них дорогу к своему дому.

Внезапно опустилась ночь. Таня, ничего не различая в темноте, села на холодный песок, подумала, что лучше сесть на чемоданчик, но тут вспомнила, что оставила его там, где сидела перед тем!

Она даже не испугалась. Ее просто придавило это новое несчастье. Она побрела, ничего не видя, обратно.

Она помнила, что на берегу оставались еще две старушки.

Если они еще сидят там, то можно будет найти рядом с ними чемоданчик.

Но кто же будет сидеть холодной ночью на сыром песке!

За песчаными холмами давно горели фонари, и из-за этого на пляже было совсем уже ничего не видно. Тьма, холодный ветер, ледяные шлепки, тяжелые от мокрого песка.

Раньше Тане приходилось терять многое — самые лучшие мамины туфли на школьной дискотеке, шапки и шарфы, перчатки бессчетно, зонтики уже раз десять, а деньги вообще считать и тратить не умела. Она теряла книги из библиотеки, учебники, тетрадки, сумки.

Еще недавно у нее было все — дом и деньги. И она все потеряла.

Таня ругала себя. Если бы можно было начать все сначала, она бы, конечно, крепко подумала. Во-первых, надо было сказать: «Пусть все, что я захочу, всегда сбывается!» Тогда бы сейчас она могла бы велеть: «Пусть я буду сидеть в своем доме, с полным холодильником (чипсы, пиво, горячая пицца, гамбургеры, сосиски, жареная курица). Пусть по телику будут мультики. Пусть будет телефон, чтобы можно было пригласить всех ребят из класса, Аньку, Ольгу, да и Сережку!» Потом надо было бы позвонить папе и маме. Объяснить, что выиграла большой приз, поездку за границу. Чтобы они не беспокоились. Они сейчас бегают по всем дворам и всех уже обзвонили. Наверное, и в милицию подали заявление, как месяц назад родители хиппи Ленки по прозвищу Бумажка, когда она уехала в Питер автостопом.

А вот теперь в одной ночной рубашке и в сырых шлепках приходится в полной тьме блуждать по берегу моря, когда дует холодный ветер.

Но уходить с пляжа нельзя, может быть, утром повезет первой увидеть свой чемоданчик.

Таня чувствовала, что стала гораздо умней, чем была утром, при разговоре с Глюком. Если бы она оставалась такой же дурой, то давно бы уже покинула это проклятое побережье и побежала бы туда где теплей. Но тогда бы не оставалось надежды найти чемоданчик и улицу, где стоял родной дом…

Таня была полной дурой еще три часа назад, когда даже не посмотрела ни номер своего дома, ни названия улицы!Она стремительно умнела, но есть хотелось до обморока, а холод пронизывал всю ее до костей.

В этот момент она увидела фонарик. Он быстро приближался, как будто это была фара мотоцикла — но без шума.

Опять глюки. Да что же это такое!

Таня замерла на месте. Она знала, что находится в совершенно чужой стране и не сможет найти защиты, а тут этот страшный бесшумный фонарик.

Она свернула и потрюхала в своих тяжелых, как утюги, шлепках по кучам песка к холмам.

Но фонарик оказался рядом, слева. Голос Глюка сказал:

— Вот тебе еще три желания, Танечка. Говори!

Таня, теперь уже умная, хрипло выпалила:

— Хочу, чтобы всегда мои желания исполнялись!

— Всегда?— спросил голос как-то загадочно.

— Всегда!— ответила, вся дрожа, Таня.

Откуда-то очень сильно воняло гнилью.

— Только есть один момент,— произнес Невидимый с фонариком.— Если ты захочешь кого-нибудь спасти, то на этом твое могущество кончится. Тебе уже ничего никогда не достанется. И тебе самой придется худо.

— Да никого я не захочу спасти,— сказала, трясясь от холода и страха, Таня.— Не такая я добренькая.

— Ну говори свое желание,— произнес голос, и запахло еще и отвратительным дымом. Гниль и дым, как на помойке.

— Хочу оказаться в своем доме с полным холодильником, и чтобы все ребята из класса были, и телефон позвонить маме.

И тут же она в чем была — в мокрых тапочках и ночной рубашке оказалась, как во сне, у себя в новом доме в розовой спальне, а на кровати, на ковре и на диване сидели ее одноклассники, причем Катя с Сережей на одном кресле.

На полу стоял телефон, но Таня не спешила по нему звонить. Ей было весело! Все видели ее новую жизнь!

— Это твой дом?— галдели ребята.— Круто! Класс!

— И прошу всех на кухню!— сказала Таня.

Там ребята открыли холодильник и стали играть в саранчу, то есть уничтожать все припасы в холодном виде. Таня пыталась подогреть что-то, какие-то пиццы, но плита не зажигалась, какие-то кнопки не срабатывали. Потребовалось еще мороженое, пиво, Сережка попросил водки, мальчики сигарет.

Таня потихоньку, отвернувшись, пожелала себе быть самой красивой и все то, что заказали ребята. Тут же за дверью кто-то нашел второй холодильник, тоже полный.

Таня сбегала в ванную и посмотрела на себя в зеркало. Волосы стали кудрявыми от морского воздуха, щеки были как розы, рот пухлый и красный без помады. Глаза сияли не хуже фонариков. Даже ночная рубашка выглядела как кружевное вечернее платьице! Класс!

Но Сережка как сидел с Катей, так и сидел. Катя тихо ругалась с ним, когда он открыл бутылку и стал отпивать из горлышка.

— Ой, ну что ты его воспитываешь, воспитываешь!— воскликнула Таня.— Он же тебя бросит! Я все всем разрешаю! Просите чего хотите, ребята! Слышишь, Сережка? Проси у меня что хочешь, я тебе все разрешаю!

Все ребята были в восторге от Тани. Антон подошел, поцеловал Таню долгим поцелуем, как ее еще никто в жизни не целовал.

Таня торжествующе посмотрела на Катю. Они все еще сидели на одном кресле, но уже отвернулись друг от друга.

Антон спросил на ухо, нет ли травки покурить, Таня принесла папироски с травой, потом Сережка заплетающимся языком сказал, что есть такая страна, где свободно можно купить любой наркотик, и Таня ответила, что именно здесь такая страна, и принесла полно шприцов. Сережка с лукавым видом сразу схватил себе три, Катя пыталась вырвать их у него, но Таня постановила — пусть Сережка делает что хочет.

Катя замерла с протянутой рукой, не понимая, что происходит.

Таня чувствовала себя не хуже королевы, она могла все.

Если бы они попросили корабль или полететь на Марс, она бы все устроила. Она чувствовала себя доброй, веселой, красивой.

Она не умела колоться, ей помогли Антон и Никола. Было очень больно, но Таня только смеялась. Наконец у нее было множество друзей, все ее любили! И наконец она была не хуже других, то есть попробовала уколоться и не испугалась ничего!

Закружилась голова.

Сережка странно водил глазами по потолку, а неподвижная Катя злым взглядом смотрела на Таню и вдруг сказала:

— Я хочу домой. Мы с Сережей должны идти.

— А что ты за Сережу выступаешь? Иди одна!— еле ворочая языком, сказала Таня.

— Нет, я должна вернуться вместе с ним, я обещала его маме!— крикнула Катя.

Таня проговорила:

— Тут я распоряжаюсь. Поняла, гнида? Иди отсюда!

— Одна я не уйду!— пискнула Катя и стала смотреть, не в силах шевельнуться, на совершенно бесчувственного Сережку, но быстро растаяла, как ее писк. Никто ничего не заметил, все валялись по углам, на ковре, на Таниной кровати как тряпичные куклы. У Сережки закатились глаза, были видны белки.

Таня залезла на кровать, где лежали и курили Ольга, Никола и Антон, они ее обняли и укрыли одеялом. Таня была все еще в своей ночной рубашке, в кружевах, как невеста.

Антон стал говорить что-то, лепетать типа «не бойсь, не бойсь», зачем-то непослушной рукой заткнул Тане рот, позвал Николу помочь. Подполз и навалился пьяный Никола. Стало нечем дышать, Таня начала рваться, но тяжелая рука расплющила ее лицо, пальцы стали давить на глаза… Таня извивалась, как могла, и Никола прыгнул на нее коленями, повторяя, что сейчас возьмет бритву… Это было как страшный сон. Таня хотела попросить свободы, но не могла составить слова, они ускользали. Совсем не было воздуха и трещали ребра.

И тут все вскочили с мест и обступили Таню, кривляясь и хохоча. Все открыто радовались, разевали рты. Вдруг у Аньки позеленела кожа, выкатились и побелели глаза. Распадающиеся зеленые трупы окружили кровать, у Николы из открытого рта выпал язык прямо на Танино лицо. Сережа лежал в гробу и давился змеей, которая ползла из его же груди. И со всем этим ничего нельзя было поделать. Потом Таня пошла по черной горячей земле, из которой выпрыгивали языки пламени. Она шла прямо в раскрытый рот огромного, как заходящее солнце, лица Глюка. Было нестерпимо больно, душно, дым разъедал глаза. Она сказала, теряя сознание: «Свободы».

Когда Таня очнулась, дым все еще ел глаза. Над ней было небо со звездами. Можно было дышать.

Вокруг нее толпились какие-то взрослые люди, сама она лежала на носилках в разорванной рубашке. Над ней склонился врач, что-то ее спросил на иностранном языке. Она ничего не поняла, села. Ее дом почти уже сгорел, остались одни стены. На земле вокруг лежали какие-то кучки, накрытые одеялами, из-под одного одеяла высовывалась черная кость с обугленным мясом.

— Хочу понимать их язык,— сказала Таня.

Кто-то рядом говорил:

— Тут двадцать пять трупов. Соседи сообщили, что это недавно построенный дом, здесь никто не жил. Врач утверждает, что это были дети. По остаткам несгоревших костей. Найдены шприцы. Единственная оставшаяся в живых девочка ничего не говорит. Мы ее допросим.

— Спасибо, шеф. Вам не кажется, что это какая-то секта новой религии, которая хотела массово покончить с собой? Куда завлекли детей?

— Пока я не могу ответить на ваш вопрос, мы должны снять показания с девочки.

— А кто владелец этого дома?

— Мы все будем выяснять.

Кто-то энергично сказал:

— Какие негодяи! Загубить двадцать пять детей!

Таня, трясясь от холода, произнесла на чужом языке:

— Хочу, чтобы все спаслись. Чтобы все было как раньше.

Тут же раскололась земля, завоняло немыслимой дрянью, кто-то взвыл как собака, которой наступили на лапу.

Потом стало тепло и тихо, но очень болела голова.

Таня лежала у себя в кровати и никак не могла проснуться.

Рядом валялся красивый журнал.

Вошел отец и сказал:

— Как ты? Глаза открыты.

Он потрогал ее лоб и вдруг открыл занавески, а Таня закричала, как всегда по воскресеньям: «Ой-ой, дайте поспать раз в жизни!»

— Лежи, лежи, пожалуйста,— мирно согласился отец.— Вчера еще температура сорок, а сегодня кричишь как здоровая!

Таня вдруг пробормотала:

— Какой страшный сон мне приснился!

А отец сказал:

— Да у тебя был бред целую неделю. Мама тебе уколы делала. Ты на каком-то языке даже говорила. Эпидемия гриппа, у вас целый класс валяется, Сережка вообще в больницу попал. Катя тоже без сознания неделю, но она раньше всех заболела. Говорила про вас, что все в каком-то розовом доме… Бред несла. Просила спасти Сережу.

— Но все живы?— спросила Таня.

— Кто именно?

— Ну весь наш класс?

— А как же,— ответил отец.— Ты что!

— Какой страшный сон,— повторила Таня.

Она лежала и думала, что в косметичке, которая была спрятана в рюкзаке, находится таблетка с дискотеки, за которую надо отдать Николе деньги…

Ничего не кончилось. Но все были живы.

**Владимир Тендряков. Хлеб для собаки.**

*Проблема сохранения нравственных ценностей в тоталитарном государстве,*

*Мораль, совесть.*

*человеческая жизнь в сталинском государстве не имела абсолютно никакой ценности.*

Лето 1933 года. У прокопченного, крашенного казенной охрой вокзального здания, за вылущенным заборчиком - сквозной березовый скверик. В нем прямо на утоптанных дорожках, на корнях, на уцелевшей пыльной травке валялись те, кого уже не считали людьми.

Правда, у каждого в недрах грязного, вшивого тряпья должен храниться - если не утерян - замусоленный документ, удостоверяющий, что предъявитель сего носит такую-то фамилию, имя, отчество, родился там-то, на основании такого-то решения сослан с лишением гражданских прав и конфискацией имущества. Но уже никого не заботило, что он, имярек, лишенец, адмовысланный, не доехал до места, никого не интересовало, что он, имярек, лишенец, нигде не живет, не работает, ничего не ест. Он выпал из числа людей.

Большей частью это раскулаченные мужики из-под Тулы, Воронежа, Курска, Орла, со всей Украины. Вместе с ними в наши северные места прибыло и южное словечко "куркуль".

Куркули даже внешне не походили на людей. Одни из них - скелеты, обтянутые темной, морщинистой, казалось, шуршащей кожей, скелеты с огромными, кротко горящими глазами.

Другие, наоборот, туго раздуты - вот-вот лопнет посиневшая от натяжения кожа, телеса колышутся, ноги похожи на подушки, пристроченные грязные пальцы прячутся за наплывами белой мякоти.

И вели они себя сейчас тоже не как люди. Кто-то задумчиво грыз кору на березовом стволе и взирал в пространство тлеющими, нечеловечьи широкими глазами.

Кто-то, лежа в пыли, источая от своего полуистлевшего тряпья кислый смрад, брезгливо вытирал пальцы с такой энергией и упрямством, что, казалось, готов был счистить с них и кожу.

Кто-то расплылся на земле студнем, не шевелился, а только клекотал и булькал нутром, словно кипящий титан.

А кто-то уныло запихивал в рот пристанционный мусорок с земли...

Больше всего походили на людей те, кто уже успел помереть. Эти покойно лежали - спали.

Но перед смертью кто-нибудь из кротких, кто тишайше грыз кору, вкушал мусор, вдруг бунтовал - вставал во весь рост, обхватывал лучинными, ломкими руками гладкий, сильный ствол березы, прижимался к нему угловатой щекой, открывал рот, просторно черный, ослепительно зубастый, собирался, наверное, крикнуть испепеляющее проклятие, но вылетал хрип, пузырилась пена. Обдирая кожу на костистой щеке, "бунтарь" сползал вниз по стволу и... затихал насовсем.

Такие и после смерти не походили на людей - по-обезьяньи сжимали деревья.

Взрослые обходили скверик. Только по перрону вдоль низенькой оградки бродил по долгу службы начальник станции в новенькой форменной фуражке с кричаще красным верхом. У него было оплывшее, свинцовое лицо, он глядел себе под ноги и молчал.Время от времени появлялся милиционер Ваня Душной, степенный парень с застывшей миной - "смотри ты у меня!".

- Никто не выполз? - спрашивал он у начальника станции.

А тот не отвечал, проходил мимо, не подымал головы.

Ваня Душной следил, чтоб куркули не расползались из скверика - ни на перрон, ни на пути.

Мы, мальчишки, в сам скверик тоже не заходили, а наблюдали из-за заборчика. Никакие ужасы не могли задушить нашего зверушечьего любопытства.

Окаменев от страха, брезгливости, изнемогая от упрятанной панической жалости, мы наблюдали за короедами, за вспышками "бунтарей", кончающимися хрипом, пеной, сползанием по стволу вниз.

Начальник станции - "красная шапочка" - однажды повернулся в нашу сторону воспаленно-темным лицом, долго глядел, наконец изрек то ли нам, то ли самому себе, то ли вообще равнодушному небу:

- Что же вырастет из таких детей? Любуются смертью. Что за мир станет жить после нас? Что за мир?..

Долго выдержать сквера мы не могли, отрывались от него, глубоко дыша, словно проветривая все закоулки своей отравленной души, бежали в поселок.

Туда, где шла нормальная жизнь, где часто можно было услышать песню:

Не спи, вставай, кудрявая!

В цехах звеня,

страна встает со славою

на встречу дня..

Уже взрослым я долгое время удивлялся и гадал: почему я, в общем-то впечатлительный, уязвимый мальчишка, не заболел, не сошел с ума сразу же после того, как впервые увидел куркуля, с пеной и хрипом умирающего у меня на глазах.

Наверное, потому, что ужасы сквера появились не сразу и у меня была возможность как-то попривыкнуть, обмозолиться.

Первое потрясение, куда более сильное, чем от куркульской смерти, я испытал от тихого уличного случая.

Женщина в опрятном и поношенном пальто с бархатным воротничком и столь же опрятным и поношенным лицом на моих глазах поскользнулась и разбила стеклянную банку с молоком, которое купила у перрона на станции. Молоко вылилось в обледеневший нечистый след лошадиного копыта. Женщина опустилась перед ним, как перед могилой дочери, придушенно всхлипнула и вдруг вынула

из кармана простую обгрызенную деревянную ложку. Она плакала и черпала ложкой молоко из копытной ямки па дороге, плакала и ела, плакала и ела, аккуратно, без жадности, воспитанно.

А. я стоял в стороне и - нет, не ревел вместе с ней - боялся, надо мной засмеются прохожие.

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако на следующий день я

взял уже не два ломтя, а четыре...

На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул:

- Кто хочет?!

- Мне шматочек, - отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы.

- И мне!.. И мне!.. Мне тоже!..

Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза.

- Всем не хватит! - Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто не отступал.

- Мне! Мне! Корочку!..

Я отламывал всем по кусочку.

Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли на передних, и несколько ног прошлось по кускам, раздавило их.

- Пахорукий! - выругал меня Пашка.

И отошел. За ним все поползли в разные стороны.

На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное.

Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял - она голодна тоже.

- Это кто ж такой сытый?

И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, пожалуй, со злорадством объявили:

- Володька Тенков сытый! Он это!..

Я жил в пролетарской стране и хорошо знал, как стыдно быть у нас сытым. Но, к сожалению, я действительно был сыт, мой отец, ответственный служащий, получал ответственный паек. Мать даже пекла белые пироги с капустой и рубленым яйцом!

Ольга Станиславна начала урок.

- В прошлый раз мы проходили правописание... - И замолчала. - В прошлый раз мы... - Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. – Володя Тенков, встань, подбери за собой!

Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс дышал над моей головой.

После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки.

Вскоре я увидел истощенных людей с громадными кротко-печальными глазами восточных красавиц...

И больных водянкой с раздутыми, гладкими, безликими физиономиями, с голубыми слоновьими ногами...

Истощенных - кожа и кости - у нас стали звать шкилетниками, больных водянкой - слонами.

И вот березовый сквер возле вокзала... Я кой к чему успел привыкнуть, не сходил с ума.

Не сходил с ума я еще и потому, что знал: те, кто в нашем привокзальном березнячке умирал среди бела дня, - враги. Это про них недавно великий писатель Горький сказал:

"Если враг не сдается, его уничтожают". Они не сдавались. Что ж... попали в березняк.

Вместе с другими ребятами я был свидетелем нечаянного разговора Дыбакова с одним шкилетником.

Дыбаков - первый секретарь партии в нашем районе, высокий, в полувоенном кителе с рублено прямыми плечами, в пенсне на тонком горбатом носу. Ходил он, заложив руки за спину, выгнувшись, выставив грудь, украшенную накладными карманами.

В клубе железнодорожников проходила какая-то районная конференция. Все руководство района во главе с Дыбаковым направлялось в клуб по усыпанной толченым кирпичом дорожке. Мы, ребятишки, за неимением других зрелищ тоже сопровождали Дыбакова.

Неожиданно он остановился. Поперек дорожки, под его хромовыми сапогами, лежал оборванец - костяк в изношенной, слишком просторной коже. Он лежал на толченом кирпиче, положив коричневый череп па грязные костяшки рук, глядел снизу вверх, как глядят все умирающие с голоду - с кроткой скорбью в

неестественно громадных глазах.

Дыбаков переступил с каблука на каблук, хрустнул насыпной дорожкой, хотел было уже обогнуть случайные мощи, как вдруг эти мощи разжали кожистые губы, сверкнули крупными зубами, сипяще и внятно произнесли:

- Поговорим, начальник.

Обвалилась тишина, стало слышно, как далеко за пустырем возле бараков кто-то от безделья тенорит под балалайку: Хорошо тому живется,

У кого одна нога, -

Сапогов не много надо

И портошина одна. - Аль боишься меня, начальник? Из-за спины Дыбакова вынырнул, райкомовский работник товарищ Губанов, как всегда с незастегивающимся портфелем под мышкой:

- Мал-чать! Мал-чать!..

Лежащий кротко глядел на него снизу вверх и жутко скалил зубы. Дыбаков движением руки отмахнул в сторону товарища Губанова.

- Поговорим. Спрашивай - отвечу.

- Перед смертью скажи... за что... за что меня?.. Неужель всерьез за то, что две лошади имел? - шелестящий голос.

- За это, - спокойно и холодно ответил Дыбаков.

- И признаешься! Ну-у, заверюга...

- Мал-чать! - подскочил опять товарищ Губанов.

И снова Дыбаков небрежно отмахнул его в сторону.

- Дал бы ты рабочему хлеб за чугун?

- Что мне ваш чугун, с кашей есть?

- То-то и оно, а вот колхозу он нужен, колхоз готов за чугун рабочих кормить. Хотел ты идти в колхоз? Только честно!

- Не хотел.

- Почему?

- Всяк за свою свободушку стоит.

- Да не свободушка причина, а лошади. Лошадей тебе своих жаль. Кормил, холил - и вдруг отдай. Собственности своей жаль! Разве не так?

Доходяга помолчал, помигал скорбно и, казалось, даже готов был согласиться.

- Отыми лошадей, начальник, и остановись. Зачем же еще и живота лишать? - сказал он.

- А ты простишь нам, если мы отымем? Ты за спиной нож на нас точить не станешь? Честно!

- Кто знает.

- Вот и мы не знаем. Как бы ты с нами поступил, если б чувствовал - мы на тебя нож острый готовим?.. Молчишь?.. Сказать нечего?.. Тогда до свидания.

Дыбаков перешагнул через тощие, как палки, ноги собеседника, двинулся дальше, заложив руки за спину, выставив грудь с накладными карманами. За ним, брезгливо обогнув доходягу, двинулись и остальные.

Он лежал перед нами, мальчишками, - плоский костяк и тряпье, череп на кирпичной крошке, череп, хранящий человеческое выражение покорности, усталости и, пожалуй, задумчивости. Он лежал, а мы осуждающе его разглядывали.

Две лошади имел, кровопиец! Ради этих лошадей стал бы точить нож на нас.

"Если враг не сдается..." Здорово же его отделал Дыбаков.

И все-таки было жаль злого врага. Наверное, не только мне. Никто из ребятишек не заплясал над ним, не стал дразнить: Враг-вражина,

Куркуль-кулачина

Кору жрет.

Вошей бьет,

С куркулихой гуляет -

Ветром шатает. Я садился дома за стол, тянулся рукой к хлебу, и память разворачивала картины: направленные вдаль, тихо ошалелые глаза, белые зубы, грызущие кору, клокочущая внутри студенистая туша, разверстый черный рот, хрип, пена... И под горло подкатывала тошнота.

Раньше мать про меня говорила: "На этого не пожалуюсь, что ни поставь - уминает, за ушами трещит". Сейчас она подымала крик:

- Заелись! С жиру беситесь!..

"С жиру бесился" я один, но если мать начинала ругаться, то всегда ругала сразу двоих - меня и брата. Брат был моложе на три года, в свои семь лет умел переживать только за самого себя, а потому ел - "за ушами трещит".

- Беситесь! Супу не хотим, картошки не хотим! Кругом люди черствому сухарю рады-радехоньки. Вам хоть рябчиков подавай.

О рябчиках я только читал стишки: "Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй!" Объявить голодовку, вообще отказаться от еды я не мог. Во-первых, не разрешила бы мать. Во-вторых, тошнота тошнотой, картинки картинками, а есть-то мне все-таки хотелось, и вовсе не буржуйских рябчиков. Меня заставляли проглотить первую ложку, а уж дальше шло само собой, я расправлялся с ободом, вставал из-за стола отяжелевший.

Вот тут-то все и начиналось...Мне думается, совести свойственно чаще просыпаться в теле сытых людей, чем голодных. Голодный вынужден больше думать о себе, о добывании д л я с е б я хлеба насущного, само бремя голода понуждает его к эгоизму. У сытого больше возможности оглянуться вокруг, подумать о других. Большей

частью из числа сытых выходили идейные борцы с кастовой сытостью – Гракхи всех времен.

Я вставал из-за стола. Не потому ли в привокзальном сквере люди грызут

кору, что я съел сейчас слишком много? Но это же куркули грызут кору! Ты жалеешь?..

"Если враг не сдается, его уничтожают!" А это "уничтожают" вот так, наверное, и должно выглядеть - черепа с глазами, слоновьи ноги, пена из черного рта. Ты просто боишься смотреть правде в глаза. Отец как-то рассказывал, что в других местах есть деревни, где от голода умерли все жители до единого - взрослые, старики, дети. Даже грудные дети... Про них-то уж никак не скажешь: "Если враг не сдается..."

Я сыт, очень сыт - до отвала. Я съел сейчас столько, что, наверное, пятерым хватило бы спастись от голодной смерти. Не спас пятерых, съел их жизнь. Только чью - врагов или не врагов?.. кто враг?.. Враг ли тот, кто грызет кору? Он им был - да! - но сейчас ему не до вражды, нет мяса па его костях, нет силы даже в его голосе...

Я съел весь свой обед сам и ни с кем но поделился.

Есть мне приходится по три раза в день. Как-то под утро я внезапно проснулся. Мне ничего не приснилось, просто взял да открыл глаза, увидел комнату в загадочно-пепельном сумраке, за окном серенький, уютный рассвет.

Далеко на пристанционных путях заносчиво прокричала маневровая "овечка". Ранние синицы попискивали на старой липе. Скворец-папаша прочищал горло, пробовал петь по-соловьиному - бездарь! С болот па задах нежно, убеждающе закуковала кукушка.

"Кукушка! Кукушка! Сколько мне жить?" И она роняет и роняет свое "ку-ку", как серебряные яички.

И все это происходит в удивительно покойных сереньких сумерках, в тесном, притушенном, уютном мире. В нечаянно вырванную у сна минуту я вдруг тихо радуюсь очсвиднейшему факту - существует на белом свете некий Володька Тенков, человек десяти лет от роду. Существует - как это прекрасно! "Кукушка! Кукушка! Сколько мне?.." "Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!.." Щедра без устали. В это время далеко, где-то в самом конце нашей улицы загремело. Распарывая сонный поселок, приближалась расхлябанная телега, сминая серебряный голос кукушки, писк синиц, потуги бездарного скворца. Кто это и куда так сердито спешит в такую рань?.. И неожиданно меня ожгло: кто? да ясно! Об этих ранних поездках говорит весь поселок. Комхозовскнй конюх Абрам едет "собирать падалицу". Каждое утро он въезжает на своей телеге прямо в привокзальный березняк, начинает шевелить лежащих - жив или нет? Живых не трогает, мертвых складывает в телегу, как дровяные чурки.

Гремит расхлябанная телега, будит спящий поселок. Громит и стихает.

После нее не слышно птиц. Какую-то минуту просто никого и ничего не слышно. Ничего... Но странно - нет и тишины. "Кукушка! Кукушка!.." Ах, не надо! Не все ли равно, сколько лет проживу на свете? Да так ли уж мне хочется долго жить?..

Но словно ливень из-под крыши, обрушились проснувшиеся воробьи. Зазвенели ведра, раздались женские голоса, заскрипел ворот колодца.

- Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! Любая работа! - Сильный, с вызовом баритон. - Крыши чинить! Дрова пилить! Помойки чистить! - повторил мальчишеский альт.Это тоже высланные куркули - отец и сын. Отец - высокий, костляво-плечистый, бородатый, сурово-важный, сын - жилисто-худенький, веснушчатый, очень серьезный, постарше меня года на два, на три.Каждый наш день начинается с того, что они громко, в два голоса, почти высокомерно предлагают поселку чистить помойки.Я не должен есть свои обеды один.

Я обязан с кем-то делиться.С кем?..

Наверное, с самым, самым голодным, даже если он враг. Кто - самый?.. Как узнать?

Не трудно. Следует пойти в березовый скверик и протянуть руку с куском

хлеба первому же попавшемуся. Ошибиться нельзя, там все - самые, самые,

иных нет.

Одному протянуть руку, а других не заметить?.. Одного осчастливить, а

десятки обидеть отказом? И это будет воистину смертельная обида. Те, к кому

рука не протянется, будут вывезены конюхом Абрамом.

Могут ли обойденные согласиться с тобой?.. Не опасно ли открыто протягивать руку помощи?..

Конечно же, я тогда думал не так, не такими словами, какими пишу сей-

час, тридцать шесть лет спустя. Скорей всего я тогда вовсе не думал, а ост-

ро чувствовал, как животное, интуитивно угадывающее будущие осложнения. Не

разумом, а чутьем тогда я осознал: благородное намерение - разломи пополам

свой хлеб насущный, поделись с ближним - можно свершить только тайком от

других, только воровски!

Я украдкой, воровски не доел то, что поставила передо мной на стол

мать. Я воровски загрузил в свои карманы честно сэкономленные три куска

хлеба, завернутый в газету комок пшенной каши величиной с кулак и чистый,

совершенный, как кристалл, кусочек сахара-рафинада. Среди бела дня я вышел

на воровское дело - на тайную охоту на самого, самого голодного.

Я встретил Пашку Быкова, с которым учился в одном классе, жил на одной

улице, дружить не дружил, а враждовать остерегался. Я знал, что Пашка голо-

ден всегда - днем и ночью, до обеда и после обеда. Семья Быковых - семь че-

ловек, все семеро живут на рабочие карточки отца, который работает сцепщи-

ком на железной дороге. Но я не поделился с Пашкой хлебом - не самый...

Я встретил скрюченную бабку Обноскову, которая жила тем, что собирала

на обочинах дорог, на полях, на опушках леса травки и корешки, сушила, ва-

рила, парила их... Другие такие одинокие старухи все поумирали. Я не поделился с бабкой - еще не самая. Мимо меня протрусил Борис Исаакович Зильбербрунер в галошках, привязанных веревочками к грязным лодыжкам. Если б я встретил этого Зильбербрунсра раньше, то, как знать, возможно, решил - тот самый. Недавно он был одним из шкилетников, торчащих возле столовки, но приноровился делать рыболовные крючки из проволоки, за них платили даже куриными яйцами. Наконец я налетел на одного из шатающихся по поселку слонов. Широченный, что платяной шкаф, в просторном мужицком малахае цвета пахотной земли, в запорожской, казацкой шапке - грачиное гнездо, с пышными, голубовато-бледными ногами, которые при каждом шаге тряслись, как овсяный кисель, и смогли бы уместиться только каждая в банной лохани.

Может, и он был еще не тот самый... Продолжи я свою охоту, наверное,

наскочил бы на более несчастного, но остатки обеда жгли меня сквозь карма-

ны, требовали: делись немедля! - Дяденька...

Он остановился, тяжело дыша, нацелил на меня со своей башенной высоты

глаза-щелки.

Бледное раздутое лицо вблизи поражало неестественным гигантизмом - какие-то плавающие, словно дряблые ягодицы, щеки, низвергающийся на грудь

подбородок, веки, совсем утопившие в себе глаза, широченная, натянутая до

труппой синевы переносица. На таком лице ничего нельзя прочесть, ни страха,

ни надежды, ни растроганности, ни подозрительности, - подушка.

Терзая карман, я неловко стал освобождать первый кусок хлеба.

Разглаженная физиономия дрогнула, туго надутая, с короткими, грязными,

несгибающимися пальцами кисть протянулась, взяла кусок нежно, настойчиво,

нетерпеливо. Так берет из руки хлеб теленок с теплым носом и мягкими губа-

ми. - Спасибо, хлопчик, - сказал фистулой слон.

Я выложил ему все, что у меня было.

- Завтра... На пустыре... Возле штабелей... Что-нибудь еще... - пообещал я и кинулся прочь с облегченными карманами и облегченной совестью.

Весь день я был счастлив. Внутри, в подреберье, где живет душа, было прохладно и тихо.

На пустыре, возле штабелей... Да этот раз я нес восемь кусков хлеба,

два ломтика сала, старую консервную банку, набитую тушеной картошкой. Все

это я должен был съесть сам и не съел, сэкономил, когда отворачивалась

мать.

Я бежал к пустырю вприпрыжку, придерживая обеими руками оттопыривающуюся на животе рубаху. Чья-то тень упала мне под ноги. - Молодой человек! Молодой человек! Молю! Уделите минутку!..

Ко мне ли обращаются столь почтительно?..

Ко мне.

Поперек дороги стояла женщина в пыльной шляпке, известная всем по

прозвищу Отрыжка. Она была не слонихой и не шкилетницей, просто инвалидкой,

изуродованной какой-то странной болезнью. Все ее сухое тело неестественно

измято, скрючено, вывернуто - плечики перекошены, спина откинута, маленькая

птичья голова в замусоленной суконной шляпке с тусклым перышком где-то далеко позади всего тела. Время от времени эта голова делает отчаянное встряхивание, словно хозяйка собирается лихо воскликнуть: "Эх! И спляшу вам!" Но

Отрыжка не плясала, а обычно начинала сильно-сильно подмигивать всей щекой.

Сейчас она подмигивала мне и говорила страстным, слезливым голосом:

- Молодой человек, поглядите на меня! Не стесняйтесь, не стесняйтесь,

вниммательней!.. Вы когда-нибудь видели обиженное богом существо?.. - Она

подмигивала и наступала на меня, я пятился. - Я больна, я беспомощна, но у

меня дома сын... Я - мать, я люблю его всей душой, я готова на все, чтоб

его накормить... Мы оба забыли вкус хлеба, молодой человек! Маленький кусочек, прошу вас!..

Веселое до жути подмигивание всей щекой, черная рука с грязной тряпочкой, чтоб промокнуть глаза... Откуда она узнала, что у меня под рубахой

хлеб? Не сказал же ей слон, который ждет меня на пустыре. Слону выгодно

молчать.

- Готова встать перед вами па колени. У вас такое доброе... у вас ан-

гельское лицо!..

Как она узнала о хлебе? Нюхом? Колдовством?.. Я не понимал тогда, что

не я один пытался подкормить ссыльных куркулей, что у всех простодушных

спасителей было красноречиво воровское, виноватое выражение лица.

Устоять перед страстью Отрыжки, перед ее развеселым подмигиванием, перед скомканной грязной тряпицей я не мог. Я отдал весь хлеб с ломтиками сала, оставив вместе с банкой тушеной картошки только один кусок. - Это я обещал...

Но Отрыжка пожирала сорочьими глазами консервную банку, трясла пыльной

шляпкой с перышком, стонала:

- Мы гибнем! Мы гибнем! Я и мой сын - мы гибнем!..

Я отдал ей и картошку. Она засунула банку под кофту, жадно блеснула

глазом на оставшийся в моей руке последний ломоть хлеба, дернула головой -

эх, спляшу! - еще раз подмигнула щекой, пошла прочь, накрененная набок, как

тонущая лодка.

Я стоял и разглядывал хлеб в руке. Кусок был мал, завожен в кармане,

помят, а ведь я сам позвал - приходи на пустырь, я заставил голодного ждать

целые сутки, сейчас я ему поднесу такой вот кусочек. Нет, уж лучше не позориться!..

И я с досады - да и с голода тоже, - не сходя с места, съел хлеб. Он

неожиданно был очень вкусен и... ядовит. Целый день после него я чувствовал

себя отравленным: как я мог - вырвал изо рта у голодного! Как я мог!.. А утром, выглянув в окно, я похолодел. Под окном у нашей калитки торчал знакомый слон. Он стоял, облаченный в свой необъятный кафтан цвета свежевспаханного поля, сложив жабьи мягкие руки на тучном животе, ветерок шевелил грязный мех на его казацкой шапке, - недвижим и башнеподобен.

Я сразу почувствовал себя гадким лисенком, загнанным в нору собакой.

Он может простоять до вечера, может так стоять и завтра и послезавтра, спешить ему некуда, а стояние обещает хлеб.

Я дождался, пока мать ушла из дому, забрался в кухню, отвалил от буханки увесистую горбушку, достал из мешка десяток крупных сырых картофелин

и выскочил...

У пахотного кафтана были бездонные карманы, в которых, наверное, могли

бы исчезнуть все наши семейные запасы хлеба.

- Сынку, нэ вирь подлой бабе. Немае у нэй никого. Ни сына нэма, ни

дочкы.

Я и без него об этом догадывался - Отрыжка обманывала, но попробуй отказать ей, когда стоит перед тобой изломанная, подмигивает щекой и держит в

руке грязную тряпицу, чтоб промокнуть глаза.

- Ой, лыхо, сынку, лыхо. Смэрть и та грэбуе... Ой, лыхо, лыхо. – Сипло вздыхая, он медленно отчалил, с натугой волоча пышные ноги по занозистым

доскам поселкового тротуара, обширный, как стог, величественный, как обветшалый ветряк. - Ой, лыхо мни, лыхо... Я повернулся к дому и вздрогнул: передо мной стоял отец, на гладко выбритой голове играет солнечный зайчик, тучновато-плотный, в парусиновой

гимнастерке, перехваченной тонким кавказским ремешком с бляшками, лицо не

хмурое и глаза не завешаны бровями - спокойное, усталое лицо.

Шагнул на меня, положил па мое плечо тяжелую руку и надолго загляделся

куда-то в сторону, наконец спросил: - Ты дал ему хлеба?

- Дал.

И он снова вглядывался в даль.

Я люблю своего отца и горжусь им.

О великой революции, о гражданской войне сейчас поют песни и складывают сказки. Это о моем отце поют, о нем складывают сказки! Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров.

Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он видел его стоящим на броневике, живым - не на памятнике. Он был в гражданскую комиссаром Четыреста шестнадцатого ревнолка.

У него на шее рубец от колчаковского осколка. Он получил в награду именные серебряные часы. Их потом украли, но я сам держал их в руках, видел надпись на крышке:

"За проявленную храбрость в боях с контрреволюцией"...

Я люблю отца и горжусь им. И всегда боюсь его молчания. Сейчас вот по-

молчит и скажет: "Я всю жизнь воюю с врагами, а ты их подкармливаешь. Не

предатель ли ты, Володька?" Но он тихо спросил:

- Почему этому? Почему не другому?

- Этот подвернулся...

- Подвернется другой - дашь?

- Н-не знаю. Наверное, дам.

- А хватит ли у нас хлеба накормить всех?

Я молчал и смотрел в землю.

- У страны не хватает на всех-то. Чайной ложкой море не вычерпаешь,

сынок. - Отец легонько подтолкнул меня в плечо. - Иди играй.

Знакомый слон начал вести со мной молчаливый поединок. Он подходил под

наше окно и стоял, стоял, стоял, застывший, неряшливый, лишенный лица. Я

старался не глядеть на него, терпел, и... слон выигрывал. Я выскакивал к

нему с куском хлеба или холодной картофельной оладьей. Он получал дань и

медлительно удалялся.

Однажды, выскочив к нему с хлебом и хвостом трески, выловленным из

вчерашней похлебки, я вдруг обнаружил, что под нашим забором на пыльной

траве валяется еще один слон, укрытый извоженной, когда-то черной железно-

дорожной шинелью. Он лишь приподнял навстречу мне нечесаную, в колтунах и

болячках голову, прохрипел: - Ма-а-льчик! По-ми-раю!..

И я увидел, что это правда, отдал ему кусок вареной трески.

На следующее утро под нашим забором лежали еще три шкилетника. Я попадал уже в полную осаду, я теперь не мог уже ничего вынести, чтобы откупиться. Пятерых не подкормишь от своих обедов и завтраков, да и запасов у матери на всех недостанет.

Брат бегал смотреть на гостей, возвращался возбужденно-радостный: - Еще один шкилетник к Володьке приполз!

Мать ругалась:

- Лежку устроили, словно мы всех богаче. Прикормили паразитов, ироды!

Как всегда, она ругала сразу двоих, хотя брат был не виновен ни сном

ни духом. Мать ругалась, но выйти и отогнать голодных куркулей не решалась.

Молча проходил мимо голодного лежбища и мой отец. Мне он не сказал в упрек

ни единого слова. Мать приказала:

- Вот кувшин - за квасом в столовку сбегай. И быстро мне!

Делать нечего, я принял из ее рук стеклянный кувшин.

Сквозь калитку на волю я проскочил беспрепятственно, не вялым слонам и

не еле ползающим шкилетиикам перехватить меня.

Я долго толкался в столовке-чайной, покупал квас. Квас был настоящий,

хлебный - никак не витаминный морс, - потому продавался не каждому, кто захочет, а только по спискам. Но торчи не торчи, а возвращаться надо.

Они меня ждали. Все лежачие сейчас торжественно стояли на ногах. Каскады заплат, медь кожи сквозь прорехи, зловещие оскалы заискивающих улыбок, знойные глаза, безглазые физиономии, тянущиеся ко мне руки, тощие, как

птичьи лапы, круглые, как мячи, и надтреснутые, шершавые голоса: - Хлопчик, хлебца...

- По крошечке...

- Помираю, ма-а-альчик. Перед смертью куснуть...

- Хошь, руку свою съем? Хошь? Хошь?..

Я стоял перед ними и прижимал к груди холодный кувшин с мутным квасом.

- Хле-ебца-а...

- Корочку...

- Хошь, руку свою?..

И вдруг со стороны, энергично тряся пером на шляпке, налетела Отрыжка:

- Молодой человек! Молю! На коленях молю!

Она действительно упала передо мной на колени, заламывая не только руки, но и спину и голову, подмигивая куда-то вверх, в синее небо, господу

богу.

И это была уже лишка. У меня потемнело в глазах. Из меня рыдающим га-

лопом вырвался чужой, дикий голос:

- Ухо-ди-те! Уходи-тс!! Сволочи! Гады! Кровопийцы!! Уходите!

Отрыжка деловито поднялась, стряхнула мусор с юбки. Остальные, разом

потухнув, опустив руки, начали поворачиваться ко мне спинами, расползаться

без спешки, вяло. А я не мог остановиться, кричал рыдающе:

- Уходи-те!!

С инструментом на плечах подошли работяги - бородатый, степенный отец

с конопатым, очень серьезным сыном, который был старше меня только на два

года. Сын небрежно двинул подбородком в сторону разбредавшихся куркулей:

- Шакалы.

Отец важно кивнул в знак согласия, и они оба с откровенным презрением

посмотрели на меня, встрепанного, заплаканного, нежно прижимающего к груди

кувшин с квасом. Я для них был не жертва, которой нужно сочувствовать, а

один из участников шакальей игры.

Они прошли. Отец нес на прямом плече пилу, и та гнулась под солнцем

широким полотнищем, выплескивала беззвучные молнии, шаг - и вспышка, шаг -

и вспышка.

Наверное, моя истерика была воспринята доходягами как полное излечение

от мальчишеской жалости. Никто уже больше не выстаивал возле нашей калитки.

Я излечился?.. Пожалуй. Теперь бы я не вынес куска хлеба слону, стой

тот перед моим окном хоть до самой зимы. Мать ахала и охала - ничего не ем, худею, синячищи под глазами... Она

трижды на день устраивала мне пытку:

- Опять уставился в тарелку? Опять не угодила? Ешь! Ешь! На молоке

сварена, масла положила, посмей только отвернуться!

Из муки, хранившейся к праздникам, она пекла мне пироги с капустой и

рубленым яйцом. Я очень любил эти пироги. Я их ел. Ел и страдал.

Теперь я всегда просыпался перед рассветом, никогда не пропускал стука

телеги, которую гнал конюх Абрам к привокзальному скверику.

Гремела утренняя телега...

Не спи, вставай, кудрявая! В цехах звеня...

Гремела телега - знамение времени! Телега, спешившая собрать трупы врагов революционного отечества.

Я слушал ее и сознавал: я дурной, неисправимый мальчишка, ничего не

могу с собой поделать - жалею своих врагов! Как-то вечером мы сидели с отцом дома на крылечке.

У отца в последнее время было какое-то темное лицо, красные веки,

чем-то он напоминал мне начальника станции, гулявшего вдоль вокзального

сквера в красной шапке.

Неожиданно внизу, под крыльцом, словно из-под земли выросла собака. У

нее были пустынно-тусклые, какие-то непромыто желтые глаза и ненормально

взлохмаченная на боках, на спине, серыми клоками шерсть. Она минуту-другую

пристально глядела на нас своим пустующим взором и исчезла столь же мгновенно, как и появилась. - Что это у нес шерсть так растет? - спросил я.

Отец помолчал, нехотя пояснил:

- Выпадает... От голода. Хозяин ее сам, наверное, с голодухи плешивеет.

И меня словно обдало банным паром. Я, кажется, нашел самое, самое несчастное существо в поселке. Слонов и шкилетников нет-нет да кто-то и пожалеет, пусть даже тайком, стыдясь, про себя, нет- нет да и найдется дурачок

вроде меня, который сунет им хлебца. А собака... Даже отец сейчас пожалел

не собаку, а ее неизвестного хозяина - "с голодухи плешивеет". Сдохнет со-

бака, и не найдется даже Абрама, который бы ее прибрал.

На следующий день я с утра сидел на крыльце с карманами, набитыми кус-

ками хлеба. Сидел и терпеливо ждал - не появится ли та самая...

Она появилась, как и вчера, внезапно, бесшумно, уставилась на меня

пустыми, немытыми глазами. Я пошевелился, чтоб вынуть хлеб, и она шарахну-

лась... Но краем глаза успела увидеть вынутый хлеб, застыла, уставилась из-

далека на мои руки - пусто, без выражения. - Иди... Да иди же. Но бойся.

Она смотрела и не шевелилась, готовая в любую секунду исчезнуть. Она не верила ни ласковому голосу, ни заискивающим улыбкам, ни хлебу в руке.

Сколько я ни упрашивал - не подошла, но и не исчезла.

После получасовой борьбы я наконец бросил хлеб. Не сводя с меня пустых, не пускающих в себя глаз, она боком, боком приблизилась к куску. Прыжок - и... ни куска, ни собаки.

На следующее утро - новая встреча, с теми же пустынными переглядками, с той же несгибаемой недоверчивостью к ласке в голосе, к доброжелательно

протянутому хлебу. Кусок был схвачен только тогда, когда был брошен на землю. Второго куска я ей подарить уже не мог.

То же самое и на третье утро, и на четвертое... Мы не пропускали ни

одного дня, чтоб не встретиться, но ближе друг другу не стали. Я так и не

смог приучить ее брать хлеб из моих рук. Я ни разу не видел в ее желтых,

пустых, неглубоких глазах какого-либо выражения - даже собачьего страха, не

говоря уже о собачьей умильности и дружеской расположенности.

Похоже, я и тут столкнулся с жертвой времени. Я знал, что некоторые

ссыльные питались собаками, подманивали, убивали, разделывали. Наверное, и

моя знакомая попадала к ним в руки. Убить ее они не смогли, зато убили в

ней навсегда доверчивость к человеку. А мне, похоже, она особенно не доверяла. Воспитанная голодной улицей, могла ли она вообразить себе такого дурака, который готов дать корм просто так, ничего не требуя взамен... даже

благодарности.

Да, даже благодарности. Это своего рода плата, а мне вполне было достаточно того, что я кого-то кормлю, поддерживаю чью-то жизнь, значит, и сам

имею право есть и жить. Не облезшего от голода пса кормил я кусками хлеба, а свою совесть.

Не скажу, чтоб моей совести так уж нравилась эта подозрительная пища.

Моя совесть продолжала воспаляться, но не столь сильно, не опасно для жизни.

В тот месяц застрелился начальник станции, которому по долгу службы приходилось ходить в красной шапке вдоль вокзального скверика. Он не догадался найти для себя несчастную собачонку, чтоб кормить каждый день, отрывая хлеб от себя.

Д о к у м е н т а л ь н а я р е п л и к а.

В самый разгар страшного голода в феврале 1933 года собирается в Москве Первый всесоюзный съезд колхозников-ударников. И на нем Сталин произносит слова, которые на много лет стали крылатыми: "сделаем колхозы большевистскими", "сделаем колхозников- зажиточными".

Самые крайние из западных специалистов считают - на одной лишь Украине умерло тогда от голода шесть миллионов человек. Осторожный Рой Медведев использует данные более объективные: "...вероятно, от 3 до 4 миллионов..." по

всей стране. Но он же, Медведев, взял из ежегодника 1935 года "Сельское хозяйство

СССР" (М. 1936, стр. 222) поразительную статистику. Цитирую: "Если из уро-

жая 1928 года было вывезено за границу менее 1 миллиона центнеров зерна, то

в 1929 году было вывезено 13, в 1930 году - 48,3, в 1931 году - 51,8, в

1932-м - 18,1 миллиона центнеров. Даже в самом голодном, 1933 году в Запад-

ную Европу было вывезено около 10 миллионов центнеров зерна!"

**Рэй Брэдбери. Подмена**

*В чем тут собственно проблема? Проблема развития науки - человеческие чувства обесценились, их пытаются сохранить с помощью механических копий. Сам человек пересыщен и не нуждается в них. Тот кто любит по-настоящему - страдает, очень больно осознавать, что дарил свои чувства только копии. Человеку свойственно злоупотре[ЦЕНЗУ РА] благами цивилизации. Это говорит о противоречивост и общественного прогресса, обесценивания морали и чувсты, которые не терпят фальши.*

К восьми часам она приготовила длинные сигареты, достала хрустальные бокалы, опустила зеленую бутылку в серебряное ведерко с мелко наколотым льдом. Огляделась: картины висят ровно, пепельницы расставлены, как полагается. Тогда она взбила диванную подушку, отступила назад и прищурилась. А после заспешила в ванную и вернулась с пузырьком стрихнина, который предстояло засунуть под газеты на журнальном столике. Молоток и тонкий нож для колки льда уже лежали в нужных местах.

Она была во всеоружии.

Словно проведав об этом, тут же задребезжал телефон. В трубке прозвучало:

— Я уже поднимаюсь.

Он звонил из лифта, бесшумно плывущего по железной глотке здания, а сам тем временем приглаживал аккуратно подстриженные тонкие усы, поправлял белый летний пиджак и черный галстук. Сейчас он проведет рукой по светлым, чуть седеющим волосам — импозантный пятидесятилетний мужчина в прекрасной форме, сохранивший живость характера и охоту наносить визиты красивым женщинам слегка за тридцать, знающий толк в вине и прочих удовольствиях.

— Предатель — шепнула она у двери за миг до того, как послышался негромкий стук.

— Добрый вечер, Марта, — сказал он. — Так и будешь разглядывать меня с порога? — Она коснулась губами его щеки. — Это называется поцелуй? — В его голубых глазах мелькнуло недоумение. — Ну-ка. — Он показал ей пример.

Закрыв глаза, она думала: разве не то же самое повторялось неделю, месяц, год назад? Откуда у меня эти подозрения? Какая-то мелочь. Сущий пустяк, даже не выразить словами. Что-то в нем изменилось — неуловимо, но бесповоротно. От этой бесповоротной, решительной перемены она потеряла сон. Вскакивала с постели в три часа ночи, чтобы успеть до утра слетать на вертолете в сторону побережья, где без перерыва крутили кино, проецируя изображение прямо на облака неподалеку от Станции, причем фильмы были старые, тысяча девятьсот пятьдесят пятого года: неисчерпаемые, как воспоминания о прошлом, они брезжили в океанской дымке над темной водой, а голоса актеров плыли по волнам прилива, словно голоса богов. Вот уже два месяца ее не отпускала усталость.

— Не чувствую отклика. — Он отстранил ее от себя и окинул критическим взглядом. — Ты чем-то расстроена, Марта?

— Ничем, — ответила она.

А про себя подумала: всем. И добавила: тобой. Где ты сейчас, Леонард? С кем танцуешь весь вечер, с кем пьешь вино в апартаментах на другом конце города, с кем любезничаешь? Ты определенно не здесь, в этой квартире тебя нет и не было, и мне не составит труда это доказать.

— Что я вижу? — изумился он, глядя под ноги. — Молоток? Собираешься вешать картины, Марта?

— Нет, — засмеялась она, — собираюсь тебя убить.

— Вот оно что, — улыбнулся он. — Придется тебя задобрить. — И протянул ей бархатный футляр, в котором лежала нитка жемчуга.

— Ах, Леонард! — Дрожащими руками застегнув ожерелье на шее, она обернулась к нему. — Ты меня балуешь.

— Пустяки, — бросил он.

В такие минуты она почти забывала о своих подозрениях. Между ними все осталось по-прежнему, разве не так? Разве он к ней охладел? Конечно нет. Он по-прежнему внимателен, ласков и щедр. Каждый раз дарит ей украшения — то на палец, то на запястье. Почему же с недавних пор ей с ним так одиноко? Почему она не ощущает его присутствия? Кажется, все началось с газетной фотографии. Пару месяцев назад, семнадцатого апреля, его сфотографировали с Алисой Саммерс в заведении под названием «Клуб». Снимок попался ей на глаза только месяц спустя; тогда она ему сказала:

— Леонард, ты не рассказывал, что семнадцатого апреля водил в «Клуб» Алису Саммерс.

— Не рассказывал? Ну, да, было такое.

— Насколько я помню, тот вечер ты провел со мной.

— Что-то здесь не сходится. Мы с тобой обычно ужинаем, а потом до утра пьем вино под симфоническую музыку.

— Ошибки быть не может, Леонард: семнадцатого апреля ты приходил ко мне.

— Боюсь, ты захмелела, дорогая. Не ведешь ли ты дневник?

— Я уже не в том возрасте.

— То-то и оно. Нет дневника — нет и точных записей. Значит, я приходил к тебе либо накануне, либо следующим вечером. Хватит об этом, Марта, выпей вина.

Но это ее не убедило. В ту ночь ей не спалось: чем больше она раздумывала, тем сильнее укреплялась в мысли, что вечер и ночь семнадцатого апреля он провел с ней. Но так не бывает. Не мог же он одновременно находиться в двух местах.

Теперь они оба уставились на лежащий под ногами молоток. Марта подняла его с пола и положила на журнальный столик.

— Поцелуй меня, — неожиданно для себя самой выговорила она, потому что именно сейчас ей нестерпимо захотелось во всем разобраться.

Он уклонился:

— Для начала — немного вина.

— Нет, — заупрямилась она и сама бросилась его целовать.

Так и есть. Вот оно, различие. Совсем незначительное изменение. О таком никому не поведаешь, даже не опишешь словами. Бессмысленно растолковывать слепому, как выглядит радуга. Как бы то ни было, его поцелуй приобрел неуловимо иной вкус. Поцелуй мистера Леонарда Хилла стал другим. Не сказать, что он решительно отличался от прежнего, но все же перемена была налицо, и у нее в подсознании закрутились какие-то шестеренки. Что мог бы показать химический анализ влаги, взятой с его губ? Нехватку каких-то бактерий? А сами губы сделались не то мягче, не то жестче. Что-то безотчетно изменилось.

— Теперь, так и быть, — вино, — сказала она, откупоривая бутылку и наполняя его бокал до краев. — Ой, будь добр, сходи на кухню за подставками.

Стоило ему выйти, как она высыпала ему в вино стрихнин. Вернувшись с подставками, он принял у нее из рук свой бокал:

— За нас.

«Боже, — пронеслось у нее в голове, — а вдруг я ошибаюсь? Вдруг это действительно он? Вдруг у меня паранойя, помутнение рассудка, а я и не догадываюсь?»

— За нас. — Она тоже подняла бокал.

По обыкновению, он выпил залпом.

— Господи! — Его передернуло. — Ну и отрава! Откуда это у тебя?

— Из «Модести».

— Больше никогда такого не покупай. Давай-ка я закажу по телефону что-нибудь получше.

— Подожди, у меня в холодильнике кое-что припасено.

Когда она вернулась в комнату с другой бутылкой, он как ни в чем не бывало сидел на диване, бодрый и оживленный.

— Отлично выглядишь, — сказала она.

— И чувствую себя отлично. А ты похорошела! Кажется, я люблю тебя еще сильней, чем прежде!

Она ждала, что он вот-вот завалится на бок и остановит на ней остекленевший взгляд мертвеца.

— Продегустируем, — сказал он, вытаскивая пробку.

Вина хватило на час. Все это время он без устали забавлял Марту смешными историями, держа ее за руку и перемежая рассказы нежными поцелуями. Наконец, глядя ей прямо в глаза, он проговорил:

— Ты совсем притихла, Марта. Значит, все-таки расстроена?

— Вовсе нет.

На прошлой неделе в новостях показали сюжет, который, собственно, и внушил ей тревогу, а потом подсказал план действий; тот же сюжет объяснял, почему ей одиноко в его присутствии. Речь тогда шла о марионетках. О компании «Марионетт Инкорпорейтед». На самом деле такой компании, разумеется, не существовало. Просто поползли странные слухи. Полиция начала расследование.

Искали больших механических кукол, которые выпускались в условиях строгой секретности, дублировали внешность конкретного человека и двигались безо всяких веревочек. Поговаривали, на черном рынке стоимость такой марионетки достигала десяти тысяч долларов. С заказчика якобы снимали мерку и делали ему двойника. Кому осточертели светские мероприятия, тот мог просто заказать свою точную копию, способную пить, есть, обмениваться рукопожатиями и болтать за столом хоть с миссис Райнхарт, сидящей по правую руку, хоть с мистером Симмонсом, сидящим по левую руку, хоть с мисс Гленнер, сидящей напротив.

Подумать только: можно оградить себя от надоевших политических дискуссий! Можно не ходить на идиотские спектакли. Можно осадить любого зануду, не говоря ему худого слова. Наконец, можно на время забыть свою драгоценную возлюбленную, не разрывая отношений. И рекламный слоган придумать нетрудно. «Она не узнает». Или так: «Не признавайся даже лучшим друзьям». Или вот так: «Ходит, ест и пьет, хандрит, даже "мама" говорит».

От этих мыслей у нее едва не случилась истерика. Конечно, существование таких марионеток еще не доказано. Просто-напросто очередной слух, но чувствительную натуру это приводит в ужас.

— Снова витаешь в облаках, — заметил он, выводя ее из задумчивости. — Чем занята твоя прелестная головка?

Она посмотрела на него в упор. Какой ужас: в любую минуту он может забиться в судорогах и умереть. Как горько она будет раскаиваться за свою ревность.

Тут у нее невольно вырвалось:

— Твои губы... у них странный привкус.

— Вот так раз, — протянул он. — По-твоему, нужно с этим что-то делать?

— Это началось не сегодня.

Впервые на его лице отразилось беспокойство.

— Неужели? Прости. Я посоветуюсь с врачом.

— Ничего страшного в этом нет.

Ее охватил озноб, сердце застучало сильнее. Так и есть: его губы. Неужели химия достигла таких высот, что позволяет анализировать и в точности воспроизводить вкус? Трудно в это поверить. Вкусовые ощущения индивидуальны. Она ощущает вкус так, а кто-то другой — иначе. Тайное стало явным. Ее терпение лопнуло. Подойдя к дивану, она нагнулась и вытащила из-за подушки пистолет.

— Что я вижу? — Он вытаращил глаза и рассмеялся. — Да у тебя пистолет! Ну и спектакль!

— Со мной такие номера не проходят, — бросила она.

— Какие еще номера? — холодно переспросил он, стиснул зубы и заморгал.

— Ты меня обманывал. Тебя здесь не было по меньшей мере полтора месяца.

— Да что ты говоришь? А где же я был?

— Ты был с Алисой Саммерс, ни минуты не сомневаюсь. Готова поспорить, ты и сейчас с ней.

— Разве такое возможно? — спросил он.

— Не имею чести знать Алису Саммерс, в глаза ее не видела, но могу позвонить ей домой прямо сейчас.

— Давай, звони.

— И позвоню. — Она направилась к телефону.

Ее дрожащие пальцы набрали номер справочного бюро. В ожидании ответа она не спускала глаз с Леонарда, а он изучал ее с видом врача, заметившего типичные симптомы болезни.

— У тебя пошатнулось здоровье, — сказал он. — Марта, солнышко...

— Сидеть!

— Марта, дорогая моя, — прижавшись спиной к диванной подушке, он усмехнулся, — откуда у тебя такие мысли?

— Читала кое-что о марионетках.

— Эту ересь? Мне за тебя стыдно, Марта. Полная чушь от начала до конца. Я специально наводил справки!

— Что?!

— А как же иначе? — Он был явно доволен собой.— У меня масса светских обязанностей, а моя бывшая жена, как тебе известно, вернувшись из Индии, не отпускала меня ни на шаг, вот я и подумал: хорошо бы для отвода глаз обзавестись двойником, чтобы пустить жену по ложному следу и в то же время не оставлять ее одну. Вот было бы славно, правда? Оказалось, это все враки. Я так и остался в единственном экземпляре. А теперь отойди от телефона, давай выпьем вина.

Она не спускала с него глаз. Поверив ему, уже почти повесила трубку, но тут до ее сознания дошло слово «вино». Стряхнув оцепенение, она сказала:

— Постой-ка. Ты же не можешь со мной разговаривать! Я подсыпала тебе в вино яду — столько, что хватило бы на шестерых. А тебе хоть бы что. Это говорит само за себя, правда?

— Ни о чем это не говорит. Разве что об ошибке аптекаря, который снял с полки не тот пузырек. Жаль тебя разочаровывать, но я чувствую себя великолепно. Будь умницей, перестань терзать телефон.

Она все еще сжимала в руке телефонную трубку. Оттуда донеслось:

— Нужный вам номер: АБ — двенадцать — двести сорок девять.

— Хочу удостовериться, — сказала она ему.

— Ради бога. — Он пожал плечами. — Коль скоро мне нет доверия, больше я сюда не приду. А вам, милостивая госпожа, требуется хороший психиатр. Если еще не поздно.

— Я хочу удостовериться, — повторила она. — Алло, коммутатор? Будьте добры, соедините меня с номером АБ — двенадцать — двести сорок девять.

— Марта, прекрати. — Он сделал последнюю попытку, даже протянул руку, но не двинулся с места.

На другом конце провода раздались длинные гудки. Наконец кто-то ответил. С минуту Марта прислушивалась, а потом бросила трубку.

Глядя ей в глаза, Леонард спросил:

— Ну, как? Довольна?

— Вполне, — процедила она и подняла пистолет.

— Нет! — Он вскочил с кресла.

— В трубке был твой голос, — сообщила она. — Ты был с ней!

— Да ты рехнулась! — снова закричал он. — Боже мой, это ошибка, там был кто-то другой, ты переутомилась, тебе мерещится!

Пистолет выстрелил раз, другой, третий.

Он рухнул как подкошенный.

Подбежав, она склонилась над ним. Ей стало страшно; она содрогнулась от рыданий. Ее поразило, что Леонард упал к ее ногам. Она-то воображала, что марионетка, целая и невредимая, останется стоять и только посмеется.

— Я ошиблась. Сошла с ума. Это Леонард Хилл, погибший от моей руки.

Он лежал с закрытыми глазами; губы едва заметно шевелились:

— Марта, почему тебе не жилось одной, ах, Марта!

— Я вызову врача, — прошептала она.

— Нет-нет-нет! — Его вдруг разобрал смех. — Тебе нужно кое-что осмыслить. Что же ты наделала? Впрочем, это я дал маху, просто не подумал.

Пистолет выпал из ее разжатых пальцев.

— Я... — Он давился смехом. — Я здесь не показывался... целый год!

— Что?

— Целый год, двенадцать месяцев! Вот так-то, Марта, двенадцать месяцев!

— Ложь!

— Ага, теперь сама не веришь, да? Что же так изменилось в считанные секунды? Думаешь, я — Леонард Хилл? Как бы не так!

— Значит, это был ты? Только что, в доме Алисы Саммерс?

— Я? Еще не хватало! С Алисой я познакомился год назад, как только бросил тебя.

— Ты меня бросил?

— Да, бросил, бросил, бросил! — Он захлебывался от смеха, катаясь по полу. — Я измучен жизнью, Марта. У меня слабое сердце. Эти гонки с препятствиями даром не проходят. Однако мне хотелось разнообразия. И я стал ухлестывать за Алисой, но она мне надоела. Завел роман с Элен Кингсли — ты, наверно, ее помнишь. Она мне тоже наскучила. Потом была Энн Монтгомери. И опять меня хватило ненадолго. Ах, Марта, у меня по меньшей мере шесть клонов, заводных притворщиков, которые отбывают повинность в разных концах города, ублажая шестерых дамочек. А знаешь ли ты, чем я на самом деле сейчас занимаюсь? Я, собственной персоной? Впервые за тридцать лет пришел домой пораньше и лег в свою постель, чтобы почитать любимую книжку — «Опыты» Монтеня, выпить стакан горячего шоколадного молока и ровно в десять выключить свет. Вот уже час я беспробудно сплю сном младенца и собираюсь проспать до утра, чтобы встать отдохнувшим и свободным.

— Замолчи! — взвизгнула она.

— Должен тебе кое в чем признаться, — сказал он. — Твои пули перебили мне пару связок, теперь я не могу встать. Но если приедут врачи, они в любом случае меня здесь не застанут. Я не лишен недостатков. Близок к совершенству, но все же не лишен недостатков. Ах, Марта, не хотелось мне тебя обижать. Поверь. Я только хотел, чтобы ты была счастлива. Потому-то и обставил свой уход с такой тщательностью. Отдал полторы тысячи за свою копию, безупречную во всех отношениях. Но всегда остается некий предел погрешности. В моем случае подвела слюна. Досадная неточность. Она-то тебя и насторожила. И все равно, знай: я тебя любил.

Она еле держалась на ногах, чувствуя, что теряет рассудок. Нужно было заткнуть ему рот.

— А когда я понял, что те, другие, тоже меня любят, — шептал он, глядя в потолок широко раскрытыми глазами, — пришлось одарить клонами и остальных. Бедняжки, они так нежно ко мне относятся. Только ничего им не говори, ладно, Марта? Пообещай не выдавать меня. Я состарился и очень устал; все, что мне нужно, — это покой, хорошая книга, стакан молока и здоровый сон. Ты ведь не станешь об этом трезвонить?

— Весь этот год, целый год я была одна, одна каждый вечер. — От этой мысли она похолодела. — Моим возлюбленным оказался механический чурбан! Я любила пустое место! А ведь за это время можно было найти нормального человека!

— Я могу по-прежнему тебя любить, Марта.

— О господи! — вскричала она, хватаясь за молоток.

— Не смей, Марта!

Сначала она расколола череп, потом стала наносить удары по грудине, по дергающимся рукам и ногам. Долго била размягчившуюся голову, и наконец внутри блеснула сталь, лопнули провода, а на комнату обрушилась лавина медных гаек и каких-то мелких деталей.

— Я тебя люблю, — твердили мужские губы.

Она ударила по ним молотком, да так, что язык вывалился изо рта. По ковру покатились стеклянные глазные яблоки. Она колотила бесполезный металл, пока не расплющила его на полу, как игрушечный поезд. И без умолку хохотала.

На кухне нашлось несколько картонных коробок. Она погрузила в них шестеренки, обрывки проволоки и металлический мусор, а сверху заклеила. Через десять минут уже прибыл вызванный по телефону рассыльный.

— Доставишь эти коробки мистеру Леонарду Хиллу: Элм-стрит, дом семнадцать, — приказала она и сунула ему чаевые. — Прямо сейчас, немедленно. Разбуди его и скажи: сюрприз от Марты.

— Сюрприз от Марты, — повторил парнишка.

Заперев за ним дверь, она опустилась на диван, повертела в руках пистолет и прислушалась. С лестничной площадки доносился удаляющийся грохот перетаскиваемых коробок: лязг металлических обломков, побрякивание шестеренок и скрежет проводов.

Это было последнее, что она слышала в своей жизни.

[**Горева Светлана "Дедушка и мальчик"**](http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/index.php/knizhnaya-polka/1575-goreva-svetlana-dedushka-i-malchik)

Сегодня вторым уроком у Миши русский язык. Это его любимый предмет в школе. Поэтому он уже сидит за партой, не дожидаясь звонка. На уроке задали написать сочинение на тему: «Кем я хочу стать, когда вырасту?» Миша думал совсем немного, буквально вчера в книжном магазине он увидел книжку про космонавтов. Теперь это была его мечта – полететь в космос. Сочинение он написал быстрее всех и получил «пятерку». Домой он летел как на крыльях. «Чего ты такой веселый?» - поинтересовалась мама. «Я получил “пять” за сочинение! Мама, я решил стать космонавтом!» «Какой же из тебя космонавт, если ты постоянно болеешь? Нет, даже не мечтай!» - отрезала строго мама. У Миши навернулись слезы на глаза, но он ничего не ответил, он привык доверять авторитету мамы.

Тогда он подошел к папе: «Пап, а как ты думаешь, смогу я космонавтом стать?» «Миш, иди спроси у мамы, а я работаю, мне некогда. Да и вообще, чтобы космонавтом стать, надо учиться хорошо, а у тебя с математикой плохо», - не добавил оптимизма папа. Он был всегда занят, и Миша даже не особо рассчитывал на то, что папа поможет ему определиться с будущей профессией.

От нечего делать Миша вышел во двор. На лавочке сидел дедушка. Он жил в соседнем подъезде. Миша часто его видел на улице, всегда здоровался, но никогда не разговаривал с ним. Миша сел на лавочку рядом с дедушкой и стал что-то чертить палочкой на песке. «Что рисуешь?» - поинтересовался старичок. «Да так, ничего…» – грустно вздохнул мальчик. «Почему грустишь?» - не унимался дед. «Да сегодня в школе писали сочинение, кем бы я хотел быть, когда вырасту, я написал, что хочу полететь в космос, но мама против, а я думаю, всё равно надо бороться за свою мечту, стараться, учиться хорошо, не быть лентяем, закаляться, и тогда я обязательно стану космонавтом. А как Вы думаете, дедушка, кем я буду, когда стану такой же большой, как папа?» – поинтересовался Миша у дедушки. «Я думаю, что ты будешь Человеком!» - сказал, поднимаясь, дедушка. «Странно, - подумал Миша. – А я разве не человек?»

**Вячеслав ДЁГТЕВ**
**Выбор**

* *любовь к жизни;*
* *ненависть к войне;*
* *самоопределение личности;*
* *поиск личности и веры в человека.*

                                                                      Посвящается Юрию Бондареву

     Он был с Дона, она - с Кубани.

     Он служил гранатометчиком, она - в полевой пекарне.

     У  него в прошлом было много чего разного, в основном неприятного,  что
сейчас, на войне, казалось несущественным: работа, жена, семейные дрязги.

     У  нее  где-то  в  Армавире,  говорили ребята, осталась  старушка-мать,
которую  не  на что было лечить, потому и поступила она  в армию хлебопеком.
Восемьсот  рублей  в  день  "боевых"  -  где их,  такие  деньги,  в  России
заработаешь?

     Они не обмолвились ни единым словом друг с другом - она нарезала хлеб,
он подходил к  раздаче  в очереди таких  же,  как сам, грязных,  пропотевших
солдат, и молодых безусых "срочников", и угрюмых в основном "контрактников",
у которых у каждого была в жизни какая-нибудь трагедия  (от хорошей жизни на
войну не вербуются), подходил, молча брал свою пайку, любил он с поджаристой
корочкой, даже чтобы чуть-чуть  хлеб был подгорелый, и она в последнее время
стала оставлять ему именно такой.

     Она молча  клала  в его огрубелую  ладонь пышущий жаром  пышный пахучий
хлеб, пальцы их соприкасались, они вскидывали друг на  друга глаза - у него
они  были серые,  стального,  немного зеленоватого цвета, у  нее  -  карие,
выпуклые, как у породистой  преданной собаки;  в последнее время глаза у нее
сделались отчего-то  золотистые  и с  янтарным  оттенком.  Вот и все было их
общение.

     Он знал, что зовут ее Оксана,  редкое  по нынешним  временам  имя. Она,
конечно  же,  имени его не знала. Да  и зачем ей,  молодой и  красивой,  имя
какого-то  гранатометчика в  потертом бушлате и  с проседью,  "дикого гуся",
"пса войны",  сбежавшего  на  эту  непонятную необъявленную войну от  нужды,
беспросветности и тоски.

     Нет,  кажется,  раза два  он  сказал ей:  "Спасибо!",  а она  ответила:
"Пожалуйста!" Вот теперь уж точно - все!

     Да,  несколько  последних  лет  он не  жил  - существовал. В  тоске  и
беспросветности. Он не  верил больше женщинам.  Казалось, все  они сделались
шлюхами,  падкими  на  деньги, тряпки и удовольствия.  Телевизор  с рекламой
прокладок, безопасного секса,  Багам,  Канар  и французского  парфюма сгубил
русскую бабу. Вместо  того  чтобы  мечтать  о  детях,  они  теперь мечтают о
колготках от Версачи. И с некоторого времени  он стал рассуждать совсем  как
эти   "звери",  с  которыми  приходилось  сейчас  воевать:  русские  женщины
продажные, живут даже с неграми ("лишь бы человек  был  хороший"),  и потому
нет у нас будущего и весь народ обречен на вымирание.

     Он  был согласен с этим, как это ни прискорбно.  В прошлом служил  он в
милиции  участковым  и  насмотрелся такого,  что  даже  не  рисковал  никому
рассказывать - не поверят. Он любил свою жену-пианистку, она же считала его
неровней себе, не парой, а потому спуталась с каким-то плюгавым настройщиком
роялей и постоянными вздорными заявлениями в УВД сначала вынудила начальство
отобрать у  него, заядлого с 16 лет  охотника, ружье, которым он будто бы ей
угрожал, затем лишить его табельного оружия, а потом и уволить из "органов".
Квартиру, которую он заработал, разделила, но ключи не отдавала, жила  в ней
одна.  Он помыкался, помыкался, то у  родителей, то где придется, и пришлось
соглашаться на то, что она ему предложила (и то спасибо соседям, засовестили
ее), и досталась ему  после  разъезда конура  - в прямом смысле, без всяких
кавычек.  Ах, как  тоскливо и  горестно  бывало ему в  той  конуре, особенно
вечерами! Одно оставалось - выйти, взять бутылку. Пока деньги были...

     А тут началась война. И ноги как-то сами собой принесли его к казачьему
атаману,  а потом в военкомат, и взяли его на войну, и направили в отдельный
казачий   полк   по  армейской  специальности  и  с  армейским  званием   -
гранатометчиком и младшим сержантом.

     Так  и  служил  он уже второй год,  бывший  старший  лейтенант милиции,
младшим сержантом. За  это время он сделался настоящим  "псом войны". Уже не
являлись ему во  сне убитые им "звери", уже  не дрожали в бою  руки. Недавно
пришлось  пристрелить  своего  - уж  очень парень был труслив,  чуть что --
сразу же у него паника, в  бою  своим несдержанным  поведением  чуть всех не
угробил,  пришлось  под шумок  щелкнуть  его  в затылок.  А то  еще на  днях
приезжал  в  полк  известный  своими  мерзкими интервью  с  так  называемыми
"полевыми  командирами" один  московский журналюга  -  этого  педика просто
подставили  под пули те, кого он  воспевал, после чего некоторые сослуживцы,
даже офицеры, подходили к нему и молча жали руку. Что ж, на то она и война.

     Вот такая теперь была у него жизнь.

     Но в последнее время суровая его жизнь  стала скрашиваться присутствием
Оксаны в их полевой походной пекарне.

     Оксана как-то выступала на День Победы перед  солдатами.  Среди  прочей
самодеятельности она плясала чечетку,  или, как называют специалисты,  степ.
Когда-то  в прошлом она занималась в танцевальном кружке при Доме пионеров и
в  тот  день,  в святой для  всякого русского День  Победы, решила,  видать,
тряхнуть стариной.  На ней были  блестящие хромом  сапожки, которые полковые
умельцы  подбили так,  что  они  и звенели  медными подковками,  и  скрипели
вложенной между стелек берестой.

     Ее  стройные,  немного  полноватые в икрах ножки так и мелькали, так  и
носились по дощатой сцене -  стоял топот, стук, скрип, а солдаты сидели кто
на  чем,  некоторые -  раскрыв  от восхищения рот, сидели и смотрели на это
чудо, и не один, верно, плоховато спал в ту ночь.

     Да,  она была настоящая королева их  полка. Многие вздыхали,  некоторые
даже пытались чего-то там предпринимать,  да только  без толку. Как истинная
казачка, она знала  себе  цену, строго держала себя. Поэтому  он  даже и  не
пытался...

     И  вот сейчас  ее  внесли  на  носилках  двое дюжих  измазанных  глиной
десантников.  Внесли   в  подвал-бомбоубежище,   где   когда-то   выращивали
шампиньоны (ими до сих пор еще тут кисловато пахло), а теперь оборудован был
полевой госпиталь и где он получал индивидуальные аптечки на весь взвод.

     Она была по  самый подбородок укрыта окровавленным  то ли пледом, то ли
ковром,  то ли одеялом.  Среди раненых и  медобслуги пополз  шумок:  "звери"
обстреляли хлебовозку, где, случалось, и сами получали дармовой хлеб.

     Ее положили возле печки-буржуйки, в которой гудело замурованное пламя и
наносило  тополевым  горьковатым  дымком,  который  будил  в  памяти осенние
субботники и запах сжигавшейся листвы.

     Глаза ее горели каким-то странным, лихорадочным, янтарным огнем. В  них
прямо-таки плескался непонятный и потому  страшный пожар. Он  подошел к ней.
Она угадала его и улыбнулась.

     - А-а, Роман! Здравствуй!

     Он удивился: откуда знает его имя? Ведь они не знакомились. Они даже ни
разу не поговорили. "Спасибо". - "Пожалуйста" -  вот и все! Она пекла хлеб
для всего  полка. Он был  одним из трех тысяч солдат.  Все  солдаты  на одно
лицо. Но на  душе сделалось так тепло и  так  легко,  хоть пой,  хоть  скачи
козленком.

    - Видишь, как меня? - продолжала говорить она. - Ну ничего, это ведь
не страшно. И не надолго. Мы еще потанцуем. Ведь правда, Рома?

     - Конечно, конечно. Ты только не говори много. Береги силы. Потом мы с
тобой наговоримся. И натанцуемся. Ты еще покажешь класс -- в своих скрипучих
сапожках-то...

     - Сапог,  сапог!  -  Она схватила его  за  руку,  притянула  к  себе,
приложила ладонь к своей щеке -  щека горела огнем!  - зашептала свистящим
полушепотом, с  перехватом дыхания: - Слушай,  будь другом...  Я стеснялась
этих ребят-санитаров, чужие люди,  а тебя попрошу, будь другом, сними с меня
левый сапог - жмет, вражина, мочи нету! Или разрежь его, что ли, а?

     Он кивнул и приподнял край задубевшего от крови одеяла.

     Ног у нее не было по самые колена.

     Его бросило  в жар. Он еле сдержался, чтоб  не  отшатнуться. Стоящая  у
бетонного столба молоденькая медсестра,  помогавшая  размещать раненых, чуть
слышно вскрикнула, увидев это, и заткнула рот воротом  халата,  испачканного
кровью, грязью, зеленкой.

     Он  медленно  опустил  край   одеяла  (или  ковра?),  поправил  его   и
приблизился к  ее  лицу.  В  глазах Оксаны,  оглушенных промедолом, прочитал
облегчение, будто сапог и в самом деле перестал мучить.

    В подвале  сразу же отчего-то сделалось тихо. Так тихо, что слышен стал
лязг и звон инструментов за ширмой, где готовили стол для операции.

     - Знаешь что, Оксана дорогая? - сказал он хрипловато, но твердо. - А
выходи-ка ты за меня замуж, -- докончил он и словно груз сбросил.

     Она широко распахнула глаза. В них были слезы.

     - Что? Замуж? -  Сейчас в глазах уже плескалась радость. Да, радость!
Радость золотая, неподдельная. - Я знала, что ты рано или поздно заговоришь
со мной. Я знала... Но замуж?! - И тут же промелькнуло недоверие в ее тоне,
даже  настороженность  появилась  в интонации. - Но почему  именно сегодня,
именно сейчас?

     - Боюсь, что завтра... я не осмелюсь. Так что сейчас решай.

     Она  коснулась  его  темной  загорелой  руки.  Закрыла  янтарные   свои
прекрасные от счастья глаза и прошептала:

     - Какой ты... Ведь правда, все у нас с тобой будет хорошо? Меня сейчас
перевяжут,  и  мы  с  тобой  еще станцуем  на нашей  свадьбе...  Ах,  как  я
счастлива, Ромка!

     У бетонного столба стояла молоденькая медсестра и беззвучно плакала.

     В подвале  висела звонкая, чистая, прямо-таки стерильная  тишина, запах
грибов  куда-то  пропал, и  лишь горьковато припахивало от  печки тополевыми
поленьями...

**А. Крестинский "Рассказы о блокаде"**

*Что может сделать с человеком голод?
Трагическое детство блокадников...*

   В этих рассказах нет выдумки. Разве что имена и фамилии другие.
   Когда началась война, мы перешли в пятый класс. Когда фашисты блокировали Ленинград, нам было по тринадцать.
   Те из нас, кто пережил первую блокадную зиму, весной пошли в школу, а летом, неподалеку от города, выращивали овощи для защитников Ленинграда.
   У многих сегодняшних ребят о нас, тогдашних, такое представление: фашисты сыплют на город зажигательные бомбы – а мы эти бомбы тушим. Фашисты засылают в город шпионов – а мы этих шпионов ловим...
   Все это было – и бомбы и шпионы. Но далеко не каждому удалось потушить бомбу или поймать вражеского лазутчика. Враг испытывал нас не только бомбежками и обстрелами. Он испытывал нас голодом и холодом. Он испытывал наш характер и волю, нашу честность и дружбу, наше человеческое достоинство.
   Эти испытания были не легче, а порой труднее.

Автор

Витька Некрасов

    На площади, на солнечной стороне – толкучка. Инвалиды, солдаты, матросы, раненые из госпиталей. Идет мен: табак на хлеб, хлеб на папиросы, папиросы на водку, водку на табак, табак на спички... Кому что надо.
   Толкучка густая, но тихая. У стены, где булочная, сидит безногий. Шинель внакидку, полы обрезаны неровно, обрезками замотаны культяпки. Сидит он с прикрытыми глазами и бубнит:
   – Табацок, кому табацок...
   У меня не хватает духу шагнуть в эту медленно текущую толпу, начать: "Табачок, кому табачок..." Как в холодную воду войти.
   Наконец решаюсь. Держу на ладони пачку махры – последнюю, оставшуюся от отца.
   – Махорка, кому махорки...
   Снизу легонько бьют по руке. Бац – и ладонь пустая. Смотрю вокруг, под ноги – нет моей махры, а толпа напирает, толкает, бранится, что стою как дурак.
   – Не зевай, корешок, голову унесут! Глаза совершенно голубые – в упор.
   – Эх, ты, салага...
   Мичманка со сломанным козырьком, женская вязаная кофта, из ворота торчит цыплячья шея – вот что я успел разглядеть. Мальчишка как провалился.
   Я выбрался из толпы и – к дому. Такая неудача...
   – Эй, постой!
   Оглядываюсь – Вязаная кофта. Догоняет меня вприскочку. Хромой, вроде. Широченные клеши, одна штанина рваная до колена. Догнал. Смотрит.
   – Ты, разве так торгуют!
   Что я стою, что молчу? Он украл – ясное дело.
   – Думаешь, я? На, обыщи!
   Задрал свою кофту и выпячивает голый живот в цинготных пятнах. Так я и поверил – сплавил уже кому-то мою махорку.
   Выворачивает карманы. Кроме зажигательного стекла – ничего. Подбрасывает стекло, ловит и говорит:
   – Гляди, как надо работать.
   Прихрамывая, идет на угол, где солнце печет. Я за ним. Он наводит стекло на кофту, кофта дымит и воняет,
   – Видал! Гиперболоид!
   Чего радуется? Подумаешь, стекло...
   Тут он начинает приплясывать на месте, помахивая этим своим стеклом, и кричит нахальным голосом:
   – Солдатики, матросики! Кому прикурить? Зачем на спички тратиться? Подходи – кто первый...
   Первым подошел старшина с мешком за плечами. Сунул цигарку.
   – Давай, давай поскорее.
   – Сейчас, товарищ старшина.
   Махра на конце толстой цигарки закурчавилась, задымила. Старшина жадно раскурил, втягивая небритые щеки. Глаза у него слезились.
   – Порядок...
   Он побежал, потом вернулся, долго рылся в карманах шинели, наконец, достал кусок сахару, весь в табачных крошках, сунул Вязаной кофте – на! – и ходу.
   – Видал? Чистая работа! Волга-Волга! Вязаная кофта сиял. Я глядел на него, как на фокусника в цирке.
   – Кому прикурить, кому прикурить? Бесплатная прикурочка, прямо от солнца! Подходи, у кого спичек нет!
   Спички мало у кого есть. Редкая вещь. Подошел командир. Улыбается снисходительно – давай, мол, побалуюсь. Папиросу протянул, "Казбек".
   – О-о-о... – Вязаная кофта взял папиросу осторожно, как стеклянную, – мировая!
   – Куришь? – спрашивает командир. – Как тебя зовут-то?
   – Виктором... Я нет, батя курит. Командир достает еще казбечину.
   – Это для бати. А за прикурку спасибо. Улыбается, словно Вязаная кофта родственник ему. А тот и рад, кричит вдогонку:
   – До скорой встречи в день победы! Подплывают два матроса. В обнимку. На бескозырках – "Крейсер "Киров". Один берет у Витьки стекло, долго наводит, рука не слушается: "А, чтоб тебя..." Прикурил, отдал стекло, смотрит на Витьку тяжелыми глазами, потом – хлоп по плечу! – тот так и присел.
   – Придешь к кораблю, спросишь Васильева Петра, понял? Петра. Понял? У нас Николай есть Васильев, это не я... Понял?
   Витька потирает плечо, а сам – я вижу – сам доволен. Еще бы! Везет человеку. Интересно, куда он девал мою махорку?.. А может, не он? Может, кто другой? Скорей всего. Иначе зачем он меня догонял?
   – Продай, парень, стеклышко...
   – Не продажное, прикурить – пожалуйста.
   – Э, прикурить... Лето на носу, солнца много, а спичек нема...
   – Что, выписался?
   Солдат вместо ответа кивает на левую руку – она в бинтах...
   – С Ленинграда?
   – Колпинский.
   – Ладно, бери, если колпинский...
   Солдат бережно прячет стеклышко в карман гимнастерки, застегивает пуговицу, похлопывает здоровой рукой по груди:
   – Ну, спасибо, – говорит, – вот спасибо-то. А это – тебе. Держи. Энзе!\*
   Он протягивает Витьке кусок сала, весь в крупной серой соли, граммов на двести кусок! Витька взвешивает его на руке и опускает в карман.
   Карманы у него оттопырились: там сухари, сахар, гороховый концентрат, а теперь еще сало... Солдат прощается с Витькой за руку. Я не выдерживаю.
   – Как же теперь?
   – Ты про что?
   – Ну, стекло отдал – зачем?
   – А черт с ним! Гляди – полный гастроном! Волга-Волга!
   – Погоди, я к бате сбегаю, сейчас вернусь. Путаясь в клешах, он идет мимо толкучки, с кем-то здоровается, с кем-то шепчется, спорит – все по пути. Вот дошел до безногого, присел рядом на корточки, опоражнивает карманы... А безногий смеется, доволен.
   Потом Витька возвращается ко мне, морщит лоб.
   – Батя хотел "Казбек" закурить, а стекла нет…
   – Знаешь, – говорю я, оторопев от собственной доброты, – пойдем ко мне, у меня фотокор есть, там стекло увеличительное. Вывинтим – и все!
   – Ну-у...
   – Пойдем, пойдем!
   Я боюсь, что Витька откажется.
   – Мне этот фотокор совсем не нужен, честное слово!
   Кажется, там два стекла, – еще лучше: будем вдвоем стоять на площади, на этом жарком углу. С Витькой не пропадешь.
   Мы шагаем по Красной улице, к дому. Я спрашиваю:
   – Ты чего в школу не ходишь? С первого мая открыта уже.
   – Некогда, – отвечает Витька.
   – А ты завтра приходи, столовая у нас, кормить будут!
   – Ну да? Приду!
   ...В комнате у нас развал, пыль, грязь. До сих пор на кухне живем. Но это ерунда, сейчас почти все так.
   Только вошли – Витька к шкафу с книгами: шевелит губами – читает названия.
   – Волга-Волга! Сколько здесь – тыща?
   – Четыре, – говорю я, – хочешь, почитать дам? "Остров сокровищ" хочешь?
   – Не... Слушай, на этом деле заработать можно, – он тычет пальцем в книги, – зуб даю…
   Я не понимаю, как можно на этом деле заработать. До войны отец каждое воскресенье ходил по книжным магазинам. И дворничиха тетя Маша утешала маму:
   – Да что ты расстраиваешься! Мой мужик пьет, и то ничего...
   Короче, я знал, как тратят на книги последние деньги. А вот...
   – Не понимаешь, – говорит Витька. – Ну, ладно. Я к тебе профессора приведу. Сразу поймешь.

Олег Рымов

    Витька не обманул: привел "профессора". Оказалось, это Олег Рымов. Я его встречал в нашей школе.
   Рымов был чистенький, аккуратный, упитанный. Он вежливо поздоровался, снял свою вельветовую куртку и долго не знал, куда ее девать. Поморщился, прежде чем повесить куртку на стул. Я впервые устыдился неразберихи и грязи в комнате. И сам на себя разозлился за это.
   Книги Рымов брал брезгливо, двумя пальцами, будто делал одолжение, разглядывая их.
   – Книги надо протирать, – заметил он и сдунул пыль.
   Я почувствовал себя лишним здесь, в комнате, а ведь это он ко мне пришел – не я к нему!
   – Эту беру, – сказал Рымов, – расплачусь завтра, в школе.
   Он даже не спросил, согласен ли я. Он был абсолютно уверен: захотел – его. Я не понимал, на чем основана такая уверенность, но не мог ей сопротивляться.
   Рымов унес под мышкой сказки Андерсена. Старинная книга. Бабушкина.
   Мы сдавали в школу свои продуктовые карточки и ели в столовой: завтракали и обедали. Это называлось УДП – усиленное детское питание или "умрешь днем позже". Нам тогда и трех УДП было бы мало.
   Перед завтраком подошел Рымов:
   – Сядешь со мной.
   За столом нас было четверо: я, Рымов, Витька и Валька Камыш. Камыш стучал ложкой по столу и кричал:
   – Жрать хочу!
   Витька ему – тонким голосом:
   – Врешь!
   Рымов равнодушно смотрел в окно. Потом сказал:
   – Заткнитесь, вы.
   Замолчали.
   У меня кружилась голова. Не надо было читать меню, ведь и так знал, что будет на завтрак: пахло чуть пригорелой пшенной кашей, хлебом и шротовыми лепешками – это вроде творожников из соевого молока.
   Я проглотил свою порцию разом. Рымов медленно, словно нехотя, съел кашу, а когда принесли лепешки, подвинул их ко мне.
   – Ешь.
   Я не заставил себя упрашивать. На перемене Рымов достал из портфеля бумажный кулечек.
   – На, это за книгу.
   Я развернул кулечек. Там были сушеные овощи: помидоры, лук, картошка, свекла, морковь. Я разжевал сушеный помидор – это было необыкновенно! Во рту стало кисло, сладко и солено – все сразу. Я тут же перестал жалеть о книжке и готов был тотчас вести Рымова к себе и отдать ему все, что он захочет.
   Рымов стал приходить ко мне два-три раза в неделю. Он никогда не опаздывал. Скажет – в три – и придет в три, не позже. Он рылся в книгах долго и всегда выбирал стоящее. Рымов никогда не забывал про кулечки и отдавал их как-то между прочим, чтоб никто не заметил. И я был благодарен ему за это.
   Я не мог принести кулечек домой. Откуда взял, спросит мама. Что я скажу?
   После уроков я оставался в классе или уходил за школу, на пустынный стадион, и там, сидя под статуей дискобола, черного от угольной пыли, съедал свой кулечек: сначала картошку, потом лук, потом свеклу, морковь и на закуску помидоры. Каждый раз я клялся себе все это кончить. Сегодня же. И навсегда. И никогда больше не пускать к себе Рымова.
   Но наступало утро, и все начиналось сызнова.
   Однажды Рымов заметил под моей кроватью радиоприемник. Брат не успел собрать его до конца, и он пылился под кроватью рядом со связкой учебников и тетрадей по радио и электротехнике.
   Брат был двоюродный. Он учился в Ленинграде и жил у нас. А на каникулы уезжал домой, на Урал.
   Я помнил, зимними вечерами брат сидел за столом и мастерил этот приемник. Тихонько насвистывал и мастерил. Я засыпал под шипенье паяльника и запах канифоли. Мне нравился этот запах.
   Рымов вытащил приемник из-под кровати. Я впервые видел его таким возбужденным.
   – Слушай, – сказал он, – отдай мне этот приемник...
   – Это не мой.
   – Брось, – сказал Рымов, – война ведь, чего жалеть-то.
   – Брат вернется, мне попадет...
   – Ему не до того будет, если вернется. Пишет?
   – Пишет, – соврал я.
   – Слушай, – Рымов подмигнул, – а ты дай мне на время, не насовсем. Я соберу.
   Я умею. У меня чертежи есть. Брат вернется, а ты ему – пожалуйста – готовый приемник!
   На время – это дело другое. Почему не дать на время? А если не вернет...
   – Все будет чин-чинарем, – сказал Рымов, – я в долгу не останусь. Приходи завтра ко мне, когда хочешь приходи. Я и в школу не пойду – буду приемник собирать. Можешь за меня завтрак съесть. Только сахар и хлеб принеси. А Витька пускай обед съест. Витька в воскресенье тоже с нами пойдет. Не забыл про воскресенье?..
   Нет, про воскресенье я не забыл. В воскресенье я должен стоять у школьных ворот. А Рымов, Камыш и Витька полезут в подвал за электромотором.
   Рымов сказал, что он все разведал: в подвале школьный физический кабинет, все приборы, и если бы он захотел – все унес бы! Но ему нужен только электромотор, а там их – завались. И если кто думает, что это кража – тот дурак, потому что война, про эти моторы давно все забыли, а в подвале вода, и приборы только ржавеют.
   ...У Рымова дома я никогда не был. Вошел в большую светлую комнату, и у меня глаза разбежались: книги в застекленных шкафах, на подоконнике цветы, на полу, на стульях – модели кораблей. Даже под потолком одна висит! На письменном столе мой приемник... И тепло. Непривычно тепло.
   – Ну вот что, – сказал Рымов, – мне некогда. Ты иди на кухню – там зеленая кастрюля с макаронами – ешь.
   За пестрой занавеской – кухня. На столе керосинки, примус, разные кастрюльки. И зеленая. Я поднял крышку: остатки макарон, белых, как снег, присохли к краям и дну кастрюли. Видно, помешать забыли. Я машинально считал макаронины: десять, пятнадцать, семнадцать...
   – Ложка там, на столе, – сказал Рымов. Он замурлыкал песню: – Рано утром у реки собирались рыбаки...
   Я взял ложку, отодрал макароны со дна кастрюли – с той стороны они пригорели – и положил в рот. Макароны были совсем пресные, точно их варили без соли.
   – Мы с тобой в расчете, – весело сказал Рымов, – завтрак съел – съел, макароны ешь – ешь. И приемник получишь. А я работай. Раньше осени не кончить.
   Я жевал холодные пригоревшие макароны, и они становились солеными. Зеленая кастрюля плыла в тумане, в горле щекотало, лицо у меня стало мокрое, и я понял, что плачу. Я не мог остановиться и не есть эти соленые скользкие макароны и от этого плакал еще сильнее. Я отдирал макароны и с остервенением жевал их, как будто это они были во всем виноваты.
   А когда макарон в кастрюле больше не стало, я словно очнулся и ясно, отчетливо понял: все, дошел до точки. Лучше бы мне подавиться этими макаронами, и не видать мне приемника, как своих ушей, и никто мне не поможет, выбираться я должен сам.
   "Рано утром у реки, тра-ля-ля-ля-ля..." Рымов низко склонился над столом. Он даже не слыхал, как я вышел из комнаты, как в темном коридоре искал входную дверь.
   ...Утреннее солнце начинало обход двора именно с этого угла. Мы приходили в школу рано, за час до завтрака, садились на доски, что лежали вдоль стены, прислонялись к теплой уже штукатурке и млели на солнце.
   Так было и в это утро. Я пришел и сел на свободное местечко, привалился к стене и закрыл глаза. Это было блаженное состояние, когда не думаешь ни о чем, кроме предстоящего завтрака – он маячит впереди, как праздник.
   Кто-то сильно толкнул меня в плечо. Открываю глаза – Камыш.
   – Але, – говорит Камыш, – профессор велел передать – завтра в двенадцать. Здесь, на дворе.
   Значит, завтра... Завтра это проклятое воскресенье.
   ...У Камыша лицо круглое, лоснящееся, все в веснушках. Камыш каждый день ходит на Андреевский рынок. Маклачит. Что он там продает, неизвестно, только возвращается всегда с буханкой хлеба за пазухой. Он идет вразвалку через мост Лейтенанта Шмидта, а мы стоим на набережной и ловим рыбу. Когда он проходит мимо нас, мы поворачиваем головы в его сторону, а он отламывает корочку и кидает в рот...
   – Передай своему профессору, что я не приду, – говорю я чужим тонким голосом.
   У Камыша круглеют глаза.
   Резким движением он хватает меня за ноги.
   Не пошевелиться. Камыш наклоняется ко мне и шипит:
   – Придешь?
   – Пусти.
   – Придешь?
   Я хочу плюнуть ему в лицо, а плюнуть нечем – сухо во рту. Он начинает возить меня по земле.
   – Придешь?
   – Нет!
   – Придешь?
   – Нет! Нет! Нет! – кричу я и неожиданно чувствую, что свободен.
   Я поднимаюсь с земли и вижу: против Камыша стоит мальчишка на костылях. Вернее, на одном костыле. Другим он замахнулся на Камыша:
   – Проваливай.
   Тихо и спокойно сказал: "Проваливай".
   Камыш злобно сплевывает, подымает свою сумку и, погрозив мне кулаком, уходит со двора.
   – Не дрейфь, – говорит мне мальчишка, – не таким носы сворачивали. А где здесь жратву дают?
   Лицо у него будто толстое, а если приглядеться – видно, что опухшее.
   – Здесь, – киваю я на окна столовой. – В девять откроют. Ты что, раненый?
   – Ноги-то? Нет, цинга. Меня из детдома прислали. Через неделю поеду с вами в подсобное. Траву буду жрать. Пройдет цинга...
   Так я познакомился с Ваней Воиновым.

Селедка

   Я выхожу из трамвая у памятника Суворову, поворачиваю на улицу Халтурина и иду в сторону Эрмитажа. У меня за спиной зеленый солдатский мешок, в нем десять турнепсин и двадцать четыре картошки. Две недели я таскал их с поля за пазухой и прятал под матрац. Мешок оттягивает плечи.
   Вот и дом, третий от угла. Парадная. Навстречу спускается Николай Петрович. Он у тети Сони второй муж. С первым она разошлась еще до войны.
   Николай Петрович останавливается. Я говорю ему:
   – Здравствуйте! – и опускаю глаза.
   Сейчас он скажет: "А, явился. Ну, не ожидали мы от тебя такой гадости. Хорош гость, нечего сказать..."
   – Софья Николаевна дома, – говорит он сухо, – а я, извини, тороплюсь.
   "Извини, тороплюсь..." Ненавижу эту вежливость! Лучше бы сказал прямо: ты вор, ты обокрал наших детей, я тебя презираю.
   Медленно подымаюсь по лестнице. Стою на каждой ступеньке. На площадках стою. Полгода прошло с тех пор, как я был тут.
   Только бы она не кричала. Пусть спросит, как это случилось, я все расскажу. Пусть она хотя бы начнет: "Мы сидели в комнате..."
   Да, мы сидели в комнате, прямо в пальто, холодно было. Костик и Кира лежали в кроватях. Кира болела. Она нашла в шкафу какие-то вредные таблетки и съела их с голоду.
   – Да, да, это были ужасные дни, – скажет тетя Соня, – слава богу, все позади. Ну, а потом…
   Потом я стал ерзать на стуле и ты сказала: "Иди на кухню, там ведро. Это ужасно, что мы так много пьем. Носить с пятого этажа, представляешь..." "Надо держать себя в руках", – сказал Николай Петрович. Я не мог больше держать себя в руках и вышел на кухню.
   Ведро стояло у окна, и я сразу увидел на подоконнике эти селедки: целая, от другой чуть больше половины и отдельно – хвостик.
   – Да-да, Николаю Петровичу тогда выдали на работе, – скажет тетя Соня. – Это был такой праздник!
   Если я съем хвостик, подумал я, сразу заметят. Надо найти нож. Я обернулся и увидел кухонный нож. Он лежал на столе рядом. Я прислушался и осторожно отрезал кусочек селедки. Я съел его так быстро, что даже не разобрал вкуса. И тут же вернулся в комнату. "Как ты долго ходил", – сказала мама. Она рассказывала, как делать лепешки из липового цвета.
   – Помню, помню, – скажет тетя Соня, лепешки из липового цвета...
   "Это прекрасные лепешки, – говорила мама, – съешь три штуки и чувствуешь, что поел. Жарить можно на олифе..."
   Лепешки, подумал я тогда, сколько их ни ешь – не наешься. Вот селедка... И я снова стал ерзать на стуле, теперь уже нарочно. Я делал гримасы, чтоб заметили и пожалели. "Потерпи, – сказала мама, – сейчас мы пойдем, нельзя же так, у них пятый этаж..." "Вы позволяете ему слишком много пить, – сказал Николай Петрович. – Это вредно. И, наверно, горчицы много потребляете – видите, как вы опухли. Я держусь только самодисциплиной". "Я отдаю Николаю Петровичу половину своего пайка", – сказала ты. "Правильно, – сказал Николай Петрович, – в этих условиях мужчине требуется вдвое больше калорий и витаминов. Будет хуже, если я свалюсь".
   Я продолжал ерзать на стуле до тех пор, пока ты не сказала: "Иди же скорей на кухню, на тебя больно смотреть..."
   Сколько можно еще отрезать, чтоб не заметили? Совсем немного. Я съел этот ломтик и мне захотелось еще. Я нацелился на хвостик, и тут мне показалось: кто-то идет. Будь что будет, решил я и сунул хвостик в карман пальто. Я съел его потом, дома.
   – Как рано умер Миша, – скажет тетя Соня, – разве он мог подумать...
   Миша – это мой отец, родной брат тети Сони.
   Тут самое время развязать мешок и вывалить на пол все мое богатство.
   – Что это? – всплеснет руками тетя Соня. – Откуда это? Просто чудо!
   ...Тетя Соня открывает не сразу. Она долго возится с задвижкой, ключом, гремит цепочкой.
   – Это ты, – говорит она спокойно, будто заранее знала, что я приду сегодня. – Заходи, я закрою дверь. Дети спят, пойдем на кухню...
   Нет, только не на кухню.
   – Я на минутку, тетя Соня, на одну минутку... Вот привез...
   Я стаскиваю с плеч мешок, он не снимается, я тороплюсь. Проклятые лямки, зацепились! Хоть бы накричала она, что ли.
   Наконец, мешок у меня в руках. Теперь – развязать тесемку.
   – Ты загорел, вытянулся, – говорит тетя Соня. – Как вас кормят?
   – Прекрасно, – говорю я, – замечательно кормят, мне хватает, очень хватает, вот я привез тебе немножко...
   Тетя Соня берет у меня мешок, развязывает тесемку.
   – Как это тебе в голову пришло? – говорит она грустно.
   Тетя Соня смотрит на меня очень внимательно. Сейчас начнется. Только бы поскорей.
   – Чем бы мне тебя угостить... хочешь супу из хряпы или кусочек селедки? Николай Петрович на работе получил.
   Я выхватываю у нее мешок, с грохотом высыпаю на пол.
   – Спасибо, я сыт. Нам за работу выдали, еще дадут... Это Костику, Кире, они сладкие, как сахар, честное слово!
   Я сую ей в руки две фиолетовые турнепсины. Костик выходит из комнаты, склонив набок большую рыжую голову. Какая большая голова!
   Он молча тянет тонкую руку.
   – Сейчас, Костик, сейчас, – говорит тетя Соня, – нет, здесь так много, я просто не знаю...
   – Разве это много, – говорю я радостно, – это же совсем мало. У нас там полным-полно!
   Я отступаю к двери.
   – Как рано умер Миша – говорит тетя Соня. – Разве он мог подумать...
   Медленно-медленно закрывается дверь. Скорей бы захлопнулась. Я ненавижу эту волосатую дверь, из которой во все стороны торчат клочья войлока. Ненавижу лестницу, по которой поднялся, и картошку, и селедки, и товарняк, которым ехал в Ленинград. И себя – зачем стою и не бегу отсюда.

Ванька Воинов

   У нас с ним странные отношения. Я его боюсь. Боюсь, скажет мне что-нибудь обидное. Вдруг скажет: "Ну, чего за мной ходишь?"
   С того дня, как Ванька вступился за меня, я стал ходить за ним следом. А он вел себя так, как будто ничего не произошло. Как со всеми – так и со мной. Не лучше, не хуже. Я потом понял: случись тогда на моем месте кто другой – Ванька поступил бы точно так же. А назавтра – и думать забыл. Такой это человек.
   Я выглядел, должно быть, подлипалой.
   Поддакивал, что бы он ни сказал. Смеялся, когда он смеялся. Молчал, когда он молчал. Пел, когда он пел. Даже ругался, хотя это было мне противно. Но ведь он ругался!
   Меня словно несло куда-то. Я был его тенью, только с той разницей, что тени никто не замечает, а Ванька замечал свою тень и злился.
   Я подражал ему во всем. Мне нравилось, как он ел – неторопливо и опрятно. Нравилось, как работал – ловко и быстро. Нравилось, как пел – задушевно и самозабвенно.
   А еще – он умел искать грибы. В лесу я шел за ним по пятам и удивлялся: ничего, кроме мухоморов и гнилых сыроежек. А у него – полная корзина, да каких!
   Независимость – вот что отличало его от всех и поднимало над всеми.
   Взрослые выделяли его среди нас и относились к нему с уважением, особенно учительница Вера Никодимовна. Она просто любила его; иначе, как Ваня, Ванечка, и не называла.
   Как я ему завидовал! Как я хотел, чтоб меня так же любили, так же называли, так же советовались со мной, так же прощали шалости…
   В тот день я дежурил на кухне, мыл посуду. В кухонное окошко заглянул Витька Некрасов.
   – Айда на станцию! Платформы пришли! Из-под муки...
   Я бросил все и побежал к станции. Навстречу – Женька. Под мышкой пузатая наволочка.
   – Беги, – крикнул Женька, – а то не хватит!
   Я пустился бегом.
   На станции длинный состав – головы не видно. На последней платформе копошатся ребята. Я тоже взобрался. Ребята ползают по дощатому настилу, горстями сгребают серую пыль. Я зачерпнул, попробовал: вязкое, приклеилось к нёбу – и в самом деле мука, настоящая мука!
   Я стащил с себя майку, завязал узлом и стал сгребать муку в этот самодельный мешок. Осторожно сгребаю: мука поверху тонким слоем, а под ней – песок.
   Сгребаю и все оглядываюсь: у других больше, чем у меня, гораздо больше.
   Слышу, кричат:
   – Але! Пошли!
   Я отмахнулся. Чья-то голова исчезла за бортом платформы. У меня уже полмайки, а мне все кажется мало, все хочется еще.
   Платформу качнуло. Я схватился за борт. Будка стрелочника поползла назад. Я оглянулся: один на платформе! Серая мучная пыль вздрагивает под ногами.
   – Прыгай!
   На рельсах стоит Ванька Воинов и машет мне рукой. Он совсем близко, я вижу его лицо.
   – Сейчас! – кричу я и лихорадочно нагребаю в майку серую пыль. Сердце стучит, колеса стучат – а я гребу двумя руками, еще, еще...
   – Прыгай!
   Ванька бежит за составом. Лица его я уже не вижу.
   – Прыгай!
   Страх в животе. Сладкий тошнотворный страх. Как прыгать? Ванька бежит между рельсами.
   – Мешок брось! Прыгай!
   Мне жалко бросать, рассыплется ведь. Я переваливаюсь через задний борт, нахожу ногой буфер, встаю и осторожно опускаю вниз майку с мукой. Я вижу, как она плюхается на землю, и облачко пыли подымается там, где она упала.
   – Толкайся сильней! Прыгай!
   Я отталкиваюсь, прыгаю и... бегу по земле за поездом. Бегу, бегу и останавливаюсь. Это так здорово! Я машу Ваньке рукой и кричу:
   – Ого-го! Э-ге!
   Я сразу забыл о страхе. Словно его и не было. Меня распирает от радости. Я иду по шпалам и улыбаюсь. Мне хочется петь.
   Ванька сидит рядом с моим мешком. Он разулся и постукивает сапогами по рельсу, вытряхивает песок. Не глядя на меня, говорит:
   – Дурак ты.
   – Почему? – спрашиваю я, улыбаясь.
   – Смотри...
   Ванька запускает руку в майку. На его ладони какая-то грязь, мусор... А мука? Где же мука! Я хватаю мешок, оттаскиваю в сторону, высыпаю на гладкую утрамбованную землю – так и есть! Черт знает что! Камни, опилки, труха...
   – Ну-ка просей, – говорит Ванька, – насыпь в кепку и потряхивай. Мука сверху останется.
   Я попробовал: в самом деле, получается. С песком вперемешку, но все-таки...
   – А твой мешок где? – спрашиваю.
   – Какой мешок?
   – Ну, с мукой.
   – А на кой она мне? Чего я с ней делать-то буду? – говорит он добродушно. – Блины у меня печь некому.
   Я встряхиваю кепку и машинально повторяю про себя: "Печь некому, печь некому..."
   Гуднул паровоз, тот самый. Далеко же он ушел! Я вдруг остро вспоминаю, как сгребал двумя руками муку, как торопился, как боялся прыгать, а Ванька бежал за поездом и кричал: "Прыгай!" И все, что было со мной на платформе, и потом: радость, что не разбился, мука, которая в кепке, – все-все тускнеет и отступает перед этим "печь некому".
   – Ну, я домой пошел, – говорит Ванька,– пока...
   Он говорит – "домой". А Витька говорит – "в табор". А Женька – "в палату". По-довоенному.
   Какой же это дом!
   Домой – значит домой. Дом один. Это Ленинград. Улица, дом, квартира... А у Ваньки, оказывается, нет дома. У него, значит, блины печь некому...
   Он идет по шпалам, руки в карманах, идет чуть ссутулясь, кепка с пуговкой на макушке, идет и поплевывает – то вправо, то влево, то вправо, то влево.
   Некому – и все тут.

\* НЗ – неприкосновенный запас.

**Александр Костюнин "Рукавичка"**
Рассказ

*«Рукавичка» — знаменитый рассказ о школе.*

*Нравственная проблема совести и покаяния.*

*о прощении, о милосердии, о благородстве, чувстве меры..*

…Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю.
Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам.
И, бросив сребренники в храме, он вышел, пошёл и удавился.
Евангелие от Матфея
Нельзя сказать, чтобы я часто вспоминал школу. Мысли о ней, как далёкое, отстранённое событие какой-то совсем другой жизни, пробивались с трудом.
Я не был отличником – хорошие отметки со мной не водились.
Сейчас понимаю: могло быть и хуже. В пять лет, всего за два года до школы, я вообще не говорил по-русски. Родным для меня был язык карельский. Дома и во дворе общались только на нём.
Десятилетняя школа была тем первым высоким порогом, за которым и жаждал я увидеть жизнь новую, яркую, возвышенную. Заливистый школьный звонок, свой собственный портфель, тетрадки, первые книжки, рассказы о неизведанном, мальчишеские забавы после уроков – всё это, словно настежь распахнутые ворота сенного сарая, манило меня на простор. При чём здесь отметки?
Тридцать лет прошло.
Повседневные заботы, реже радости полупрозрачной дымкой затягивают детство. Годы наслаиваются как-то незаметно, точно древесные кольца. С каждым новым слоем вроде бы ничего не меняется, а разглядеть глубь труднее. И только причудливым капом на гладком стволе памяти, ядовитым грибом или лечебной чагой выступают из прошлого лица, события, символы…
Не знаю, почему уж так сложилось, но ярче всего из школьных лет запомнился мне случай с рукавичкой.
Мы учились в первом классе.
Алла Ивановна Гришина, наша первая учительница, повела нас на экскурсию в кабинет уроков труда. Девчонки проходили там домоводство: учились шить, вязать. Это не считалось пустым занятием. Купить одёжу точно в свой размер было негде. Перешивали или донашивали оставшееся от старших. Жили все тогда туго. Бедовали. Способность мастерить ценилась.
Как стайка взъерошенных воробьёв, мы, смущаясь и неловко суетясь, расселись по партам. Сидим тихо, пилькаем глазёнками.
Учительница по домоводству сначала рассказала нам о своём предмете, поясняя при необходимости на карельском, а затем пустила по партам оформленные альбомы с лучшими образцами детских работ.
Там были шитые и вязаные носочки, рукавички, шапочки, шарфики, платьица, брючки. Всё это кукольного размера, даже новорождённому младенцу было бы мало. Я не раз видел, как мать за швейной машинкой зимними вечерами ладила нам обнову, но это было совсем не то…
Мы, нетерпеливо перегибаясь через чужую голову, разглядывали это чудо с завистью, пока оно на соседней парте, и с удовольствием, сколь можно дольше, на полных правах рассматривали диковинку, когда она попадала нам в руки.
Звонок прогремел резко. Нежданно.
Урок закончился.
Оглядываясь на альбом, мы в полном замешательстве покинули класс.
Прошла перемена, и начался следующий урок. Достаём учебники. Ноги ещё не остановились. Ещё скачут. Голова следом. Усаживаемся поудобнее. Затихающим эхом ниспадают до шёпота фразы. Алла Ивановна степенно встаёт из-за учительского стола, подходит к доске и берёт кусочек мела. Пробует писать. Мел крошится. Белые хрупкие кусочки мелкой пылью струятся из-под руки.
Вдруг дверь в класс резко распахивается. К нам не заходит – вбегает – учительница домоводства. Причёска сбита набок. На лице красные пятна.
– Ребята, пропала рукавичка! – и, не дав никому опомниться, выпалила: – Взял кто-то из вас…
Для наглядности она резко выдернула из-за спины альбом с образцами и, широко раскрыв, подняла его над головой. Страничка была пустая. На том месте, где недавно жил крохотный пушистый комочек, я это хорошо запомнил, сейчас торчал только короткий обрывок чёрной нитки.
Повисла недобрая пауза. Алла Ивановна цепким взглядом прошлась по каждому и стала по очереди опрашивать.
– Кондроева?
– Гусев?
– Ретукина?
– Яковлев?
Очередь дошла до меня... Двинулась дальше.
Ребята, робея, вставали из-за парты и, понурив голову, выдавливали одно и то же: «Я не брал, Алла Ивановна».
– Так, хорошо, – зло процедила наша учительница, – мы всё равно найдём. Идите сюда, по одному. Кондроева! С портфелем, с портфелем…
Светка Кондроева, вернувшись к парте, подняла с пола свой ранец. Цепляясь лямками за выступы, не мигая уставившись на учительницу, она безвольно стала к ней приближаться.
– Живей давай! Как совершать преступление, так вы герои. Умейте отвечать.
Алла Ивановна взяла из рук Светки портфель, резко перевернула его, подняла вверх и сильно тряхнула. На учительский стол посыпались тетрадки, учебники. Резкими щелчками застрекотали соскользнувшие на пол карандаши. А цепкие пальцы Аллы Ивановны портфель всё трясли и трясли.
Выпала кукла. Уткнувшись носом в груду учебников, она застыла в неловкой позе.
– Ха, вот дура! – засмеялся Лёха Силин. – Ляльку в школу притащила.
Кондроева, опустив голову, молча плакала.
Учительница по домоводству брезгливо перебрала нехитрый скарб. Ничего не нашла.
– Раздевайся! – хлёстко скомандовала Алла Ивановна.
Светка безропотно начала стягивать штопаную кофтёнку. Слёзы крупными непослушными каплями скатывались из её опухших глаз. Поминутно всхлипывая, она откидывала с лица косички. Присев на корточки, развязала шнурки башмачков и, поднявшись, по очереди стащила их. Бежевые трикотажные колготки оказались с дыркой. Розовый Светкин пальчик непослушно торчал, выставив себя напоказ всему, казалось, миру. Вот уже снята и юбчонка. Спущены колготки. Белая майка с отвисшими лямками.
Светка стояла босая на затоптанном школьном полу перед всем классом и, не в силах успокоить свои руки, теребила в смущении байковые панталончики.
Нательный алюминиевый крестик на холщовой нитке маятником покачивался на её детской шейке.
– Это что ещё такое? – тыкая пальцем в крест, возмутилась классная. – Чтобы не смела в школу носить. Одевайся. Следующий!
Кондроева, шлёпая босыми ножками, собрала рассыпанные карандаши, торопливо сложила в портфель учебники, скомкала одежонку и, прижав к груди куклу, пошла на цыпочках к своей парте.
Ребят раздевали до трусов одного за другим. По очереди обыскивали. Больше никто не плакал. Все затравленно молчали, исполняя отрывистые команды.
Моя очередь приближалась. Впереди двое.
Сейчас трясли Юрку Гурова. Наши дома стояли рядом. Юрка был из большой семьи, кроме него ещё три брата и две младшие сестры. Отец у него крепко пил, и Юрка частенько, по-соседски, спасался у нас.
Портфель у него был без ручки, и он нёс его к учительскому столу, зажав под мышкой. Неопрятные тетрадки и всего один учебник – вылетели на учительский стол. Юрка стал раздеваться. Снял свитер, не развязывая шнурков, стащил стоптанные ботинки, затем носки и, неожиданно остановившись, разревелся в голос.
Аллавановна стала насильно вытряхивать его из майки, и тут на пол выпала маленькая синяя рукавичка.
– Как она у тебя оказалась? Как?!! – зло допытывалась Алла Ивановна, наклонившись прямо к Юркиному лицу. – Как?! Отвечай!..
– Миня эн тийе! Миня эн тийе! Миня эн тийе… – лепетал запуганный Юрка, от волнения перейдя на карельский язык.
– А, не знаешь?!! Ты не знаешь?!! Ну, так я знаю! Ты украл её. Вор!
Юркины губы мелко дрожали. Он старался не смотреть на нас.
Класс напряжённо молчал.
Мы вместе учились до восьмого класса. Больше Юрка в школе никогда ничего не крал, но это уже не имело значения. «Вор» – раскалённым тавром было навеки поставлено деревней на нём и на всей его семье. Можно смело сказать, что восемь школьных лет обернулись для него тюремным сроком.
Он стал изгоем.
Никто из старших братьев никогда не приходил в класс и не защищал его. И он никому сдачи дать не мог. Он был всегда один. Юрку не били. Его по-человечески унижали.
Плюнуть в Юркину кружку с компотом, высыпать вещи из портфеля в холодную осеннюю лужу, закинуть шапку в огород – считалось подвигом. Все задорно смеялись. Я не отставал от других. Биологическая потребность возвыситься над слабым брала верх.
\*\*\*
Роковые девяностые годы стали для всей России тяжёлым испытанием. Замолкали целые города, останавливались заводы, закрывались фабрики и совхозы.
Люди, как крысы в бочке, зверели, вырывая пайку друг у друга. Безысходность топили в палёном спирте.
Воровство крутой высокой волной накрыло карельские деревни и сёла. Уносили последнее: ночами выкапывали картошку на огородах, тащили продукты из погребов. Квашеную капусту, банки с вареньем и овощами, заготовленную до следующего урожая свёклу и репу – всё выгребали подчистую.
Многие семьи зимовать оставались ни с чем. Милиция бездействовала.
У Чуковского в сказке, если бы не помощь из-за синих гор, все звери в страхе дрожали бы перед Тараканищем ещё и сейчас. Здесь же воров решили наказать судом своим. Не стали ждать «спасителя-воробья». Терпению односельчан пришёл конец.
…Разбитый совхозный «пазик», тяжело буксуя в рыхлом снегу, сначала передвигался по селу от логова одного вора к другому, а потом выехал на просёлочную дорогу. Семеро крепких мужиков, покачиваясь в такт ухабам, агрессивно молчали. Парок от ровного дыхания бойко курился в промозглом воздухе салона. На металлическом, с блестящими залысинами полу уже елозили задом по ледяной корке местные воры. Кто в нашей деревне не знал их по именам? Их было пятеро: Лёха Силин, Каредь, Зыка, Петька Колчин и Юрка Гуров – это они на протяжении последних восьми лет безнаказанно тянули у односельчан последнее. Не догадывалась об этом только милиция.
Руки не связывали – куда денутся? Взяли их легко, не дав опомниться. Да и момент подгадали удачно – в полдень. После ночной «работы» самый сон.
«Пазик», урча, направился за село, по лесной просёлочной дороге. В пути молчали. Каждый сам в себе. Всё было понятно без слов. Ни в прокуроры, ни в адвокаты никто не рвался.
Дорога шла прямо по берегу лесного озера Кодаярви. На пятом километре остановились. Двигатель заглушили. Вытолкнули «гостей» на снег. Дали две пешни и приказали рубить по очереди прорубь.
Снежные тучи тяжело наползали на нас. Солнце скрылось. Поднялся ветер. Завьюжило. Мороз к вечеру стал пощипывать. Топить воров никто не собирался, а хорошенько проучить их следовало. Есть случаи, в которых деликатность неуместна, хуже грубости.
…В совхозном гараже мы распили две бутылки прямо из горлышка. Стоя. Кусок чёрствого ржаного хлеба был один на всех. Мы пили за победу над злом.
Я этим же вечером уехал в город, а наутро из деревни позвонили: Юра Гуров у себя в сарае повесился.
Если бы не этот звонок, я бы, наверное, так и не вспомнил про синюю рукавичку.
Чудодейственным образом отчётливо, как наяву, я увидел плачущего Юрку, маленького, беззащитного, с трясущимися губами, переступающего босыми ножонками на холодном полу…
Его жалобное: «Миня эн тийе! Миня эн тийе! Миня эн тийе!» – оглушило меня.
Я остро, до боли, вспомнил библейский сюжет: Иисус не просто от начала знал, кто предаст Его. Только когда Наставник, обмакнув кусок хлеба в вино, подал Иуде, только «после сего куска и вошёл в Иуду сатана». На профессиональном милицейском жаргоне это называется «подстава».
Юрка, Юрка… твоя судьба для меня – укор… И чувство вины растёт.
Что-то провернулось в моей душе. Заныло.
Но заглушать эту боль я почему-то не хочу…
\*\*\*
…На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.
Евангелие от Луки

**Лев Абрамович Кассиль. Рассказ об отсутствующем.**

*- Общая беда подняла на борьбу с врагом всех от мала до велика. Имена не всех героев стали известны, но от этого их вклад в общую победу не стал меньше.*

*- Нужно помнить и чтить память всех защитников Отечества.*

*- А в Москве даже есть памятник Неизвестному герою, у которого горит Вечный огонь.*

Когда в большом зале штаба фронта адъютант командующего, заглянув в список награжденных, назвал очередную фамилию, в одном из задних рядов поднялся невысокий человек. Кожа на его обострившихся скулах была желтоватой и прозрачной, что наблюдается обычно у людей, долго пролежавших в постели. Припадая на левую ногу, он шел к столу. Командующий сделал короткий шаг навстречу ему, вручил орден, крепко пожал награжденному руку, поздравил и протянул орденскую коробку.
Награжденный, выпрямившись, бережно принял в руки орден и коробку. Он отрывисто поблагодарил, четко повернулся, как в строю, хотя ему мешала раненая нога. Секунду он стоял в нерешительности, поглядывая то на орден, лежавший у него на ладони, то на товарищей по славе, собравшихся тут. Потом снова выпрямился.
– Разрешите обратиться?
– Пожалуйста.
– Товарищ командующий… И вот вы, товарищи, – заговорил прерывающимся голосом награжденный, и все почувствовали, что человек очень взволнован. – Дозвольте сказать слово. Вот в этот момент моей жизни, когда я принял великую награду, хочу я высказать вам о том, кто должен бы стоять здесь, рядом со мной, кто, может быть, больше меня эту великую награду заслужил и своей молодой жизни не пощадил ради нашей воинской победы.
Он протянул к сидящим в зале руку, на ладони которой поблескивал золотой ободок ордена, и обвел зал просительными глазами.
– Дозвольте мне, товарищи, свой долг выполнить перед тем, кого тут нет сейчас со мной.
– Говорите, – сказал командующий.
– Просим! – откликнулись в вале. И тогда он рассказал.
– Вы, наверное, слышали, товарищи, – так начал он, – какое у нас создалось положение в районе Р. Нам тогда пришлось отойти, а наша часть прикрывала отход. И тут нас немцы отсекли от своих. Куда ни подадимся, всюду нарываемся на огонь. Бьют по нас немцы из минометов, долбят лесок, где мы укрылись, из гаубиц, а опушку прочесывают автоматами. Время истекло, по часам выходит, что наши уже закрепились на новом рубеже, сил противника мы оттянули на себя достаточно, пора бы и до дому, время на соединение оттягиваться. А пробиться, видим, ни в какую нельзя. И здесь оставаться дольше нет никакой возможности. Нащупал нас немец, зажал в лесу, почуял, что наших тут горсточка всего-навсего осталась, и берет нас своими клещами за горло. Вывод ясен – надо пробиваться окольным путем.
А где он – этот окольный путь? Куда направление выбрать? И командир наш, лейтенант Буторин Андрей Петрович, говорит: «Без разведки предварительной тут ничего не получится. Надо порыскать да пощупать, где у них щелка имеется. Если найдем – проскочим». Я, значит, сразу вызвался. «Дозвольте, говорю, мне попробовать, товарищ лейтенант?» Внимательно посмотрел он на меня. Тут уже не в порядке рассказа, а, так сказать, сбоку, должен объяснить, что мы с Андреем из одной деревни – кореши. Сколько раз на рыбалку ездили на Исеть! Потом оба вместе на медеплавильном работали в Ревде. Одним словом, друзья-товарищи. Посмотрел он на меня внимательно, нахмурился. «Хорошо, говорит, товарищ Задохтин, отправляйтесь. Задание вам ясно?»
Вывел меня на дорогу, оглянулся, схватил за руку. «Ну, Коля, говорит, давай простимся с тобой на всякий случай. Дело, сам понимаешь, смертельное. Но раз вызвался, то отказать тебе не смею. Выручай, Коля… Мы тут больше двух часов не продержимся. Потери чересчур большие…» – «Ладно, говорю, Андрей, мы с тобой не в первый раз в такой оборот угодили. Через часок жди меня. Я там высмотрю, что надо. Ну, а уж если не вернусь, кланяйся там нашим, на Урале…»
И вот пополз я, хоронюсь по-за деревьями. Попробовал в одну сторону – нет, не пробиться: густым огнем немцы по тому участку кроют. Пополз в обратную сторону. Там на краю лесочка овраг был, буерак такой, довольно глубоко промытый. А на той стороне у буерака-кустарник, и за ним – дорога, поле открытое. Спустился я в овраг, решил к кустикам подобраться и сквозь них высмотреть, что в поле делается. Стал я карабкаться по глине наверх, вдруг замечаю, над самой моей головой две босые пятки торчат. Пригляделся, вижу: ступни маленькие, на подошвах грязь присохла и отваливается, как штукатурка, пальцы тоже грязные, поцарапанные, а мизинчик на левой ноге синей тряпочкой перевязан – видно, пострадал где-то… Долго я глядел на эти пятки, на пальцы, которые беспокойно шевелились над моей головой. И вдруг, сам не знаю почему, потянуло меня щекотнуть эти пятки… Даже и объяснить вам не могу. А вот подмывает и подмывает… Взял я колючую былинку да и покорябал ею легонько одну из пяток. Разом исчезли обе ноги в кустах, и на том месте, где торчали из ветвей пятки, появилась голова. Смешная такая, глаза перепуганные, безбровые, волосы лохматые, выгоревшие, а нос весь в веснушках.
– Ты что тут? – говорю я.
– Я, – говорит, – корову ищу. Вы не видели, дядя? Маришкой зовут. Сама белая, а на боке черное. Один рог вниз торчит, а другого вовсе нет… Только вы, дядя, не верьте… Это я все вру… пробую так. Дядя, – говорит, – вы от наших отбились?
– А это кто такие ваши? – спрашиваю.
– Ясно, кто – Красная Армия… Только наши вчера за реку ушли. А вы, дядя, зачем тут? Вас немцы зацапают.
– А ну, иди сюда, – говорю. – Расскажи, что тут в твоей местности делается.
Голова исчезла, опять появилась нога, а ко мне по глиняному склону на дно оврага, как на салазках, пятками вперед, съехал мальчонка лет тринадцати.
– Дядя, – зашептал он, – вы скорее отсюда давайте куда-нибудь. Тут немцы. У них вон у того леса четыре пушки стоят, а здесь сбоку минометы ихние установлены. Тут через дорогу никакого ходу нет.
– И откуда, – говорю, – ты все это знаешь?
– Как, – говорит, – откуда? Даром, что ли, с утра наблюдаю?
– Для чего же наблюдаешь?
– Пригодится в жизни, мало ль что…
Стал я его расспрашивать, и малец рассказал мне про всю обстановку. Выяснил я, что овраг идет по лесу далеко и по дну его можно будет вывести наших из зоны огня. Мальчишка вызвался проводить нас. Только мы стали выбираться из оврага, в лес, как вдруг засвистело в воздухе, завыло и раздался такой треск, словно вокруг половину деревьев разом на тысячи сухих щепок раскололо. Это немецкая мина угодила прямо в овраг и рванула землю около нас. Темно стало у меня в глазах. Потом я высвободил голову из-под насыпавшейся на меня земли, огляделся: где, думаю, мой маленький товарищ? Вижу, медленно приподымает он свою кудлатую голову от земли, начинает выковыривать пальцем глину из ушей, изо рта, из носа.
– Вот это так дало! – говорит. – Попало нам, дядя, с вами, как богатым… Ой, дядя, – говорит, – погодите! Да вы ж раненый.
Хотел я подняться, а ног не чую. И вижу – из разорванного сапога кровь плывет. А мальчишка вдруг прислушался, вскарабкался к кустам, выглянул на дорогу, скатился опять вниз и шепчет:
– Дядя, – говорит, – сюда немцы идут. Офицер впереди. Честное слово! Давайте скорее отсюда. Эх ты, как вас сильно…
Попробовал я шевельнуться, а к ногам словно по десять пудов к каждой привязано. Не вылезти мне из оврага. Тянет меня вниз, назад…
– Эх, дядя, дядя, – говорит мой дружок и сам чуть не плачет, – ну, тогда лежите здесь, дядя, чтоб вас не слыхать, не видать. А я им сейчас глаза отведу, а потом вернусь, после…
Побледнел он так, что веснушек еще больше стало, а глаза у самого блестят. «Что он такое задумал?» – соображаю я. Хотел было его удержать, схватил за пятку, да куда там! Только мелькнули над моей головой его ноги с растопыренными чумазыми пальцами – на мизинчике синяя тряпочка, как сейчас вижу… Лежу я и прислушиваюсь. Вдруг слышу: «Стой!… Стоять! Не ходить дальше!»
Заскрипели над моей головой тяжелые сапоги, я расслышал, как немец спросил:
– Ты что такое тут делал?
– Я, дяденька, корову ищу, – донесся до меня голос моего дружка, – хорошая такая корова, сама белая, а на боке черное, один рог вниз торчит, а другого вовсе нет. Маришкой зовут. Вы не видели?
– Какая такая корова? Ты, я вижу, хочешь болтать мне глупости. Иди сюда близко. Ты что такое лазал тут уж очень долго, я тебя видел, как ты лазал.
– Дяденька, я корову ищу, – стал опять плаксиво тянуть мой мальчонка. И внезапно по дороге четко застучали его легкие босые пятки.
– Стоять! Куда ты смел? Назад! Буду стрелять! – закричал немец.
Над моей головой забухали тяжелые кованые сапоги. Потом раздался выстрел. Я понял: дружок мой нарочно бросился бежать в сторону от оврага, чтобы отвлечь немцев от меня. Я прислушался, задыхаясь. Снова ударил выстрел. И услышал я далекий, слабый вскрик. Потом стало очень тихо… Я как припадочный бился. Я зубами грыз землю, чтобы не закричать, я всей грудью на свои руки навалился, чтобы не дать им схватиться за оружие и не ударить по фашистам. А ведь нельзя мне было себя обнаруживать. Надо выполнить задание до конца. Погибнут без меня наши. Не выберутся.
Опираясь на локти, цепляясь за ветви, пополз я… После уже ничего не помню. Помню только – когда открыл глаза, увидел над собой совсем близко лицо Андрея…
Ну вот, так мы и выбрались через тот овраг из лесу.
Он остановился, передохнул и медленно обвел глазами весь зал.
– Вот, товарищи, кому я жизнью своей обязан, кто нашу часть вызволить из беды помог. Понятно, стоять бы ему тут, у этого стола. Да вот не вышло… И есть у меня еще одна просьба к вам… Почтим, товарищи, память дружка моего безвестного – героя безымянного… Вот даже и как звать его, спросить не успел…
И в большом зале тихо поднялись летчики, танкисты, моряки, генералы, гвардейцы – люди славных боев, герои жестоких битв, поднялись, чтобы почтить память маленького, никому неведомого героя, имени которого никто не знал. Молча стояли понурившиеся люди в зале, и каждый по-своему видел перед собой кудлатого мальчонку, веснушчатого и голопятого, с синей замурзанной тряпочкой на босой ноге…

**Людмила Улицкая**

**Сонечка**

*Проблема семьи, личного счастья, отношения к классической литературе*

    От первого детства, едва выйдя из младенчества, Сонечка погрузилась в чтение. Старший брат Ефрем, домашний острослов, постоянно повторял одну и ту же шутку, старомодную уже при своем рождении:

    - От бесконечного чтения у Сонечки зад принял форму стула, а нос - форму груши.

    К сожалению, в шутке не было большого преувеличения: нос ее был действительно грушевидно-расплывчатым, а сама Сонечка, долговязая, широкоплечая, с сухими ногами и отсиделым тощим задом, имела лишь одну стать - большую бабью грудь, рано отросшую да как-то не к месту приставленную к худому телу. Сонечка сводила плечи, сутулилась, носила широкие балахоны, стесняясь своего никчемного богатства спереди и унылой плоскости сзади.

    Сострадательная старшая сестра, давно замужняя, великодушно говорила что-то о красоте ее глаз. Но глаза были самые обыкновенные, небольшие, карие. Правда, редкостно обильные ресницы росли в три ряда, оттягивая припухший край века, но и в этом особенной красоты не было, скорее даже помеха, поскольку близорукая Сонечка с раннего возраста носила очки…

    Целых двадцать лет, с семи до двадцати семи, Сонечка читала без перерыва. Она впадала в чтение как в обморок, оканчивавшийся с последней страницей книги.

    Был у нее незаурядный читательский талант, а может, и своего рода гениальность. Отзывчивость ее к печатному слову была столь велика, что вымышленные герои стояли в одном ряду с живыми, близкими людьми, и светлые страдания Наташи Ростовой у постели умирающего князя Андрея по своей достоверности были совершенно равны жгучему горю сестры, потерявшей четырехлетнюю дочку по глупому недосмотру: заболтавшись с соседкой, она не заметила, как соскользнула в колодец толстая, неповоротливая девочка с медленными глазами…

    Что это было - полное непонимание игры, заложенной в любом художестве, умопомрачительная доверчивость не выросшего ребенка, отсутствие воображения, приводящее к разрушению границы между вымышленным и реальным, или, напротив, столь самозабвенный уход в область фантастического, что все, остающееся вне его пределов, теряло смысл и содержание?..

    Сонечкино чтение, ставшее легкой формой помешательства, не оставляло ее и во сне: свои сны она тоже как бы читала. Ей снились увлекательные исторические романы, и по характеру действия она угадывала шрифт книги, чувствовала странным образом абзацы и отточия. Это внутреннее смещение, связанное с ее болезненной страстью, во сне даже усугублялось, и она выступала там полноправной героиней или героем, существуя на тонкой грани между ощутимой авторской волей, заведомо ей известной, и своим собственным стремлением к движению, действию, поступку…

    Выдыхался нэп. Отец, потомок местечкового кузнеца из Белоруссии, самородный механик, не лишенный и практической сметки, свернул свою часовую мастерскую и, преодолевая врожденное отвращение к поточному изготовлению чего бы то ни было, поступил на часовой завод, отводя упрямую душу в вечерних починках уникальных механизмов, созданных мыслящими руками его разноплеменных предшественников.

    Мать, до самой смерти носившая глупый паричок под чистой гороховой косынкой, тайно строчила на зингеровской машинке, обшивая соседок незамысловатой ситцевой одеждой, созвучной громкому и нищему времени, все страхи которого сводились для нее к грозному имени фининспектора.

    А Сонечка, кое-как выучив уроки, каждодневно и ежеминутно увиливала от необходимости жить в патетических и крикливых тридцатых годах и пасла свою душу на просторах великой русской литературы, то опускаясь в тревожные бездны подозрительного Достоевского, то выныривая в тенистые аллеи Тургенева и провинциальные усадебки, согретые беспринципной и щедрой любовью почему-то второсортного Лескова.

    Она окончила библиотечный техникум, стала работать в подвальном хранилище старой библиотеки и была одним из редких счастливцев, с легкой болью прерванного наслаждения покидающих в конце рабочего дня свой пыльный и душный подвал, не успев насытиться за день ни чередой каталожных карточек, ни белесыми листками требований, которые приходили к ней сверху, из читального зала, ни живой тяжестью томов, опускавшихся в ее худые руки.

    Многие годы она рассматривала само писательство как священнодействие: второразрядного писателя Павлова, и Павсания, и Паламу считала в каком-то смысле равнодостойными авторами - на том основании, что они занимали в энциклопедическом словаре место на одной странице. С годами она научилась самостоятельно отличать в огромном книжном океане крупные волны от мелких, а мелкие - от прибрежной пены, заполнявшей почти сплошь аскетические шкафы раздела современной литературы.

    Прослужив отрешенно-монашески несколько лет в книгохранилище, Сонечка сдалась на уговоры своей начальницы, такой же одержимой чтицы, как и сама Сонечка, и решилась поступать в университет на отделение русской филологии. И стала готовиться по большой и нелепой программе и совсем уж было собралась сдавать экзамены, как вдруг все рухнуло, все в один момент изменилось: началась война.

    Возможно, это было первое событие за всю ее молодую жизнь, которое вытолкнуло ее из туманного состояния непрестанного чтения, в котором она пребывала. Вместе с отцом, работавшим в те годы в инструментальной мастерской, она была эвакуирована в Свердловск, где очень скоро оказалась в единственном надежном местообитании - в библиотеке, в подвале…

    Неясно, была ли это традиция, угнездившаяся с давних пор в нашем отечестве: помещать драгоценные плоды духа, как и плоды земли, непременно в холодное подполье, - или была это предохранительная прививка для будущего десятилетия Сонечкииой жизни, которое ей предстояло провести именно с человеком из подполья, будущим ее мужем, который появился в этот беспросветно тяжкий первый год эвакуации…

    Роберт Викторович пришел в библиотеку в тот день, когда Сонечка заменяла заболевшую заведующую на выдаче книг. Он был ростом мал, остро-худ и серо-сед и не привлек бы внимания Сони, если бы не спросил ее, где находится каталог книг на французском языке. Книги-то французские были, но вот каталог на них давно затерялся за ненадобностью. Посетителей в этот вечерний час, перед закрытием, не было, и Сонечка повела необычного читателя в свой подвал, в дальний западноевропейский угол.

    Долго и ошеломлешю стоял он перед шкафом, склонив голову набок, с голодным и изумленным лицом ребенка, увидевшего блюдо пирожных. Сонечка стояла за его спиной, возвышаясь над ним на полголовы, и сама замирала от передававшегося ей волнения.

    Он обернулся к ней, поцеловал неожиданно ее худую руку и голосом низким и богатым мерцаниями, как свет синей лампы из простуженного детства, сказал:

    - Чудо какое… Какая роскошь… Монтень… Паскаль… - И, все еще не отпуская ее руки, со вздохом добавил:

    - И даже в эльзевировских изданиях…

    - Здесь девять Эльзевиров, - с гордостью кивнула растроганная Сонечка, отлично усвоившая книговедение, и он посмотрел на нее странным взглядом снизу вверх, но как бы сверху вниз, улыбнулся тонкими губами, показал щербатый рот, помедлил, как будто собираясь сказать что-то важное, но, передумав, сказал другое:

    - Выпишите мне, пожалуйста, читательскую карточку, или как это у вас называется?

    Соня вытянула свою руку, забытую в его сухих ладонях, и они поднялись вверх по хищно-холодной лестнице, отбиравшей и малое тепло от всяких ног, ее касающихся… Здесь, в тесном зальчике старого купеческого особняка, она впервые написала своей рукой его фамилию, совершенно ей дотоле неизвестную и которая ровно через две недели станет ее собственной. А пока она писала неловкие буквы чернильным карандашом, мелко крутящимся в штопаных шерстяных перчатках, он смотрел на ее чистый лоб и внутренне улыбался ее чудному сходству с молодым верблюдом, терпеливым и нежным животным, и думал: "И даже колорит: смуглое, печально-умбристое и розоватое, теплое…"

    Она кончила писать, подняла указательным пальцем съехавшие очки. Смотрела доброжелательно, незаинтересованно и выжидательно: он не продиктовал своего адреса.

    Он же был в глубоком замешательстве от напавшего на него внезапно, как ливень с высоты безмятежно-ясного неба, сильнейшего чувства совершения судьбы: он понял, что перед ним - его жена.

    Накануне ему исполнилось сорок семь лет. Он был человеком-легендой, но легенда эта благодаря внезапному и, как считали друзья, немотивированному возвращению на родину из Франции в начале тридцатых годов оказалась отрезанной от него и доживала свою устную жизнь в вымирающих галереях оккупированного Парижа вместе с его странными картинами, пережившими хулу, забвение, а впоследствии воскрешение и посмертную славу. Но ничего этого он не знал. В черном прожженном ватнике, с серым полотенцем вокруг кадыкастой шеи, счастливейший из неудачников, отсидевший ничтожный пятилетний срок и работающий теперь условно художником в заводоуправлении, он стоял перед нескладной девушкой и улыбался, понимая, что в нем совершается сейчас очередная измена, которыми столь богата была его поворотливая жизнь: он изменял и вере предков, и надежде родителей, и любви учителя, изменял науке и порывал дружеские связи, жестко и резко, как только начинал чувствовать оковы своей свободе… На этот раз он изменял твердому обету безбрачия, принятому в годы раннего и обманчивого успеха, отнюдь не связанному, впрочем, с обетом целомудрия.

    Был он женолюбом и потребителем, многую пищу получал от этого неиссякающего источника, но бдительно оберегался от зависимости, боялся сам превратиться в пищу той женской стихии, которая столь парадоксально щедра к берущим от нее и истребительно-жестока к дающим.

    А безмятежная душа Сонечки, закутанная в кокон из тысяч прочитанных томов, забаюканная дымчатым рокотом греческих мифов, гипнотически-резкими звуками флейты средневековья, туманной ветреной тоской Ибсена, подробнейшей тягомотиной Бальзака, астральной музыкой Дайте, сиреническим пением острых голосов Рильке и Новалиса, обольщенная нравоучительным, направленным в сердце самого неба отчаяньем великих русских, - безмятежная душа Сонечки не узнавала своей великой минуты, и мысли ее были заняты только тем, не совершает ли она рискованного шага, отдавая на руки читателю книги, которые имеет право отпускать лишь в читальный зал…

    - Адрес, - кротко попросила Сонечка.

    - Я, видите ли, прикомандирован. Я живу в заводоуправлении, - объяснил странный читатель.

    - Ну паспорт дайте, прописку, - попросила Сонечка.

    Он порылся в каком-то глубоком кармане и вынул мятую справку. Она долго смотрела сквозь очки, потом покачала головой.

    - Нет, не могу. Вы же областной…

    Кибела показала ему красный язык. Все пропало, показалось ему. Он сунул справку в глубину кармана.

    - Мы сделаем так: я возьму на свой формуляр, а вы перед отъездом принесете мне книги, - извиняющимся голосом сказала Сонечка.

    И он понял, что все в порядке.

    - Я только прошу вас, очень аккуратно, - ласково попросила она и завернула в лохматящуюся газету три малоформатных томика.

    Он сухо поблагодарил ее и вышел.

    Пока Роберт Викторович с отвращением размышлял о технологии знакомства и тяготах ухаживания, Сонечка неспешно закончила свой долгий рабочий день и собиралась домой. Она уже нимало не беспокоилась о возврате трех ценных книг, которые беспечно выдала незнакомцу. Все мысли ее были о дороге домой через холодный и темный город.

**\*\*\***

    Те особые, женские глаза, которые, подобно мистическому третьему глазу, открываются у девочек чрезвычайно рано, не то что были у Сони вовсе закрыты - скорее они были зажмурены.

    В ранней юности, по четырнадцатому году, словно повинуясь древней программе рода, тысячелетиями выдававшего замуж девиц в этом нежном возрасте, она влюбилась в своего одноклассника, миловидного курносенького Витьку Старостина. Влюбленность эта выражалась исключительно в нестерпимом желании на него смотреть, и ее ищущий взгляд вскоре был отмечен не только обладателем кукольной мордочки, но и всеми остальными одноклассниками, обнаружившими этот интересный аттракцион раньше, чем Соня отдала себе в этом отчет.

    Она старалась с собой справиться и все пыталась найти иной объект для глаза - прямоугольник доски ли, тетради, пыльного окна, - но взгляд с упорством компасной стрелки сам собой возвращался к русому затылку, все искал встречи с этим голубым, холодным, притягательным… Уже и сострадательная подруга Зоя шепнула ей, чтобы она так не таращилась. Но Сонечка с этим ничего не могла поделать. Глаз жадно требовал русоголовой пищи.

    Кончилось все это самым ужасным и незабываемым образом. Брутальный Онегин, изнемогший под тяжестью влюбленного взора, назначил своей молчаливой поклоннице свидание в боковой аллее скверика и не больно, но убийственно оскорбительно шлепнул ее два раза под одобрительный гогот четырех засевших в кустах одноклассников, которых можно было бы порицать за душевную грубость, если бы все эти юные соглядатаи поголовно не погибли в первую же зиму грядущей воины.

    Воспитательный урок тринадцатилетнего рыцаря был между тем настолько убедительным, что девочка заболела. Пролежала две недели в сильном жару. Очевидно, огонь влюбленности покидал ее таким классическим способом. Когда же, поправившись, она пришла в школу в ожидании нового унижения, трагикомическое ее приключение было совершенно заслонено самоубийством школьной красавицы Нины Борисовой, повесившейся в классе после окончания вечерней смены.

    Что же касается жестокосердного героя Витьки Старостина, он, к Сониному счастью, тем временем переехал с родителями в другой город, и Сонечка осталась при горьком сознании полной и окончательной исчерпанности женской биографии, что на всю жизнь освободило ее от старания нравиться, увлекать и очаровывать. Она не испытывала к своим удачливым сверстницам ни разрушительной зависти, ни изнуряющего душу раздражения и вернулась к своей рьяной и опьяняющей страсти - к чтению.

    …Роберт Викторович пришел через два дня, когда Сонечка уже не работала на выдаче. Он вызвал ее. Она поднялась из подвала, в три приема вырастая из темной дыры, близоруко и долго узнавала его, потом закивала как хорошему знакомому.

    - Сядьте, пожалуйста, - придвинул он стул.

    В маленьком читальном зале сидели несколько тепло одетых посетителей. Было холодно - едва топили.

    Сонечка присела на край стула. Расползающийся матерчатый треух лежал на краю стола рядом со свертком, который мужчина неторопливо и очень тщательно распаковывал.

    - Давеча я забыл у вас спросить, - своим светящимся голосом проговорил он, а Сонечка улыбнулась хорошему слову "давеча", которое давно ушло из общепринятого обихода в просторечье, - забыл я спросить ваше имя. Простите?

    - Соня, - коротко ответила она, все поглядывая, как он разворачивает сверток.

    - Сонечка… Хорошо, - как бы согласился он.

    Наконец обертка отшелушилась, и Соня увидела женский портрет, написанный на рыхлой грубоволокнистой бумаге нежной коричневой краской, сепией. Портрет был чудесный, и женское лицо было благородным, тонким, нездешнего времени. Ее, Сонечкино лицо. Она вдохнула в себя немного воздуху - и запахло холодным морем.

    - Это мой свадебный подарок, - сказал он. - Я, собственно, пришел, чтобы сделать вам предложение. - И он выжидательно посмотрел на нее.И тут Сонечка впервые разглядела его: прямые брови, нос с тонкой хребтиной, сухой рот с выровненными губами, глубокие вертикальные морщины вдоль щек и блеклые глаза, умные и угрюмые…

    Губы ее дрогнули. Она молчала, опустив глаза. Ей очень хотелось еще раз посмотреть в его лицо, такое значительное и притягательное, но призрак Витьки Старостина промелькнул за спиной, и она, уставившись в легкие извилистые линии рисунка, вдруг переставшего обозначать женское, а тем более ее собственное лицо, выговорила еле слышным, но холодным и отстраняющим голосом:

    - Это что, шутка?

    И тогда он испугался. Он давно уже не строил никаких планов: судьба завела его в такое мрачное место, в преддверие ада, его звериная воля к жизни почти исчерпалась, и сумерки посюстороннего существования не казались уже привлекательными, и вот теперь он видел женщину, освещенную изнутри подлинным светом, предчувствовал в ней жену, удерживающую в хрупких руках его изнемогающую, прильнувшую к земле жизнь, и видел одновременно, что она будет сладкой ношей для его не утружденных семьей плеч, для трусливого его мужества, избегавшего тягот отцовства, обязанностей семейного человека… Но как он подумал… как не пришло ему в голову раньше… может, она уже принадлежит другому, какому-нибудь молодому лейтенанту или инженеру в штопаном свитере?

    Кибела снова дразнила его красным острым языком, и ее веселая свита, составленная из непотребных, страшных, но все сплошь знакомых ему женщин, кривлялась в багровых отсветах.

    Он хрипло и принужденно засмеялся, придвинул к ней лист и сказал:

    - Я не шутил. Я просто не подумал, что вы можете быть замужем.

    Он встал, взял в руки свою немыслимую шапку.

    - Простите меня.

    И по-староофицерски резко поклонился, бросив вниз стриженую голову, и двинул к выходу. И тогда Сонечка крикнула ему в спину:

    - Постойте! Нет! Нет! Я не замужем!

    Сидящий за читальным столиком старик с подшивкой газет неодобрительно посмотрел в ее сторону. Роберт Викторович обернулся, улыбнулся ровными губами и от своей недавней растерянности, когда было заподозрил, что женщина от него ускользает, перешел к еще более глубокой: он совершенно не знал, что же говорить и делать он должен теперь.

**\*\*\***

    Откуда взялись у истощенного Роберта Викторовича и хрупкой от природы Сонечки силы, чтобы посреди бедственной пустыни эвакуационной жизни, посреди нищеты, подавленности, исступленного лозунга, едва покрывающего подспудный ужас первой военной зимы, выстраивать новую жизнь, замкнутую и уединенную, как сванская башня, однако вмещающую без малейших купюр все их разъединенное прошлое: ломаную, как движение ослепленной ночной бабочки, жизнь Роберта Викторовича с молниеносными и радостными поворотами от иудаики к математике и, наконец, к важнейшему делу его жизни, бессмысленному и притягательному размазыванию краски, как он сам определил свое ремесло, и Сонечкину жизнь, питавшуюся чужими книжными выдумками, лживыми и пленительными.

    Теперь же Сонечка вкладывала в их со вместную жизнь какое-то возвышенное и священное отсутствие опыта, безграничную отзывчивость ко всему тому важному, высокому, не вполне понятному содержанию, которое изливал на нее Роберт Викторович, сам не переставая дивиться, каким обновленным и переосмысленным становится его прошлое после долгих ночных разговоров. Наподобие касания к философскому камню, ночные беседы с женой оказывались волшебным механизмом очищения прошлого…

    Из пяти лагерных лет, вспоминал Роберт Викторович, особенно тяжелыми были первые два, потом как-то обмялось - стал писать портреты начальственных жен, делал по заказу копии с копий… Сами оригиналы были нищенскими образчиками падшего искусства, и Роберт Викторович, выполняя их, обычно развлекал себя каким-нибудь формальным способом, например, писал левой рукой. Попутно он сделал открытие об изменившемся в связи с временной леворукостью цветовосприятии…

    По внутренней организации Роберт Викторович был человеком аскетического склада, всегда умел обходиться минимальным, но, лишенный в течение многих лет того, что сам считал необходимым - зубной пасты, хорошего лезвия и горячей воды для бритья, носового платка и туалетной бумаги, - он радовался теперь каждой малой малости, каждому новому дню, освещенному присутствием жены Сони, относительной свободе человека, чудом освобожденного из лагеря и обязанного всего лишь в неделю раз отмечаться в местной милиции…

    Они жили лучше многих. В подвале заводоуправления художнику выделили безоконную комнату рядом с котельной. Было тепло. Почти никогда не отключали электричества. Истопник варил им картошку, которую приносил Сонечкин отец, добывающий дополнительное питание своим безотказным мастерством.

    Однажды Соня с легким оттенком пафоса, вообще ей не свойственного, сказала мечтательно:

    - Вот мы победим, кончится война, и тогда заживем такой счастливой жизнью…

    Муж прервал ее сухо и желчно:

    - Не обольщайся. Мы прекрасно живем сейчас. А что касается победы… Мы с тобой всегда останемся в проигрыше, какой бы из людоедов ни победил. - И мрачно закончил странной фразой:

    - От воспитателя моего я получил то, что не стал ни зеленым, ни синим, ни пармутарием, ни скутарием…

    - О чем ты? - с тревогой спросила Соня.

    - Это не я. Это Марк Аврелий. Синие и зеленые - это цвета партий на ипподроме. Я хотел сказать, что меня никогда не интересовало, чья лошадь придет первой. Для нас это не важно. В любом случае гибнет человек, его частная жизнь. Спи, Соня.

    Он накрутил себе на голову полотенце - была у него такая странная, в лагере нажитая привычка - и мгновенно заснул. А Сонечка долго лежала в темноте, мучаясь от недоговоренности и отодвигая от себя еще более ужасную, чем эта недоговоренность, догадку: муж ее обладал знанием столь опасным, что лучше было этого не касаться, - и она уводила свою тревожную мысль в другое место, к томным и тонким переборам внизу живота, и пыталась представить себе, как пальчики размером в четверть спички в такой же темноте, которая окружает сейчас и ее, легко проводят по мягкой стенке своего первого жилища, и улыбалась.

    А Сонечкино дарование яркого и живого восприятия книжной жизни отуманилось, как-то одеревенело, и оказалось вдруг, что самое незначительное событие по эту сторону книжных страниц - поимка мышки в самодельную ловушку, распустившаяся в стакане заскорузлая и сплошь мертвая ветка, горсть китайского чая, случайно добытая Робертом Викторовичем, - важнее и значительнее и чужой первой любви, и чуждой смерти, и даже самого спуска в преисподнюю, той крайней литературной точки, где совершенно сходились вкусы молодых супругов.

    Еще на второй неделе их скоропалительного брака Соня узнала от своего мужа нечто для нее ужасное: он был совершенно равнодушен к русской литературе, находил ее голой, тенденциозной и нестерпимо нравоучительной. Для одного только Пушкина неохотно делал исключение… Завязалась дискуссия, в которой Сонечкиной горячности Роберт Викторович противопоставил строгую и холодную аргументацию, Сонечкой не вполне понятую, и кончилась эта домашняя конференция горькими слезами и сладкими объятиями.

    Упрямый Роберт Викторович, оставлявший всегда последнее слово за собой, в глухом предутреннем часу успел еще сказать засыпающей жене:

    - Чума! Чума все эти авторитеты, от Гамалиила до Маркса… А уж ваши… Горький, весь дутый, и Эренбург, насмерть перепуганный… И Аполлинер тоже дутый…

    Сонечка на Аполлинере встрепенулась:

    - А ты и Аполлинера знал?

    - Знал, - нехотя отозвался он. - Во время той войны… Я с ним два месяца жилье делил. Потом меня в Бельгию перевели, под город Ипр. Знаешь такой?

    - Да, иприт, помню, - пробормотала Сонечка, восхищенная неисчерпаемостью его биографии.

    - Ну слава богу… Я как раз и попал в эту газовую атаку. Но я был на холме, с подветренной стороны, потому и не был отравлен. Я ведь везучий… счастливчик… - И чтобы еще раз удостовериться в своем исключительном, избранническом везении, просунул руку под Сонпины плечи.

    К русской литературе они больше не возвращались.

**\*\*\***

    За месяц до рождения ребенка срок неопределенной командировки Роберта Викторовича, которую он длил до последней возможности, кончился, и он получил предписание немедленно вернуться в башкирское село Давлеканово, где и надлежало ему дотягивать ссылку в надежде на будущее, которое все еще представлялось Сонечке прекрасным и в чем сильно сомневался Роберт Викторович.

    И отец, и совсем разболевшаяся легкими мать Сони уговаривали ее остаться в городе хоть до родов, но Сонечка твердо решила ехать вместе с мужем, да и сам Роберт Викторович не хотел разделяться с женой. На этом самом месте и проскользнула единственная тень недовольства зятем со стороны старого часовщика. Старик, потеряв к этому времени сына и старшего зятя, бессловесно и близко сошелся с Робертом Викторовичем: различие в их социальном уровне теперь, в перевернутом мире, оказалось не то чтобы несущественным, а скорее выявляло все мнимые преимущества интеллигента перед пролетарием. Что же касалось всего прочего, подводная часть культурного айсберга была у них единой…

    Семья собирала Соню сутки - столько времени отвели Роберту Викторович для окончания всех его дел. Мать, роняя желтые слезы, стремительно подрубала пеленки, тонкой заветной иглой нежно обметывала распашонки, выкроенные из собственной старой рубахи. Старшая сестра Сони, недавно потерявшая на фронте мужа, вязала из красной шерсти маленькие носочки, глядя перед собой неподвижными глазами. Отец, добывший пуд пшена, пересыпал его по маленьким мешочкам и все поглядывал с недоверием на Соню, которая хоть и была на девятом месяце, но так похудела за последнее время, что даже пуговицы на юбке не переставила, а беременность ее угадывалась скорее не по изменению фигуры, а по расплывшемуся лицу и припухшим губам.

    - Девочка, девочка будет, - тихонько говорила мать. - Дочери, они всегда материнскую красоту пьют…

    Сестра Сони безучастно кивала, а Сонечка растерянно улыбалась и все твердила про себя: "Господи, если можно, девочку… - если можно, беленькую…"

**\*\*\***

    Ночью знакомый железнодорожник посадил их в маленький, трехвагонный состав, стоявший в полутора километрах от станции, в вагон, сохранивший следы благородного происхождения в виде добротных деревянных панелей. Впрочем, мягкие диваны и откидные столики давно были выломаны и пульмановская роскошь заменена дощатыми скамьями.

    От Свердловска до Уфы ехали больше полутора суток в туго набитом вагоне, и всю дорогу почему-то вспоминалась Роберту Викторовичу его шальная юношеская поездка в Барселону, куда рванул он, получив первые крупные деньги, году в двадцать третьем или двадцать четвертом знакомиться с Гауди.

    Сонечка доверчиво спала почти все время их путешествия, упершись ногами в пышный узел одеяла и привалившись плечом к худой груди мужа, а он все вспоминал кривую, ползущую вверх улицу, на которой стояла его гостиница, круглый наивный фонтанчик перед окном, смуглое лицо с вырезанными ноздрями необыкновенно красивой проститутки, с которой он купечески кутил всю ту барселонскую неделю. Он шарил в памяти и легко находил в ней мелкие и яркие детали: совершенно совиную морду официанта в гостиничном ресторане, чудесные плетеные туфли из палевой телячьей кожи, купленные в магазине с огромной синей вывеской "Гомер", и даже имя этой барселонской девчонки вспомнил - Кончетта! Итальянка она была, приезжая, родом из Абруцци… А Гауди ему совершенно не понравился… Во всех подробностях теперь, через четверть века, он видел перед собой эти странные сооружения, совершенно растительные, сплошь надуманные и не правдоподобные…

    Сонечка чихнула, полупроснулась, что-то пробормотала. Он прижал к себе ее сонную руку, вернулся в окрестности Уфы, в дикую Башкирию, и улыбнулся, качая седой головой и недоумевая: "Да я ли был там? Я ли теперь здесь? Нет, нет никакой реальности вообще…"

**\*\*\***

    Родильный дом, куда на исходе женского срока при первых же знаках приближающихся родов повел Роберт Викторович Сонечку, стоял на окраине большого плоского села, в безлесном растоптанном месте. Само строение было из глиняных, вымешанных с соломой кирпичей, убогое, с маленькими мутными окнами.

    Единственным врачом был легко краснеющий немолодой блондин с тонкой белой кожей, пан Жувальский, беженец из Польши, в недавнем прошлом модный варшавский доктор, светский человек и любитель хороших вин. Он стоял спиной к вошедшим посетителям, сверкая голубоватой белизной халата, неуместной, но успокаивающей, кусал концы светлых усов и протирал замшевой тряпочкой стекла своих крупных очков. Сюда, к этому окну, он подходил несколько раз в день, смотрел на бесформенную, в грязных клочьях травы землю, вместо стройной Ерусалимской аллеи, куда выходили окна его варшавской клиники, и промакивал слезящиеся глаза красным, в зеленую клетку английским платком, последним из сохранившихся..

    Он только что осмотрел приехавшую за сорок верст верхом немолодую башкирку, крикнул санитарке: "Подмойте даму!" - и стоял теперь, унимая невольную дрожь оскорбления в груди и с тоской вспоминая своих атласных пациенток, молочно-сладковатые запахи их выхоленных дорогостоящих гениталий.

    Он обернулся, почувствовав чье-то присутствие у себя за спиной, и обнаружил сидящую на скамье крупную молодую женщину в светлом поношенном пальто и остролицего седого мужчину в залатанной тужурке.

    - Я осмелился побеспокоить вас, доктор, - заговорил мужчина, и пан Жувальский, с первых звуков голоса почуяв в нем принадлежность к своей касте, к попранной европейской интеллигенции, двинулся навстречу с улыбкой узнавания.

    - Прошу вас… Пожалуйста. Вы с супругой? - полувопросительно произнес пан Жувальский, отметив их большую разницу в возрасте, допускавшую и какие-то иные отношения между этими по виду мало подходящими людьми. Он указал на занавеску, где был выгорожен для него крохотный кабинетик.

    Еще через пятнадцать минут он осмотрел Сонечку, подтвердил приближение родов, однако велел набраться терпения часов до десяти, если все пойдет правильно и своевременно.

    Соню положили на кровать, покрытую каляной холодной клеенкой, пан Жувальский похлопал ее по животу жестом скорее ветеринарским и отошел к башкирке, которая, как выяснилось, три дня назад родила мертвого ребенка, и все было хорошо, а теперь вот стало нехорошо.

    Через два с половиной часа доктор с большими слезами на чисто выбритых щеках вышел на крыльцо, где сидел, никуда не отходя, сумрачный Роберт Викторович, и громко, трагически зашептал ему в ухо:

    - Меня надо расстреливать. Я не имею права оперировать в таких условиях. У меня ничего, буквально ничего нет. Но не оперировать я не могу. Через сутки она умрет от сепсиса!

    - Что с ней? - одеревеневшим языком спросил Роберт Викторович, представив себе умирающую Сонечку.

    - Ах, боже мой! Простите! С вашей женой все в порядке, идут схватки, я про эту несчастную башкирку…

    Роберт Викторович хрупнул зубами, выматерился про себя: он терпеть не мог нервических мужчин, одержимых желанием ежеминутно выговаривать свои переживания. Он зажевал губами и посмотрел в сторону… Маленькая двухкилограммовая девочка, которую родила Соня в те пятнадцать минут, пока пан Жувальский разговаривал на крыльце, была беленькой и узколицей, точь-в-точь такой, как Сопя ее задумала.

**\*\*\***

    Все у Сонечки изменилось так полно и глубоко, как будто прежняя жизнь отвернулась и увела с собой все книжное, столь любимое Соней содержание и взамен оставила немыслимые тяготы неустроенности, нищеты, холода и каждодневных беспокойных мыслей о маленькой Тане и Роберте Викторовиче, которые попеременно болели.

    Семье не выжить бы, если б не постоянная помощь отца, который ухитрялся добывать для них и посылать все самое необходимое, чем они жили. На все уговоры родителей переехать с ребенком в Свердловск на это самое тяжелое время Соня отвечала одним: мы с Робертом Викторовичем должны быть вместе.

    После дождливого, похожего на нескончаемую осень лета без всякого перехода наступила суровая зима. В зыбком домике из сырых саманных кирпичей подвальная комната в заводоуправлении вспоминалась как тропический райский сад.

    Главной заботой было топливо. Школа комбайнеров, где Роберт Викторович служил бухгалтером, давала иногда лошадь, и он еще с осени довольно часто уезжал в степь, чтобы нарезать сухостойных высоких трав, похожих на камыш, названия которых он так и не узнал. С верхом груженной телеги хватало на двое суток топки, это он знал по опыту той зимы, которую провел в селе до отъезда в Свердловск.

    Он прессовал траву, забивал самодельными брикетами пристройку. Поднял часть пола, который сам и настелил в свое время, не подумав о необходимости хранилища для картошки. Вырыл подпол, осушил его, укрепил ворованными досками. Он построил уборную, и его сосед старик Рагимов качал головой и усмехался: в здешних краях деревянную доску с вырезанным очком считали излишней роскошью и обходились испокон веку тем недальним местом, что называлось "до ветру".

    Он был вынослив и жилист, и физическая усталость была утешительна его душе, страдающей острым отвращением к бессмысленному счету фальшивых цифр, составлению ложных сводок и фиктивных актов о списании разворованного горючего, украденных запчастей и проданных на местном базаре овощей с подсобного хозяйства, которым ведал пройдоха огородник, веселый и бесстыжий хохол с искалеченной правой рукой.

    Зато каждый вечер он отворял дверь своего дома и в живом огнедышащем свете керосиновой лампы, в неровном мерцающем облаке он видел Соню, сидящую на единственном стуле, переоборудованном Робертом Викторовичем в кресло, и к заостренному концу ее подушкообразной груди была словно приклеена серенькая и нежно-лохматая, как теннисный мяч, головка ребенка. И все это тишайшим образом колебалось и пульсировало: волны неровного света и волны невидимого теплого молока, и еще какие-то незримые токи, от которых он замирал, забывая закрыть дверь. "Двери!" - протяжным шепотом возглашала Сонечка, вся улыбаясь навстречу мужу, и, положив дочку поперек их единственной кровати, доставала из-под подушки кастрюлю и ставила ее на середину пустого стола. В лучшие дни это был густой суп из конины, картошки с подсобного огорода и пшена, присланного отцом. Просыпалась Сонечка на рассвете от мелкого копошения девочки, прижимала ее к животу, сонной спиной ощущая присутствие мужа. Не раскрывая глаз, она расстегивала кофту, вытягивала отвердевшую к утру грудь, дважды нажимала на сосок, и две длинные струи падали в цветастую тряпочку, которой она обтирала сосок. Девочка начинала ворочаться, собирать губы в комочек, чмокать и ловила сосок, как маленькая рыбка большую наживу. Молока было много, оно шло легко, и кормление с маленькими торканьями соска, подергиванием, легким прикусыванием груди беззубыми деснами доставляло Соне наслаждение, которое непостижимым образом чувствовал муж, безошибочно просыпаясь в это предутреннее раннее время. Он обнимал ее широкую спину, ревниво прижимал к себе, и она обмирала от этого двойного груза непереносимого счастья. И улыбалась в первом свете утра, и тело ее молчаливо и радостно утоляло голод двух драгоценных и неотделимых от нее существ.

    Это утреннее чувство отсвечивало весь день, все дела делались как бы сами собой, легко и ловко, и каждый божий день, не сливаясь с соседствующими, запоминался Сонечкой в своей отдельности, то с полуденным ленивым дождем, то с прилетевшей и усевшейся на ограде крупной кривоногой птицей ржаво-железною цвета, то с первой ребристой полоской раннего зуба в набухшей десне дочки. На всю жизнь сохранила Соня - кому нужна эта кропотливая и бессмысленная работа памяти - рисунок каждого дня, его запахи и оттенки и особенно, преувеличенно и полновесно, - каждое слово, сказанное мужем во всех сиюминутных обстоятельствах.

    Много лет спустя Роберт Викторович не раз удивлялся неразборчивой памятливости жены, сложившей на потаенное дно весь ворох чисел, часов, деталей. Даже игрушки, которые во множестве и с давно забытой творческой радостью мастерил для подрастающей дочери Роберт Викторович, Сонечка помнила все до единой. Всякую мелочь - вырезанных из дерева животных, скрученных из веревок летающих птиц, деревянных кукол с опасными лицами - Сонечка увезла потом в Москву, но никогда не забыла и того, что было оставлено рагимовским детям и внукам, дружной стайке одинаковых тощих воробышков: раздвижную крепость для куклы-короля с готической башней и подъемным мостом, римский цирк со спичечными фигурками рабов и зверей и довольно громоздкое сооружение с ручкой и множеством цветных дощечек, способных двигаться, трещать и производить смешную варварскую музыку…

    Затеи эти много превосходили игровые возможности маленького ребенка. Остропамятливая девочка, сохранившая, как и мать, множество воспоминаний этого времени, не запомнила этих игрушек, может быть, отчасти и потому, что уже в Александрове, куда переселилась семья с Урала в сорок шестом году, Роберт Викторович строил ей целые фантастические города из щепок и крашеной бумаги, богатые подходы к тому, что впоследствии назвали бумажной архитектурой. Хрупкие эти игрушки исчезли в многочисленных переездах семьи в конце сороковых и начале пятидесятых.

    Если первая половина жизни Роберта Викторовича проходила в крупных и шальных географических бросках из России во Францию, потом в Америку, на Балканы, в Алжир, снова во Францию и, наконец, опять в Россию, то вторая половина, отбитая лагерем и ссылкой, проходила в мелких перебежках: Александров, Калинин, Пушкино, Лиапозово. Так целое десятилетие он снова приближался к Москве, которая отнюдь не казалась ему ни Афинами, ни Иерусалимом.

    Эти первые послевоенные годы семью кормила Сонечка, унаследовавшая материнскую швейную машинку и невинную дерзость самоучки, способной пристрочить рукав к вырезу проймы. Заказчики ее были нетребовательны, а сама мастерица старательна и без запроса.

    Роберт Викторович работал на каких-то полуинвалидных работах, то сторожем в школе, то счетоводом в артели, производящей чудовищные железные скобы неизвестного назначения. Вскормленный на вольных парижских хлебах, Роберт Викторович и помыслить не мог о профессиональной работе на службе у скучного и унылого государства, даже если бы и смог примириться с его тупой кровожадностью и бесстыдной лживостью.

    Свои художественные фантазии он удовлетворял на белоснежных планшетах, сооружая третье поколение бумажно-щепочных строений, которыми когда-то занимал дочь. Мимоходом в нем открылось особое качество видения разверток, точное чутье на пространственно-плоскостные отношения, и глаз нельзя было отвести от причудливых фигур, которые он вырезал из цельного листа и потом, где-то чуть промяв, где-то согнув и вывернув наизнанку, складывал предмет, не имеющий имени и никогда доныне не существовавший в природе.

    Игра, выдуманная когда-то для дочери, стала его собственной.

    Женская доверчивость Сони не знала границ. Талант мужа был однажды принят на веру, и она в благоговейном восхищении рассматривала все, что выходило из его рук. Она не понимала ни сложных пространственных задач, ни тем более элегантных решений, но она чуяла в его странных игрушках отражение его личности, движение таинственных сил и счастливо проговаривала про себя свой заветный мотив: "Господи, господи, за что же мне такое счастье…"

    Живопись Роберт Викторович, можно сказать, забросил. Из его прежних развлечений с Танечкой вышло новое ремесло. Покровительствовал, как всегда, случай: в александровской электричке он столкнулся с известным художником Тимлером, знакомым ему еще по Парижу и поддерживавшим с ним отношения после возвращения в Москву вплоть до ареста. Художник этот с репутацией формалиста - кто и когда объяснит, что имела в виду под этой кличкой зарвавшаяся и узаконенная бездарность, - укрывался в те годы в театре. Он приехал к Роберту Викторовичу, полтора часа простоял в дощатом сарае перед несколькими композициями, подписанными рядами арабских цифр и еврейских букв, и, сын местечкового плотника, два года проучившийся в хедере, оценив их исключительное качество, постеснялся спросить автора о значении этих странных рядов, а самому Роберту Викторовичу и в голову не пришло пускаться в объяснение этой несомненной для него связи каббалистической азбуки, сухого остатка его юношеского увлечения иудаикой и дерзких игр с разъятием и выворачиванием пространства.

    Тимлер долго молча пил чай, а перед отъездом хмуро сказал:

    - Здесь очень сыро, Роберт, вы можете перевезти свои работы в мою мастерскую.

    Предложение это означало полное признание и было весьма благородным, но Роберт Викторович им не воспользовался. Вызванные к случайному существованию необозначенные предметы вернулись в небытие, сгнив в одном из последующих сараев и не переживя многих переездов.

    Здесь же, в сарае, знаменитый Тимлер дал Роберту Викторовичу первый заказ на театральный макет. Спустя некоторое время макеты его прославились по всей театральной Москве, и заказы не переводились. На полуметровой сцене он сооружал то горьковскую ночлежку, то выморочный кабинет покойника, то громоздил бессмертные лабазы Островского.

**\*\*\***

    Между дровяными сараями, голубятнями и скрипучими качелями ходила странная Таня. Она любила носить старые материнские платья. Тощая высокая девочка тонула в Сонечкиных балахонах, подвязанных в талии блеклым кашемировым платком. Вокруг узкого лица, как зрелое, но не облетевшее еще одуванчиковое семя, держались стоячие упругие волосы, не продираемые гребнем, не заплетающиеся в косички. Она сновала в густом воздухе, перегруженном запахами старых бочек, тлеющей садовой мебели и плотными, слишком плотными тенями, которые окружают обветшалые и ненужные вещи, и вдруг, как хамелеон, исчезала в них. Она замирала надолго и вздрагивала, когда ее окликали. Сонечка беспокоилась, жаловалась мужу на нервность, странную задумчивость дочери. Он клал руку на Сонино плечо и говорил:

    - Оставь ее. Ты же не хочешь, чтобы она маршировала…

    Сонечка пыталась приохотить Таню к книгам, но Таня, слушая мастерское Сонино чтение, стекленела глазами и уплывала, куда Соне и не снилось.

    За годы своего замужества сама Сонечка превратилась из возвышенной девицы в довольно практичную хозяйку. Ей страстно хотелось нормального человеческого дома, с водопроводным краном на кухне, с отдельной комнатой для дочери, с мастерской для мужа, с котлетами, компотами, с белыми крахмальными простынями, не сшитыми из трех неравных кусков. Во имя этой великой цели Соня работала на двух работах, строчила ночами на машинке и втайне от мужа копила деньги. К тому же она мечтала объединиться с овдовевшим отцом, который почти ослеп и был очень слаб.

    Мотаясь в пригородных автобусах и расхлябанных электричках, она быстро и некрасиво старилась: нежный пушок над верхней губой превращался в неопрятную бесполую поросль, веки ползли вниз, придавая лицу собачье выражение, а тени утомления в подглазьях уже не проходили ни после воскресного отдыха, ни после двухнедельного отпуска.

    Но горечь старения совсем не отравляла Сонечке жизнь, как это случается с гордыми красавицами: незыблемое старшинство мужа оставляло у нее непреходящее ощущение собственной неувядающей молодости, а неиссякаемое супружеское рвение Роберта подтверждало это. И каждое утро было окрашено цветом незаслуженного женского счастья, столь яркого, что привыкнуть к нему было невозможно. В глубине же души жила тайная готовность ежеминутно утратить это счастье - как случайное, по чьей-то ошибке или недосмотру на нее свалившееся. Милая дочка Таня тоже казалась ей случайным даром, что в свой час подтвердил и гинеколог: матка у Сонечки была так называемая детская, недоразвитая и не способная к деторождению, и никогда больше после Танечки Соня не беременела, о чем горевала и даже плакала. Ей все казалось, что она недостойна любви своего мужа, если не может приносить ему новых детей.

**\*\*\***

    В начале пятидесятых Сониными огромными трудами и хлопотами семья полуобменяла-полуприкупила жилье, и въехали они в целую четверть двухэтажного деревянного дома, одного из немногих оставшихся к тому времени строений в почти сведенном Петровском парке, возле метро "Динамо". Дом был чудесный - бывшая дача известного до революции адвоката. Четверть сада, примыкавшего к дому, тоже была в придачу к квартире.

    Все состоялось. У Тани была отдельная комната, светелка во втором этаже, Сонин отец, доживавший последний свой год, занимал угловушку, на утепленной террасе Роберт Викторович устроил мастерскую. Стало просторней и с деньгами.

    По случайному стечению квартирообменных обстоятельств Роберт Викторович оказался вблизи московского Монмартра, в десяти минутах ходьбы от целого городка художников. К полной своей неожиданности, в том месте, которое он считал опустошенным и вытоптанным, он нашел себе если не единомышленников, то по крайней мере собеседников: российского барбизонца, покровителя бездомных котов и подбитых птиц, Алесандра Ивановича К., писавшего свои буйные картины, сидя на сырой земле, и утверждавшего, что это Антеево прикосновение его седалища придает ему творческие силы; лысого украинского дзэн-буддиста Григория Л., устраивавшего на бумаге прозрачный фарфор и шелк, десятки раз перекрывая акварельные слои то чаем, то молоком; пестроволосого, с перебитым носом поэта Гаврилина, обладавшего врожденным даром рисовальщика: на больших, неровно обрезанных листах оберточной бумаги среди замысловатых фигур он рисовал свои поэмы-палиндромы, словесно-шрифтовые шифровки, восхищавшие Роберта Викторовича.

    Все эти странные люди, обнаружившие себя в начале обманчивой оттепели, тянулись к Роберту Викторовичу, и постепенно его замкнутый дом превратился в своего рода клуб, где сам хозяин играл роль почетного председателя.

    Он был, как всегда, немногословен, но одного его скептического замечания, одной усмешки было достаточно, чтобы выправить заблудшую дискуссию или повести разговор в новое русло. Тяжко молчавшая много лет страна заговорила, но этот вольный разговор велся при закрытых дверях, страх еще стоял за спиной.

    Сонечка штопала Танин чулок, натянув его на скользкий деревянный мухомор, и прислушивалась к разговору мужчин. То, о чем они говорили - о зимних воробьях, о видениях Мейстера Экхарда, о способах заварки чая, о теории цвета Гете, - никак не соотносилось с заботами стоявшего на дворе времени, но Сонечка благоговейно грелась перед огнем этого всемирного разговора и все твердила про себя: "Господи, господи, за что же мне все это…"

**\*\*\***

    Плосконосый Гаврилин, любитель всех искусств, имел привычку лазать по журналам. Однажды он наткнулся в библиотеке в американском искусствоведческом журнале на большую статью о Роберте Викторовиче. Краткая биографическая справка о художнике оканчивалась несколько преувеличенным сообщением о его смерти в сталинских лагерях в конце тридцатых годов. Аналитическая часть статьи была написана слишком сложным для поэта языком, он не все понял, но из того, что ему удалось перевести, следовало, что Роберт Викторович чуть ли не классик и уж, во всяком случае, пионер художественного направления, изо всех сил расцветающего теперь в Европе. К статье прилагалось четыре цветных репродукции.

    На следующий же день Роберт Викторович в сопровождении друга-барбизонца пошел в московскую библиотеку, разыскал статью и пришел в неописуемую ярость оттого, что одна из четырех репродуцируемых картин не имела к нему никакого отношения, ибо принадлежала Моранди, а другая напечатана вверх ногами. Когда же он прочитал статью, он пришел в еще большую ярость.

    - Америка еще в двадцатые годы производила на меня впечатление страны беспросветных дураков. Видно, она не поумнела, - фыркнул он.

    Однако Гаврилин растрезвонил об этой статье по всему околотку, и старого макетчика вспомнили даже разбитные быстродействующие театральные художники и прибежали заново знакомиться. Неожиданным следствием всей этой беготни было принятие Роберта Викторовича в Союз художников и получение им мастерской. Это было хорошее ателье, окнами на стадион "Динамо", ничуть не хуже того последнего, парижского, мансарды на улице Гей-Люссак, с видом на Люксембургский сад.

**\*\*\***

    Сонечке было уже под сорок. Она поседела и сильно располнела. Легкий и сухой, как саранча, Роберт Викторович мало менялся, и они постепенно как-то сравнялись в возрасте. Таня немного стеснялась старости своих родителей, так же как и своего большого роста, ступней, груди. Все было не в масштабе, не в размере того десятилетия, когда акселераты еще не народились. Но в отличие от Сони рядом с ней не было подсмеивающегося старшего брата, а со всех стен благотворно смотрели ее чудесные портреты во всех детских возрастах. И эти портреты смягчали Танино недовольство собой. С седьмого класса она начала получать убедительные доказательства своей привлекательности от недоросших одноклассников и более старших мальчиков.

    С раннего детства все Танины желания были легко удовлетворимы. Любящие родители по этой части сильно усердствовали, обычно забегая впереди ее желаний. Рыбки, собака, пианино появлялись едва ли не в тот же день, когда девочка о них заговаривала.

    С самого рождения она была окружена чудесными игрушками, и игра, самостоятельная, не требующая иных участников, была главным содержанием ее жизни. Так и получилось, что, выйдя из развлечений своего затянувшегося детства, года два проспала она, промаялась на известном переходе и, рано поняв, какую именно игру предпочитают взрослые, отдалась ей с ясным сознанием своего права на удовольствия и свободой не подавленной личности.

    Ничего и близко похожего на унизительную любовь Сонечки к Вите Старостину у Тани не было. Хотя она не была красавицей усредненного канона и была совершенно лишена общепринятой миловидности, ее длинное лицо с тонким в хребте носом, в сильно вздыбленных кудрявых волосах, узкие светло-стеклянные глаза были на редкость притягательными. Ровесников привлекала также Танина манера постоянно играть: с книгой, карандашом, с собственной шапкой. В ее руках постоянно происходил маленький, заметный только ближайшему соседу театр.

    Однажды, заигравшись с пальцами и губами своего приятеля Бориски, к которому бегала списывать домашние задания по математике, она обнаружила некий предмет, ей не принадлежавший, который чрезвычайно увлек ее. Дверь в комнату родителей Бориски в этот вечерний час была приоткрыта, и эта светлая широкая щель с двумя толстыми тенями перед телевизором тоже как бы входила в условия игры, которые они прекрасно соблюли, подавая друг другу реплики, совершенно не имеющие отношения к происходящему. И хотя сеанс этот начался с невинного детского обмена вопросами: "А ты никогда не пробовал?", "А ты?" - после чего не знающая ни в чем отказа Танечка предложила: "Давай попробуем!" - сеанс этот закончился кратким введением - в прямом и переносном смысле - в новый предмет.

    В обжигающий момент из соседней комнаты поступило несвоевременное предложение поужинать, и дальнейшие пробы были отложены до более благоприятного времени.

    Следующие встречи происходили уже в отсутствие родителей. Самым увлекательным для Тани было новое осознание своего тела: оказалось, что каждая его часть - пальцы, грудь, живот, спина - обладает разной отзывчивостью к прикосновениям и позволяет извлекать из себя всякие прелестные ощущения, и это взаимоисследование доставляло обоим массу удовольствия.

    Щуплый веснушчатый мальчик с выпирающими вперед крупными зубами и воспаленными уголками губ также проявил незаурядный талант, и в течение двух месяцев юные экспериментаторы, вдохновенно трудясь от трех до половины седьмого, то есть до прихода Борискиных родителей, в полном объеме усвоили всю механическую сторону любви, не испытав при этом ни малейшего чувства, выходящего за рамки дружеского и делового партнерства.

    А потом между ними произошел конфликт, что называется, на производственной почве: Таня взяла у Бориски тетрадь по геометрии - и потеряла. И сообщила ему об этом в совершенно легкомысленной форме, даже не извинившись. Бориска, человек аккуратный и даже педантичный, страшно возмутился - не столько фактом потери тетради, сколько полным непониманием Таней неприличия своего поведения. Таня назвала его занудой, он ее - жлобихой. Они поссорились.

    В высвободившееся от трех до половины седьмого время Бориска стал усиленно заниматься математикой, полностью определил свое призвание в области точных наук, а Танечка, нисколько не гонявшаяся за жизнеустройством, выдувала плохонькую деревянную музыку из флейты в своей светелке, грызла ногти и читала… О, бедная Сонечка, светлая ее юность, прошедшая на высокогорьях всемирной литературы! - фантастику, только фантастику, как зарубежную, так и отечественную, читала ее гуманитарно невинная дочь…

    Тем временем на шаткие звуки Таниной флейты стягивались войска поклонников. Самый воздух вокруг нее был накален, ее наэлектризованные кудри стояли дыбом и искрили мелкими разрядами при одном только приближении руки. Сонечка еле успевала открывать и затворять двери за молодыми людьми в зоологических свитерах с угловатыми оленями и сизых гимнастерках и кителях, анахронической одежде школьников конца пятидесятых годов, придуманной в припадке ностальгического слабоумия каким-то престарелым министром наробразования.

    Владимир А., выдающийся музыкант, скандальнейшим образом оставшийся в Европе в те годы, когда по эту сторону границы такой поступок воспринимался как политическое преступление, в книге своих воспоминаний, изданной в конце девяностых годов и обнаружившей в нем незаурядные дарования литератора, опишет музыкальные вечера в Таниной комнате, ее прямострунное пианино с чудесным звуком и нуждающееся в ежедневной настройке. С нежностью вспоминает он этот странный инструмент, открывший начинающему музыканту тайну индивидуальности вещи. Он говорит о нем, как можно было бы говорить о старенькой, давно умершей родственнице, кормившей автора в детстве незабываемыми пирожками с начинкой из одной вишни…

    По свидетельству Владимира А., именно в Таниной комнате, выходящей затейливым окном в сад, на старую яблоню с раздвоенным стволом, аккомпанируя слабенькой Таниной флейте, он впервые испытал волнение творческого взаимопонимания и радостно шел на некоторое музыкальное самоуничтожение, чтобы предоставить робкой флейте более значительное положение.

    Владимир А., в ту пору маленький, толстоватый, похожий на тапира мальчик, был влюблен в Таню. Она оставила глубокий след в его жизни и душе, и обе его жены - первая, московская, и вторая, лондонская, - несомненно, принадлежали к тому женскому типу.

    Вторым музыкальным собеседником был Алеша Питерский - под такой кличкой его знали в Москве. Классической выучке Володи он противопоставлял гитарную свободу и полное владение всеми предметами, которые могли издавать звук, от губной гармошки до двух консервных банок. К тому же он был поэт и высоким петрушечьим голосом пел первые песни новой подпольной культуры.

    Были еще несколько мальчиков, скорее присутствователей, чем участников, но и они были необходимы, поскольку создавали восхищенную аудиторию, в которой нуждались обе будущие знаменитости.

**\*\*\***

    В годы своей юности Роберт Викторович тоже был центром завихрения каких-то невидимых потоков, но это были потоки иного свойства, интеллектуального. На них, как и на зов Таниной дудочки, тоже стекались молодые люди. Примечательно, что кружок этих рано взрослевших еврейских мальчиков, тинэйджеров по современным понятиям, в острые предвоенные годы исследовал не модный в ту пору марксизм, а "Сефер ха-зохари", "Книгу сияний", основной трактат каббалы. Эти мальчики с Подола, еврейской окраины Киева, собирались в доме Авигдора-мельника, отца Роберта Викторовича, и дом этот примыкал стена к стене к соседнему, принадлежащему Шварцману, отцу Льва Шестова, с которым спустя двадцать лет, уже в Париже, близко сойдется Роберт Викторович.

    Ни один из тех мальчиков, кому выпало пережить годы войн и революций, не стал ни традиционным еврейским философом, ни вероучителем. Все они выросли в "эпикейрес", то есть в "свободомыслящих". Один стал блестящим теоретиком и несколько менее удачливым практиком начинающего кинематографа, второй - известным музыкантом, третий - хирургом с благословенными руками, и все они были вскормлены одним молоком, тем молодым электричеством, что накапливалось под крышей Авигдора-мельника.

    Происходящее вокруг Тани, как догадался Роберт Викторович, было то самое, чем и его молодость была заряжена, но под знаком иной стихии, женской, столь ему враждебной, да еще с поправкой на обнищалое, выродившееся поколение…

    Роберт Викторович первым заметил, что поздние Танины посетители уходят иногда рано утром. Сохранивший на всю жизнь привычку к раннему просыпанию, Роберт Викторович, выйдя в шестом часу утра из жилой части дома в свою мастерскую-террасу, где любил проводить эти первые, наиболее чистые, по его ощущению, часы, заметил свежие следы, ведущие с крыльца к калитке по только что выпавшему снегу. Через несколько дней он заметил их снова и осторожно спросил у жены, не ночевала ли у них Сонина сестра. Сонечка удивилась: нет, Аня не ночевала…

    Роберт Викторович не стал производить расследование, поскольку на следующее утро увидел, как через садик выходит высокий молодой человек в тощей курточке. Соне о своем открытии он ни слова не сказал. И Сонечка клонила ночную тяжелую голову на мужнее плечо и жаловалась:

    - Она не учится… ничего не делает… в школе ее ругают… какие-то намеки гадкие эта ее… Раиса Семеновна…

    Роберт Викторович утешал ее:

    - Оставь, Соня, оставь. Это все мертвое и смердит отвратительно… Да пусть она бросит эту убогую школу. Кому она нужна…

    - Что ты! Что ты! - пугалась Соня. - Образование нужно.

    - Да угомонись ты, - обрывал ее муж. - Оставь девчонку в покое. Не хочет - и не надо. Пусть играет на своей дудке, в этом не меньше проку…

    - Роберт, но эти мальчики. Меня так беспокоит… - шла в робкую атаку Сонечка - Мне кажется, один у нее всю ночь просидел, она потом в школу не пошла.

    Роберт Викторович не поделился с Соней своими утренними наблюдениями, промолчал.

    С тех пор как Таня дала отставку Бориске, началась настоящая собачья свадьба. Переполненные стероидами юноши клубились возле нее настойчиво и неотвязно. С несколькими из претендентов она испробовала новое развлечение. Сравнение шло в пользу Бориски - по всем статьям и статям.

    К весне стало ясно, что в девятый класс ее не переведут. Школьная маета была совсем уж непереносима, и Роберт Викторович, слова не говоря Соне, отнес Танины документы в вечернюю школу, что повлекло за собой глубочайшие последствия для всей семьи, в первую очередь для него самого.

**\*\*\***

    Властная прихоть судьбы, некогда определившая Сонечку в жены Роберту Викторовичу, настигла и Таню. Предметом страстной влюбленности стала школьная уборщица, а заодно и одноклассница, восемнадцатилетняя Яся, маленькая полячка с гладким, как свежеснесенное яичко, лицом. Дружба их медленно завязывалась на предпоследней парте. Крупная и размашистая Таня с обожанием смотрела на прозрачную, вроде отмытого аптечного пузырька, Ясю и страдала от застенчивости. Яся была молчалива, односложно отвечала на редкие Танины вопросы и вид имела сдержанно-высокомерный. Была она дочерью польских коммунистов, бежавших от фашистского нашествия - по воле обстоятельств в разные стороны: отец - на запад, мать с грудной девочкой - на восток, в Россию. Ей не удалось раствориться в миллионной стране, и она была человеколюбиво сослана в Казахстан, где, промыкавшись горько десять лет, не утратив возвышенных безумных идеалов, и умерла.

    Яся попала в детский дом, проявила незаурядную привязчивость к жизни, выжив в условиях, как будто специально созданных для медленного умирания души и тела, и вырвалась оттуда благодаря умению максимально использовать предлагаемые обстоятельства.

    Высоко поднятые над серыми глазами брови и нежный кошачий ротик, казалось, просили о покровительстве, и покровительство действительно находилось. В числе ее покровителей бывали и мужчины и женщины, но в силу природной независимости она предпочитала мужчин, с раннего возраста усвоив недорогой способ с ними расчесться.

    Один из последних ее покровителей, возникший уже после ее зачисления в какое-то чудовищное ремесленное училище для детдомовских и продуманного побега из него, был толстый сорокалетний татарин Равиль, проводник, довезший ее до самого Казанского вокзала города Москвы, откуда она планировала начать свое восхождение. В боковом кармане ее клетчатой хозяйственной сумки лежали выкраденный из директорского кабинета, незадолго до этого выписанный на ее имя паспорт и двадцать три дореформенных рубля, стянутых у спящего Равиля на подъезде к Оренбургу. Ворованные эти деньги не жгли ей рук по двум причинам: она взяла совсем немного из толстой пачки и, кроме того, чувствовала себя вполне отработавшей эти деньги за четырехдневную дорогу.

    Равиль дорожной кражи не заметил и сильно огорчился, когда девочка не пришла через сутки к седьмому вагону, чтобы вернуться с ним обратно в Казахстан, как обещала.

    С улыбкой тонкого снисхождения к себе, такой наивной дурочке в недавнем прошлом, она рассказывала Тане, как, намочив серое железнодорожное полотенце в раковине общественной уборной Казанского вокзала, раздевшись догола на глазах очумевших азиаток, клубящихся в этом смрадном месте, она обтерлась с ног до головы, достала из той же клетчатой сумки завернутую в две газеты, давно хранимую для этого случая белую блузку с оборкой на воротнике, переоделась и, бросив полотенце в ржавую проволочную корзину, пошла завоевывать Москву, начав с первой попавшейся позиции, то есть со знаменитой площади у трех вокзалов.

    В клетчатой сумке лежали две пары трусов, грязная синяя блузка, тетрадь с переписанными собственноручно стихами и пачка открыток знаменитых актеров. Она была тверда, сообразительна и действительно до не правдоподобия наивна: она мечтала стать киноактрисой.

    Все располагало к тому, чтобы Яся стала профессиональной проституткой, но этого не произошло.

    За два года, проведенных в Москве, она достигла значительных успехов; у нее была временная прописка, временное жилье в чулане при школе, где она работала уборщицей и куда время от времени забегал к ней участковый Малинин, пожилой краснорожий благодетель, через которого она и получила все эти временные подарки судьбы. Посещения Малинина были кратки, для Яси необременительны и не слишком привлекательны для самого Малинина; но он был вдохновенным взяточником и вымогателем, а поскольку от Яси взять было совершенно нечего, то приходилось брать то, что дают.

    В этом самом чулане на физкультурном мате, удачно заменяющем постель, Яся и рассказала Тане свою историю. Таня приняла все в сердце, испытав при этом сильнейшее сложносоставное чувство жалости, зависти и стыда за свое беспросветное благополучие. Яся, подробно, точно и сухо рассказав о себе все, что помнила, неожиданно увидела все прожитое со стороны и возненавидела его так сильно и окончательно, что никогда и никому уже больше не рассказывала этой правды. Она придумала себе новое прошлое, с аристократической бабушкой, имением в Польше и французскими родственниками, которые как черт из коробочки вынырнут еще в ее жизни в свой час…

    Кроме Ясиного чулана, было при школе еще одно жилое помещение, которое занимала преподавательница русского языка и литературы, военная вдова Таисия Сергеевна. К посещениям Малинина она относилась крайне неодобрительно, но это не мешало ей поручать Ясе надзор за своими малолетними детьми и всяческое мытье. За все эти соседские услуги Ясе разрешено было пользоваться книжным шкафом учительницы и не посещать уроков литературы. Таисия Сергеевна предпочитала, чтобы Яся в это время сидела с ее детьми.

    Отслужив все часы своей службы, Яся ложилась на пахнущий потной кожей физкультурный мат и учила наизусть басни Крылова, без которых во все времена невозможно было поступить ни в какое театральное училище. Или читала вслух Шекспира от первого тома до последнего, разыгрывая трагическим шепотом все женские роли - от Миранды, дочери Просперо, до Марины, дочери Перикла.

    Учителя вечерней школы, успевшие измотаться еще до обеда, обучая младших, дневных братьев своих вечерних учеников, не сильно донимали их уроками. К тому же половину класса составляли обитатели милицейского общежития, находившегося неподалеку, и усталые молодые мужики мирно дремали в полутемном классе, получали свои тройки и успешно шли учиться дальше, кто на юриста, кто по партийной линии… Яся была единственной во всем классе, кому парта была по росту, остальные застревали в этих деревянных станках, специально придуманных для мучительства малолетних…

    Резкая, размашистая Таня двигалась шумно, с невоспитанной свободой жеребенка. Садясь за парту, она сдвигала ее так, что Яся слегка подпрыгивала своей легкой головкой. Сама Яся выходила из-за парты бесшумно, откидывая крышку и делая скользкое и ласковое движение бедрами. Она шла по узкому проходу к доске, нижняя часть ее тела как бы чуть отставала от верхней, и та нога ее, что в шагу была позади, чуть приволакивалась, замирала на носочке, а коленями она двигала так, словно толкала тяжелую ткань длинного вечернего платья, а не задрипанной юбочки. И прогиб в пояснице был какой-то особенный, и каждая часть ее тела совершала свои отдельные движения, и все они - и маленькое поигрывание грудью, и зыбкость бедер, и особое покачивание в щиколотке, - все вместе это было не отработанными приемами кокетки, а женской музыкой тела, требующего внимания и восхищения. Немолодой тридцатилетний милиционер Чурилин с крупным лицом в черных военных порошинах тряс головой ей вслед и бормотал:

    - Ишь ты… ммм…

    И непопятно было, что в этом мычании - отвращение или восторг. Впрочем, держалась Яся так независимо, что дальше чурилинского мычания у милиционеров дело не шло.

    Возвращаясь домой, Таня все пыталась пройти в темноте ночного парка этой походкой, сыграть Ясину музыку своими коленями, бедрами, плечами - тянула вверх шею, приволакивала ногу, качала бедрами. Ей казалось, что большой рост мешал ей быть такой же привлекательно-зыбкой, как Яся, и она сутулилась. "В ней есть что-то от эльфа", - думала Таня и, устав от своих ходильно-балетных упражнений, неслась к дому, разбрасывая длиннющие ноги, делая неравномерные отмашки то правой, то левой рукой, вскидывая головой, отбрасывая назад набравшие вечернего тумана волосы, а Роберт Викторович, частенько выходивший встречать ее в парке в эти вечерние часы, издали узнавал ее походку и весь ее характер, запечатленный в несоразмерных движениях, и улыбался силе и несуразности на полголовы переросшей его дочери.

    Оба они любили этот вечерний парк, ценили молчаливое взаимопонимание, тайное подтверждение их не высказанного вслух заговора против Сонечки. Роберт Викторович по врожденному высокомерию, Таня - по юности и наследственности, оба претендовали на благую часть отборного интеллектуализма, оставляя за Сонечкой низменные столы и хлеба.

    Но Сонечке и в голову не приходило печалиться своей участью, ревновать о высшем: чисто мыла она тарелки и кастрюли, со страстным старанием готовила еду, сверяясь с рецептами, выписанными расплывающимися лиловыми чернилами из сестриной книги Елены Молоховец, кипятила баки с бельем, подсинивала и крахмалила, а Роберт Викторович иногда внимательно смотрел из-за ее большой спины на синьку, манку, струганое хозяйственное мыло, фасоль и со свойственной ему остротой отмечал убедительную художественность, высокую осмысленность и красоту Сонечкиного домашнего творчества. "Мудр, мудр мир муравья…" - думал он мимолетно и затворял за собой дверь на теплую террасу, где водились его суровые бумаги, свинцовые белила и еще немногое, что он допускал в свои строгие упражнения.

    Тане дела не было до материнской кухонной жизни: она существовала теперь в дымке влюбленности. Просыпаясь утром, долго лежала с закрытыми глазами, представляя себе Ясю, себя с Ясей в каких-то привлекательно-вымышленных обстоятельствах: то они скачут через молодой луг на белых лошадях, то плывут на яхте по Средиземному, например, морю.

    Ее вольное и бесцеремонное даже обращение со священным инструментарием природы обернулось для нее тем, что инстинкты ее немного заблудились и, деля со стройными мальчиками веселые телесные удовольствия, душой она тосковала по высокому общению, соединению, слиянию, взаимности, не имеющей ни границ, ни берегов. Ясю выбрала ее душа, и всеми усилиями разума стремилась она обосновать этот выбор, дать ему рациональное объяснение.

    - Ах, мама, она кажется слабой, воздушной, а сильная - необычайно! - восхищалась Таня, рассказывая матери о своей новой подруге, о жестокой детдомовщине, побегах, побоях, победах. Яся в своих рассказах Тане из природной осторожности кое-что обошла: про ссылку матери, про детскую дешевую торговлю телом, про укоренившуюся привычку мелочного воровства.

    Но Сонечке и сказанного было достаточно, чтобы заранее отозваться на детское страдание и догадаться о том, что от Тани оставалось сокрытым. "Бедная, бедная девочка, - думала про себя Соня. - И наша Танечка вот так же могла бы, ведь столько всего было…"

    И она вспоминала все те многие случаи, когда бог уберег их от ранней смерти: как Роберта выбросили из вагона александровской электрички, как рухнула балка в помещении, где она работала, и половина комнаты, из которой она за минуту до этого вышла, оказалась заваленной темным старинным кирпичом, и как умирала она на больничном столе после гнойного аппендицита… "Бедная девочка", - вздыхала Сонечка, и эта незнакомая девочка приобретала черты Тани…

**\*\*\***

    До самого Нового года Таня не могла зазвать Ясю в гости. Яся, пожимая плечами, все отказывалась, но не объясняла Тане свой упорный отказ.

    А дело было в том, то ею давно уже овладело сильное и смутное предчувствие нового многообещающего пространства, и она, как полководец перед решающим боем, тайно и тщательно готовилась к этому визиту, связывая с ним самые неопределенные надежды.

    В магазине "Ткани" у Никитских ворот она купила кусок холодной на ощупь и горячей на глаз, какого-то ошпаренного цвета тафты и поздними вечерами шила мельчайшими стежками, на руках, нарядное платье - в тишине и одиночестве, молитвенно и сосредоточенно, как беременная женщина, немного боясь сглазить заблаговременностью шитья одежд нерожденному ребенку самый акт появления его на свет.

    Она пришла в двенадцатом часу тридцать первого декабря, к накрытому столу, за которым сидели и барбизонец, и поэт, и сверх того режиссер с птичьим носом и лягушечьим ртом. Она еще только не разглядела их значительных лиц, но уже внутренне ликовала, понимая, что попала в яблочко предвкушаемой мишени. Именно они, эти взрослые самостоятельные мужчины, и нужны ей были для разгона, для взлета, для полной и окончательной победы.

    Ласковый и благодарный взгляд она бросила в сторону Тани, которая счастливо и розово сверкала ей навстречу подкрашенными щеками. Таня до последней минуты не была уверена, что Яся придет, и теперь гордилась Ясиной красотой, как будто сама ее придумала и нарисовала.

    Платье Яси громко и шелково шуршало, а тяжелые русые волосы были цельными, словно отлитыми из светлой смолы, и лежали на плечах как подрубленные, точно как у Марины Влади в знаменитом в тот год фильме "Колдунья". Вырез платья был глубоким, и козьи ее груди, прижатые одна к другой, образовывали нежную дорожку вниз, и талия была тоненькая и еще специально утянутая в рюмочку, и щиколотки тонки под плотными икрами, и запястья казались особенно узкими из-за некоторой припухлости предплечий. Именно не гитарная грубость, а стеклянная прелесть маленькой рюмки, мимолетно отметил про себя Роберт Викторович.

    Несколько разочарована была Сонечка. Заранее отозвавшись на трудную судьбу Таниной подруги, она не была готова вместо золушки-замарашки увидеть нарядную красотку с подведенными глазами, во всей притягательности светлой славянской красоты.

    Яся отвечала на вопросы односложно, глаза ее были опущены, пока она не вскидывала утяжеленные тушью ресницы, чтобы вымолвить, именно вымолвить со смиренно-королевской интонацией своей покойной матери: "Спасибо, нет, благодарю вас, да…" В немногословных ее ответах чуткое ухо могло уловить польский акцент - эти слипшиеся "в" и "л".

    Сонечка с умилением подкладывала Ясе на тарелку еды. Яся вздыхала, отказывалась, а потом все-таки съедала и утиную ножку, и еще кусочек студня, и салат с крабами.

    - Я уже больше не могу, благодарю вас, - обаятельно и почти жалобно говорила Яся, а Сонечка все не могла выпустить из своего сердца сочувствия: сирота, бедная девочка, детдом… Господи, ну как же так можно…

    Барбизонец Александр Иванович уже пел темным дьяконским голосом оперные арии на итальянском языке, напившийся Гаврилин безумно смешно изображал, как собачка ищет блоху. Закатывая глаза, рычал то злобно, то блаженно, залезал головой себе под мышку, всех смешил до изнеможения. Роберт Викторович улыбался, посверкивая двойным металлом глаз и свежевставленных зубов.

    В третьем часу пришел Алеша Питерский, Танин рьяный поклонник, с будущей славой, которую он уже на себя примеривал, и мешочком серой травы - был он из первых любителей азиатского кайфа на невских берегах. Алешка не чинясь расчехлил гитару и спел несколько печально-остроумных и смешных песен, яростно кривляясь и растягивая петрушечий рот балаганного актера.

    Алеша был влюблен в Таню, Танечка - в Ясю, а Яся в этот новогодний вечер влюбилась в Танин дом. Под утро, когда гости разошлись и девочки помогли собрать со стола, Соня оставила Ясю ночевать в пустующей угловой комнате, где и обнаружил ее днем Роберт Викторович, зайдя туда в поисках рулона серой бумаги.

    В доме было тихо. Соня, убрав в доме после гостей, уехала к сестре, Таня спала в своей светелке, а Яся, проснувшись от звука скрипнувшей двери, открыла глаза и довольно долго наблюдала, как Роберт Викторович роется за шкафом, тихонько чертыхается. Она смотрела ему в спину и все пыталась вспомнить, на какого именно американского актера он похож. Видала она такое же вот лицо, такой же серебряный бобрик в польском журнале "Пшегленд артистичен", который изучала от корки до корки. Она никак не могла вспомнить фамилию актера, но ей показалось, что даже и рубашка у того американца была такая же, в крупную и редкую клетку.

    Она села на кровати. Кровать скрипнула. Роберт Викторович обернулся. Из огромной Сониной ночной рубахи выглядывала маленькая светлая голова на короткой шее. Девчушка облизнулась, улыбнулась, потянула рубашку за рукава, и она легко поползла вниз через горловину. Двинув ногой, сбросила на пол одеяло, встала во весь рост, и огромная рубаха легко соскользнула вниз. Детскими короткими ступнями она пробежала по холодному крашеному полу к Роберту Викторовичу, вынула из его рук наконец-то отысканный рулон и, как будто заменив его собой, оказалась в руках Роберта Викторовича.

    - Один разок, и быстренько, - сказала деловитая фея без всякого кокетства, как говорила обычно своему благодетелю милиционеру Малинину. Но там-то она знала, зачем это делает, а здесь - ни корысти, ни расчета. И сама не знала почему. Из благодарности к дому… И еще - он здорово был похож на того актеpa, американского, знаменитого. Питер О'Тул, что ли…

    А про то, что мужчина может отказаться от предложенной ему милости, знака внимания и благодарности, она просто и не знала. Маленькая, как будто на токарном станке выточенная из самого белого и теплого дерева, тянула она к нему свое праздничное личико.

    Чуть попятившись к шкафу, он сказал строго: "Быстро под одеяло, простудишься!" - и вышел из комнаты, забыв рулон бумаги. Никогда не видел он такой лунной, такой металлической яркости тела.

    Яся укрылась еще не успевшим остыть одеялом и через минуту опять спала. Спала с наслаждением, и во сне не забывая о сладости этого домашнего сна в домашнем доме, и ночная Сонина рубашка, которую она уже больше на себя не надела, лежала у нее под щекой и райски пахла.

    А ужаленный Роберт Викторович ходил по соседней комнате, ежился и крутил головой. Ранние сумерки только что начавшегося года смотрели в окно, и Соня все не шла, а Таня не спускалась вниз по скрипучей лестнице. И он осторожно отворил дверь в угловую комнату, тихо подошел к кровати. Девчонка была укрыта почти с головой, только русый затылок был на поверхности. Он сунул свои сухие ладони под теплый сугроб одеяла. И вмешательство его рук в Ясин сон не оборвало его, ничего не испортило. Яся развернулась навстречу его рукам, и еще одна, последняя жизнь началась у Роберта Викторовича.

**\*\*\***

    Честный новогодний мороз к вечеру окреп. На столе подсыхали развороченные остатки прошлогоднего уже кушанья. Роберт Викторович не ел. Вчерашняя еда вызывала отвращение, и он думал о своих мудрых предках, сжигавших остатки пасхальной еды, не допуская такого вот ее поношения…

    Сонечка бессмысленно размешивала ложечкой чай, в котором не было сахара, и все собиралась сказать мужу важное, но не находила для этого подходящих слов.

    Роберт Викторович с задумчивым лицом ловил глухие отзвуки счастливого гула в сердцевине своих состарившихся костей и пытался вспомнить, когда уже он испытывал это… откуда странное чувство припоминания… Может, что-то похожее было в детстве, когда, накувыркавшись досыта в тяжелой днепровской воде, он вылезал на хрусткий перегретый песок, зарывался в него и грелся в этой песчаной бане до сладкого отзыва в костях… И еще что-то схожее с острым озарением детства, когда, выйдя ночью по малой нужде, маленький Рувим, сын Авигдора, превратившийся с годами в Роберта Викторовича, запрокинул голову и увидел, что все звезды мира смотрят на него сверху живыми и любопытствующими глазами, и тихий перезвон покрывает небо складчатым плащом, и он, маленький мальчик, как будто держит на себе все нити мира, и на конце каждой звенит пронзительный мелкозвучный колокольчик, и во всей этой гигантской музыкальной шкатулке он и есть сердцевина, и весь мир послушно отзывается на биение его сердца, на каждый вздох, на ток крови и на излияние теплой мочи… Он опустил задранную ночную рубашку, поднял медленно вверх руки, словно дирижируя этим небесным оркестром… И музыка пронизала его насквозь, сладкой волной проходя по сердцевине костей…

    Он забыл, забыл эту музыку, и только воспоминание о ней долгие годы не стиралось…

    - Роберт, пусть эта девочка поживет у нас в доме. Угловая свободна, - тихо сказала Сонечка, остановив ложечку в стакане.

    Роберт Викторович посмотрел на жену удивленным взглядом и сказал свое обычное, что говорил всегда, когда речь шла о вещах, мало его трогающих:

    - Если ты считаешь нужным, Соня. Делай, как считаешь нужным.

    И вышел в свою комнату.

**\*\*\***

    Яся перебралась в дом Сонечки. Ее молчаливое миловидное присутствие было приятно Соне и ласкало ее тайную гордость - приютить сироту, это была "мицва", доброе дело, а для Сони, с течением лет все отчетливей слышавшей в себе еврейское начало, это было одновременно и радостью, и приятным исполнением долга.

    В ней просыпалась память о субботе, и тянуло к упорядоченно-ритуальной жизни предков с ее незыблемой основой, прочным, тяжелоногим столом, покрытым жесткой торжественной скатертью, со свечами, с домашним хлебом и тем семейным таинством, которое совершалось в канун субботы в каждом еврейском доме. И, оторванная от этой древней жизни, она вкладывала весь свой непознанно-религиозный пыл в кухонную возню с мясом, луком и морковью, в жестко-белые салфетки, во всеустройство стола, где судок для приправ, подставки для ножей, тарелочки справа, слева грамотно была расставлены, как велел совсем другой канон, новый, буржуазный. Но до этого Соня не додумалась.

    Последние годы, годы относительного благополучия, ей вдруг стала мала ее семья, и она втайне горевала, что не было ей суждено народить множество детей, как было принято в ее племени. Она все прикупала, прикупала разрозненные кузнецовские соусники и фаянсовые английские тарелки по баснословно блошиным ценам в комиссионке на Нижней Масловке, словно настраиваясь на грядущее многочадие дочери Тани.

    Религия Сони, как и Библия, состояла из трех разделов. Только вместо Торы, Небиим и Кебутим это было Первое, Второе и Третье.

    Ясино присутствие за столом создавало Соне иллюзию увеличения семьи и украшало застолье - так естественно и мило она держалась за столом, ела как будто бы немного, но с несгораемым аппетитом, до смешной усталости, потому что память о детском постоянном голоде была в ней неистребима. Откидываясь на спинку стула, она тихонько стонала:

    - Oй, тетя Соня! Так вкусно было… Опять я объелась…

    А Сонечка блаженно улыбалась и ставила на стол низенькие стеклянные вазочки с компотом.

**\*\*\***

    Прошло два месяца. Благодаря Ясиной кошачьей приспосабливаемости и врожденной деликатности она не только заняла угловую комнату, но сверх того определилась в семье в статусе полуродственницы.

    Ранним утром она убегала мыть шершавые школьные коридоры и слякотные уборные, вечерами вместе с Таней ходила в ту же школу на занятия. Иногда до школы не доходили, прогуливая убогие уроки засыпающих учителей. Их отношения с Таней определились как сестринские, причем Таня, по возрасту младшая, с переездом Яси в их дом незаметно заняла место старшей сестры, и ее влюбленность в Ясю перестала быть такой восторженной и напряженной.

    Девочки часто забирались в Танину светелку. Таня, усевшись в позе лотоса, играла свою неверную музыку на флейте, а Яся, свернувшись клубком у ее ног, немного шепелявым шепотом читала вымирающие пьесы Островского. Готовилась в театральное училище.

    Соню умиляло Ясино пристрастие к чтению. К тому же ей казалось, что Танечка попутно приобщается к большой культуре. В этом она заблуждалась.

    Если девочки о чем и говорили, то Яся главным образом довольствовалась ролью вежливой слушательницы. Без особого интереса и внутреннего сочувствия она слушала о Таниных любовных приключениях. Энтузиазм подруги был ей совершенно чужд, а Таня ошибочно относила Ясино равнодушие за счет незначительности ее собственного опыта в сравнении с богатством переживаний подруги. Ей и в голову не приходило, что Яся - с двенадцати лет впервые - свободна от необходимости впускать в свое совершенно незаинтересованное тело "ихние противные штучки"…

**\*\*\***

    Роберт Викторович от Ясиного присутствия изнемогал. Этот эпизод в угловой комнате, в ранних сумерках первого дня года, он вспоминал как наваждение, как подсмотренный чужой сон. Ясю он впускал теперь лишь в обзор бокового зрения, воровато услаждая свой глаз ее тихой белизной, и плавился на огне молодого желания. Никаких даже самых малых движений в ее сторону он не допускал, но не потому, что какие-либо мелкие моральные мотивы его беспокоили. Желание принадлежало ему, женщина ему не принадлежала и, более того, занимая Сониными стараниями табуированное место рядом с дочерью, принадлежать не могла.

    Он часами смотрел в тонко меняющуюся от освещения и влажности белизну снега за окном, вглядывался в плавкий белый бок фаянсового кувшина, в обрезки крупнозернистого ватмана на столе, в тускло-белые гипсовые отливки старых рельефов с едва намеченными в них телами букв древнего алфавита.

    На исходе второго месяца он снова стал писать - через двадцать лет после лагерных упражнений, прихотливого копирования скучной дичи.

    Теперь это были сплошь белые натюрморты, в них выстраивались многотрудные мысли Роберта Викторовича о природе белого, о форме и фактуре, порабощающей живописное начало, и слогами, словами его размышлений были фарфоровые сахарницы, белые вафельные полотенца, молоко в стеклянной банке и все то, что житейскому взгляду кажется белым, а Роберту Викторовичу представлялось мучительной дорогой в поисках идеального и тайного.

    Однажды, когда зима уже стронулась и снежное великолепие Петровского парка увяло и съежилось, ранним утром они одновременно вышли на крыльцо: Роберт Викторович с двумя подрамниками и рулоном крафта и Яся с красной матерчатой сумочкой, в которой бултыхались два вечерних учебника.

    - Подержите, пожалуйста. - Он сунул ей рулон в руки со смутным чувством, что нечто подобное уже где-то промелькивало.

    Яся поспешно притянула к себе рулон, пока он поудобнее перехватывал подрамники.

    - Может, я помогу вам донести, - предложила, не поднимая глаз, девочка.

    Он молчал, она подняла голову, и впервые за время их совместного проживания под одной крышей он острыми зрачками воткнулся в самую сердцевину ее безмятежных глаз. Он кивнул, и она согласно опустила голову в белой пуховой косынке и пошла за ним, колдовски ступая детскими резиновыми ботиками в его следы.

    Он не оборачивался всю недлинную дорогу. Так, гуськом, они дошли до подъезда многоэтажного дома, где в длинных коридорах, дверь к двери, трудолюбиво и деловито созидали прилично оплачиваемое социалистическое искусство, вынося время от времени в унылые коридоры громоздкие изводы лысого гиганта мысли…

    Прижимаясь спиной к гранитному боку монумента, неловко придерживая ногой дверь, он пропустил вперед Ясю. В момент, когда дверь захлопнулась, он почувствовал сильное и гулкое сердцебиение, но не в груди, а где-то в глубине живота. Сердцебиение восходило в нем вверх, как солнце от горизонта, морской гул наполнил голову, виски, даже кончики пальцев. Он поставил подрамники и принял рулон из Ясиных рук. Тут он и вспомнил, когда это было.

    Он улыбнулся, положив руку на отсыревший пух ее косынки, а она уже сметливо расстегивала огромные пуговицы своего самодельного пальто, которое многие вечера шила из старого пледа вместе с Сонечкой. В тот год был припадок моды на большие пуговицы. И юбка Яси, и блузка были ушиты стаями коричневых и белых пуговок, и она, сбросив пальто, серьезно и вдумчиво вытаскивала их одну за другой из аккуратно обметанных петель.

    Сердцебиение, достигшее набатной мощи, заполнившее все закоулки самых малых капилляров, разом вдруг прекратилось, и в ослепительной тишине она села на сломанное кресло, поджав под себя тугие ножки. Потом отпустила на свободу стянутые на макушке резинкой волосы и стала ждать, покуда он выйдет из своего столбняка и возьмет ту малость, которой ей было не жаль…

    С того дня Яся почти каждый день забегала в мастерскую. Горячим и странно безмолвным был их роман. Обычно она приходила, садилась в раз и навсегда избранное кресло и распускала волосы. Он ставил чайник на плитку, заваривал крепкий чай, распускал в белой эмалированной кружке пять кусков сахара - по детдомовской памяти она все не могла наесться сладким - и ставил перед ней белую фарфоровую сахарницу, потому что пила не только внакладку, но и вприкуску.

    Он смотрел на нее долго-долго, пока она медленно пила свой сироп, а он всегда вдумывался в ее белизну, которая ярче радуги сияла перед ним на фоне матовой побелки пустой стены. И блеск эмали кухонной кружки в ее розовой, но все же белой руке, и куски крупного колотого сахара в кристаллических изломах, и белесое небо за окном - все это хроматической гаммой мудро восходило к ее яично-белому личику, которое было чудо белого, теплого и живого, и лицо это было основным тоном, из которого все производилось, росло, играло и пело о тайне белого мертвого и белого живого.

    Он любовался ею, а она это чуяла и возносилась под его взглядом, таяла от маленькой женской гордости, наслаждалась своей безраздельной властью, потому что знала: скажет она ему свое бесстыдно-детское: "Хочешь разочек?" - он кивнет и отнесет ее на покрытую старым ковром тахту, а нет, так и будет на нее таращиться, бедняга, дурачок, чудной, совсем особенный, и любит ее безумно…

    "Безумно", - повторяла она про себя, и гордая улыбка чуть трогала ее губы, и он чувствовал глуповатое ее торжество, но все смотрел и смотрел на нее, пока она не говорила:

    - Ну все… Я пошла…

    Вопросов он ей никогда не задавал, она о себе тоже ничего не рассказывала, да в этом и не было нужды. Его безграничная тяга к ней, как и ее неизменное желание находиться рядом с ним, не нуждалась ни в каких словесных подтверждениях. В его присутствии она чувствовала себя уже совершившей свою задуманную карьеру: богатой, красивой и свободной. И театральное училище было ненужным.

    В середине апреля он начал писать ее портрет. Сначала один, с чайником и белыми цветами, потом другой. И стала образовываться целая анфилада белых лиц, так что одно уходило в тень другого, снова проступало, а лица эти были связаны каким-то оптически обдуманным способом между собой.

    Роберт Викторович писал быстро. И хотя она была рядом с ним и это было важно для художника, это не была работа с натуры. Он словно впитал ее в себя и теперь только заглядывал в свой тайник. Работал он весь световой день, все больше времени проводил в мастерской. Он и раньше любил уходить сюда спозаранку, теперь же он часто оставался здесь ночевать.

    В это самое время, когда притяжение дома ослабло и жизнь Роберта Викторовича все более перемещалась в мастерскую, а мастерская мягко и своднически принимала в себя молчаливую любовницу, над домом собрались тучи.

    Весь их небольшой поселок был определен под снос. Многолетние разговоры, настойчивые, но неубедительные, в один прекрасный день реализовались в гадкую, с размытой печатью бумажку - постановление о сносе дома и переселении жильцов. Бумагу вручили не лично, как подобает в таких случаях, а прислали по почте, и посреди дня, уже после утренней разноски, Соня заметила в почтовом ящике эту зловещую бумажку.

    Зажимая ее в пальцах, Соня прибежала в мастерскую к мужу, куда обычно не ходила, соблюдая невысказанный, но известный ей запрет. Роберт Викторович был один, работал. Соня села в хрупнувшее под ней кресло. Муж молча сидел напротив. Соня долго смотрела на холсты с блеклыми белоглазыми женщинами и поняла, кто есть настоящая снежная королева. И Роберт Викторович понял, что она поняла. И они ничего не сказали друг другу.

    Соня молча посидела, потом положила на стол печальное извещение и вышла из мастерской. У подъезда она остановилась пораженная. Ей казалось, что кругом должен лежать снег, - а на улице клубилась, кудрявилась разноцветно-зеленая майская зелень, и зеленым цветом отзывались длинные трамвайные трели.

    Она шла к своему дому, любимому счастливому дому, который почему-то должны были раскатать по бревнышку, и слезы текли по длинным морщинистым щекам, и она шептала враз пересохшими губами:

    - Это должно было случиться давно, давно… я же всегда знала, что этого не может быть… не могло этого быть…

    И за эти десять минут, что она шла к дому, она осознала, что семнадцать лет ее счастливого замужества окончились, что ей ничего не принадлежит, ни Роберт Викторович - а когда, кому он принадлежал? - ни Таня, которая вся насквозь другая, отцова ли, дедова, но не ее робкой породы, ни дом, вздохи и кряхтенье которого она чувствовала ночами так, как старики ощущают свое отчуждающееся с годами тело… "Как это справедливо, что рядом с ним будет эта молодая красотка, нежная и тонкая, и равная ему по всей исключительности и незаурядности, и как мудро устроила жизнь, что привела ему под старость такое чудо, которое заставило его снова обернуться к тому, что в нем есть самое главное, к его художеству…" - думала Соня.

    Совершенно опустошенная, легкая, с прозрачным звоном в ушах вошла она к себе, подошла к книжному шкафу, сняла наугад с полки книгу и легла, раскрыв ее посередине Это была "Барышня крестьянка". Лиза как раз вышла к обеду, набеленная по уши, насурьмленная пуще самой мисс Жаксон. Алексей Берестов играл роль рассеянного и задумчивого, и от этих страниц засветило на Соню тихим счастьем совершенного слова и воплощенного благородства…

**\*\*\***

    Шли многодневные сборы. Сонечка вязала узлы, набивала ящики из под папирос кастрюльками и тряпками и пребывала в странно торжественном настроении: ей казалось, что она хоронит прожитую жизнь и в каждом из упакованных ящиков сложены ее счастливые минуты, дни, ночи и годы, и она гладила с нежностью эти картонные гробы.

    Неприбранная Таня отрешенно бродила по дому, натыкаясь на мебель, сошедшую с привычных мест и как будто приобретшую самостоятельную подвижность. Дверцы шкафов неожиданно отворялись сами собой, стулья ставили подножки.

    Матери Таня не помогала. Преданная одним лишь своим ощущениям, она полностью погрузилась в величайшее отвращение к происходящему в доме.

    Было еще одно обстоятельство, глубоко ее удручавшее: замкнутая, с недоразвившейся в ту пору речью, она выворачивала перед Ясей все завитушки своей растрепанной души, и Яся с ее умным молчанием оказалась для Тани единственным в своем роде собеседником, который принимал ее вполне мелководные переживания с такой плодотворной для Тани доброжелательной нейтральностью, что в этих беседах, которые были скорее монологами, Таня училась формулировать мысли, ловить с лета образы, и это доставляло ей огромное удовольствие.

    Другие ее друзья, ерник и выворачиватель всего на свете Алеша и Володя с океанским талантом, всепожирающей памятью и плотно упакованными с ее помощью сведениями обо всем на свете, насильственно вовлекали ее в их собственные соблазнительные миры, и только Яся оставляла ей возможность самостоятельно мыслить, рассуждать вслух, наощупь выбирать те мелочи, из которых человек произвольно складывает тот первоначальный рисунок, по которому будет развиваться весь последующий узор жизни. Именно отсюда рождалось Танино чувство теснейшей с Ясей близости и смутной благодарности.

    Во время какого-то редкого просвета в самоувлечении Таня заметила, что у Яси есть какая-то отдельная жизнь. Однако все ее попытки проникнуть в это заповедное пространство дневных - не школьных и не домашних - часов разбивались о нежное и уклончивое молчание или неопределенные слова. Первая попавшаяся версия - тайного романа - выдвигала перед Таней жгучий вопрос: кто же он?

    Вопрос этот разрешился самым случайным образом. Таня столкнулась с отцом и Ясей возле метро и была незамеченной свидетельницей совершенно невозможной сцены: они ели мороженое на ходу, смеясь. Мороженое стекало густыми каплями, и Роберт Викторович стер с Ясиной щеки белое липкое пятно таким движением пальцев, что Таня, великий специалист по части касаний, дрогнула от нового, прежде неизвестного ей чувства ревности.

    Ни женские интересы матери, ни какие бы то ни было соображения нравственного порядка Танечку совершенно не беспокоили. Возмущало ее только одно - подлое сокрытие этого во всех отношениях неинтересного Тане романа…

    Таня устроила Ясе сцепу. Яся, внутренне готовая давно к тому или иному разоблачению, немедленно собрала свои вещи и выскользнула с резного крыльца, оставив Таню в горе и недоумении. Ей-то казалось, что их отношения с Ясей гораздо важнее любых романов…

    Роберт Викторович тем временем разбирал построенный им когда-то стеллаж и даже не сразу заметил Ясино отсутствие.

    И вот наконец настал день, когда вещи вынесли. В свете яркого летнего дня обшарпанная мебель, такая уютная и обжитая, купленная в некотором охотничьем азарте на Преображенском рынке, показалась совсем нищенской. Все погрузили в крытый фургон и перевезли в удручающие Лихоборы, в неудобную трехкомнатную квартиру, где все, решительно все было унизительно убогим: тощие стены, крохотная, узкая Соне в локтях кухня, недоношенная ванна.

    С помощью Гаврилина Роберт Викторович расставлял мебель. Каждая вещь упрямо сопротивлялась, не желая занимать отведенное ей место, все топорщилось лишними углами, везде не хватало нескольких сантиметров. Роберту Викторовичу пришлось сорвать плинтус, чтобы загнать однодверный, совсем небольшой платяной шкаф в отведенный ему простенок. Таня чуть не плакала над окованным сундучком с выпуклой крышкой, который рисковал вообще не вписаться в новое жилье.

    В запроходную комнату Соня велела поставить Танину тахту и Ясину кровать и сказала:

    - Вот будет девичья.

    Яся, приглашенная Сонечкой на помощь в переезде, насторожила ушко. Она никак не могла взять в толк, что же происходит. Да это было и не так уж важно для нее. Не этим домом она так дорожила, а совсем другим. И ей казалось, что самое главное она крепко держит в руках.

    А Сонечка вытащила откуда-то большую коричневую сумку, достала из нее скатерть-самобранку с салфетками, холодными котлетками и ледяной окрошкой из термоса.

    Сонечка по-прежнему подкладывала Ясе хорошие кусочки на тарелку. Яся благодарно улыбалась. Удивительна была ей Сонечка. "А может, просто хитренькая такая", - с некоторым умственным усилием соображала Яся. Но душой знала, что это не так.

    И вдруг посреди обеда Таня, вскинув локти, стала рыдать, тряся волосами и грудями, потом закатилась в истерическом хохоте, а когда припадок неожиданно закончился, она, еще мокрая от слез и вылитой на нее воды, заявила, что немедленно уезжает в Питер.

    Яся увела ее в новообъявленную девичью, которой не суждено было никогда быть приютом какой-нибудь девы. Они влезли в Ясину постель. Яся сняла резинку с толстого хвоста на макушке, и они совершенно примирились, поглаживая друг друга по волосам.

    Однако решения своего Таня не поменяла и в тот же вечер укатила к своему прокуренному сладкой травкой барду.

    Роберт Викторович с Гаврилиным и Ясей уехали на Масловку, и, проводив своих домочадцев, в первый же лихоборский вечер Сонечка осталась одна. С грустью подумала она о развалившейся по всем швам жизни, о напавшем внезапно одиночестве, а потом легла на неразобранный диван в проходной комнате, вынула из перевязанной пачки случайного Шиллера и до утра читала - кто бы мог за этим чтением не уснуть! - читала Валленштейна, добровольно отдавшись литературному наркозу, в котором прошла ее юность.

**\*\*\***

    Вопреки Сонечкиному предположению Роберт Викторович вовсе не собирался ее оставлять. Он приезжал в Лихоборы непременно по субботам и один-два раза в неделю, приезжал вместе с тихонькой Ясей, и пока она со своим шелковым шуршанием возилась в девичьей, перебирала там свои и Танины тряпочки и бумажки, Роберт Викторович заменил подоконники на более широкие, укрепил полки, распилил стеллаж и сделал из него два, развесил Танины портреты.

    Они ужинали в средней комнате, которая закрепилась за Соней. Немного говорили о Тане, которая уже месяц как была в Питере и все откладывала свое возвращение в эти жуткие Лихоборы.

    В непозднем часу расходились спать. Яся - в девичью, Роберт Викторович - в назначенную ему отдельную комнату при входе, а Сонечка тяжело заваливалась на диван и, засыпая, радовалась, что Роберт здесь, за тонкой стеной, по правую руку, а тонкая красивая Ясенька - по левую. И жаль только, что Танечки нет…

    Наутро Сонечка складывала в баночки вчерашний салат, и котлетки, и гречневую кашу, обвязав горловинки, ставила все в коричневую сумку и отдавала Ясе.

    - Спасибо, тетя Соня, - опуская глаза, благодарила Яся.

    Когда случился день рождения Александра Ивановича, Роберт Викторович велел Соне заехать в мастерскую, чтобы вместе идти. Это был их первый семейный выход. Александр Иванович, девственник и монах от чрева матери, не замеченный во всю жизнь ни в каких шашнях с дамами и на этом основании подозреваемый доброжелательным обществом в каких-то более интересных грехах, был единственным во всей компании, кто воспринял это трио как вполне естественное.

    Прочие гости, особенно художественные дамы, сладострастно по углам обсуждали создавшийся треугольник, выходя из себя, как тесто из квашни. Рыжая, слегка бесноватая Магдалина так исстрадалась за Сонечку, что у нее началась мигрень. И совершенно напрасно: Соня радовалась, что Роберт взял ее с собой, гордилась его верностью, которую, как она полагала, он проявил по отношению к ней, старой н некрасивой жене, и восхищалась Ясиной красотой.

    По просьбе Александра Ивановича она немного хозяйничала за столом, обносила гостей покупной едой и, помня о вечных Ясиных желудочных болях, шептала ей в ухо:

    - Деточка, мне кажется, эти голубцы немного того… Ты поосторожней…

    Некоторые дамы были готовы укорить Соню в притворстве - уж больно хорошо она выглядела в этой, казалось бы, невыгодной комбинации; другим хотелось бы Соне посочувствовать, выразить порицание Роберту Викторовичу. Но это было совершенно невозможно, ибо держались они по-семейному, так и сидели за столом домашним треугольником: Роберт Викторович посредине, по правую руку на пол-головы над ним возвышающаяся Сонечка, по левую сияла Ясенька своей белизной и маленьким острым бриллиантом на пальце.

    Невозможно было себе представить Роберта Викторовича покупающим в ювелирном магазине бриллиант своей девчонке. Но справедливости ради надо признать, что она именно была из породы маленьких беззащитниц, которым так и хочется на пальчик надеть камушек, а на зябкие плечики - манто.

    Не дал Роберт Викторович возможности посторонним людям, то есть друзьям, делать выбор между супругами, выражать сочувствие, порицание, негодование.

    И вечер катился своей чередой. Подвыпивший Гаврилин изображал умирающего лебедя, потом Ленина и на бис - уже известную всем собачку, которая ищет блоху. Потом была представлена шарада, где фигурировал призрак, который не столько бродил, сколько ползал по Европе, шестиногой корове, составленной из трех самых толстых дам, покрытых холщовой занавеской.

    В этой части праздника все вспомнили о Тане, остроумнейшей придумщице шарад, а самые проницательные из дам переглянулись: бедная девочка!

    Бедная девочка тем временем проживала в симпатичном логове на Васильевском острове у друга Алешки. В Питере стояли белые ночи, она была бесстрашной и любопытной, ежеминутно готовой во что-нибудь серьезно поиграть. Им совершенно не хотелось расставаться, в четыре глаза они глядели по сторонам, и Алеша с удивлением замечал, что ее присутствие не только не мешает его непредсказуемой жизни, а, пожалуй, сообщает дополнительные возможности по части отрыва от "совухи", как называл он презрительно общепринятое существование.

    Спустя несколько дней после празднования у Александра Ивановича Соня поехала в Ленинград навестить дочь, прождала ее полдня во дворике, потом еще сорок минут посидела с Таней и Алешей за столом, на котором горой громоздились книги, пластинки, объедки и пустые бутылки, выпила чаю и вечерним поездом уехала обратно, просив дочь звонить почаще тетке и оставив денег.

    В поезде Соня не уснула, все думала о том, какая прекрасная жизнь происходит у ее дочери и мужа, какое молодое цветение вокруг, как жаль, что у нее уже все прошло, и какое счастье, что все это было… Она старчески качала головой, подчиняясь мелким сотрясениям вагона, предвосхищая тик, который появится у нее спустя два десятилетия.

**\*\*\***

    А потом опять наступила зима. Девочки должны были заканчивать школу, но обе бросили. Таня всю зиму ездила по привычному маршруту. Она постоянно ссорилась с Алешей, возвращалась домой, но Лихоборы наводили на нее такую тоску, что она снова неслась в свой любимый Питер.

    Роберт Викторович всю зиму писал. Он сильно исхудал, но, сильно исхудав, лицом посветлел и стал как-то ласковее со всеми. Маленькая его сожительница тихонько существовала около него, то шуршала конфетными бумажками, то шелестела дешевым шелком - она постоянно шила себе разноцветные, одинакового фасона платья, мелко сверкая иглой, - то листала польские журналы.

    В то время было повальное увлечение Польшей. Оттуда несло западной вольницей, слегка отяжелевшей в перелете над Восточной Европой.

    Яся к тому времени перестала скрывать свое польское происхождение, и оказалось, что она прекрасно помнит свой детский язык, на котором говорила с матерью. Роберт Викторович, кроме общепринятых европейских, знал и польский, и этот обаятельно-шепелявый, ласковый язык разговорил их, и, как когда-то Соне, он рассказывал теперь Ясе маленькие истории, смешные, невероятные и страшные случаи, и это тоже была его жизнь, хотя, из какого-то вербального целомудрия, это была какая-то иная жизнь, как будто стоявшая за скобками той, что по рассказам была известна Сонечке.

    Яся смеялась, плакала, вскрикивала: "Езус Мария!" - и гордилась, и восхищалась, и так радовалась, что даже научилась испытывать некоторые приятные ощущения, о коих прежде и не догадывалась, невзирая на ранний и долгий опыт общения с мужчинами.

    А он все вглядывался в ее нетленную шею, в новенькую кожу лица, в белый пушок под узкой бровью и думал о драгоценности молодой материи, о той форме совершенства, про которую говорил единственный русский гений - "не удостаивает быть умной".

    Плен Роберта Викторовича был плодотворен. Ему пришлось построить в мастерской новую антресоль, подрамники некуда было складывать. Он заканчивал свои белые серии. Открытия, как ему казалось, не состоялось. Он вскопал ту почву, что подалась, и это было немало, но сама тайна, обещавшая вот-вот открыться, ускользнула, оставив сладкую боль приближения и свою полноправную представительницу такой сокрушительной прелести, что побеждала его усталость, и возраст, и всю изношенность плоти. Не в тягость были старому Роберту неумеренные любовные труды.

    В конце апреля, в середине сырой ночной оттепели, он крепко сжал Ясины плечи и тяжело уткнулся дрогнувшей головой в жесткую подушку.

    Прошло некоторое время, прежде чем Яся поняла, что он умирает. С воем выскочила она в коридор, куда выходили двери еще семи мастерских. Художники здесь не жили, мало кто оставался ночевать. Она рванула ручки двух соседних дверей и понеслась с четвертого этажа вниз к телефону, который стоял в привратницкой.

    Старуха с тонкой распутанной косой тихо взвизгнула, увидев голую Ясю, но та отпихнула ее:

    - "Скорую", скорее… "Скорую"…

    И трясущимися руками набрала номер.

    Когда приехали врачи, Роберт Викторович уже не дышал. Он лежал на животе, уткнувшись темным лицом в подушку. Яся так и не смогла его перевернуть.

    Обстоятельства смерти были очевидны.

    - Кровоизлияние в мозг, - буркнул толстый неприятный врач, пахнущий алкоголем и дурной едой. И написал телефон морга.

    Громыхая непригодившимися носилками, санитары спустились вниз.

    - Старик, а на бабе умер. Молоденькая, - сказал один.

    - А что? Лучше, чем в больнице-то гнить, - отозвался второй.

**\*\*\***

    Лихоборская квартира была без телефона. Яся приехала к Соне, когда та собиралась выпить свою утреннюю чашку кофе. Соня мелко затрясла головой, схватила в охапку Ясю, прижала к себе, и они долго плакали в прихожей.

    Потом поехали в мастерскую. Тело уже увезли в морг. Тот небытовой, страшный беспорядок, который образовался в мастерской после пребывания двух бригад, медиков и труповозов, они быстро убрали.

    Соня сняла с тахты стыдное для чужого глаза белье и спрятала его себе в сумку. Потом пошли звонить в Ленинград Тане, но соседи сказали, что они с Алешей уехали куда-то. Яся держала все время Соню за руку, вцепившись, как ребенок. Была она сирота, а Соня была мать.

    Привратница уже успела проникновенно рассказать всем желающим ее выслушать о скандальной смерти старого Роберта. Соседи художники заходили с полудня в мастерскую. Несли кто что считал уместным в этих обстоятельствах: цветы, водку, деньги…

    Попутно формировалось общественное мнение: Роберта жалели, Ясю ненавидели и презирали, с Соней было как-то сложнее, от нее чего-то ждали, смотрели с интересом, вполне, впрочем, сочувственным.

    Поздним вечером, когда в мастерской остались лишь близкие друзья, Соня после тихого и бесслезного плача вдруг твердо сказала:

    - Достаньте зал побольше. Я хочу, чтобы там, где будет стоять гроб, были развешаны эти картины. - И она указала наверх, на антресоли, где стояли подрамники.

    Барбизопец переглянулся с Гаврилиным. Кивнули.

    Так все оно и было.

    Худфонд выделил зал. Накануне развешивали картины. Их оказалось пятьдесят две. Соня руководила развеской, и вряд ли кто мог бы сделать это лучше. Вдруг просунулось откуда-то солнце, болезненно-яркое, резкое, оно мешало, даже вмешивалось в Сонину работу. Холсты зеркалили, бликовали, и Соня попросила опустить казенные сборчатые шторы. Развесила. Шторы подняли. Солнце к этому времени утихомирилось, и оказалось все на своих местах. И сам Роберт Викторович не сделал бы лучше.

    На следующий день к двенадцати стал стекаться народ. И представить себе было нельзя, сколько набежало людей на эти похороны. Пришли старые, маститые, заработавшие мозоли и медали на изготовлении парадных портретов кого надо, пришли средние, умеренно новой волны, пришли и те, кого на порог не пускали почтенные члены Союза, - шпана, лианозовщина, авангард драный.

    Посмертная эта выставка не располагала к обсуждению. Да и сам Роберт Викторович никогда не испытывал потребности к обсуждению своего дела.

    Посреди зала стоял гроб. Лицо умершего было темным, как бы оплавленным, и только сложенные на груди руки сверкали ледяной белизной того сорта, который Роберт Викторович называл белое-неживое.

    Яся в черном шелковом платье лепилась к большой и бесформенной Сонечке, выглядывала из-под ее руки, как птенец из-под крыла пингвина. Тани не было, ее не смогли разыскать в веселой Средней Азии, куда двинули они в поисках зеленого пастбища.

    Весь шепоток, вся скандальность этой смерти оставались в раздевалке. Здесь, в зале, даже самые жадные до чужих потрохов люди примолкали. Подходили к Соне, произносили неловкие слова соболезнования. Соня, чуть выталкивая впереди себя Ясю, механически отвечала:

    - Да, такое горе… На нас свалилось такое горе…

    А Тимлер, в обществе молодой любовницы пришедший проститься со своим старым другом, сказал тоскливым тонким голосом:

    - Красиво как… Лия и Рахиль… Никогда не знал, как красива бывает Лия.

**\*\*\***

    Бог послал Сонечке долгую жизнь в лихоборской квартире, долгую и одинокую.

    Таня, постепенно выйдя замуж за Алешу и получив от него в приданое колдовской неласковый город, в котором приживаются лишь гордые и независимые люди, стала петербурженкой. Дарования ее раскрывались поздно. Уже после двадцати оказалось, что она невероятно способна и к музыке, и к рисованию, и ко всему, на что только не упадет ее рассеянный глаз. Играючи она выучила французский, потом итальянский и немецкий - только к английскому питала странное отвращение - и все металась, покуда в середине семидесятых годов, уже расставшись с Алешей и еще двумя кратковременными мужьями, с полугодовалым сыном на руках и сумкой через плечо не эмигрировала в Израиль. Через короткое время она получила прекрасную должность в ООН, чему в немалой мере способствовала всемирная известность ее отца.

    В течение нескольких лет Яся жила у Сонечки в лихоборской квартире. Сонечка нежно ухаживала за Ясей, испытывая благоговейную благодарность к провидению, пославшему ее дорогому мужу Роберту такое украшение, такое утешение на старости лет.

    Яся вернулась к идее поступления в театральное училище, но как-то вяло. Вместе с Сонечкой они с удовольствием рукодельничали, то вязали какой-то необыкновенный ковровый свитер для Танечки, то шили на заказчиц, но главным образом все-таки сидели и пили неумеренно черный кофе с медовыми Сониными пирогами. Яся стала постепенно захиревать, и тогда Сонечка разыскала в Польше посредством большой, втайне от Яси ведущейся переписки Ясиных двух теток и бабушку, совсем не аристократического, а вполне скромного происхождения. Снаряженная Соней, Яся уехала в Польшу, где вскоре и завершился канонически сказочный сюжет: вышла замуж за француза, красивого, молодого и богатого. Живет она теперь в Париже, неподалеку от Люксембургского сада, в двух шагах от дома, где было когда-то ателье Роберта Викторовича, о чем она, конечно, не знает.

    Дом в Петровском парке, выселенный, с выбитыми стеклами, в следах мелких мальчишеских поджогов, простоял еще много лет никому не нужный. В нем ночевали бродячие собаки и люди. Однажды там нашли убитого человека.

    Потом обрушилась крыша, и непонятно было, зачем с такой поспешностью расселяли когда-то жильцов по безжизненным окраинам.

    Пятьдесят две белые картины Роберта Викторовича разошлись по миру. На аукционах современного искусства каждая вновь появляющаяся приводит коллекционеров в предынфарктное состояние. Работы же довоенные, парижские, стоят баснословных денег. Их сохранилось очень немного, всего одиннадцать.

    Толстая усатая старуха Софья Иосифовна живет в Лихоборах, в третьем этаже хрущевской пятиэтажки. Она не желает переселяться ни на свою историческую родину, где гражданствует ее дочь, ни в Швейцарию, где она сейчас работает, ни даже в столь любимый Робертом Викторовичем город Париж, куда постоянно зовет ее вторая девочка, Яся.

    Здоровье портится. Видимо, начинается болезнь Паркинсона. Книга трясется в ее руках.

    Весной она ездит на Востряковское кладбище, сажает на могиле мужа белые цветы, которые никогда не приживаются.

    Вечерами, надев на грушевидный нос легкие швейцарские очки, она уходит с головой в сладкие глубины, в темные аллеи, в вешние воды.

САША ЧЕРНЫЙ «В ЛУННУЮ НОЧЬ» - рассказ

*Мечта о доме, счастье.*

*Одиночество*

|  |
| --- |
| По вечерам учительница любила уходить одна к морю. Детей в русской усадьбе укладывали спать рано. Младший мальчик, морщась, пил свое молоко и каждый раз упрашивал учительницу:— Пожалуйста, Лидия Павловна, один глоточек.— Пей сам.— За мое здоровье!..Так он, хитрец, по крайней мере глотков шесть спаивал ей: за свое здоровье, за здоровье старшего брата Миши, за здоровье дедушки в Лондоне и составителя хрестоматии — Острогорского… За здоровье больной индюшки, которая с утра до вечера чихала под балконом в своей конурке. И нельзя было обидеть ни дедушку, ни индюшку, ни Острогорского.Старший Миша пил молоко без фокусов. Длинный и желтоволосый, вытягивался он, как репка, в постели, перебирал тихо на одеяле английские детские журналы со смешными пингвинами и зайцами и тихо спрашивал:— Опять к морю?— Да, дружок.— Мыслить?Лидия Павловна, улыбаясь, кивала головой.— Каждый вечер?Он удивленно пожимал плечами. А впрочем, разве у него нет своих секретов, разве не «мыслит» он сам, вытянувшись в постели и притворно закрыв глаза, чтобы взрослые не приставали: «Не спишь, Миша? Спи! Надо спать…»Лидия Павловна вставала, пожимала мизинцем левой руки левый мизинец Миши, так они всегда прощались, и уходила к морю.**\* \* \***В эту пустынную ночь полная, налитая сиянием луна, словно ночное ртутное солнце, заливала тихий залив. В Париже даже не знаешь: луна ли сегодня в небе, либо световая реклама — крем для ботинок «Диана» — маячит вдали над улицей. Кто там в Париже подымает голову к небу? Коты на крышах, пять-шесть чудаков-астрономов да пьяный прохожий на окраине, беспомощно обнимающий уличный фонарь… Остальным ни до луны, ни до неба. И запрятаны они — облака, Млечный Путь, звезды и месяц — где-то там над домами так искусно, что только по календарю знаешь, полнолуние ли сегодня вверху, либо глухая, синяя тьма…Но здесь у залива… Лидия Павловна сидела на пальмовой, выброшенной морем колоде, поглаживала рукой шершавую, забитую солью кору и смотрела. Отдыхала глубоко, до самого дна души, как много лет уже не отдыхала. Она долго вспоминала, перебирая в памяти год за годом, потерю за потерей, когда она была в последний раз так бездумно и просто счастлива? Пожалуй, перед самой войной, на одной из дальних линий Васильевского острова, у прохладного ночного окна, когда вот так же разливался над сонными крышами лунный разлив, а в голове кувыркалась и высовывала язык смешная, школьная радость: «К черту, к черту, к черту! Последний государственный экзамен сдан!..»Кто знает, быть может, счастье и есть глубокий отдых, больше ничего. Выпрямленные плечи, свободно задумавшиеся, Бог весть о чем, глаза, лунное трепетание на руках.И еще радовало Лидию Павловну, радовало и смущало, что здесь впервые с нее слетела этикетка — «эмигрантка». В городе опять сама собой приклеится. Пусть. Но здесь… Чье небо? Чья луна? Чей ветер? Чьи волны, шипящие у ног? Французские или русские? Ничьи — значит, и ее. И в этот час, когда в глубине долины, у подножий холмов вдоль всего побережья каменным сном спали в каменных сараях под широкими пальмами и смоковницами местные фермеры, старухи, мулы и куры, не одна ли она бодрствовала, не ей ли одной сияла лунная дорога… Чья лунная дорога — русская, французская? Ничья.Учительница встала и обернулась. За спиной вздыхала и приветливо, словно для рукопожатия, протягивала лапу усадебная шершавая дворняга. Собака улыбалась, ей-Богу, улыбалась седой посторонней русской женщине широкой песьей улыбкой и совершенно явно своей несложной мимикой старалась объяснить:— Я полежу возле вас. Можно? Вы мне симпатичны. Здесь у воды прохладно, а в усадьбе слишком много блох. И у вас такие душистые, теплые руки… Можно?Лидия Павловна дружески потрепала шелковое отвислое ухо и улыбнулась.Вот, стало быть, не одной ей не спится в эту ночь. Еще один лунный мечтатель объявился — с хвостом.Наклонившись к черневшему у ног обгоревшему, устью старого костра, русская учительница сгребла палкой в кучу хворост, полузасыпанные песком сосновые сучья, кору и шишки, кусок просмоленного лодочного киля… Длинными сосновыми иглами пересыпала колючий бугор и достала из сумочки спички.Собака встала, отряхнула с шубы песок и внимательно повернула голову. Сейчас вспыхнет желтоватая метелка — огонь. Заклубится сизая дымная борода. Полетят, стреляя и фыркая, искры. Приезжая женщина сядет у костра и обхватит колени руками… Может, будет, прислонившись к ней головой, смотреть на огонь, сладко зевать и нюхать смолистое, переливающееся тепло.**\* \* \***Не одну собаку притянул костер и уютный оранжевый круг вокруг трещавшего огня. От темных камней у воды, где полукругом белели в лунной известке лодочные сараи, отделилась долговязая фигура, длинноногая астролябия в берете.Собака не тронулась с места. Знает: это гость-француз, приезжий садовник. Живет на соседней ферме. К собакам равнодушен, как, впрочем, и собаки к нему. Длинный, словно складная лестница, которую осенью под персиковые деревья подставляют. Все носится у самого края воды от мыса до виллы на горе. Где ни увидит человека на песке, плюхнется рядом и начинает, тыча рукой в воздух, лопотать, как рубашка на ветру… За пазухой всегда опавшие фиги, которые он по всем дорогам подбирает. Вынет, понюхает и ест. И в волосах колючки, потому что спит на прессованном сене в сарае.Собака не ошиблась. Двадцатилетний жираф-садовник опустился против учительницы на песок, дружески кивнул ей и стал вилообразными руками подгребать в огонь хворост.Желтая метелка, треща и дымя, рванулась кверху. И еще светлее и прозрачнее стал лунный полукруг воды и пляжа, чернее и строже стена прибрежных гигантских сосен. Собака недовольно отодвинулась: и так жарко, зачем же еще подбрасывать?А привлеченный огнем чудак вытянулся на песке, почти сунув пасть в самый костер, и, продолжая позавчерашний разговор, замахал перед носом своей словно вывихнутой лапой.— Видите, окно над сараем освещено… Это старый морж Фалиас сидит под своей крышей и перелистывает календарь 1920 года, который я ему когда-то подарил. Накожные болезни у канареек и колыбели коронованных особ с картинками. Он *дома*. Выбросит за окно удочку, наловит для буйабеса десяток морских ершей и сыт. Сосна перед дверью старше его. И над дверью из морских ракушек выложено:*Фалиас*. Вы понимаете? А окна вон той виллы темны. Я вам говорил, мадам. Это наша бывшая вилла. Я в ней родился. Понимаете? Родился, рос, играл с братьями. Сосны, море и закат были нашими игрушками. Мы ловили под камнями сколопендр и сажали их в помадные баночки. В садике над морем сложён моими руками грот: брат был Пятницей, я — Робинзоном… Мы шлепали по воде с утра до заката, ловили и высасывали морских ежей, плавали вон до того далекого камня… Здесь моя родина. Вы понимаете, что такое родина, мадам? И вот три года тому назад — я вам рассказывал уже — отец за долги продал наш дом. Продал старому лавочнику в Борме, которому эта вилла так же нужна, как этой собаке цилиндр.Дворняга у костра недовольно заворчала и отодвинулась.— На осенние месяцы нашу виллу сдают какому-то голландскому художнику. Я ненавижу его, мадам, я видел его… Красный и глупый. Рисует море, а выходит лимонад. Спит на постели, на которой я родился, а в моем гроте у него склад пустых пивных бутылок… Я приезжаю сюда каждое лето, когда дом еще пуст, на две недели. Проверяю, цело ли наше гнездо. Днем брожу внизу у камней и смотрю на наши слепые окна. По вечерам перелезаю через забор и сижу в нашем садике на скамье, которую смастерил мой отец. Столб с солнечными часами покривился. Я его выровнял. Мимозу, надломленную ветром, перевязал… И вот видите, как я одет? Как огородное чучело. Я не пью даже сидра, не курю. Каждая папироса — лишний гвоздь в нашем заборе. Служу в садоводстве под Парижем, я вам рассказывал. Работаю, как мул… И каждое су откладываю. Год, два, четыре… Наш дом вернется к нам! Как вы думаете? Ведь лавочник продаст его мне опять? Зачем он ему? Я знаю, цены на землю растут… Вы думаете, что мне не угнаться? Но ведь лавочник очень приличный человек и не будет меня душить. Борм глухой городишко, там еще не все люди стали собаками… Как вы думаете, мадам?Собака, внимательно слушавшая молодого садовника, иронически вскинула ухо.Лидия Павловна смотрела на огонь и, слушая странные излияния лежавшего у костра человека, сочувственно покачивала головой. Утешала его: конечно, лавочник охотно продаст виллу сыну бывшего владельца. Пожалуй, и согласится, чтобы платили по частям… Жизнь вся впереди, родина — цветущий сад, большая родина — Франция, и маленькая — Прованс…Утешала и ухмылялась своим русским, затаенным мыслям, которые давно уже привыкла от всех прятать.Юноша-жираф умолк. Сел на корточки. Перебрасывал в руках ярко тлеющие угольки… Потом встал, забросал песком догоравший костер, кивнул головой и, широко шагая, растворился вдали в лунном молоке.Лидия Павловна сквозь колючий вереск и заросли можжевельника пошла к усадьбе. За ней шаг в шаг, преданно следуя по пятам, собака.Сверкнули в соснах извилистые колеи ведущей к дому дороги… Чудак этот ей жаловался. Ей! Перелетной бездомной птице, залетевшей в его землю с русского пожарища… Что ж. Как могла, она его утешила.Она бодро встряхнулась. Не надо, не надо. Луна, море, тишина. И глубокий до самого дна души отдых. Больше ничего.На асфальтовой террасе у дома голубели широкие лунные холсты. Из крана звонко шлепала вода. Жирная жаба, ловившая под краном холодные капли, испуганно карабкаясь вдоль стены, изо всех сил заспешила к углу дома во тьму лохматой герани. Она испугалась Лидии Павловны. Совсем напрасно испугалась, потому что учительница, наполнив блюдце водой, сама его отнесла к углу дома, чтобы безобразная ночная тварь напилась и успокоилась.Бесшумно скользя с блюдцем под окном детской комнаты, Лидия Павловна услышала, как старший ученик тихо-тихо окликнул ее по имени.— Ты что же это, Миша, до сих пор не спишь?— Не сплю. Что вы делаете?— Жабе пить несу.— Хорошо у моря?— Чудесно.— Жираф опять жаловался?— Жаловался. Говори тише, а то брата разбудишь.— Разбудишь, как же! Его хоть зубной щеткой под мышками щекочи…Из окна вдруг высунулась худая детская лапка и лукаво-ласково дернула учительницу за плечо.— Ай!— Испугались?Но собака толкнула сзади Лидию Павловну мордой под коленку. Будет! Что же это такое? Ведь спать пора. Ведь она, собака, должна учительницу до верхнего белого дома проводить.И голоса смолкли. Никого не было на веранде. Если не считать звеневших над глицинией комаров да двух жаб, вылезших из-под герани к блюдцу с водой.<1928> |